Б. М. Гаспаров

ЯЗЫК. ПАМЯТЬ. ОБРАЗ
Лингвистика языкового существования

В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний. В центре исследования — коммуникативный и духовно-творческий аспекты языковой деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к Солнцу бренно наше око
Могло приближившись воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
Сия ужасная громада
Как искра пред Тобой одна.
О, коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел!

Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием величестве»

ПОВСЕДНЕВНОЕ ЯЗЫКОВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ

1. ЯЗЫК КАК СРЕДА

Сатир, покинув бронзовый ручей,
Сжимает канделябр на шесть свечей
Как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
Он сам принадлежит ему — увы,
Все виды обладанья таковы.

И. Бродский, «Подсвечник»

В этой книге делается попытка выработать такой подход к языку, при котором на первый план, в качестве первичного объекта изучения, выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний, сопровождающих нас повсюду в качестве неотъемлемого аспекта нашего повседневного существования. Что бы мы ни делали, о чем бы ни думали, к чему бы ни стремились — мы не вольны выйти из этого потока, произвольно его «отключить» или остановить его спонтанное, никогда не прекращающееся движение в нашем сознании. Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни. Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность; она находится в нас самих, в нашем сознании, нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением

мысли, каждым проявлением нашей личности. Вот эта наша постоянная, никогда не прекращающаяся жизнь «с языком» и «в языке» и есть то, что я предлагаю назвать языковым существованием.

Языковое существование личности представляет собой продолжающийся на протяжении всей жизни этой личности процесс ее взаимодействия с языком. В этом процессе язык выступает одновременно и как объект, над которым говорящий постоянно работает, приспосабливая его к задачам, возникающим в его текущем жизненном опыте, и как среда, в которую этот опыт оказывается погружен и в окружении которой он совершается. Мы постоянно совершаем какие-то действия с языковым материалом, пытаемся что-то из него «сделать», достичь каких-то наших целей. Но это не такой материал, который лежит где-то пол рукой, дожидаясь, когда мы извлечем из его запасов какие-то нужные нам предметы и «употребим» их по назначению. Он неотделим от всей нашей жизни, а значит, и от самих тех целей и намерений, для реализации которых он служит нам инструментом. Мы «владеем языком» — но, в известном смысле, и он владеет нами. Говоря это, я вовсе не имею в виду возрождать в очередной раз красивую романтическую легенду о строе *Muttersprache* как некоей животворящей силе, направляющей наши мысли и поступки. Я только хочу сказать — и можно ли с этим не согласиться? — что язык соучаствует во всех наших мыслях и поступках, и что не в нашей власти отменить или как-то произвольно локализовать это соучастие.

Мне представляется возможным говорить о том, как мы обращаемся с языком, без того чтобы постулировать наличие в сознании говорящих некоего абстрактного «знания языка», возвышающегося над их конкретной языковой деятельностью. Я хотел бы, скорее, говорить о нашей включенности в язык как в текучую, открытую и непрерывную среду, — чем о заключенности языка, в качестве данного нам и усвоенного нами объекта, в нашем сознании. Речь в этой книге пойдет не столько о том, как мы «владеем» и «пользуемся» языком как неким предметом, сколько о нашей «жизни в языке» как в среде, в которой на протяжении всего нашего жизненного пути развертывается наша мыслительная и коммуникативная деятельность[1]. Языковое существование каждой личности в отдельности и всех говорящих на данном языке в совокупности и взаимодействии представляется мне таким же непрерывно развертывающимся, никогда не однозначным и всегда относительным по успешности достигаемых результатов процессом, как весь наш жизненный опыт существования в материальной и социальной среде обитания.

Как это ни странно, представление о языке как предмете лингвистики обычно не вызывает в рамках этой дисциплины ни слишком больших затруднений, ни принципиальных расхождений во мнениях; странно — принимая во внимание всю невообразимую громадность этого «предмета» и ту полную неотступность, с которой он принимает участие во всех проявлениях нашей жизни, в каждое ее мгновение. Если взглянуть на то, как в течение последних ста или полутораста лет изменялись воззрения на ход истории, экономические отношения, природу человеческого сознания — словом, на предметы такого же порядка сложности и всеобщности, как язык, — можно увидеть, как борются и сменяют друг друга резко различные подходы, как кардинальным образом изменяется каждый раз вся картина предмета, самые фундаментальные категории и представления, казавшиеся до этого незыблемыми. Но лингвистика все это время продолжала и продолжает идти по дороге, проложенной рационализмом и детер-

минизмом Просвещения. В том, как она определяла и сегодня еще определяет свой предмет и цели и способы его описания, явственно проглядывает духовное наследие эпохи, предшествовавшей Французской революции: все та же вера в универсальность принципов разумной и целесообразной организации, действительных для любого феномена, все то же иерархическое отношение между идеальным «внутренним» порядком и его «внешней», несовершенной реализацией, все та же устремленность к всеобщему и постоянному, для которого все индивидуальное и преходящее служит лишь первичным сырым материалом концептуализирующей работы, наконец, все тот же детерминизм в выстраивании алгоритмических правил, покоящийся на уверенности, что из пункта А в пункт В всегда ведет одна и та же дорога, — даже если совершенно неизвестно, где эти пункты находятся и что это вообще значит, что мы «попали» из одного из них в другой[2].

Какие бы методы и инструменты ни разрабатывались с целью дать более эффективное описание языка, само это описание, в качестве конечной цели предпринимаемых лингвистикой усилий, неизменно рисуется в виде некоего чрезвычайно сложного и эффективного устройства, каким-то неизвестным, но вполне единообразным способом помещающегося в сознании каждого «носителя» данного языка. В качестве исходной посылки молчаливо принимается, что работа этого устройства совершается по принципу всякого рационально построенного механизма, то есть на основании разумно организованных, постоянно и регулярно действующих операционных правил, последовательное и точное применение которых способно принести определенные, всегда самим себе тождественные «правильные» результаты. Какова природа этого устройства, из каких субмеханизмов оно складывается, как работают его правила, — на этот счет существует множество различных мнений, к разрешению этих вопросов направлялись и направляются усилия многих поколений лингвистов и преподавателей языка. Великие лингвисты XX столетия — их имена у всех на памяти — преобразовали и развили аппарат лингвистического описания самым поразительным и захватывающим образом; смешно даже сравнивать наши сегодняшние представления о строении языка в целом и отдельных его механизмов с теми, которые существовали во времена Декарта или Кондильяка. Но сами понятия «строения языка в целом» и его «отдельных механизмов» — по-прежнему с нами, и пожалуй, с большей безусловностью вкладываемого в них значения, чем когда-либо прежде. В этом отношении к истории лингвистики вполне можно было бы применить слова Мандельштама, сказанные по поводу детерминистской картины литературного процесса, о том, что такая картина напоминает «конкурс изобретений на улучшение какой-то литературной машины, причем неизвестно, где скрывается жюри и для какой цели эта машина служит»[3]

В эпохи, тяготеющие к тотальным утопическим идеалам — как, например, в 1910—1920-е или 1950—1960-е годы, —лингвистика оказывается вознагражденной за эту свою верность принципам рационализма и детерминизма; в эти эпохи она выходит на авансцену интеллектуальной жизни, привлекает к себе всеобщее внимание, показывает путь другим областям знания. Но в эпохи, когда хрустальный дворец утопического всеединства обращается в пыль, такая позиция грозит ей превращением в интеллектуальное захолустье, до которого почти не докатывается «шум времени» — новые идеи, проблемы, сомнения, занимающие современников.

Ситуация еще больше осложняется тем, что стереотипы «высокой» лин-

гвистической науки выступают рука об руку со стереотипами языкового учебника, который в сознании каждого занимает, быть может, менее импозантное, но едва ли не более прочное место. Мы все имели дело с картиной языка, рисуемой в учебнике, — в школьные ли годы, или впоследствии, когда изучали иностранные языки. Мы все знаем, что предлагаемые учебником правила помогают в изучении языка, и что чем больше в этих правилах логической последовательности, единообразия и компактности, тем лучше выполняют они свое полезное назначение. Из этого как бы само собой возникает и закрепляется в нашем сознании умозаключение, что предлагаемая учебником упорядоченная классификация языкового материала дает пусть несовершенную, но в каком-то приближении адекватную «модель» того, в чем должно состоять знание языка, которым мы «владеем», то есть успешно пользуемся. От привычных до автоматизма представлений, укоренившихся в сознании со школьных лет, до головокружительных теорий, принадлежащих к вершинным достижениям научной мысли этого века, — все говорит нам о языке как о рационально организованном устройстве, все направляет наши попытки осмыслить и описать язык в сторону того, чтобы по возможности приблизиться к тому совершенному устройству, которое предположительно заложено в сознании каждого, кто способен «правильно» пользоваться данным языком.

И однако, стоит лишь отвлечься от готового представления о том, что «должен» из себя представлять язык, и обратиться к тем непосредственным ощущениям, которые у каждого из нас имеются в связи с нашим каждодневным обращением с языком, как обнаруживаются существенные расхождения между картиной языка как механизма и многими самыми простыми и очевидными вещами, которые можно ежеминутно наблюдать в нашей языковой деятельности и которые, я думаю, каждому приходилось наблюдать и испытывать в своем личном языковом опыте. Конечно, правила помогают учиться языку; но из чего следует, что пользоваться языком в собственном смысле и учиться им пользоваться — это одно и то же? что первое есть лишь количественное увеличение и усложнение второго, а не качественно иное состояние? Почему действия, которые мне нужно предпринять, чтобы «построить правильное предложение», скажем, по-итальянски или по-фински, должны приниматься в качестве модели того, как я обращаюсь с русским или английским языком, то есть языками, которые я знаю, над которыми работаю, с которыми живу десятки лет, в контакте и взаимодействии с бесчисленным множеством других людей, для которых эти языки значат так же много, как и для меня (хотя для каждого по-своему)? — языками, в процессе обращения с которыми я воспринял бесконечно много вещей, составляющих содержание моей духовной и эмоциональной жизни, отношений с людьми, каждодневного жизненного уклада, — так много, что ни обозреть, ни исчислить их нет никакой возможности?

Попытка привлечь к таким вопросам внимание, сделать их легитимным и должным образом сформулированным объектом языкового описания и составляет главное содержание этой книги. Свою задачу я видел в том, чтобы посмотреть на наши взаимоотношения с языком не как на целенаправленную «работу», совершаемую по определенным поводам, на основании определенных правил, над определенными, имеющими постоянные свойства строительными элементами, но как на экзистенциальный процесс, столь же всеобъемлющий, но и столь же лишенный какой-либо твердой формы и единого направления, как сама повседневная жизнь.

Все то, что можно принять — и что лингвистика склонна слишком легко и охотно принимать — за стабильные языковые объекты, то есть все те «конечные продукты» языковой деятельности, которые говорящий производит сам и которые он получает от других говорящих, являются таковыми лишь при самом поверхностном рассмотрении. Всякий такой «продукт» не существует для говорящего иначе как в среде ассоциаций, интеллектуальных и эмоциональных реакций, непроизвольных воспоминаний, интуитивных и сознательных оценок ситуации и партнера и вытекающих из этого антиципаций того, как ситуация общения с ним будет развертываться в дальнейшем и какие новые коммуникативные задачи из этого вытекают. Свойства такого продукта (реплики диалога, устного высказывания, письменного текста), то, каким он является данному говорящему в данной ситуации, — неотделимы от бесконечно текучей среды многонаправленных мыслительных языковых действий, в которую наш «продукт» погружается и течение которой он, в свою очередь, изменяет самим фактом своего погружения.

Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в разговоре — представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан: коммуникативные намерения автора, всегда множественные и противоречивые и никогда не ясные до конца ему самому; взаимоотношения автора и его непосредственных и потенциальных, близких и отдаленных, известных ему и воображаемых адресатов; всевозможные «обстоятельства» — крупные и мелкие, общезначимые или интимные, определяюще важные или случайные, — так или иначе отпечатавшиеся в данном сообщении; общие идеологические черты и стилистический климат эпохи в целом, и той конкретной среды и конкретных личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в частности; жанровые и стилевые черты как самого сообщения, так и той коммуникативной ситуации, в которую оно включается; и наконец — множество ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе попавших в орбиту данного языкового действия: ассоциаций явных и смутных, близких или отдаленных, прозрачно очевидных и эзотерических, понятийных и образных, относящихся ко всему сообщению как целому или отдельным его деталям.

Языковая среда, в которой осуществляется эта деятельность, непрерывно движется, течет. Каждый новый случай употребления языка происходит в несколько изменившихся условиях, изменяющих для говорящего очертания языковой среды, режимы ее работы. Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового адресата, созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования. Любые внешние условия, сопричастные данному моменту языковой деятельности, оказывают влияние на его ход и результаты. Но с другой стороны, сами эти внешние условия, отпечатавшись в высказывании, претерпевают изменения в силу своей адаптации именно к данному высказыванию; сами условия среды, в которых совершается языковой процесс, будучи вовлечены в течение этого процесса, начинают выглядеть по-иному. А это, в свою очередь, оказывает влияние на языковой процесс, изменяя его течение, — и так до бесконечности.

Как конкретно протекает это броуновское движение бесконечных частиц нашего языкового опыта, со всей их отрывочностью, личностной идиосин-

кретичностью, летучей неустойчивостью? Каким образом возможно — и возможно ли вообще — представить такой процесс в виде разумно упорядоченного описания, без того, чтобы пропустить этот наш живой опыт сквозь фильтр какой-либо тотальной организующей идеи: например, идеи о том, что язык является формой воплощения универсальных категорий мышления, врожденных человеческому сознанию, либо собранием материальных форм, подлежащих действию естественных законов, либо системой социально санкционированных знаков, порождающим механизмом (такого-то типа и строения), отпечатком духа народа или классовой идеологии, и т. п.?

В основе замысла книги лежит попытка увидеть в этой текучей среде самоценный предмет наблюдения и изучения, а не сырую породу, из которой произвольно извлекаются те или иные предметы, относительно которых достигнута договоренность, что именно эти предметы представляют собой феномен «языка». Мною двигало стремление как можно пристальнее и конкретнее рассмотреть то, что, собственно, мы делаем — и что делается с нами, — в каждый момент нашего существования, наяву или во сне, наедине с собой или в обществе, в момент напряжения сил или в момент отдыха, в благоприятной или неблагоприятной ситуации, когда мы так или иначе вступаем в соприкосновение с нашим языком? Что это, собственно, значит — что мы что-то себе или другим «сказали», или «поняли» (или не поняли), что мы что-то «намеревались» сказать, и что этот момент нашей духовной жизни нам в какой-то степени удалось — а в какой-то и не удалось — «выразить»? Какие действия мы при этом производим, и над чем? какие мысли, переживания, образные картины, воспоминания, ассоциации проносятся при этом в нашем сознании как неотъемлемая часть этих действий? Как эта вездесущая, но вместе с тем неуловимо-летучая среда языковой мысли соотносится с тем, что в конце концов оформляется в объективированный, доступный внешнему наблюдению акт употребления языка? и насколько «объективированным» можно считать такой акт, принимая во внимание всю ту атмосферу словесных и образных реминисценций и ассоциаций, в которую он погружен в сознании как самого говорящего, так и каждого, с кем так или иначе соприкасаются его языковые действия?

При таком подходе приходится с самого начала распроститься с стремлением представить язык в виде рационально построенного концептуального объекта либо слаженного механизма. Дело не в том, что такая задача представляется автору реально невыполнимой, но в принципиальном отказе видеть в ней идеальную цель, к которой должны устремляться усилия исследователя. Всякое образованное по принципу механизма устройство, материальное либо идеальное, работает потому, что оно разумным образом составлено по единому плану из определенных частей, каждая из которых выполняет определенную функцию; только в таком случае мы можем положиться на работу нашего устройства, то есть ожидать, что в нужной ситуации оно произведет нужный результат. Однако специфика всякого устройства состоит также в том, что оно создано специально для какой-то цели, и соответственно все его строение разумным образом приспособлено к выполнению этой цели. В отличие от этого, повседневный жизненный процесс не имеет такого единства и слаженной разумной организации; в лучшем случае, в него вкраплены отдельные ситуации, отличающиеся различной степенью организованности. Поэтому мы не можем полностью положиться на этот процесс ни в отношении предсказуемости его

течения, ни в отношении соответствия действия — его результату, идеального намерения — его реализации, так, как мы полагаемся на работу всякого достаточно хорошо устроенного механизма. Но зато он не ограничен какими-либо предустановленными рамками и функциями, а представляет собой открытое и бесконечное поле возможностей.

Я полагаю, что наши взаимоотношения с языком строятся по принципу повседневного существования, а не в виде реализации какой-либо изначально заданной идеи или работы изначально организованного определенным образом механизма. Конечно, как и повседневное существование в целом, языковое существование включает в себя структурированные вкрапления, в которых языковой материал преднамеренно выстраивается определенным образом, для достижения определенных частных целей: такова, в частности, организация языкового материала в учебнике, имеющая целью облегчить и ввести в разумные рамки процесс обучения языку. Но взятый как целое, процесс языкового существования представляется мне игрой бесчисленного множества разнородных и разнонаправленных факторов — открытым полем, в котором нет ни раз навсегда определенных действий, ни полностью предсказуемых эффектов, вытекающих из этих действий.

Нет ничего более простого и очевидного, чем каждодневная будничная жизнь, непременной частью которой является языковое существование: она нам досконально знакома, она всегда у нас перед глазами. Но как описать этот «объект»? Всякому ясно, что самая эзотерическая, но искусственно созданная организация представляет собой более простой предмет исследования, чем этот столь доступный, но и столь неуловимо ускользающий и растекающийся феномен.

И однако — открытый, разнонаправленный и текуче-неустойчивый характер языкового существования не означает, что наша языковая жизнь представляет собой всего лишь хаотическое нагромождение никак и никем не направляемых случайностей. Каким-то образом у нас остается впечатление, что мы выразили в нашей речи то, что хотели сказать — иногда лучше, иногда хуже, иногда и совсем неудачно, — и что наш адресат что-то и как-то понял в этом сообщении: понял достаточно для того, чтобы мы сочли его реакцию на сообщение адекватной и в свою очередь нам понятной. Значит, в потоке языкового существования действуют какие-то консолидирующие и регулирующие его силы — но какие? Картина языковой деятельности как обмена готовыми «знаками», имеющими социально санкционированную ценность, — совсем как посетители толкучего рынка обмениваются известными полезными предметами (помидорами, вышитыми полотенцами, фарфоровыми слониками etc.), ценностные соотношения между которыми коллективно санкционированы толкучим сообществом, — такая картина, честно признаюсь, представляется мне до комизма нелепой. Я не вижу, каким образом рыночнообразные манипуляции с материальными предметами (или даже их абстрактными, но с такой же определенностью заданными заместителями)[4] могут чем бы то ни было напоминать духовный мир человека — и в частности, языковой мир как неотъемлемый его аспект,— со всей его летучестью, ничем не ограниченной скоростью развертывания и размахом ассоциативных скачков, способностью двигаться одновременно по многим разным направлениям[5].

Поскольку мы все признаем, что работа языковой мысли человека имеет известную степень успеха, — значит, у нее есть какие-то разумные параметры. Вопрос в том, как описать этот феномен в его собственных кате-

гориях, не впадая в уподобление его ни фабрике, ни рынку, ни шахматной игре (в том примитивном о ней представлении, которое существует у людей, серьезно в шахматы не игравших), ни вообще каким бы то ни было действиям с стабильными, закрепленными в объективированном бытии предметами — все равно, материальными или идеальными, — условия существования и функционирования которых кардинальным образом отличаются от условий и характера языковой деятельности.

Наш язык представляется мне гигантским мнемоническим конгломератом, не имеющим единого строения, неопределенным по своим очертаниям, которые к тому же находятся в состоянии постоянного движения и изменения. Он вмещает в себя неопределенно большое — принципиально неперечислимое — количество разнородных «кусков» предыдущего языкового опыта, имеющих самую разную форму и объем. Эти фрагменты языковой ткани не лежат в памяти неподвижно, в качестве постоянных единиц хранения. Условия их существования в языковом сознании говорящего скорее напоминают плазму, через которую непрерывно, по все время изменяющимся направлениям, проходят токи ассимилятивных и ассоциативных взаимодействии. Существование каждого фрагмента в конгломерате языковой памяти неустойчиво и релятивно, его физические границы и смысловые очертания подвержены постоянным изменениям. Различные фрагменты контаминируются, сливаются, перетекают друг в друга, включаются во все новые соположения, высвечивающие в каждом из них все новые аспекты и свойства, подвергаются всевозможным модификациям и перефокусировкам.

Наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток «цитации», черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти[6]. Разумеется, языковая цитация имеет такой же небуквальный, нетвердый, растекающийся характер, как и сам резервуар памяти, который служит источником этого процесса. Мы все время пытаемся составить вместе различные и разнородные куски нашего языкового опыта так, чтобы сложившееся из них целое вызывало впечатление, более или менее соответствующее тому — никогда до конца нам самим не ясному — движению мысли, которое мы намеревались «выразить». В процессе такого составления извлекаемые из памяти фрагменты языковой ткани модифицируются, адаптируюсь друг к другу; они подвергаются всевозможным усечениям, наращениям, аналогическим подменам одних компонентов в их составе другими, контаминациям, метатезам; они срастаются друг с другом, растекаются по разным точкам высказывания, редуцируются до едва намеченных, мерцающих намеков.

Процессы эти не имеют твердых, раз навсегда установленных правил: каждое новое соположение знакомых нам языковых фрагментов, которые мы пытаемся составить вместе, выдвигает новые проблемы и новые возможности их варьирования и контаминации; каждое изменение предмета мысли, эмоционального тона, жанровой и стилевой атмосферы меняет представления о том, какие из этих контаминаций и сращений являются приемлемыми, какие ведут к удовлетворительным или неудовлетворительным результатам. Феномен, который можно назвать «владением» языком, состоит в способности относительно успешно ориентироваться в напластованиях разнородных компонентов и их непрерывных пластических изменениях, в бесчисленных переплетениях аллюзионных, эмотивных, жанровых силовых линий, — ориентироваться так, чтобы создавать более или менее успешные языковые произведения, в которых и мы сами,

и наш адресат (непосредственный либо подразумеваемый) могли бы распознать нечто, соответствующее той мысли, которую мы хотели сформулировать и передать: соответствующее в достаточной степени, чтобы между нами могло возникнуть ощущение языкового контакта и обмена.

Все эти процессы совершаются индивидуально в сознании каждого отдельного говорящего субъекта. Их течение и результаты неотделимы от его характера и жизненного опыта и потому в полном своем объеме всегда уникальны для каждой личности. Однако индивидуальная принадлежность языкового опыта не означает, что этот опыт имеет изолированный характер. Напротив: важнейшей его частью является постоянное соприкосновение с другими говорящими личностями. В резервуар языкового опыта говорящего субъекта постоянно вливается опыт других людей, через их высказывания, которые наш говорящий воспринимает и стремится так или иначе осмыслить. Разумеется, этот процесс происходит не как механическое запоминание и имитирование полученного извне языкового материала. Все поступающие извне языковые впечатления органически врастают в языковой мир личности[7]. Они модифицируются, окрашиваются по-иному, подвергаются иной фокусировке в той уникальной среде, которая составляет языковой мир данного человека; но и сами вновь полученные впечатления в свою очередь воздействуют на личностную языковую среду, модифицируя и по-новому высвечивая наличествующие в ней компоненты и их соотношения[8]. В этом адаптированном, личностно освоенном виде полученный извне материал находит свое место в речи данного говорящего. Тем самым он возвращается вовне, к другим людям, вливаясь в их языковые миры и подвергаясь все новым адаптациям. Происходит непрерывный языковой «обмен веществ»; он-то и обеспечивает связь между говорящими личностями, делающую возможным то, что мы называем их «общением».

Мне не кажется, что для успешного общения необходимо наличие предустановленных правил и сведений, которые всеми участниками общения должны быть усвоены как данность. Мне представляется возможным описать процесс общения как непрерывное взаимодействие личностей, не имеющее какого-либо единого плана и правил, совершающееся в бесконечно многообразных условиях и по бесконечно разнообразным направлениям. Оно происходит в виде бесчисленных усилии каждого отдельного человека, совершаемых ad hoc применительно к каждой новой ситуации[9].

Эти разрозненные, не объединенные какой-либо общей идеей усилия приводят к успеху — разумеется, всегда лишь относительному и частичному — благодаря тому, что говорящие заинтересованы в том, насколько, в их представлении, удалась или не удалась та или иная попытка контакта (другое дело, что «успешность» контакта каждый может оценивать по-своему и в зависимости от обстоятельств). Я все время чувствую, какие ощущения вызывает во мне речь других людей, когда то, что я услышал или прочитал, прикасается к моему языковому миру; соответственно, я пытаюсь почувствовать, или догадаться, или предугадать, какие ощущения моя речь может вызывать, прикасаясь к миру других людей — известных мне (какими я их себе представляю) или неизвестных. Этот преднамеренный или непреднамеренный учет опыта каждого контакта служит стабилизирующим фактором, обеспечивающим относительную стабильность наших коммуникативных усилий, несмотря на их разрозненный и хаотический характер.

Уникальность жизненно-языкового опыта каждого из нас все время от-

носит нас друг от друга. Восприняв речь одного собеседника, адаптировав ее в свой языковой мир, я тем самым неприметно удаляюсь от какого-то другого собеседника, с которым у меня также был опыт контактов. Каждое прикосновение к нашему языковому миру сдвигает его очертания, с чем-то его сближает и от чего-то удаляет. Но если мы заинтересованы в контакте, мы стараемся лавировать в этом море языкового взаимообмена, так чтобы не разойтись слишком далеко, не потерять друг друга из виду. Это броуновское движение бесконечных сближений и удалений, соприкосновений, конфронтаций, влияний, разрывов, взаимных адаптаций и коррекций и составляет «язык» как поле нашей общей деятельности[10].

Наше языковое «общее дело» представляется мне разворачивающимся по законам повседневного совместного существования, а не в виде производства, совершаемого по единому плану и едиными средствами. Конечно, такое упорядоченное производство тоже занимает в нашей жизни определенное место — но место лишь ограниченное и притом такое, которому никогда на самом деле не удается полностью выделиться в идеальный порядок из «хаоса» повседневности.

Языковое существование, как и всякое существование вообще, — процесс не только интуитивно-бессознательный. Интуитивное движение языкового опыта неотделимо от языковой рефлексии; говорящий все время что-то «узнает» о языке, все время что-то в нем постигает, находит или придумывает. Это могут быть школьные понятия и навыки, получаемые в готовом виде в процессе обучения языку. Это могут также быть собственные находки говорящего, мысль которого обнаруживает в его языковых действиях и языковой памяти какие-то соположения, аналогии, повторяющиеся приемы и модели — от параномастических и этимологических словесных сопоставлений до найденных и взятых на вооружение риторических приемов, интонаций, синтаксических оборотов. И наконец, еще одним типичным проявлением языковой рефлексии является то, что можно назвать метаязыковой деятельностью: различного рода рассуждения о языке, от простейших суждений о том, какое употребление является «правильным» и «неправильным» (что уже предполагает проекцию на наблюдаемые факты идеи о том, чем является, или «должен» являться язык), до сколь угодно сложных концептуальных построений, касающихся природы и строения языка и различных его компонентов. Нетрудно увидеть, что к такого рода деятельности причастны все без исключения говорящие — разница лишь в количественном и качественном отношении.

Стремление придать языковому опыту упорядоченный и рациональный характер, как-то его объяснить и организовать, так же как стремление скоординировать свой личный языковой опыт с опытом других людей, является неотъемлемым аспектом языкового существования каждой личности. Наша мысль стремится обнаружить и выделить в языке — как и во всяких проявлениях жизненного опыта — общее, определенным образом организованное, повторяющееся и устойчивое. Если стать исключительно на точку зрения метаязыковой рефлексии, ее конечная цель представляется в виде устойчивой и организованной системы, возвышающейся над частными случаями, общей для всех, за кем признается причастность к этой системе. Однако возможно и другое направление мысли, при котором частный опыт употребления языка каждой личностью принимается как первичная данность, а то, что мы в этом опыте осознаем как общее и упорядоченное, — как нечто вторичное, производное, возникающее из рефлективной трансформации первичного опыта. Следует по достоинству оце-

нить тот факт, что наша метаязыковая рефлексия, какие бы усилия мы ни делали, чтобы ее интегрировать, никогда не достигает полного единства; что все обнаруживаемые тождества, регулярности, правила имеют лишь частичную, относительную и неустойчивую ценность. Они все время растекаются, меняют контуры и условия своего применения, сталкиваясь с многообразными факторами и обстоятельствами, возникающими в конкретном языковом опыте; их никак не удается свести вместе, в единую и раз навсегда построенную систему.

Конечно, всегда есть соблазн придать правилу стабильный и всеобщий характер путем отсекания тех аспектов нашего опыта, которым это правило заведомо не может удовлетворять; можно объявить эти аспекты несущественными, вторичными, маргинальными, внеположными предмету нашего исследования. Чем сильнее требования, предъявляемые мыслью к концептуальной упорядоченности языковой рефлексии, тем большей стилизации, препарированию и ограничениям подвергается — сознательно или непреднамеренно — языковой материал, по поводу которого эта рефлексия производится. Я категорически утверждаю (и надеюсь показать это в дальнейшем на ряде конкретных примеров), что нет такого языкового правила, обобщения, категории, относительность и неустойчивость которых не обнаружилась бы при достаточно близком взгляде на непосредственно наблюдаемый языковой опыт.

Мне кажется, что только приняв открытость и текучесть нашей жизни в языке, можно попытаться объяснить тот факт, что нам удается более или менее успешно справляться с множественностью и неповторимостью опыта, приносимого языковым существованием, — с тем, что каждый последующий момент приносит нам новое, никогда в точности до этого не встречавшееся и никогда более не повторяющееся переживание, адаптация к которому требует от нас пусть скромных, но всегда уникальных творческих усилий. То, что в этих условиях нам удается каким-то образом что-то «сообщить» и что-то «понять», что-то сформулировать и что-то узнать и отложить в памяти — хотя и не всегда с одинаковым успехом, и никогда с полным успехом, — представляется мне самой поразительной чертой феномена, который мы привыкли называть «языком». Какой бы интеллектуальной утонченностью и объяснительной силой ни обладала та или иная логически организованная модель языка, — она, уже в силу своего фиксированного характера, является заведомо недостаточной для того, чтобы объяснить этот растворенный в обыденности феномен, с которым мы встречаемся на каждом шагу, в каждое мгновение языкового существования. При всем интеллектуальном блеске и глубине результатов, накопленных лингвистикой на путях освоения языка как рационально построенного объекта, — я не могу не ощущать эти результаты как упрощение и снижение, сравнивая их с тем трудно заметным и все время ускользающим, динамическим аспектом нашего взаимодействия с языком, который сопровождает наше существование в языке в каждый его момент, на всем протяжении нашего жизненного опыта.

Итак, цель этой книги — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя, насколько это возможно, за языковым поведением и интуицией говорящих. Автор отдает себе отчет в том, что когда речь идет о языковой интуиции, то, как бы он ни стремился поверить свои наблюдения опытом других, в его распоряжении имеется в сущности только один интуитивный языковой опыт — его собственный. Ведь интуиция по самой своей природе идиосинкретична, пропитана характером лич-

ности, неотделима от всего строя ее жизни.

Однако это обстоятельство не кажется мне дисквалифицирующим все предприятие. Ведь наша языковая деятельность — то, как мы взаимодействуем через язык с своими собственными мыслями и мыслями других людей, — всегда индивидуальна, всегда пропитана неповторимыми чертами характера, памяти, воззрений, интеллектуальных и эмоциональных состояний каждого говорящего как личности. Сколько бы мы ни говорили о языке как социальном факте, об общих кодах, структурных правилах и конвенциях языкового поведения, разделяемых всеми «носителями» языка или теми или иными их подгруппами, в конце этой цепочки всегда оказываются действия личностей, которым каким-то образом удается претворить свой неповторимый опыт в нечто, способное быть воспринятым другими людьми и сделаться частью их столь же неповторимого опыта[11]. Каким образом этого удается достигнуть — об этом всякий может попытаться рассказать, исходя, в конечном счете, из собственных наблюдений и размышлений. Как и всякое языковое действие, такой рассказ может оказаться более или менее «успешным», то есть более или менее осмысленным для других людей, более или менее способным найти отклик в их сознании и сделаться частью их собственного опыта. Но как всякое языковое действие, он не может быть полностью отделен от личности рассказывающего.

Мне не хотелось бы, чтобы у читателя создалось впечатление, что автор, в своем стремлении избежать, насколько возможно, готовых организующих концепций языка, становится в позу идеального дикаря — этого создания эпохи Просвещения, чья эпистемологическая невинность была подвергнута последующими эпохами справедливому сомнению. Напротив: я глубоко убежден в культурно-исторической укорененности любой концепции — в том числе своей собственной. В связи с этим представляется полезным обсудить вопрос о том, какой смысл может иметь предлагаемый здесь подход к языку в контексте известных традиций и течений философской и лингвистический мысли.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА: МЕЖДУ «КОНСТРУКЦИЕЙ» И «ДЕКОНСТРУКЦИЕЙ».

Polonius. Though this be madness, yet there is method in't.
Shakespeare, «Hamlet», 11:2

Отношение к языку как «деятельности», сущность которой не тождественна ее объективированному «продукту», имеет длительную философскую традицию — в сущности не менее длительную и сильную, чем традиция упорядочивающего подхода к языку, хотя, быть может, в меньшей степени, чем последняя, ощущаемую в качестве единого направления.

Если говорить только о новом времени, истоки этой традиции можно видеть в критике Гердером рационалистических представлений картезианской эпохи и Просвещения о происхождении и сущности языка. Гердер выступил против обеих господствовавших в XVIII веке концепций языка: «естественной», выводившей язык из эмоциональных выкриков и звукоподражаний, которыми якобы обменивались первые человеческие существа, и «сверхъестественной», видевшей в языке идеальное целое, сразу и целиком оказавшееся в голове у говорящих. Согласно Гердеру, эти про-

тивоположные воззрения сходятся в подходе к языку как объективно данному феномену, общие свойства которого предопределены раз и навсегда[12]. В противоположность этому, Гердер представлял себе язык как непрерывное становление, никогда не достигающее целостной и законченной формы; каждое новое языковое действие исходит из предыдущего опыта и наслаивает на него новое усилие, в свою очередь оставляющее в этом опыте свой след[13]. Для Гердера процесс развертывания языка в условиях конкретного жизненного опыта и был сущностью языка, единственным способом его существования, а не несовершенной реализацией идеального состояния. Такое понимание, как увидим ниже, заключает в себе немало сходного с современными представлениями о гетероглоссии языкового акта (Бахтин) или картиной языка как палимпсестно наслаивающегося «письма» (ecriture) у Барта и Деррида[14].

Идеи Гердера оказали определяющее влияние на романтическую филологию, подчеркнувшую в феномене языка творческий и динамический аспект. Наиболее ярким проявлением этого подхода в начале XIX века явилось учение В. Гумбольдта о языке как духовной энергии, находящей уникальное творческое выражение в каждом акте употребления языка[15]; для Гумбольдта особенно характерна острота, с которой он ощущает вездесущее присутствие языка в духовной деятельности как отдельной личности, так и целого народа.

Несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились[16]. В лучшем случае последующие поколения лингвистов и философов заимствовали у Гумбольдта отдельные понятия — такие, как внутренняя форма слова или представление о воздействии строя языка на мышление говорящих (получившее в некоторых теориях XX века крайне вульгарное буквальное истолкование)[17]. В целом, однако, в теоретической и описательной лингвистике XIX — начала XX века возобладал позитивизм, видевший единственную цель изучения языка в создании максимально упорядоченного описания языковых форм в их историческом развитии либо современном употреблении. Кульминацией позитивистского подхода к языку явилось провозглашенное младограмматиками понимание языка как комплекса материальных форм, существование и развитие которых определяется непреложными правилами, имеющими силу «естественных законов»[18].

Причиной этому было, как мне кажется, не только то, что позитивизм вообще сделался в это время господствующей интеллектуальной силой, оттеснив либо переинтерпретировав идеи романтической философии, филологии и естественных наук. Причина была также во внутренней слабости динамического подхода к языку, не давшей этому подходу претвориться из общей философской идеи в лингвистический метод, из интеллектуально стимулирующей критики — в позитивный инструмент описания языка. При всей проницательности философских интуиций о природе языка как духовной «энергии» и о непрерывности развертывания языковой среды, сами по себе они не давали ответа на вопрос о том, как конкретно — в каких параметрах и категориях, с помощью каких приемов — язык может быть описан в таком качестве.

Здесь у рационалистически-позитивистского подхода оказывалось огромное преимущество, поскольку он опирался на громадную традицию описания языка в параметрах устойчивых, твердых, «закономерно» по-

строенных форм: традицию, идущую от латинских грамматик поздней античности и века схоластики,[19] через универсальные грамматики неоклассического века, через описание бытия языка в терминах безусловных «законов» в позитивистскую эпоху — к новейшим структурным и генеративным моделям языка, возобладавшим в XX веке. Конечно, каждый новый этап в развитии этой традиции сопровождался острой критикой заблуждений и недостатков предыдущего: лингвист XIX века, вдохновлявшийся идеей позитивистского «естественнонаучного» наблюдения над конкретными фактами, с пренебрежением смотрел на универсальную грамматику с ее голым рационализмом; лингвист XX века, с его верой в идеальную модель, построенную на отношениях, с таким же пренебрежением относился к вере своего позитивистского предшественника в собирание и сортировку изолированных фактов. Но при всех сменах исторической одежды, в которую наряжался рационалистический образ языка, из поколения в поколение передавалось отношение к языку как к заданному объекту (того или иного рода), построенному закономерным образом из заданных единиц. Главное же — передавалась по наследству сама «ткань», из которой могла быть скроена такая одежда: те элементарные единицы и способы их сочетания, из которых так или иначе могла быть составлена картина языка как устойчивого и упорядоченного предмета.

Вот почему, при всей неоспоримости философского авторитета динамического подхода к языку, этот подход имел крайне незначительные последствия для лингвистического описания в собственном смысле. Мысли Гердера и Ф. Шлегеля[20] об органической непрерывности становления и развития языка от доисторической древности до наших дней послужили основанием для возникновения исторической лингвистики;

но рассуждения Шлегеля о конкретных языковых формах отличались полной наивностью и справедливо были отброшены «серьезной» лингвистикой как дилетантские фантазии. История языка в XIX веке пошла по иному пути; она многого достигла в описании закономерных изменений материи языка, сделавшись в этом качестве одним из ярких проявлений позитивистской науки и разделив в конце концов ее судьбу.

Даже такие лингвисты, как Гумбольдт или Потебня, когда переходили к конкретным описаниям языкового материала, должны были пользоваться тем же понятийным аппаратом, тем же набором языковых единиц и категорий, что их философские антагонисты.

В начале этого века произошел огромный качественный скачок в изучении языка. Его суть состояла в осознании того, что язык представляет собой нечто большее, чем упорядоченный инвентарь форм, поскольку определяющую роль в нем играют не материальные элементы, а релятивные по своей природе знаковые ценности, отношения между которыми образуют структуру. Эта идея, с наибольшей полнотой и отчетливостью сформулированная де Соссюром, задала господствующее направление всей лингвистике XX столетия.

При всех различиях в конкретном строении разных структурных и генеративных моделей языка, развивавшихся на протяжении большей части этого века (1910—1970-х гг.) усилиями различных национальных школ и разных поколений, общим методологическим основанием для них служило представление о языке как идеальном, то есть недоступном непосредственному наблюдению, системном устройстве, интуитивное владение которым разделяют все говорящие на этом языке. Современная лингвистика воплотила этот подход в целом ряде детально разработанных моделей,

покрывающих все аспекты языковой деятельности, — от звукового строя речи до синтаксиса, семантики и прагматических аспектов коммуникации. Он получил также широкое применение при изучении словесных и несловесных художественных текстов, а в конечном счете — любых проявлений культурного поведения, в основании которых можно было усмотреть социально санкционированные знаковые коды и правила обращения с ними.

Вся эта грандиозная по своим масштабам и результатам работа совершалась не имманентно; она вписывалась в философский, эстетический, идеологический, социальный контекст (или контексты) своего времени. Взятые как целое, теории языковых и культурных кодов — от раннего структурализма и Формальной школы до генеративной грамматики и семантики, структуральной поэтики и семиотики культуры 1960—1970-х годов — ярко отразили «дух века» и в то же время явились одним из самых мощных его проявлений.

Конец XIX — начало XX столетия ознаменовались наступлением новой эпохи в истории мысли. Пожалуй, самой яркой ее чертой было стремление осуществить прорыв к трансцендентной сущности вещей, лежащей за пределами их эмпирического, непосредственно наблюдаемого, привычного существования. Эпистемологическая, эстетическая, этическая критика позитивизма, развернувшаяся на рубеже двух столетий, подорвала веру в непреложную достоверность непосредственно наблюдаемой реальности. В Англии, Германии, России появляются работы, подвергшие критическому анализу категории логики и языка познания, основания математики и естественных наук и показавшие их релятивность в качестве конструктов мысли, в основании которых лежат определенным образом сформулированные исходные посылки[21]. Новая эпистемологическая позиция не замедлила реализоваться в новых теориях в математике, физике, биологии, совершенно изменивших конвенциональную картину мира. Параллельно с этим в начале века возникает множество радикально новых художественных систем, смело отвергавших и переформулировавших принципы, казавшиеся непреложными основаниями искусства, — будьте предметность изображения, тональная основа музыки или опора на конвенциональный язык в словесном искусстве. И наконец, это было время социальных идей и движений, ставивших целью переустройство общества на кардинально новых основаниях. Одномерная эмпирическая реальность позитивизма, состоящая из твердых «фактов», которые предстоит лишь собрать и расставить по надлежащим местам, уступила место релятивному миру идеальных сущностей, образ которого на глазах создается и пересоздается концептуализирующей мыслью. И в научных концепциях, и в эстетической практике модернизма сильно ощущается стремление вырваться из повседневного опыта, со всеми диктуемыми последним привычными представлениями. В наиболее радикальных своих проявлениях эта позиция доходит до утверждения полной свободы от каких-либо внешних условий существования — вплоть до возможности победы над смертью, подчинения времени и пространства воле человека, радикального преобразования лица земли и духовного мира людей, не говоря уже о ничем не ограниченной переделке социальных и языковых конвенций (вспомним о футуристическом проекте всемирного языка), художественных ценностей, всего склада повседневной жизни.

Однако модернизм, или по крайней мере то его доминантное течение, о котором сейчас идет речь, сознавая сам себя антагонистом позитивизма, в сущности вырастал из предыдущей эпохи и унаследовал многие ее черты.

Эта внутренняя, по большей части не сознаваемая связь с позитивистским наследием проявилась в том, как модернизм представлял себе идеальную сущность вещей и способы ее постижения. Я бы сказал, что модернизм, жестоко разоблачив и осмеяв позитивистскую веру в непреложную заданность «фактов», по сути разделял эту веру со своим «наивным» предшественником — с той лишь разницей, что на смену непреложности эмпирических фактов пришла непреложность идеальных концептов. Мир идеальных конструктов сделался для модернистской мысли своего рода новой объективированной реальностью, принимавшейся как такая же безусловная данность, какую позитивизм видел в «объективных фактах».

Конечно, вера в конструкты по самой своей природе более релятивна, чем вера в факты. Одна концептуальная система может быть заменена другой, или сосуществовать с ней в качестве альтернативных моделей. Но каждая такая отдельно взятая модель конструируется как фиксированный объект, структура и свойства которого определяются ее исходными посылками с такой же непреложностью, с какой предметы в глазах «наивного» позитивистского наблюдателя были заданы очевидностью их материального наличия. Новая эпоха открыла окно в трансцендентный надэмпирический мир — но за этим окном оказались такие же твердые «предметы», подлежащие упорядочивающему описанию и классификации, только наблюдение нужно было вести при помощи концептуализирующей мысли, а не эмпирического зрения[22].

Ученый модернистской эпохи мог бы сказать о себе словами Пикассо: «Je ne recherche pas, je trouve». Заключенная в этих словах гордая уверенность в ничем не ограниченной способности творческой мысли завоевать и пересоздать действительность в равной мере относится и к художественному, и к научному сознанию того времени. Однако эта, казалось бы, ярко «авангардная» черта заключала в себе парадоксальное сходство с сознанием позитивистской эпохи. Ученый-антипозитивист и ученый-позитивист сходились в том, что им обоим не нужно было «искать» свой предмет: он оказывался задан с полной отчетливостью и очевидностью, для первого — эксплицитно сформулированными исходными параметрами конструируемой модели, для второго — непосредственным наблюдением. Оставалось только привести этот предмет в надлежащий порядок; а что такое этот «надлежащий порядок» — в этом опять-таки между нашими антагонистами обнаруживалось любопытное сходство. Сходство это определялось самим фактом объективированной заданности предмета изучения.

Если предмет описания существует для нас в качестве «твердого», объективированного, всегда самому себе тождественного феномена, его описание может и должно руководствоваться универсальными принципами связности, единства, непротиворечивости, экономности, полноты — принципами, со времен Декарта (если не Аристотеля) повсеместно признаваемыми необходимым «методом» научного познания такого рода предметов. Поэтому структурная модель, как и позитивистская классификация, которой она пришла на смену, исходит из необходимости соблюдать, хотя бы в качестве конечного идеала, единство строения предмета; избегать логических противоречий и пересечений, то есть того, чтобы об одном и том же объекте иметь разные, логически несовместимые суждения; избегать скачков, то есть ситуаций, когда последующее состояние не выводится предсказуемым образом из предыдущего; быть рационально и по возможности экономно построенной и в то же время покрывать свой предмет с максимально возможной полнотой. Другое дело, что можно за-

дать вопрос: почему мир языковой мыслительной деятельности должен описываться на основаниях, действительных для предметов, на которые этот мир заведомо и очевидно не похож? Однако такой вопрос даже не возникал, поскольку теоретическая мысль новой эпохи с самого начала «нашла» свой предмет, сконструировав его таким образом, чтобы задавать такие вопросы не было нужды и повода. Идея о том, что предмет научного описания может не иметь единой сущности, возвышающейся над всей разрозненностью и бесконечной изменчивостью его конкретных воплощений; что само это отсутствие организующего центра, разрозненность и непостоянство и есть его сущность, — такая идея была в равной мере чужда господствующему направлению в науке о языке как минувшего, так и нынешнего века.

Поэтому же структурная модель языка с такой легкостью и естественностью заимствовала категории и параметры, в которых описывается язык, из таксономического инвентаря предыдущей эпохи, лишь транспонировав их в мир идеальных релятивных таксономий. Звук преображается в фонему, наборы «этимологических форм» (как их называли в XIX веке) — в структуру морфологических парадигм, «формы словосочетаний» и «члены предложения» — в синтаксические схемы и функции, словарные единицы и их толкования — в лексемы и семемы. Я не хочу сказать, что этот процесс не заключал в себе ничего, кроме механического переписывания из одних понятийных конвенций в другие: несомненно, рассмотрение всех этих единиц на абстрактно-реляционном уровне позволило обнаружить много нового и далеко продвинуло лингвистику на избранном ею пути. Для меня, однако, выглядит симптоматичным тот факт, что сам принцип членения языка именно на такие «единицы», унаследованные от позитивистской науки, не подвергнулся сомнению; было, конечно, немало частных ревизий того, из каких и скольких компонентов складывается языковой механизм, но в принципе инвентарь базовых единиц, в которых мы мыслим описание языка, остается — с поправкой на абстрактное их отображение — тем же, что в XIX веке.

Сама бескомпромиссность, с которой новое направление мысли противополагало себя «позитивизму», оказывалась интеллектуальной ловушкой. «Новый мир» идеальных ценностей, построенный как диаметральная противоположность «старого», оборачивался его близнецом-антиподом (или, если угодно, «обратной перспективой»)[23]. Идеальное оказывалось противоположным, а не внеположным эмпирическому.

Бескомпромиссное разделение «внешнего» и «внутреннего»[24], релятивного и предметного, всеобщего имманентного порядка и его индивидуальных реализаций в конкретных условиях получило терминологическое обозначение, в различных вариантах теории, как противопоставление langue vs. parole, competence vs. performance, кода и сообщения. Расхождения могли касаться того, какие конкретные аспекты языковой деятельности относить к одному либо другому из этих полюсов — например, составляет ли «прагматический» аспект часть языкового устройства, либо относится к внешней речевой реализации последнего, — но не сам этот принцип, согласно которому разрозненное эмпирическое бытие предмета восходит к его скрытой внутренней сущности. В этой оппозиции эмпирический материал выступает в роли косной среды, подлежащей завоеванию концептуализирующей мыслью, — своего рода враждебного хаоса, относительно которого необходимо найти правильную идею, способную обнаружить в нем разумный конструктивный порядок. Если в эмпирическом опыте имеется

нечто, по самой своей природе не поддающееся такому концептуальному очищению, — эта часть опыта отбрасывается как несущественная, либо попросту остается незамеченной.

Нет ничего более эмпирически очевидного, чем тот факт, что каждый случай употребления какой-либо языковой формы в речи каждого отдельного говорящего уникален и никогда в точности не повторяется: меняется контекст, среда, физическое и эмоциональное состояние говорящего, его прошлый опыт и опыт всех тех людей, с которыми он вступает во взаимодействие; все это влияет и на понимание формы, и на ее физическое воплощение. Но принять этот факт во всей его полноте, а не в каком-либо заранее ограниченном объеме, — значит распроститься с идеей создать модель языка как устройства, которым все говорящие на данном языке руководствуются в различных проявлениях своей языковой деятельности. Поэтому отрывочность, разнородность и изменчивость нашего повседневного языкового опыта оценивается как нечто вторичное и производное по отношению к организованному и стабильному ядру структурных правил: как внешний «шум», сквозь который изначальному порядку удается пробиться с большими или меньшими потерями. В этом модернистское мышление сходилось с позитивистским, для которого разрозненность и подвижность эмпирического мира также была нестерпимой, поскольку она противоречила представлению о фиксированных, всегда самим себе тождественных фактах[25].

Другой чертой, которую мышление абстрактными конструкциями унаследовало от позитивизма, было стремление к безличной объективности. Изучение предмета призвано было раскрыть его имманентную сущность, заключенную «в себе и для себя» (согласно знаменитой формуле Соссюра) и не зависящую ни от личности познающего субъекта, ни от личности того, чье «употребление» предмета для нужд и в условиях его жизни поставляет сырой материал для концептуальной модели. Субъективность представляется пороком, обесценивающим описание; в ней видят проявление того самого хаоса и разрозненности эмпирического существования, борьба с которыми и преодоление которых составляет главную цель научного осмысливания предмета. Представление о том, что «истинная сущность» предмета не существует «в себе и для себя»[26], но неотделима от позиции субъекта по отношению к этому предмету[27] и изменяется вместе с этой позицией, равным образом чуждо исследователю, мыслящему свой предмет в категориях абстрактной конструкции либо эмпирической классификации.

Наконец, еще одна характерная черта модернизма, на которую мне хотелось бы обратить внимание, — это культ «нового», понимаемого как полная и бескомпромиссная противоположность «старому». Модернистское самосознание предполагает постоянную борьбу против рутины, привычки, автоматизма повседневного мышления и существования. Конечно, наличный материал — будь то языковые «единицы» или литературные «приемы» — многократно используется, но используется именно в качестве строительного материала, из которого всякий раз требуется что-то построить заново: только так возможно противостоять мертвящей «автоматизации», которая постоянно грозит превратить мысль в бессмысленную рутину. Новое все время борется со старым, деавтоматизированное — с автоматизированным, как жизнь и смерть, как Ормузд и Ариман[28]. Применительно к языку такое мироощущение ведет к убежденности в том, что каждый говорящий в каждый момент языковой деятельности заново соз-

дает, пользуясь известными ему правилами, новые речевые построения из первичных строительных элементов. Тот факт, что и в своей, и в чужой речи мы то и дело встречаем хорошо нам знакомые, вновь и вновь повторяющиеся (в точности либо с вариациями) речевые блоки, текстуальные фрагменты, цитаты и полуцитаты, которые мы все помним и немедленно узнаем, при всей своей эмпирической очевидности, либо совсем игнорируется, либо оттесняется на' периферию картины языка, под такими характерными именами, как «клише», «формулы», «шаблоны», «идиомы». Подразумевается, что речь, изобилующая «шаблонами», — это плохая, неценная речь; это та рутина, которая постоянно нарастает, как ржавчина, на поверхности языка, мешая созданию «новых» построений.

Модернистический антипозитивизм, обернувшийся «неопозитивизмом», являл собой, быть может, наиболее энергичную и целеустремленную, но никак не монопольную интеллектуальную силу своей эпохи, особенно в ее начале. Другим проявлением кризиса эмпирического знания стала мощная волна неоромантического идеализма, стремившегося не столько перестроить позитивистские классификации в новые абстрактно-реляционные порядки, сколько утвердить принципиальную внеположность идеальных ценностей любой механически упорядоченной системе. Эпоха начала века стала свидетелем возрождения динамического подхода, стремившегося представить различные жизненные процессы, и в особенности духовную жизнь, в виде непрерывно развертываемой «длительности», не укладывающейся в параметры какого бы то ни было фиксированного устройства. Читатель понимает, что я имею в виду в первую очередь идеи «длительности» и «творческой эволюции» А. Бергсона, которые мне представляются наиболее обобщенным философским выражением этого направления мысли[29]. В 1900—1920-е гг. идеи Бергсона получили широкий отклик как в естественных науках (прежде всего, в «неоламаркистской» биологии), так и, в особенности, в различных художественных явлениях и теоретических системах, относящихся к вопросам языка и эстетики, — от Пруста и Мандельштама до К. Фосслера[30] и Л. Шпитцера, Г. Шухардта и Н. Марра,[31] Бахтина и Э. Ауэрбаха.

Стремление преодолеть биполярную протипоставленность идеальной сущности вещей и их эмпирического бытия, сознающего себя субъекта и окружающей его среды являлось также определяющей чертой русской философской мысли начала века. Ее истоком послужила критика В. Соловьевым западноевропейской философской традиции, все развитие которой, по мысли Соловьева, не способно было выйти из русла этой оппозиции, попеременно склоняясь то к одному, то к другому ее полюсу[32]. В эпоху своего расцвета (1900—1910-е гг.) русской идеалистической философии удалось создать картины общественной и душевной жизни человека, вырывающиеся из рамок дилеммы эмпирического — рационального. Из этой философской основы вышли два явления 1920—1930-х гг. в области изучения языка и мысли, к которым я ощущаю особую близость и на которые мне еще не раз предстоит ссылаться: концепция гетероглоссии и диалогической открытости коммуникативной деятельности Бахтина и наблюдения Выготского над динамическим характером внутренней речи в ее соотношении с мышлением. Я уже не говорю о таких художниках, как Мандельштам, Пастернак, Кандинский, высказывания которых о природе языка и образного мышления, при всей своей идиосинкретичной метафоричности, представляют собой важное явление в истории филологической и эстетической мысли начала века.

Однако судьба тех явлений в философии, филологии и эстетике, которые я бегло здесь упомянул под именем «идеалистических», в XX веке оказалась сходной с судьбой романтической филологии и эстетики в предыдущем столетии. Идеи идеалистического направления частично были дискредитированы в качестве «ненаучных» фантазий (каковыми они, по правде сказать, иногда и оборачивались при соприкосновении с конкретными фактами), частично усвоены господствующим направлением, приобретя в этом контексте совершенно иной дух и иную направленность[33], а более всего — попросту забыты на несколько десятилетий.

Глубокая критика оснований лингвистического структурализма и формального метода в работах Бахтина и его школы стала одной из движущих сил в пересмотре наследия структурализма в 1970-е годы; замечания Выготского по поводу рационалистической абстрактности теории развития Пиаже, игнорирующей роль коммуникативного аспекта в развитии внутреннего мираличности, предвосхищают критический разбор этой теории Лаканом в 1960-е годы. Но должно было пройти 40 лет, прежде чем эти идеи вышли на авансцену интеллектуальной жизни. Что касается значения в современном контексте идей русской философии начала века или таких лингвистов, какфосслерили Марр, то эта проблема и сейчас ждет историко-культурного рассмотрения. К 1930-м годам рационалистический «конструктивизм» одержал решительную победу в качестве господствующего направления мысли новой эпохи. Пожалуй, нигде эта победа не была такой полной и не реализовала себя с таким размахом и такой последовательностью, как в области изучения языка.

Достижения структурной и генеративной лингвистики и семиотики отнюдь не умаляются тем фактом, что они несут на себе отпечаток характерных черт своей эпохи, с ее трансцендентными «зорями», острым релятивизмом, нетерпеливым стремлением завоевать мир сверхреального, утопическим ощущением безграничных возможностей творческой воли, пересоздающей мир, и агрессивно-враждебной позицией по отношению к «косному» существованию, не освоенному и не преображенному концептуализирующим сознанием. Напротив — в моих глазах это придает им более широкое значение, в качестве одного из самых впечатляющих проявлений того века, которому они принадлежат. Однако наблюдателю, смотрящему на этот феномен извне, как на историческое прошлое, становятся заметны противоречия и умолчания в тех пунктах, мимо которых минувшая эпоха проходила не замечая, но которые открываются взгляду в иной исторической перспективе.

Эти бреши в интеллектуальной ткани модернизма, казавшейся неизнашиваемой (поскольку она была соткана не из материи, но из релятивных ценностей), стали обнаруживаться с полной явственностью к концу 1960-х и в особенности в 1970-е годы. В это время — раньше всего во Франции, затем повсеместно — развернулась критика структурной модели языка, литературного текста и культуры. Новые интеллектуальные и художественные течения, возникавшие из ревизии модернистского наследия, именовали себя «постмодернизмом» или «постструктурализмом» — имена повсюду ныне употребляемые, но, к сожалению, крайне ненадежные, в силу невероятной размытости тех значений, которые каждый готов в них вкладывать; впрочем, сама эта разбросанность и ненадежность смысла является характерной приметой нового направления. Как бы там ни было, постмодернистская «деконструкция» философских основ структуральной лингвистики, поэтики и семиотики имеет самое непосредственное отноше-

ние к нашему обзору, поскольку именно ей мы обязаны тем, что слабости и противоречия рационалистического подхода к языку, о которых говорилось выше, выявились с такой отчетливостью.

Важнейшей чертой нового направления можно считать отказ от принципа конструктивного единства и упорядоченности как конечного идеального состояния, к которому моделирующая мысль стремится прорваться сквозь «хаос» эмпирического бытия. Эклектизм, непоследовательность (действительная непоследовательность, а не преднамеренно построенная ее симуляция; действительные противоречия, а не «принцип противоречий» как организующий прием), отрывочность описаний, заведомая неокончательность результатов, отсутствие единой позиции и единого концептуального языка перестали быть отрицательными свойствами. Напротив — современный взгляд встречает с недоверием и скептицизмом всякое слишком чистое и последовательное проявление «логоцентрического» порядка в научных рассуждениях, равно как и в художественном стиле[34]. Во всяком феномене в первую очередь ценится его многосоставность, соприсутствие разнородных и разноречивых компонентов, тенденций, голосов.

Конечно, и само структурное направление к этому времени потеряло тот напор бескомпромиссного детерминизма, который можно почувствовать у Соссюра, в ранних работах ОПОЯЗ'а, трудах Якобсона в области лингвистики и поэтики, философской критике повседневного языка у Карнапа и молодого Виттгенштейна, стадиальной типологии развития сознания Пиаже, эстетике Адорно. В работах последних 25—30 лет, даже тех, которые стремятся сохранить верность принципу структуры, этот принцип получает все более смягченное и недетерминированное воплощение. Речь больше не идет о единой системе, или организованной в некое сверхъединство «системе систем»; подчеркивается возможность и даже необходимость сосуществования разных, принципиально несогласованных между собой механизмов, интерференция между которыми придает результирующему процессу открытый и полностью не предсказуемый характер[35]. Все большее размывание структурной модели ведет к тому, что сам принцип абсолютного концептуального центра постепенно теряется, так что оказывается невозможным, да и ненужным, провести черту, за которой заканчивается «структурализм с человеческим лицом» и начинается собственно постструктуральный мир.

Однако наиболее радикальные провозвестники новых верований, такие как Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт, Ж. Кристева, П. де Ман, отрицают языковой и культурный «порядок» как принцип, даже в самом смягченном и гибком его выражении. В этом они проявляют такую же целеустремленность и бескомпромиссность, какая характеризовала их, ныне столь жестоко разоблаченных, предшественников и антиподов модернистского века. Речь не идет о возможности сосуществования или конкуренции различных систем, действующих на основании различных принципов и правил: снимается сам принцип огранизованной системы и вытекающее из него иерархическое отношение между центральным и периферийным, всеобщим и частным, закономерным порядком и случайностью.

Так, согласно Барту, всякое описание текста, как и вообще всякое его прочтение, не «конструирует» текст, но напротив, «деконструирует» его[36]. Барт иронизирует над готовностью критиков «великодушно» признать, что текст может заключать в себе несколько разных смыслов и обладать определенной степенью свободы; его критика направлена против «объективного значения» и «определенности» чего бы то ни было как принципа[37].

В том же ключе Ж. Кристева и ее последователи разрабатывают понятие «интертекста», предложенное ею (под влиянием идей Бахтина)[38] в 1969 году[39]. В отличие от выдвинутого восточноевропейской школой понятия подтекста, обнаружение которого призвано прояснить дотоле скрытую связь между отдельными элементами текста, концепция интертекста направлена на разрушение «мифа» о единстве и целостности текста.[40]

Наконец, понятие «письма» *(ecriture},* занявшее центральное место в работах Деррида и Барта конца 1960 — начала 1970-х гг., положило конец традиционному разграничению «языка» как системы и «речи» как совокупности отдельных актов ее реализации. Вырываясь из оппозиции langue vs. parole, понятие «письма» изображает языковую деятельность как непрерывный процесс, не знающий ни начала, ни конца, ни дискретных фаз и состояний; каждое новое высказывание «пишется», как палимпсест, поверх предыдущих высказываний. Не существует и никогда не существовало — ни в качестве доисторической исходной точки, ни в качестве теоретического идеала — некоего «чистого» состояния, которое не было бы уже палимпсестом. В этом смысл утверждения Деррида, на первый взгляд парадоксального, что письмо (в таком его понимании) существовало прежде языка — существовало, говоря специфическим языком этого философа, «всегда уже»[41]. Деррида высмеивает представление о целостности языкового феномена, называя эту мнимую целостность «вторичной девственностью»[42].

Отказ видеть в тексте или языке какой-либо окончательный «секрет», объективно в нем заключенный и подлежащий дешифровке, приводит постструктуральную теорию к революционному отрицанию авторитета объективности и рациональной организованности как критериев исследования[43]. Острие иронии Барта направлено на тех представителей гуманитарного знания, которые запоздало открыли для себя идеал позитивистской науки и стремятся сделать описание языка и культуры последним ее бастионом[44]. Само собой разумеется, что под «позитивизмом» Барт понимает не только лингвистику, философию языка и литературную критику XIX века, но также — и даже прежде всего — структуральный метод, в котором он усматривает прямое продолжение позитивистской идеологии.

Сказанного здесь вкратце кажется достаточным[45], чтобы почувствовать огромный заряд интеллектуальной энергии, заключенный в новом направлении и его идеях. При всем том, «постмодернистическая революция», подобно своей модернистической предшественнице, слишком целеустремленна, слишком остро направлена, по крайней мере в центральных своих проявлениях, в сторону «деконструкции», чтобы не вызывать ощущение известной односторонности. В языковой деятельности подчеркивается не просто неинтегрированный, но антагонистический аспект[46]; во всякой интерпретации — «творческая» произвольность;[47] сама позиция исследователя демонстративно характеризуется отсутствием «метода» и какой бы то ни было «надежности»[48].

П. де Ман, сравнивший идеи Барта о множественности и неинтегрированности языкового значения с «коперниковской революцией», подчеркивает, что работы Барта следует читать как «интеллектуальное приключение», а не попытку выработать метод исследования[49]. Однако то, что было захватывающим «приключением» при своем зарождении, с течением времени все более обнаруживало в себе иные черты. Само стремление занять позицию, диаметрально противоположную своим предшественникам, заключает в себе опасность повторения — в парадоксальной «обратной

перспективе» — тех самых их черт, на которые направлено острие критики. Категорическое отрицание интегрированное™ и упорядоченности предмета исследования ведет не к освобождению от детерминизма, но — по известному принципу схождения крайностей — к новой негибкости и своего рода негативному детерминизму. Полное уничтожение «конструкции» имеет результатом то, что сама «деконструкция» становится абсолютом, жестко — и вполне предсказуемым образом — диктующим, как «следует» обращаться с интерпретируемым объектом. Ученому новой формации не приходится долго «искать» в избранном предмете мозаичность, противоречия, гетероглоссию, всевозможные смысловые игры; он «находит» их с такой же неотвратимостью, с какой его предшественник находил в том же предмете структуры, инварианты, бинарные оппозиции. Императив деконструирования заменяет собой императив конструирования, оказываясь — как о том свидетельствуют бесчисленные постструктуральные сочинения последних 20 лет — ничуть не лучше, если не хуже, старого режима в отношении жесткости и униформности.

Второе следствие чрезмерной жесткости «деконструктивной» критики состоит в том, что ей приходится отделываться общими декларациями, либо даже прямо отступать, как только речь заходит не о литературном тексте, не о процессах в верхнем слое культуры, но об обыденном языке и его повседневном употреблении. В самом деле, когда мы анализируем художественное или интеллектуальное языковое произведение высокой ценности, имевшее широкий резонанс и длительную жизнь в истории культуры, в нем нетрудно обнаружить, при соответствующем подходе, борьбу разных голосов, противоречивых идеологий, множественных источников, разнонаправленных интенций, разрывающих единство текстуальной ткани. Взаимодействуя с бесчисленными читателями, критиками, последователями, каждый из которых в свою очередь выступает во всей многосоставности своего мира, такой текст движется в бесконечном континууме трансформаций-прочтений, в которых неинтегрированная множественность его смысла если не возрастает буквально, то по крайней мере все время обновляется. Постструктуральная философская и литературная критика дала блестящие образцы анализа текстов такого рода, от Руссо и Фрейда, Соссюра и Леви-Стросса до Бальзака и Достоевского. Но что в этом отношении можно сделать с ординарным, ничем не примечательным языковым обменом, который совершается мимолетно, между конкретными говорящими, в конкретной и недвусмысленной, непосредственно им известной ситуации, и так же мимолетно исчезает, не задерживаясь в памяти, после того как он выполнил свою сиюминутную задачу? «"Который час?" — "Половина девятого"» — перед таким «текстом» способна отступить самая свирепая деконструкция. В коммуникации такого рода нелегко обнаружить интертекстуальное взрывание смысла, гетероглоссию, столкновение противоречивых позиций; не видно в ней также никакого потенциала дальнейшего развертывания интерпретационного процесса — хотя бы уже в силу того, что ни сами говорящие, и никто другой о ней не будут помнить через несколько минут.

Можно наблюдать, как многие работы, посвященные критике структурного подхода, обходят эту трудность тем, что локализуют объект своей критики таким образом, чтобы материал, по-видимому не поддающийся деконструирующему анализу, остался за его пределами. Так, Барт и Кристева прямо противопоставляют свойства литературного текста и обыденного языка: первый, в качестве неинтегрированного объекта, становится

достоянием «литературы» или «семиотики», в их постструктурном понимании, второй — оставляется в ведении «лингвистики», с ее кодами и структурами[50]. Аналогичным образом Бахтин, как известно, строил свою теорию гетероглоссии в применении к одному литературному жанру — роману; диалогическая открытость романа оттенялась замкнутостью и структурным детерминизмом, свойственным, по его мнению, другим жанрам[51]. Понятие «письма» у Деррида в принципе, конечно, относится ко всякой языковой и вообще знаковой деятельности. Но в своих анализах Деррида никогда не покидает мир авторов и текстов, отмеченных яркой индивидуальностью и высоким культурным престижем. Любопытным образом деконструктивный анализ оказывается неотделимо прикреплен — хотя часто в негативной и парадоксальной форме — к тому самому «логоцентрическому» ценностному канону, разоблачение которого составляет основу его существования.

То же можно сказать и о целом ряде работ, лежащих за пределами собственно постструктурализма, но также направленных на выявление центробежного, многонаправленного, подвижно-текучего характера процессов, протекающих в сфере языковой деятельности. Можно вспомнить в этой связи Выготского, которому принадлежали проницательные наблюдения над тем, как речь ребенка строится на основании конкретных образцов, а не логических параметров и правил; однако из этих наблюдений исключалась «взрослая» речь — в лучшем случае в ней признавалось присутствие «остатков» того состояния языковой деятельности, которое Выготский считал специфически «детским»[52]; в других случаях он аналогичным образом противопоставляет «внутреннюю речь», с ее летучим и идиосинкретичным характером, и «внешнюю» речь как обладающую объективированными свойствами, соответствующими конвенциональным лингвистическим представлениям. Можно также упомянуть работы последних 20 лет, в которых были обнаружены и описаны интересные свойства «устной» или «разговорной» речи, сильно отклоняющиеся от традиционных представлений о том, что можно считать «нормальной» морфосинтаксической структурой высказывания; но и в этом случае положение спасается тем, что данные наблюдения противопоставляются идее «кодифицированного» (или письменного) языка, предположительно работающего по законам традиционной лингвистической модели[53]. Наконец, следует также назвать в этой связи интереснейшие работы о культуре памяти в античную и средневековую (то есть допечатную) эпоху, рисующие картину культуры как коллективного мнемонического фонда, в котором фактически стирается грань между старым и новым, точным и приблизительным воспроизведением, цитацией и оригинальным высказыванием[54]; однако и здесь описание сопровождается оговоркой, что такая ситуация, по-видимому, отличается от того, как осуществляется хранение и языковая передача мыслей в современном мире.

Возникает ощущение, что авторы, открывшие новые горизонты в понимании подвижной неинтегрированности мира мысли и ее языкового воплощения, избегают углубляться в предмет, с наибольшим трудом поддающийся деконструктивному переосмыслению. Таким предметом оказывается повседневный язык, лишенный какой-либо примечательности и изобретательности, употребляемый «здесь и сейчас», для сиюминутных нужд, и в связи с этим обладающий разумной степенью интегрированности, соответствующей этим нуждам. Современный «кодифицированный» повседневный язык — не художественное языковое творчество, не дет-

ская или внутренняя речь, не мимолетные разговорные реплики, не средневековая мнемоническая традиция — с наибольшей прочностью, кажущейся неотвратимой, остается укорененным в наших традиционных представлениях как упорядоченный феномен, подлежащий действию единых и общеобязательных правил. Устойчивость «логоцентрического» представления об устройстве языка, покоящаяся и на громадных достижениях лингвистической науки, и на лингвистическом «здравом смысле», почерпнутом из школьного языкового учебника, так велика, что даже постмодернистская мысль оказывается не в состоянии ее поколебать. Децентрализованный динамический подход с готовностью устремляется в относительно ясно очерченные, ограниченные области языковой деятельности, не затрагивая, либо в лучшем случае скользя по поверхности того, что, как мне кажется, составляет квинтэссенцию всей проблемы — языка в его повседневном конвенциональном употреблении. В постструктуральном космосе повседневное языковое существование оказывается «черной дырой» — неким негативным объектом, сила тяжести которого настолько велика, что делает невозможной эманацию центробежной энергии, которая могла бы попасть в поле зрения постструктуральной теории.

Языковой феномен, обладающий высокой степенью индивидуации, имеющий, ввиду его высокой ценности, продолженное существование в фонде культуры, с большей легкостью поддается анализу в терминах как структуральной, так и постструктуральной теории. Феномен такого рода находится как бы на пьедестале, открытый наблюдению с самых разных точек. Эта привилегированная выделенность из общего потока языкового существования позволяет с относительной легкостью его обозреть, а значит, и увидеть в нем те черты, которые соответствуют позиции самого наблюдателя, — будь то определенная идеологическая направленность или отсутствие таковой, наличие четкой композиционной конструкции и всевозможных повторов и параллелизмов или отсутствие единства и фрагментарность, подтекстная парадигматичность или интертекстуальная открытость. Что касается любого самого ординарного акта «бытового» общения, то пропитывающие его всевозможные источники и прецеденты, восходящие к предыдущему опыту говорящих, безгранично широки и идиосинкретично связаны с жизненным опытом, духовным и эмоциональным миром каждой личности. В то же время степень осознанности всех этих источников самими говорящими, а значит, и степень преднамеренности их использования значительно ниже, чем в художественном тексте, создание которого (и понимание которого как творчески созданного целого) составляет предмет целенаправленных усилий как автора, так и его аудитории. То же можно сказать о жанровых рамках бытового сообщения, «голосе» автора, который им проецируется, референтных полях, к которым оно отсылает. Прояснить это размытое, смутное, грандиозное в своей анонимности смысловое поле, окружающее всякий «бытовой» текст, представляется мне задачей едва ли не большей исследовательской сложности, чем анализ художественного текста, заведомо построенного с известной продуманностью и широко использующего в качестве своих источников более «ценный» (а значит, и более рельефно запечатленный в культурной памяти) материал.

Подведем итог нашего обзора. Мы видели, что попытки посмотреть на язык как на открытый процесс, а не построенный объект, проходят через всю историю философской, лингвистической, эстетической мысли последних двух столетий. Однако, как правило, эти попытки останавливаются пе-

ред трудностью реализации этой общей философской идеи в конкретном описании повседневного языка. Ведь всякое описание, в силу самой своей природы, предполагает некоторое упорядочение, обобщение и стабилизацию. Дать упорядоченную картину языка как динамической сущности, состоящей из индивидуальных и неповторимых творческих действий, нарисовать эту картину так, чтобы она сделалась объективированным предметом научного наблюдения, описания и критики, представляется крайне затруднительной, если не вовсе неосуществимой задачей. Поэтому обычно динамический подход к языку гораздо лучше проявляет себя в критике лингвистического позитивизма и рационализма, построенной на общих рассуждениях и избранных примерах, чем в положительной дескриптивной реализации своей собственной программы. В итоге такой подход, заняв почетное место в философии языка и эстетике словесного творчества, не смог оказать существенного влияния на стратегию описания и понятийный аппарат лингвистики, на те фундаментальные единицы и принципы работы с ними говорящих, в которых и теоретическая лингвистика, и школьное лингвистическое сознание традиционно мыслят феномен языка.

Задача, которую я ставил перед собой в этой книге, состоит в том, чтобы выработать такой динамический подход к языку, который мог бы получить широко разработанную дескриптивную реализацию. Мне хотелось не просто подчеркнуть динамически-текучий и творчески-субъективный аспект языковой деятельности в качестве общего философского принципа, но выделить и описать те конкретные приемы, из которых этот процесс складывается, те категории, в которых он протекает. Я сознаю, что в такой постановке проблемы заключено внутреннее противоречие, — но не вижу возможности продвинуться к намеченной цели, без того чтобы принять это противоречие как данность. Читатель сможет судить, насколько автор, в погоне за летучестью языкового вещества, потерял стабильность и организованность предмета, или напротив, насколько он, в стремлении такую стабильность сохранить, вынужден был вступить в противоречие с собственными исходными посылками. При всех обстоятельствах, мне представлялось важным хотя бы сформулировать поставленную здесь задачу, если не разрешить ее,

Дать эксплицитную картину языковой деятельности как непрерывного движения, не прибегая для этого к наперед заданной фиксации объекта; развернуть такое отображение нашего опыта владения языком и употребления языка, в котором открытость и текучесть предмета не растворила и не редуцировала бы его до полной случайности и бесформенной неупорядоченности, а выступила бы в качестве позитивного и необходимого принципа его работы, — такова задача, которую мне хотелось бы сформулировать в качестве если не «единственно истинного», то во всяком случае возможного и законного объекта лингвистики.

ЧАСТЬ I. В СТОРОНУ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ: В КАКОМ СМЫСЛЕ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРОЙ?

* * *

Эта книга была начата осенью 1989 года, которую автор проводил в (Западном) Берлине. Я был свидетелем того, как открылась берлинская стена — одно из самых поразительных воплощений идеала имманентной упорядоченности, которого надеются достигнуть путем герметического замыкания «объекта»: идеала, имевшего такую сильную притягательность и такое множество воплощений в ныне уходящем веке. И хотя книга была задумана задолго до этого события, в моем представлении она остается неотделимой от той «среды», в которой она сделала первые шаги к своему осуществлению, — берлинского ноябрьского пейзажа 1989 года.

Глава 1. ПОВСЕДНЕВНОЕ БЫТИЕ ЯЗЫКА И МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ

1. 1. ИНТУИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ.

> *F. P. Ramsey hat einmal im Gespräch mit mir betont, die Logik sei eine «normative Wissenschaft». Genau welche Idee ihm dabei vorschwebe, weiß ich nicht; sie war aber zweifellos eng verwandt mit der, die mir erst später aufgegangen ist: daß wir nämlich in der Philosophie den Gebrauch der Wörter oft mit Spielen, Kalkulen nach festen Regeln vergleichen, aber nicht sagen können, wer die Sprache gebraucht, rnusse ein solches Spiel spielen.... Während die Logik doch nicht von der Sprache — bezw. vom Denken — handelt in dem Sinne, wie eine Naturwissenschaft von einer Naturerscheinung, und man hochstens sagen kann, wir konstruieren ideale Sprachen. Aber hierware das Wort «ideal» irreführend, denn das klingt, als waren diese Sprachen besser, vollkommener, als unsere Umgangssprache; und als brauchte es den Logiker, damit er den Menschen endlich zeigt, wie ein richtiger Satz ausschaut.*
>
> *L. Wittgenstein, «Philosophische Untersuchungen», 1:81*

Прежде чем перейти к обсуждению того, какими конкретными путями, из какого материала, с помощью каких приемов совершается та непрерывная повседневная языковая деятельность, которую мы назвали языковым существованием, представляется полезным обсудить, какое место по отношению к этому процессу занимает «структура» языка: те повторяющиеся, закономерно организованные, предсказуемые черты, которые можно заметить в любом языковом высказывании и которые мы привыкли мыслить в качестве непременной — может быть, самой по себе недостаточной, но по крайней мере необходимой, — структурной основы нашего обращения с языком.

В самом деле, разве не является непреложным фактом всякого языка

наличие правил построения, обязательных для его носителей? Разве не существуют такие грамматические правила и запреты, которым говорящий на данном языке следует всегда и безусловно и которые он не может нарушить, без того чтобы такое нарушение не сочли явной ошибкой? Если существительное — женского рода и имеет в исходной форме окончание *-а,* то в винительном падеже у него непременно окажется окончание *-у,* глагол *сказать* — переходный, и значит, его объект должен стоять в винительном падеже (если, конечно, объект вообще будет употреблен, или если он не осложняется предлогом, или если к глаголу не добавляется отрицание, или если те или иные жанровые или ситуативные условия не обесценят вовсе это требование). Правила такого рода абстрактны и всеобщи, или по крайней мере могут быть представлены в качестве таковых, с большими или меньшими оговорками. Даже если применение правила в том или ином конкретном случае встречается с неловкостями и затруднениями, сами обобщающие понятия, на которых эти правила основаны,— такие как 'существительное', 'женский род', 'винительный падеж', 'переходный глагол', 'совершенный вид', 'объект', — представляются вполне разумными обобщениями, к которым может быть сведено бесчисленное разнообразие частных случаев, возникающих в употреблении языка. Все это так, и наша задача состоит не в том, чтобы отрицать очевидное; но в том, чтобы разобраться, в какой роли и в каких пропорциях находится эта очевидная (слишком очевидная) сторона языка в отношении к «целому» языкового существования и что представляет собой это последнее именно как целое.

Даже при поверхностном просмотре материала любого языка в нем обнаруживаются повторяющиеся или частично сходные явления. Путем целого ряда более или менее утонченных логических операций удается выделить в наличном языковом материале соотносительные элементы, сходство между которыми может быть формализовано в виде набора общих для них признаков, и объединить их, в соответствии с тем или иным набором таких признаков, в ограниченное число обобщающих классов, обладающих постоянными свойствами: так чтобы переход от обобщающего класса или абстрактной формулы к конкретному языковому выражению определялся и предсказывался при помощи алгоритмически действующих правил. Как много таких классов будет выделено и по каким признакам, насколько полно правила, определяющие парадигматические соотношения между разными классами и их синтагматическую сочетаемость, будут соответствовать исходному языковому материалу — это уже вопросы, относящиеся к характеру и качеству разных моделей языка. Однако каковы бы ни были строение и свойства той или иной модели, все они отправляются от общей исходной посылки, согласно которой целью языкового описания является переход от множества конкретных наблюдаемых в речи выражений к отвлеченной схеме, следуя которой, как по канве, мы могли бы построить все эти выражения упорядоченным и предсказуемым образом. Общим является и то обстоятельство, что языковой материал — любого языка — предоставляет широкие возможности для такого его препарирования, и все мы в большей или меньшей мере, с большим или меньшим успехом этими возможностями пользуемся: и ребенок, делающий первые шаги в языке, когда он пытается обобщить свой опыт и построить по аналогии новые слова, словесные формы и их комбинации (и при этом часто ошибается и научается узнавать о своей ошибке по реакции окружающих); и школьник, для которого осознание родного или иностранного

языка неразрывно срастается с терминами и категориями «грамматики» — какое бы смутное представление он ни имел об этом предмете и как бы плохо эта «грамматика» ни соответствовала тому языку, которым он реально пользуется; и лингвист, стремящийся к очередному уточнению и утончению языковой модели, с тем чтобы эта модель с максимально возможным единообразием описывала максимально большое разнообразие случаев, встретившихся в доступном его наблюдению языковом материале. В этом смысле метаязыковая деятельность, заключающаяся в сортировке и таксономической кодификации имеющегося в нашем распоряжении языкового материала, составляет неотъемлемую часть нашей языковой деятельности в собственном смысле, то есть нашего обращения с языком. Вопрос, однако, состоит в том, какую роль играет первая по отношению к последней.

Легко может возникнуть представление, что создаваемое метаязыковой моделью упорядоченное отображение языкового материала действительно описывает — пусть несовершенно и приблизительно, пусть лишь в принципе — наше обращение с этим материалом, то есть то, как мы создаем и интерпретируем высказывания в процессе повседневного пользования языком. Конечно, приходится признать, что любая реально существующая лингвистическая модель не в состоянии достигнуть многого из того, что достигают говорящие на основе своей языковой интуиции. Но несовершенство любой имеющейся (или любой пока имеющейся) модели языка само по себе не способно поколебать убежденность в том, что наше интуитивное «молчаливое знание»[55], позволяющее нам успешно пользоваться языком, складывается, в принципе, из такого же рода обобщений и правил, как и те, формулирование которых составляет цель метаязыкового описания; и что, таким образом, интуитивное знание языка и его метаязыковое отображение суть феномены одного качественного порядка, хотя, быть может, стоящие на различных ступенях сложности и эффективности.

Человеку свойственно подвергать свой опыт рациональному осмыслению. В любом явлении мысль отмечает повторяющиеся элементы и признаки, фиксирует их, давая им кодифицирующие обозначения, и таким образом создает, более или менее осознанным путем, объективированное отображение этого явления. Так совершается осознание и упорядочивание всякого жизненного опыта. Танцору известна номенклатура и строение различных «танцев», понимаемых как сцепление в определенном порядке типовых, закономерно повторяющихся движений в соотнесении со столь же закономерно повторяющимися ритмическими музыкальными фигурами; человек, сидящий за обеденным столом, знает номенклатуру и типовое устройство всех принадлежащих к этой ситуации предметов и принятую последовательность «приемов» в обращении с ними; шахматист не только знает правила игры, но сознает, что правила эти созданы произвольно, в качестве конвенционального условия игры. Означает ли все это, однако, что их действия представляют собой не что иное, как применение этого знания? Иначе говоря — является ли рациональное упорядочение предмета необходимым исходным состоянием, на котором основывается реальное пользование этим предметом и без которого последнее было бы невозможно? — или рационализация нашей деятельности представляет собой ее вторичное отображение и в этом своем качестве является не основой, но продуктом этой деятельности, которая сама по себе осуществляется по каким-то иным принципам?

Все мы знаем, как действует человек, обучающийся какому-то новому для него делу: танцу, или шахматной игре, или языку. Рационально организованные сведения о предмете, сообщаемые ученику и им усваиваемые, не только ускоряют обучение, но выступают в качестве главной — во всяком случае, наиболее заметной — движущей его силы. Наблюдая, как новичок складывает, элемент за элементом, свои первые танцевальные, или шахматные, или языковые «фразы», используя только что полученные сведения об их строении, мы видим полное торжество принципа «грамматики». Движение от объективированного знания — к действию, от выделения исходных элементов и определения правил их сочетаемости — к складыванию разнообразных построений предстает в этом случае с полной физической наглядностью. Правда, действия новичка явно несовершенны: он так же не в силах предусмотреть все факторы, необходимые для достаточно успешной деятельности, как не в состоянии это сделать любая модель предмета, которая могла бы ему быть предложена в качестве руководства. Если без такой модели ему было бы трудно научиться делу, то с одной лишь этой моделью, без накопления «интуитивного» — неизвестно как возникающего и неизвестно в какую форму облекающегося — практического опыта, сделать это было бы просто невозможно.

Чем дальше продвигается ученик в усвоении своего дела, тем реже он нарушает преподанные ему правила, тем меньше делает неприемлемых, «ошибочных» ходов — то есть таких, которые и окружающими, и им самим, после того как ему будут даны надлежащие разъяснения, воспринимаются как очевидные промахи, заведомо не соответствовавшие его намерениям. Но вместе с этим — тем труднее оказывается разглядеть в его действиях эффект «применения» кодифицированных правил. Отдельные элементы сливаются в нерасчленимые блоки; действия развертываются не по единообразной схеме, применяемой буквально, безотносительно к обстоятельствам, а скорее противоположным образом — исходя из все время меняющихся ситуаций, в адаптации к которым абстрактная схема подвергается бесконечно гибким изменениям и контаминациям, размывается, так что лишь специально приглядевшись, удается различить некоторые следы того, что когда-то было канвой, по которой прилежно двигался ученик и без которой он был не в состоянии сделать ни шага. Бывший новичок уже не дает самому себе команду действовать таким-то образом, в таком-то порядке, — но действует в собственном смысле. Его действия и теперь могут отличаться разной степенью успешности; но эти относительные удачи или неудачи имеют совсем иной характер, по сравнению с удачами и промахами начального этапа обучения. Тогда речь шла о том, «правильно» или «неправильно» применены полученные сведения; теперь — о том, лучше или хуже ему «удалась» реализация его намерений, то есть насколько полученный коммуникативный результат оказался соответствующим тому, который он предвидел и к которому стремился.

Наш шахматист не просто научается быстрее соображать, куда можно поставить коня согласно правилам игры: он вообще больше не мыслит партию в таких категориях. Он видит не абстрактно дозволенные ходы и их возможные сцепления, но позицию как целостный образ. Этот образ имеет сложный смысл: он весь пронизывается нитями ассоциаций, воспоминаний о предыдущем опыте, интеллектуальных и эмоциональных реакций, вызываемых этими воспоминаниями; он подвижен, текуч, поскольку в нем симультанно разворачиваются по различным направлениям разные цепочки ассоциаций, выдвигающие разные возможные пути дальнейшего

развития. Осмысление этого множественного и в то же время целостного образа неотделимо от характера ситуации, в которую он вписан: того, как складывалась партия с самого начала (даже если формально, с точки зрения наличных возможностей дальнейших ходов, предыдущие ее фазы уже не релевантны для «синхронной» характеристики позиции), характера партнера (каким он представляется играющему), истории предыдущих взаимоотношений с ним, положения в турнире, реакции публики, физических условий, в которых протекает игра, наконец, если угодно, даже материала, из которого сделана доска и фигуры, их формы и размера, поскольку они вносят свой вклад в эмоциональную и жанровую окраску ситуации (игра на пляже, в вагоне поезда, в парке, на сцене и т. д.)[56].

Играющий предпринимает усилия, чтобы овладеть этим движущимся, растекающимся по разным направлениям, неопределенным по составу и очертаниям конгломератом идей, представлений, воспоминаний, ассоциаций, переживаний, с тем чтобы направить их к тому состоянию, к созданию которого он стремится. Само собой разумеется, что само его «намерение» не стоит на месте, в качестве фиксированной цели, но непрерывно трансформируется и деформируется.

В этом процессе сведения о том, «как ходит конь», не просто занимают очень незначительное место —они вообще не занимают какого-либо отдельного места. Они растворяются в других категориях, растекаются подругам каналам, по которым движется мысль играющего — действительно играющего, а не обучающегося игре. То, что конь будет передвинут с B1 на C3, воспринимается не как отдельный «правильный ход», но растворяется в целом процессе, который играющий обдумывает слитно, как некий замысел, выразить который и овладеть которым он стремится. Возможность передвинуть коня B1 не на C3, а на A3 или D2 является не просто дозволенной правилами альтернативой, а частью других потенциальных процессов, включающих в себя множество различных действий, ассоциаций, переживаний.

Все это отнюдь не отменяет ни самого факта существования системы правил, ни необходимости и полезности их кодификации. Не следует только думать, что правила шахматной игры — это и есть шахматная игра, то есть что суть последней состоит в «применении» — пусть сколь угодно сложном и разнообразном — кодифицированной системы правил.

Еще один пример. Умение отличать ямб от хорея (и знание самих этих понятий) небесполезно для чтения, а может быть, и для сочинения стихов. Но человек, в достаточной степени владеющий феноменом поэтического ритма, воспринимает его отнюдь не как комбинацию слогов и ударений, урегулированных по определенным правилам. Дело, опять-таки, не в том, что он умеет «очень быстро» считать стопы, — а в том, что он вообще этого не делает. Он воспринимает ритм строки как целостный образ, в котором сплавлены воедино и ее интонационно-динамический контур, возникающий из словесных ударений, синтаксического строя и интонации в их слиянии и взаимодействии, и фоническая фактура (густота и характер звуковых повторов, существенно влияющие на восприятие ритма), и жанровые и интертекстуальные ассоциации, и стилевая и эмоциональная тональность стиха. Строка «шестистопного ямба» имеет совершенно иной ритмический образ в философском послании и эпиграмме, у поэта начала XIX и начала XX века, в плавном или прерывистом синтактико-интонационном развертывании, с рифмой или без рифмы, при наличии анафор, лексических повторов, синтаксических параллелизмов, или без

них. Именно этот образ стиха как целого, возникающего из слияния и интерференции бесчисленных факторов, пробуждающих бесчисленные воспоминания и ассоциации, предстает восприятию субъекта, укорененного в поэзии как среде духовного опыта (само собой разумеется, что и степень этой укорененности, и характер возникающего на этой основе образа может очень различаться у разных субъектов). Создавая строку, поэт стремится привести ее в соответствие с тем ритмико-смысловым образом, который «проглядывает» в его сознании в еще не воплощенном замысле. Если при этом он не ошибается в счете стоп, то не потому, что твердо усвоил правила построения шестистопного ямба или пятистопного хорея, а потому, что в данной ситуации, в рамках того ритмико-смыслового образа, над созданием которого он работает, ученические «ошибки» в построении строки для него просто немыслимы — как немыслимо для человека, идущего по улице, «ошибиться» в счете шагов и дважды ступить одной ногой.

Осмысление языка как более или менее строгой системы алгоритмических правил игнорирует это качественное различие между «учеником» и «мастером», между действиями, направленными на овладение предметом, и таким обращением с этим предметом, при котором он становится неотъемлемой частью жизни данной личности. Такую перспективу во взгляде на язык можно было бы назвать « школьной», поскольку она представляет язык как бы глазами ученика, проходящего курс обучения. Человек, владеющий языком в полном смысле этого слова, выглядит в этой перспективе таким же учеником, только уже прошедшим полный курс; он совершает те же действия, что и ученик начальной ступени, с той лишь чисто количественной разницей, что ему доступны несравненно более сложные и разнообразные операции, и производит он их с большей быстротой и легкостью и с меньшей вероятностью ошибки; он даже может себе позволить ситуативные отклонения от правила, и даже преднамеренные его «нарушения», которые новичка поставили бы в тупик. Ученик, раскрывший языковой учебник на таком-то уроке, и человек, живущий с этим языком и в этом языке всю свою жизнь, располагаются на единой лестнице языковой «компетентности», только на разных ступенях этого лингвистического Gradus ad parnassum. Предполагается, что переход от первого состояния ко второму — это продвижение по одной дороге, восхождение в одном, с самого начала определенном направлении. Не рассматривается возможность того, что где-то на этом пути может произойти кардинальная смена стратегического направления усилий, когда навыки, полученные на начальном этапе и необходимые для начального соприкосновения с предметом, отпадают, как молочные зубы, и человек научается действовать принципиально иным образом, ориентироваться по другим признакам, мыслить в принципиально иных категориях.

Возникает парадоксальная инверсия ролей: не ученик попал в класс и получил в руки учебник потому, что кто-то, владеющий языком, сумел создать более или менее успешное, но заведомо искусственно препарированное отображение этого предмета, — но напротив, владение языком представляется не чем иным, как продолжением и усовершенствованием этого препарированного его отображения[57].

На необходимость принципиально различать то, каким образом доступные наблюдению продукты языковой деятельности могут быть алгоритмически построены на основе формализованной модели, с одной стороны, и то, как действуют говорящие, когда они создают или интерпретируют эти языковые артефакты, с другой, указывали и указывают целый ряд фило-

софов, психологов и лингвистов. Назову прежде всего Виттгенштейна, высказывание которого по поводу формальной логики как «нормативной», а не дескриптивной науки (которое, конечно, с равным успехом можно отнести и к формальной лингвистике) я вынес в эпиграф этой главы. Еще ранее Выготский писал — правда, в применении лишь к детскому сознанию — о том, что ребенок создает языковые и интеллектуальные продукты, которые в принципе могли бы быть получены путем логических операций, но создает их иным путем: на основе конкретных ассоциаций, а не отвлеченных правил и обобщений[58]. Опираясь на соответствующие идеи Бодуэна, А. А. Леонтьев справедливо указывал на недопустимость отождествления структуры языка, какой она предстает в лингвистической модели, и языковой способности[59]. В последнее время разграничение деятельностного и метамоделирующего подхода к описанию языка получило чрезвычайно продуктивное развитие в работах Ю. Н. Караулова[60] и А. А. Залевской[61]; правда, в этих работах в основном ставится ограниченная задача: исследовать те соотношения, которые возникают в лексиконе говорящего и определяют селекцию и сочетаемость слов в его речи. Наконец, следует отметить развертывание сходного подхода в работах по функциональной семантике[62]. Мне кажется, мы располагаем в настоящее время достаточными методологическими основаниями и арсеналом наблюдений над языком, дающими возможность сделать такой подход полноправной альтернативой традиционному лингвистическому описанию.

Рациональное освоение предмета является естественной и закономерной частью нашего общения с этим предметом, но именно одной лишь определенной его частью. Неразумно ожидать от алгоритмической модели, что она способна объяснить и описать наше повседневное обращение с языком. Скорее напротив — значение и функции такой модели могут быть лучше осознаны, если посмотреть на нее в составе и в перспективе нашего языкового существования, в качестве одного из проявлений и продуктов последнего. Не следует поддаваться гипнотическому воздействию той упорядоченной картины предмета, которую мы сами же создаем, своей мыслью, в качестве объективированного продукта нашего опыта. Мы многое производим в процессе тех непрерывных усилий мысли, в которых проходит наше языковое существование, — в том числе, мы производим метамодель языка, стремящуюся дать упорядоченное и кодифицированное отображение этих наших усилий. Но это отнюдь не значит, что сами наши языковые усилия как таковые следуют этой или какой бы то ни было иной упорядоченной и кодифицированной схеме. Лежащая в основе описания языка как структуры аксиома, согласно которой употребление языка есть функция — пусть очень сложная и опосредованная — его отображения в сознании говорящих в качестве рационально организованного объекта, может и должна быть подвергнута сомнению.

Кодификация предмета в качестве устойчивой и рационально организованной модели может быть необходимой для каких-либо специальных целей: в первую очередь, для целей обучения, а также для целенаправленно осуществляемой нормализации и регламентации предмета и правил обращения с ним в обществе. Наконец, такое описание имеет свою собственную интеллектуальную, методологическую и культурную ценность. Но логически упорядоченная модель предмета непригодна для описания и объяснения того, как человек работает с этим предметом в своей повседневной практике, — не «частично пригодна», не «недостаточна», но именно непригодна в принципе. Непригодна же она для этой цели потому,

что всякая системно организованная модель представляет свой предмет в качестве твердого объекта, имеющего определенные границы и состоящего из конечного числа устойчивых и дискретных элементов. Суть же действий человека в его жизненном — и в частности, языковом — опыте состоит в том, что ему удается справляться — с относительным успехом — с открытыми и текучими ситуациями, с чем-то таким, что никогда не бывает ни закончено, ни зафиксировано.

Ученически-преднамеренное «исполнение» правил, либо ученически-преднамеренное их «нарушение» в равной мере имеют лишь косвенное отношение к тому, что происходит в повседневном существовании, растворенном в бесконечном и безграничном опыте действий с данным предметом. Все новые комбинации заданных и кодифицированных элементов, образуемые по предустановленным, кодифицированным правилам — пусть сколь угодно сложным правилам, пусть даже с запрограммированной возможностью их нарушения, — сами по себе не создадут открытого и бесконечного разнообразия получаемых результатов, без чего не могут возникать действительно новые смыслы, а не просто новые комбинации уже данного[63]. Возможность создания все новых комбинаций не несет в себе ничего «нового» для мысли, коль скоро принцип построения этих комбинаций предопределен. Мы все знаем, что натуральный ряд чисел бесконечен; зная это, мы больше не воспринимаем как «новое» тот факт, что от любого, сколь угодно большого числа можно перейти к новому, еще большему числу, или что путем предустановленных операций сложения, умножения, возведения в степень можно получать бесконечное число все «новых» числовых построений. Даже если мы перейдем из начальных классов на следующую ступень и обнаружим существование внутренне противоречивых операций, создающих мнимые числа, — и это знание, будучи раз освоено, утратит эффект новизны; получать все «новые» мнимые числа на основе «парадоксальной» операции извлечения квадратного корня из отрицательного числа — так же бессмысленно (вернее, так же не создает никакого нового смысла), как порождать все новые действительные числа на основе элементарных правил арифметики. Возрастающая сложность предустановленных операций способна лишь на короткое время занять воображение новичка, усваивающего принцип числового ряда во всех его модификациях и осложнениях. Если бы наша деятельность, в том числе и языковая, основывалась на каких угодно сложных, но раз и навсегда упорядоченных манипуляциях с предметом,— она не могла бы выйти из пределов классной комнаты.

1.2. ОДНОКРАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ МНОГОКРАТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ? ДВЕ СТРАТЕГИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ.

Die Muskelleistung eines Bürgers, der ruhig einen Tag lang seines Weg geht, ist bedeutend grofier als die eines Athleten, der einmal im Tag ein ungeheuriges Gewicht stemmt.... und also setzen wohl auch die kleinen Alltagsleistungen in ihrer gesellschaftlichen Summe und durch ihre Einigung für diese Summierung viel mehr Energie in die Welt als die heroischen Taten; ja die heroische Leistung erscheint geradezu winzig, wie ein Sandkom, das mit ungeheurer Illusion auf

einen Berg gelegt wird.
Robert Musil, «Der Mann ohne Eigenschaften», Bd. 1, 1:2

Тезис о вторичном и производном характере системно упорядоченной картины предмета по отношению к практическому владению и пользованию этим предметом легче аргументировать применительно к ограниченным участкам человеческой деятельности, опирающимся на сравнительно небольшой объем материала, с которым необходимо научиться обращаться, —таким, как игра или социальный этикет. Однако язык настолько громаден, что трудно представить себе, чтобы человек мог обращаться с ним без помощи тех или иных обобщений, которые резко сокращали бы объем подлежащего запоминанию материала. Должен ли говорящий запоминать звуковой образ каждого слова как самодостаточного целого, если все слова строятся по общим принципам комбинаторики и варьирования немногих элементарных звуковых единиц (фонем) и их различительных признаков? Должен ли он держать в памяти каждую форму каждого слова по отдельности, если существуют общие схемы построения морфологических парадигм? И наконец — должен ли говорящий запоминать бесконечное число словесных сочетаний, если существуют общие правила синтаксического построения фраз и предложений? и как вообще можно держать в памяти «бесконечное» число сочетаний? На первый взгляд, такие предположения представляются совершенно абсурдными, и отрицательный ответ кажется самоочевидным. Наша задача, однако, состоит именно в том, чтобы преодолеть гипноз самоочевидности и приглядеться к тому, что не улавливается с «первого взгляда».

С этой целью рассмотрим прежде всего с несколько большей подробностью сам характер тех логических обобщений, интуитивное знание или сознательное усвоение которых, предположительно, должно сократить для нас объем буквально запоминаемого языкового материала. Возьмем в качестве примера одну из сравнительно простых и компактных проблем языковой структуры — вопрос о формах склонения существительных в русском языке. Парадигма именного склонения представляет собой относительно благодарный предмет для систематизирующей и обобщающей работы, уже хотя бы в силу его четкой отграниченности от других аспектов языковой структуры — в отличие, например, от глагольной парадигмы, сами границы которой служат предметом неразрешимых споров. Не случайно одно из наивысших достижений на пути последовательно структурированного описания русского языка оказалось связано именно с этой проблемой; я имею в виду работы А. А. Зализняка, посвященные классификации именных парадигм[64].

При первом, приблизительном подходе к предмету он действительно кажется относительно простым. Легко выделяются немногие стандартные наборы падежных окончаний, каждый из которых повторяется у сотен или даже тысяч слов. Эти наиболее общие классы примерно соответствуют набору, предлагаемому школьной грамматикой: «I склонение» (женского рода), «II склонение» (с вариантами для мужского и среднего рода), каждое из них выступающее в «твердой» и «мягкой» разновидности, «III склонение», склонение субстантивированных прилагательных, плюс особые подклассы «одушевленных» имен в составе каждой из этих групп, плюс несколько небольших групп «разносклоняемых» существительных, плюс «несклоняемые» существительные. Всего — оставляя в стороне вариации в номенклатуре — удается выделить приблизительно около двадцати та-

ких основных классов и подклассов. Если учесть, что они покрывают корпус словарного состава, состоящий из сотен тысяч отдельных словоформ, эффект «экономии усилий» в операции с языковым материалом на основании такого рода обобщений представляется громадным.

Однако эта первичная систематизация покрывает наличный материал лишь в грубом приближении. Ее буквальное применение к построению словоформ различных имен привело бы к большому числу ошибок, расходящихся с принятой языковой практикой. Чтобы претендовать на роль модели того знания, которым говорящие руководствуются в своем употреблении языка, наша классификация должна приобрести гораздо более сложный и разветвленный характер. Первоначально выделенные классы должны подвергнуться многоступенчатому дроблению на основе целого ряда добавочных признаков, без знания которых оказывается невозможным успешно построить многие словоформы. Эти дальнейшие подклассы должны отразить, во-первых, различные чередования согласных *(вода - вод'е)* и гласных основы *(огонь - огня).* Другая линия расчленения материала связана с необходимостью учесть чередования ударений, возникающие при образовании различных форм.

Все эти признаки учтены в описании русского словоизменения, созданном Зализняком. Его модель представляет собой разветвленную классификацию типов парадигм, учитывающую как чередования звуков в основе, так и контуры акцентных чередований в парадигме. Такая классификация предполагает наличие десятков типов и подтипов, сложным образом соотнесенных между собой по различным признакам. Держать всю эту систему в памяти и обращаться на ее основе с языковым материалом (то есть строить конкретную парадигму на основании приданного исходной форме индекса, определяющего место соответствующей парадигмы в общей системе) становится уже значительно сложнее. Уже на этом этапе может возникнуть сомнение: не выгоднее ли, с точки зрения повседневного обращения с языком, «просто запомнить» соответствующие словоформы как они есть, безотносительно к их положению в классифицирующей системе, вместо того чтобы держать в уме всю эту систему, каждый раз отыскивая в ней соответствующую ячейку для каждого конкретного случая?

Однако и такая сложная и точная классификация не покрывает множества проблем, возникающих в повседневной практике говорящих. Например, она не включает в себя вопрос о том, как взаимодействует словоформа существительного с предшествующим ей предлогом. Между тем, этот фактор оказывает не меньшее влияние на репертуар порождаемых нами конкретных словоформ, чем чередования, возникающие при взаимодействии основы и окончания. Например, парадигмы существительных *ограда, засада* и *свобода* выглядят полностью тождественными с точки зрения набора окончаний и акцентного контура; в классификации Зализняка все они фигурируют с индексом 'ж 1а' (то есть 'женское неодушевленное склонение, акцентный подкласс 1а'). Однако в том, как конкретно строит говорящий словоформы этих слов, обнаруживается существенное различие, если учесть взаимодействие их с предлогом: *[об-ограде] — [о-засаде]; [с-оградой] — [з-засадой] — [со-свободой]* или *[с-свободой]* (редкий вариант, но все же возможный в определенных типах дискурса); *[к-ограде] — [к-засаде]* либо *[г-засаде]* (варианты, выбор каждого из которых определяется сложным и не до конца поддающимся урегулированию набором коммуникативных и стилевых факторов).

Можно, конечно, отвести эту трудность, сказав, что данные различия

относятся к употреблению предлогов или к типам морфонологических чередований на стыках слов, для которых должны быть сформулированы их собственные правила, — а не к «склонению существительных». Такой аргумент, однако, является не более как отговоркой. Ведь сам феномен «склонения существительных» не существует изначально как непреложная языковая данность, а формируется нами же, в процессе наших попыток классифицировать и кодифицировать наличный языковой материал. Поэтому сказать, что такое-то явление не вмещается в созданную нами классификацию потому, что оно лежит за пределами ее предмета — пределами, которые мы сами определили с целью построить данную классификацию, — значит пустить мысль по замкнутому, нами же очерченному кругу. Если мы хотим построить модель, успешно воспроизводящую то, какие словоформы говорящий употребляет в различных ситуациях в своей речи, придется так или иначе учесть взаимодействие существительного с предлогом, — все равно, включим ли мы этот фактор в состав собственно «парадигмы склонения» существительного, либо выделим в виде особого набора классов и правил, добавляемых к этой парадигме.

Еще большие трудности вырастают, когда мы сталкиваемся с признаками, в реализации которых наблюдается историческая и стилистическая динамика. Какие, например, существительные мужского рода включают в свою парадигму форму «второго родительного» на *-у,* наряду с основной формой на *-а*? Сформулировать этот аспект склонения в виде законченного правила вообще не представляется возможным, так как многим словам эта форма присуща с разной степенью вероятности и естественности: слову *чай* — в большей степени (в большем числе мыслимых ситуаций его употребления), чем слову *дым,* а последнему — в большей, чем слову *след.* Форма *чаю* предпочтительна в многочисленных выражениях, так или иначе связанных с количественной оценкой: *попил чаю, немного чаю, чаю всем хватит',* форма *дыму* вполне естественна лишь в немногих специфических контекстах: *напустили дыму, дыму-то сколько!*; что касается формы род. падежа *следу,* то она, как кажется, вообще делается все менее вероятной[65]. К тому же эти соотношения неодинаковы для современного состояния языка и для языковой ситуации 100 — 150-летней давности. Если мы хотим моделировать языковую деятельность современного говорящего на русском языке таким образом, чтобы она включала в себя понимание более старых литературных, а также фольклорных текстов — языкового материала, сохраняющего актуальность для самосознания современных носителей языка и в большей или меньшей степени отложившегося в их памяти, — мы должны были бы учесть и это различие. Необходимо было бы описать этот феномен таким образом, чтобы можно было объяснить, почему современный говорящий по-русски, встретив выражение типа *Еду, еду — следу нету* (пример из словаря Даля), воспринимает его как относящиеся к прошлому веку и/или к «почвенническому», крестьянски-простонародному дискурсу и его литературной симуляции (возможной и у современных писателей «почвеннического» направления). То же можно сказать и о целом ряде других вариаций падежных форм: «втором предложном» падеже на *-у* (о *снеге* vs. *в снегу},* особой форме множественного числа на *-а \ -я (учителя, трактора),* вариантах окончания творительного падежа *-ой* vs. *-ою (рукой —рукою),* наконец, о некоторых вариантах предложно-падежных сочетаний: с *свободой — со свободой, о этнографии — об этнографии*[66].

Аналогичные проблемы возникают в связи с возможностью сосуществ-

вания вариантов с различным ударением у тех или иных словоформ. Например, слова *вода* и *луна* имеют, в принципе, почти тождественный акцентный контур, с расхождением лишь в вин. падеже ед. числа (типы 'ж ld" и 'ж ld', согласно классификации Зализняка); в обоих случаях ударение переносится с окончания на основу во множественном числе. Однако первое из них имеет некоторые дублетные формы мн. числа с ударением на окончании: *на водах,* наряду с *на водах, к водам* и *к водам,* вторая же — не имеет (в *Грамматичесом словаре* эта возможность отмечена как наличие у слова *вода* второй параллельной парадигмы типа 'ж lf, с пометой 'устар.'). В современном языковом сознании форма типа *к водам* осознается как имеющая архаический и торжественно-поэтический оттенок; она ассоциируется с поэзией Пушкина и его современников (ср. стих из «Евгения Онегина»: «Все шлют Онегина к врачам. Те хором шлют его к водам»), или даже с поэтическим языком XVIII века. Можно предположить, что слово *луна* не получило акцентных вариантов, связанных с поэтическим стилем *(*лунам)* в силу того, что его употребление во мн. числе *(луны)* ассоциируется с научным, а не поэтическим дискурсом. Но почему подобных вариантов нет, или «почти» нет, у таких слов, как *спина* или *страна* (хотя отдаленная возможность архаических выражений типа *странам* смутно «брезжит» в языковой памяти), но определенно есть у слова *стена* (ср. реальность таких выражений, как *в четырех стенах, за стенами крепости),*— объяснить систематически оказывается еще труднее. Впрочем, то или иное гипотетическое объяснение можно было бы, наверное, отыскать и для этих случаев — но оно окажется недействительным для какого-нибудь следующего примера, который потребует от нас еще какого-нибудь дополнительного объяснения и, соответственно, дополнительного дробления классификации.

В своем стремлении приблизить языковую картину к тому идеальному «знанию языка», которым, как мы полагаем, интуитивно обладает и руководствуется в своих действиях говорящий на этом языке, мы приходим ко все более мелким дроблениям языкового материала и все более сложной формулировке и эзотерической аргументации тех оснований, в силу которых выделяются и соотносятся между собой наши классы и подклассы. Оперативное преимущество такого знания, тот выигрыш, который оно предположительно должно дать говорящему по сравнению с «простым запоминанием» и прямым воспроизведением отдельных конкретных элементов языка (в нашем примере — отдельных словоформ существительных в различных контекстах), становится все менее очевидным.

Как видим, на пути рациональной организации языкового материала вырастают значительные сложности, резко возрастающие по мере углубления в этот материал. Системная модель, стремящаяся к созданию непротиворечиво упорядоченной картины предмета, оказывается значительно менее «экономным» способом обращения с языком, чем это представлялось с первого взгляда, при очень приближенном, либо искусственно ограниченном в своих задачах подходе к предмету. Дело, однако, не только в необычайной сложности системы, которую приходится построить, если мы хотим хотя бы приблизиться к той степени успеха, с которой говорящим удается справляться с языковым материалом. Я полагаю, что отображение языка в качестве стабильной структуры, или хотя бы в качестве феномена, в основе которого лежит стабильный структурный каркас, неадекватно в принципе, в качестве стратегии языкового поведения — независимо от того, насколько получаемая на этом пути картина языка пригод-

на для практической реализации и насколько она правдоподобна в качестве модели языковой деятельности.

Представим себе, что описанные выше трудности каким-то образом преодолены, так что в распоряжении говорящих оказывается достаточно компактная система операционных правил, покрывающая наличный материал с полной адекватностью. Есть ли смысл для говорящих опираться на правила в этом идеальном случае, когда такая стратегия сулит значительную экономию запоминательных усилий, при полной адекватности конечного результата? Как это ни покажется странным на первый взгляд, я склонен ответить на этот вопрос, в основном, отрицательно.

То, что представляется несомненным выигрышем, если смотреть на язык как на стабильный «предмет», раз навсегда существующий как данность и подлежащий возможно более рациональному освоению, — перестает быть таковым, если видеть в языке длящуюся деятельность, которая развертывается на всем протяжении языкового существования говорящего.

Чтобы пояснить эту мысль, представим себе следующую абстрактную ситуацию. Предположим, что нам дан некоторый корпус языкового материала, состоящий из **X** единиц — например, **X** отдельно взятых словоформ, скажем, тех же падежных словоформ русских существительных. Если подойти к этому материалу без всяких попыток рационально его организовать, нам придется, чтобы иметь возможность успешно им пользоваться, запомнить X единиц, каждую в отдельности, и затем по мере надобности воспроизводить их в речи, непосредственно извлекая из памяти. Назовем такую стратегию обращения с языковым материалом, основанную на непосредственном запоминании и воспроизведении, репродуктивной стратегией.

Представим себе теперь, что, применив к этому множеству ограниченное число (**n**) логических операций, нам удается разбить множество X на тождественные по строению группы, каждая состоящая из **P** членов. Например, мы сгруппировали наши X словоформ существительного в абсолютно идентичные «парадигмы», каждая состоящая из 12 членов **(P=12),** которые мы трактуем как падежно-числовые варианты одной лексемы. В этом случае нам нет уже необходимости запоминать и затем воспроизводить каждую из X словоформ в отдельности. Достаточно знать по одному представителю от каждой группы P, в качестве исходной формы парадигмы; затем, при помощи некоторого числа (**n**) предписанных правилами операций мы можем построить, на базе одной исходной формы, целую парадигму данной лексемы, состоящую из P членов. Число единиц, знание которых необходимо для успешного пользования словарным корпусом **X**, сократится до **X : P**, — плюс, конечно, п правил, необходимых для развертывания **P**-членной парадигмы из ее исходной формы. Назовем такую стратегию, при которой требующийся конкретный материал языка развертывается по определенным правилам из компактного, многократно свернутого абстрактного отображения этого материала, —операционной стратегией.

Обозначим репродуктивную стратегию как (**a**) и операционную стратегию как (**b**). В этом случае число единиц, которыми говорящий должен овладеть и держать в языковой памяти, —

для **(a) = X**;

для (**b**) = **X: P** + **n**.

Тогда, при **P** > 1, и **X** > 2**n** —

(**a**)>(**b**).

Иными словами, если парадигма P представляет собой хотя бы минимальную разбивку наличного материала (хотя бы на две части) и суммарный объем этого материала более чем вдвое превышает число операций, из которых состоит упрощающее его правило, операционная стратегия освоения языкового материала оказывается более экономной — предполагающей меньше запоминательных усилий, — чем репродуктивная стратегия.

Пусть, например, имеется 600 словоформ, которые могут быть разбиты на 12-членные парадигмы при помощи 12 правил. (Это, конечно, идеальная ситуация, при которой правило имеет максимально простую, одноступенчатую структуру; она будет иметь место, если для построения каждой словоформы достаточно просто добавить определенное падежное окончание, без каких-либо дополнительных осложнений, вроде чередования основы или мены ударения). В этом случае объем усваиваемого материала при операционной стратегии составит:

(**b**) = 600 : 12 + 12 = 62 единицы.

Все, что нам необходимо хранить в памяти в таком случае, — это по одной «исходной форме», или «основе», для каждой из 50 12-членных парадигм, плюс 12 элементарных (одноступенчатых) правил, при помощи которых от любой исходной формы строится каждый член ее парадигмы.

При репродуктивной стратегии этот объем, конечно, равен 600 единицам: (**a**) = 600, так как нам приходится учитывать каждую словоформу в отдельности, игнорируя тот факт, что она представляет собой регулярный вариант некоторой инвариантной парадигмы.

Этот разрыв в пользу операционной стратегии увеличивается при возрастании как значения **X** (то есть общего объема языкового материала, покрываемого правилом), так и значения **P** (обобщающей силы правила), а также при уменьшении значения **n**, то есть сложности правила (количества операций, требуемых для построения нужной формы).

Я прошу прощения у читателя за это отвлеченное и на первый взгляд абсолютно тривиальное рассуждение. Если принять без обсуждения некоторые исходные посылки, на которых оно молчаливо основывалось, то полученный результат, действительно, выглядит тривиально очевидным, не нуждающимся ни в каких доказательствах и абстрактных расчетах. Но в том-то и дело, что наш абстрактный пример позволяет увидеть основания таких расчетов, которые обычно не подвергаются обсуждению, в силу кажущейся очевидности всей ситуации. Между тем, во всех предыдущих подсчетах мы игнорировали один фактор, имеющий принципиально важное значение во всяком реальном обращении говорящих с языком; включение этого фактора в обсуждение решительно изменяет всю картину.

Таким фактором является многократность употребления одного и того же языкового материала в процессе долговременного пользования языком. До сих пор мы строили свои расчеты так, как будто интересующий нас языковой материал существует лишь для однократного использования — для того чтобы «освоить» его (при помощи той или иной стратегии) и затем однажды «реализовать» полученное знание. В этом случае, конечно, репродуктивная стратегия приобретения знаний о языке выглядит явно неразумной. Естественным оказывается стремление как можно больше сократить объем того, что подлежит прямому запоминанию и воспроизведению; этому как нельзя лучше отвечает отвлеченно-упорядоченное отображение первичного языкового материала, ведущее к драматическому

свертыванию его объема.

Однако употребление языка в условиях языкового существования строится на совершенно иных основаниях. Языковое существование не есть однократный экзамен на овладение языковым материалом[67]. Это процесс гигантской длительности и объема, охватывающий всю нашу жизнь, на всем ее протяжении и во всех ее аспектах. В ходе этого процесса мы пускаем в оборот наличный у нас языковой запас бессчетное число раз (при том что и сам этот запас все время изменяется и количественно, и качественно). Сколько раз говорящий по-русски, на протяжении всей своей жизни, «пустил в ход» свое знание такой-то формы такого-то существительного — «пустил в ход» и в активном употреблении, и при восприятии сказанного и написанного другими, и в памяти, во внутренней речи? Подсчитать это невозможно, но ясно, что как бы ни варьировались предположительные цифры для различных конкретных случаев, речь идет о числах гигантских порядков.

В этих условиях в полной мере заявляет о себе то обстоятельство, что стратегия прямого воспроизведения непосредственно отложившегося в памяти материала не требует от нас никаких дополнительных оперативных усилий, сколько раз ни пришлось бы употреблять однажды усвоенное; требуемый материал имеется в наличии в готовом виде, нам остается лишь пустить его в дело всякий раз, когда он нам понадобится. С другой стороны, сущность операционной стратегии состоит в том, что требуемый языковой материал не существует непосредственно в готовом виде; чтобы пустить его вдело, нам нужно сначала его построить, совершив определенные операции по определенным правилам; каждый раз, при каждом новом употреблении, приходится делать это заново. Количество проделанной строительной работы аккумулируется с каждым новым случаем употребления. Если для однократного употребления форм, входящих в состав данной парадигмы, нам понадобилось проделать п операций построения, то двукратное их употребление означает двукратное построение, то есть потребует в сумме произвести **2n** операций, и т. д. Чем более возрастает число употреблений, тем более первоначальный выигрыш, достигнутый благодаря применению правил, перекрывается последующим проигрышем.

Обозначим через Q среднее число употреблений каждой из единиц, принадлежащих к множеству X. С учетом этого фактора, наши формулы, обобщающие две стратегии употребления языка, принимают следующий вид:

(**a**) = **X**;

(b) = X:P+nQ.

При репродуктивной стратегии объем усилий, требуемых для употребления данного множества единиц, остается тем же; он попросту равняется сумме усилий, потребовавшихся для того, чтобы овладеть в языковой памяти каждой из этих единиц непосредственно, по отдельности. После того как мы это сделали, ничто больше не стоит между нашим знанием этой частицы языкового материала и ее употреблением в речи. Но при операционной стратегии употребление любой такой частицы каждый раз требует определенных оперативных действий, число которых накапливается по мере возрастания числа употреблений.

В этом случае, при достаточно больших значениях **Q** и **n**, оказывается, что **(a)** < **(P)**. Подставив в неравенство значения **(a)** и **(b)** из предыдущих формул, получим:

X < X: P + nQ,
nQ > X - X : P,
nQ > X(P - 1): P.

Полученная формула показывает критическое значение **nQ** (то есть числа операций, необходимых для построения данных единиц, помноженного на число повторяющихся применений каждой операции в процессе долговременного употребления языка), при котором репродуктивная стратегия (а) для данного объема языкового материала X обнаруживает преимущество перед операционной стратегией **(b)**. Очевидно, что чем сложнее структурное правило, на основании которого может быть получена данная единица (т. е. чем выше значение п), и чем чаще потребовалось бы строить эту единицу, для того чтобы употреблять ее в речи (т. е. чем выше значение **Q**), тем с большей очевидностью обнаруживается преимущество репродуктивной стратегии.

Так, для нашего примера, где X = 600 (падежных словоформ существительных), **P** = 12 (объем класса, получаемого на основе обобщающего правила), и **n** = 12 (число операций, необходимых для построения всех членов множества **X**), получаем следующее критическое значение для **Q**:

12**Q**= 600(12-1):12, **Q**=46.

Иначе говоря, репродуктивная стратегия начинает обнаруживать свои преимущества перед операционной, если каждая из принадлежащих данному множеству словоформ получит в речи в среднем не менее 46 употреблений. Так, при среднем числе употреблений **Q** = 50 операционная стратегия получит следующее количественное выражение:

(**b**)= 600: 12+12x50 =650.

При среднем числе употреблений **Q** = 100 операционная стратегия потребует значительно большего суммарного числа операций:

(**b**)= 600: 12+12x100 =1250.

В наших расчетах мы исходили из того, что правило построения, которым приходится руководствоваться говорящему, имеет максимально простой, элементарный характер; в действительности, как мы знаем, в огромном большинстве случаев это не так: чтобы обладать достаточной обобщающей силой, языковое правило обычно должно быть многоступенчатым, то есть состоять из нескольких операций, выстроенных в алгоритмической последовательности. Совершенно очевидно также, что в условиях языкового существования, взятого в масштабе всей жизни говорящего, среднее число употреблений самых различных частиц языкового материала намного превышает порядки, которыми мы оперировали в наших примерах. Гигантское возрастание величины **Q**, при обычно весьма высоком значении п, делает репродуктивную стратегию, в этом долговременном масштабе, более экономной даже для огромных массивов языкового материала, подлежащего запоминанию,

Конечно, если возрастание числа употреблений какой-либо частицы языкового материала делает все более выгодной в отношении к ней репродуктивную стратегию, то, с другой стороны, чем меньше частотность употребления какой-либо языковой единицы, тем более выгодной в отношении к ней оказывается операционная стратегия. Встретившись в своей языковой деятельности с явлениями, которые он употребляет мало и редко и которые потому не отложились прочно в его памяти в качестве готовых блоков, либо столкнувшись с чем-то для него новым, в прежней его практике вообще не фигурировавшим, говорящий может обратиться к операционной стратегии и построить требуемый материал, исходя из анало-

гий с другим, хорошо ему известным материалом. Чтобы такие аналогии стали возможными, говорящему полезно иметь в сознании хотя бы приблизительные системные обобщения языкового материала, на основании которых эти аналогии могут быть в случае нужды построены. Можно сказать, что операционная стратегия обращения с языковым материалом присутствует на заднем плане нашей языковой деятельности, в качестве некоего фона, всегда готового выступить на передний план, актуализироваться и вступить в действие, как только в нем возникает нужда.

Однако в большинстве случаев говорящему, с точки зрения долговременной стратегии языкового поведения, оказывается выгоднее игнорировать обобщающее правило, несмотря на очевидный немедленный выигрыш, который могло бы дать применение такого правила в одном изолированном случае; ему выгоднее вести себя так, как будто возможности обобщения вовсе не существует. Конечно, говорящий делает наблюдения обобщающего характера над употребляемым им материалом, а также узнает о возможностях таких обобщений из других источников — например, из языкового учебника. Но эти наблюдения существуют в его языковом сознании на правах вспомогательных приемов, вступающих в действие лишь в особых случаях, которые почему-либо требуют от говорящего аналитического рассуждения. В обыденной, растворенной в повседневности языковой деятельности говорящего эти сведения не оказывают существенного влияния на его обращение с языковым материалом.

Оперативная стратегия — это стратегия производства языкового материала, отвлеченная от условий и потребностей его употребления. Ее целью является как можно более компактное и упорядоченное построение предмета, отвечающее всеобщим принципам рациональной организации. При этом вовсе не ставится вопрос: какая организация предмета может оказаться наиболее удобной для того, кто его постоянно употребляет, исходя из конкретных условий, в которых происходит такое употребление?

Возможность разобрать стол на компактные составные части и затем снова собрать его дает значительный выигрыш при перевозке и установке его на новом месте. Но это удобство, весьма ощутимое при однократной установке стола, обернулось бы большим неудобством, если бы нам пришлось заново собирать стол каждый раз, когда мы хотим им воспользоваться. Даже если наша комната чрезмерно переполнена предметами, мы не можем позволить себе «сэкономить» на их объеме путем разборки и укладывания их в максимально компактные построения, если эти предметы достаточно часто бывают нам необходимы для повседневного пользования. Только предметы «особого назначения», нужные лишь для особых, специально отмеченных и достаточно редких случаев, могут быть уложены в некое рационально организованное сооружение, из которого их можно извлечь, лишь проделав целый ряд последовательных операций. Но предметы, во взаимодействии с которыми проходит наша повседневная жизнь, должны всегда быть у нас «под рукой», в готовом виде, какие бы это ни создавало «невыгоды» с точки зрения абстрактных принципов рациональной организации пространства.

Всякая «грамматика», всякое отображение языка в виде рационально организованной модели, от самого примитивного учебного руководства до самого сложного и изобретательного лингвистического описания, представляет дело так, как будто **Q** = 1, то есть язык существует в качестве единовременно данного объекта. Все усилия лингвиста, описывающего язык в таких категориях, направлены на то, чтобы как можно более увели-

чить обобщающую силу правила **(P)** и суммарный объем покрываемого им материала (**X**), поскольку принимается за аксиому, что любой выигрыш в этих параметрах безусловно делает представление языка в сознании более экономным.

Такой подход совершенно правомерен для определенных целей: прежде всего для того, чтобы создать упорядоченное, рационально построенное отображение языка, которое так же необходимо человеку, как упорядоченное отображение любых явлений окружающего его мира. В частности, упорядоченная модель языка, даже самая несовершенная, предоставляет в наше распоряжение обобщающие наименования различных языковых явлений, полезные если не для непосредственного пользования языком, то как минимум для любых размышлений и рассуждений об этом предмете. Автор этих строк отдает себе отчет в том, что его собственные рассуждения были бы гораздо более громоздкими, если бы не было возможности апеллировать к таким общеизвестным параметрам метаязыковой номенклатуры, как «словоформа», «существительное», «падеж», и т. п. Независимо от того, как относиться к концептуальному содержанию и онтологической ценности этих понятий, — они существуют для всех нас в качестве неотъемлемой составной части нашего языкового опыта. Моделирующий подход необходим также для ряда прикладных целей, таких, как обучение языку, кодификация и регламентация языковых норм. Наконец, ценность попыток рационального освоения объекта такой огромной сложности, как язык, состоит в том, что в них получают реализацию и проходят испытание всеобщие принципы классификации и системного моделирования, применение которых может оказаться полезным для рационального отображения не только языка, но и множества других видов интеллектуальной, художественной и социальной деятельности, имеющих «знаковый» характер.

Следует лишь отдавать себе отчет в том, что такой подход создает модель языка как объекта рационального познания, но не описывает языковую деятельность говорящих в собственном смысле. Создаваемая таким образом картина языка принципиально лежит в иной плоскости по отношению к тому, как переживает язык и пользуется языком говорящий субъект, потому что она помещает язык в принципиально иные условия, чем те, в которых реально находится человек в процессе языкового существования.

Вывод, к которому мы здесь пришли, вполне соответствует тому, что известно каждому, кто изучал какой-либо язык в сознательном возрасте. На начальной стадии этого процесса буквально каждый наш шаг соотносится с правилами, которые мы либо узнали из учебника, либо сформулировали для самих себя, в ходе проб и ошибок в обращении с изучаемым языком. Однако по мере продвижения в этом деле присутствие в нашей деятельности каких-либо правил и обобщений становится все менее заметным. С одной стороны, по мере усложнения предстающей нам картины языка усвоенные ранее правила обрастают все большим числом разветвлений, исключений, оговорок; их контуры размываются, делаются все более зыбкими и менее надежными. С другой стороны, все время возрастает — и чем дальше, тем с большей скоростью,

— число выражений, для обращения с которыми мы не нуждаемся ни в каких правилах, потому что эти выражения нам «просто» известны — известны сами по себе, безотносительно к их устройству, как знакомые предметы, которые мы привыкли иметь всегда «под рукой».

Такое идиосинкретичное знание может возникнуть и развиться только в условиях длительного и многократного пользования языком. Оно выглядит хаотичным, нерациональным и неразумным, если рассматривать язык как абстрактный предмет, изъятый из времени. Но если придать языку модус долговременной длительности, без которого он реально не существует; если посмотреть на язык не как на «объект», а как на «существование», — тогда мнемонический, репродуктивный способ обращения с языковым материалом, при всей своей нелогичности и неорганизованности, окажется более экономным и более разумным способом,

— или, вернее, единственно возможным способом иметь дело с явлением такого гигантского объема и сложности, каким является язык в его развертывании на всем протяжении языкового существования говорящего субъекта.

1. 3. О РОЛИ «НЕРЕГУЛЯРНОСТИ» В СУЩЕСТВОВАНИИ ЯЗЫКА.

> *Die Grammatik mißfiel mir. weil ich sie nurals ein willkürliches Gesetz ansah; die Regeln schienen mir lacherlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lemen sollte.*
>
> *Goethe, «Dichtung und Wahrheit», 1:3.*

Осознание преимуществ репродуктивной стратегии позволяет по-иному взглянуть на проблему идиосинкретичного, нерегулярного, «неправильного» в строении языка — всего того, что непомерно усложняет либо даже делает вовсе невозможным описание его как полностью упорядоченной системы. Таких явлений в любом языке имеется великое множество; их наличие столь же всеобще и столь же легко бросается в глаза, как и наличие в языковом материале регулярных соответствий, которые как будто приглашают наблюдателя выстроить этот материал в логически правильные порядки.

Идиосинкразия — враг регулярности. Поэтому подход к языку, ориентированный на максимальное выявление заключенных в нем структурных потенций, относится к иррегулярным явлениям как к «злу», то есть заведомо негативному фактору, который необходимо преодолеть или, по крайней мере, по возможности уменьшить и локализовать в создаваемом описании языка.

Каждая эпоха в истории лингвистики воплощает это стремление в образ, соответствующий ее философскому самосознанию. Так, XVIII век рассматривал современное состояние языков, со всей присущей им иррегулярностью и нелогичностью строения, как результат их порчи и деградации на путях развития цивилизиции, отклонившейся от естественных первооснов. Образ идеально правильного языка проецировался в доисторический золотой век, вместе с идеалом «естественного человека»; в простоте «примитивных» языков видели знак их большей близости к этому первоначальному идеальному состоянию (крайняя скудость сведений о «примитивных» языках немало способствовала этому заблуждению).

В XIX веке рационалистический идеал разумной простоты уступил место романтическому идеалу разумной сложности — тому, что романтики называли «органичностью». В этой перспективе экзотические языки вызывали восхищение уже не своей наивной простотой, но, напротив, богатст-

вом и полнотой своих форм. Состояние современных европейских языков, со всеми типичными для них лакунами и разрывами в сие" темной сетке парадигм, стало рассматриваться как результат длительного исторического развития, в процессе которого эти языки прошли через целый лабиринт изменений. Неудивительно, что у праязыка, как он реконструировался сравнительно-историческим языкознанием в прошлом веке, обнаруживалась чрезвычайно сложная и богатая, но более правильная структура, по сравнению с последующими историческими состояниями. Сложная сеть законов и подзаконов, описывающих исторические изменения языков, постепенно укрупнялась при ретроспективном восхождении ко все более глубоким доисторическим состояниям, приводя, как к вершине пирамиды, к Ursprache. Вера в идеальную разумность Ursprache, и как следствие этого, в возможность реконструировать его во всей первозданной целостности на основании строго формулируемых (не допускающих исключений) исторических законов рухнула лишь на рубеже нового столетия.

В языкознании XX века, с его представлением о языке как структуре, идеальный образ языка переносится из доисторических времен в сознание, подсознательную интуицию, или врожденную (генетически программированную) языковую способность говорящих[68]. Предполагается, что интуитивное знание говорящего представляет собой совершенную, идеально работающую структуру. В этом случае причиной того, что наличный языковой материал не вмещается полностью ни в какое существующее его описание, признается несовершенство этого описания по сравнению с совершенной структурой, которой интуитивно располагает каждый говорящий. Лингвист XX столетия стремится преодолеть этот разрыв с таким же упорством и с такой же надеждой на конечный успех, *с* какой лингвист предыдущего столетия стремился к реконструкции абсолютно изначальной исторической эпохи, когда язык пребывал в полном и идеальном единстве, или с какой мысль эпохи Просвещения устремлялась к изначальной разумной «естественности» вещей, не зараженной никакими непоследовательностями и алогизмами, связанными с развитием цивилизации.

Между тем, если признать, что говорящему субъекту для целей долгосрочного употребления языка, то есть для целей языкового существования, невыгодно пользоваться теми операционными возможностями, которые открывают перед ним регулярные аспекты строения языка, — языковая иррегулярность и идиосинкразия предстает в ином свете. Наличие иррегулярности оказывается важнейшим позитивным фактором в устройстве языка, без которого успешное пользование языком было бы — парадоксальным образом — чрезвычайно затруднено.

В процессе овладения языком человек не может не замечать те немедленные выгоды, которые несет ему обобщение и рациональная организация имеющихся у него сведений. Однако на пути его усилий, направленных на рациональное овладение материалом, все время вырастают идиосинкретичные, «неправильные» явления, «не имеющие смысла» с точки зрения логики языковых порядков, которую наш говорящий субъект сумел, как ему казалось, уловить в уже известном ему языковом материале. Все эти «неправильности» и «аномалии» перечеркивают его аналитические усилия, дробят их, делают формулируемые правила и закономерности все более мелкими и сложными, все более относительными, все менее пригодными для быстрого и безусловного применения. Рационализирующая работа мысли говорящего (все равно, питается ли она его собственными наблюдениями над языком или получаемыми извне сведениями) теряет

единство плана и ясность перспективы, увязает в лабиринте разнонаправленных соположений и противопоставлений. В этих условиях его усилия невольно все более обращаются к материалу как таковому — к тому, чтобы как можно больше расширить репертуар отложившихся в памяти и готовых к употреблению частичек языковой фактуры. Чем шире и прочнее этот постепенно откладывающийся в его сознании фундамент языкового употребления — тем меньшее значение сохраняют для него даже те островки регулярности, которые выдержали проверку расширяющимся языковым опытом; говорящему, мысль которого направлена на массированное репродуктивное усвоение языкового материала, становятся попросту ненужными какие бы то ни было правила построения, независимо от степени их пригодности. Самой «силою вещей» — тяжестью языковой материи, со всей присущей ей нерегулярностью и пестротой — мысль говорящего направляется по менее экономному, но в конечном счете более эффективному пути.

Конечно, тезис о позитивном значении иррегулярных, внеструктурных аспектов языка не следует понимать в том смысле, что они имеют телеологический характер, то есть каким-либо образом нарочито создаются в языке, с тем чтобы обеспечить победу репродуктивной стратегии в процессе его усвоения и употребления. Сущность понятия языкового существования как раз в том и состоит, что отрицается возможность какого бы то ни было единого плана и намерения, которое могло бы всецело охватить и направить этот в принципе неохватываемый, открытый и разнонаправленно ориентированный феномен. Регулярные, повторяющиеся узоры в языковой ткани возникают не в качестве эманаций некоего всеобщего плана, сокровенно присутствующего в языковой интуиции говорящих, но спорадически и реактивно — тут и там, по разным поводам и применительно к разным конкретным обстоятельствам, в ходе бесчисленных аналогических соположений, посредством которых работает языковая мысль говорящих. Равным образом и иррегулярности в языке возникают также спонтанно и спорадически, как неизбежное следствие разнонаправленности таких аналогий, множественности и противоречивости факторов, влияющих на мысль говорящих и направляющих ход аналогических уподоблений. Конечный результат всего этого бесконечного движения оказывается таким, каким он и должен быть, то есть в полной мере отражающим фрагментарность и реактивность языкового поведения. «Антиструктурные» аспекты языка оказываются так же разрозненны и неокончательно предсказуемы, также относительны и связаны с теми или иными условиями употребления, как и его «структурные» аспекты. Но именно эта спорадически складывающаяся амальгама прецедентов употребления той или иной формы как нельзя лучше соответствует стратегии употребления языка, которую мы признали оптимальной для условий языкового существования. Если бы строение языка отличалось значительно большей регулярностью и лучше поддавалось целостному рациональному осмыслению, говорящему субъекту было бы труднее перейти от первоначальной стратегии обучения, при которой любое обобщение несет очевидную и осязаемую выгоду, к стратегии употребления языка в собственном смысле . Можно сказать, что иррегулярные аспекты в устройстве языка в такой же степени помогают говорящему войти в язык как в среду, прочувствовать языковое существование как длящийся и текучий процесс, — в какой *регулярные* его аспекты помогают «учиться» языку.

Хорошо известно, что стремление осмыслить и обобщить получаемый

языковой материал характерно для ребенка в процессе овладения языком. Феномен «детской речи» заключает в себе огромную притягательность для лингвиста; в нем как бы выступают на поверхность, становятся легко обозримыми и очевидными те категории, в которых, предположительно, языковой опыт организован в интуиции всякого говорящего. Между тем, специфика «детской речи» становится заметной именно в силу ее отклонения от норм обычной «взрослой» речи, то есть, в сущности, в силу тех неудач, которые терпит ребенок на пути овладения языком. Как бы ярки и остроумны ни были построенные ребенком словообразовательные, морфологические, комбинаторные инновации — они дают не тот результат, на который ребенок рассчитывал, и в этом смысле оказываются — для него как носителя языка — неудачей[69].

И веселое одобрение и восхищение, с которым взрослые обычно реагируют на проявления детского языкотворчества, и отношение лингвистики к детской речи как к феномену, в котором языковая интуиция человека, в «нормальном» случае внеположная наблюдению, вдруг обретает осязаемое воплощение, так что ее оказывается возможным наблюдать и описывать, — носят, в сущности, эгоистический характер. Мы ищем в детской речи то, что в ней интересно, забавно, остроумно, многозначительно с нашей «взрослой» точки зрения, не задаваясь вопросом о том, что эти «творческие» проявления означают для ребенка как говорящего субъекта, а не объекта нашего наблюдения. Между тем, сама «карнавальная», изъятая из обычных рамок общения атмосфера, которой взрослые окружают языковые опыты ребенка, определяет, с точки зрения его собственных коммуникативных целей, неудачу этих опытов. Ведь окружающие реагируют таким образом не на то, что он хотел выразить, а на то, что у него «получилось» помимо его воли и непонятным ему образом. Как бы ни было ребенку приятно веселое удивление и восхищение взрослых, оно не может заменить ему того, без чего невозможно повседневное языковое существование, а значит, и жизнь в обществе, — необходимости научиться выражать в языке свои намерения так, чтобы можно было рассчитывать на более или менее предсказуемую реакцию коммуникативной среды.

Путь к этому лежит через бесконечный процесс запоминания правильных выражений — правильных не просто в отношении их «структуры», но таких, которые имели бы в полном смысле «правильный», адекватно опознаваемый другими говорящими целостный языковой образ: стилистический, интонационный, проецированный на определенную ситуацию, определенное предметное содержание, определенные отношения между говорящими. Но и безупречно правильные с такой точки зрения выражения, будучи однажды усвоены, не складываются в памяти в качестве раз навсегда зафиксированных формул. Они вступают в ассоциативные связи друг с другом и с образами различных коммуникативных обстоятельств и положений, подвергаясь в этих ассоциативных «силовых полях» всевозможным модификациям и деформациям, контаминируются, перетекают друг в друга, постепенно перерабатываясь таким образом в конгломерат языкового опыта.

В ходе этой работы «детский язык» ребенка, с его острым осознанием звуковых, формальных, словообразовательных, комбинаторных эффектов, — этот язык сам собой отпадает, перерастая в нечто менее заметное, но более необходимое: языковой опыт, адекватный для языкового существования в той среде (или том конгломерате разных сред и ролей), к которой принадлежит данный носитель языка. То же, в принципе, можно сказать о

специфически «учебном языке», на котором первоначально приходится изъясняться человеку, обучающемуся иностранному языку (хотя, конечно, сам ход обучения и его промежуточные стадии могут быть в этом случае существенно иными).

Развиваемый в этой книге подход к языку исходит не из структурной регулярности языка как основного принципа, на который могли бы наслаиваться, в качестве вторичного фактора, идиосинкретичные аспекты языкового употребления, — а напротив, из самого этого употребления, во всей его идиосинкретичности, разрозненности и никогда не повторяющейся текучести. Мы будем рассматривать те явления, которые возникают на поверхности повседневного употребления языка, не в качестве «внешней» синкретизации и контаминации глубинных структурных закономерностей, но в качестве первичного феномена, в котором непосредственно отражена самая суть нашего обращения с языком — так сказать, «естественное состояние» языка в условиях языкового существования говорящих. Соответственно, представление о языке как об определенным образом организованном устройстве приобретает в этой перспективе вторичный и подчиненный характер. Место рационального отображения языка в нашем языковом опыте и выполняемые им специфические функции в нашей языковой деятельности выявляются лишь в его отношении к первичному феномену, определяющему языковое существование, — к массиву амальгамированного в памяти языкового опыта.

Глава 2. ЕЩЕ РАЗ О «ДЕТСКОЙ РЕЧИ» И «ЗВУКОВЫХ ЗАКОНАХ»: ФОНЕМНАЯ СТРУКТУРА И ЗВУКОВОЙ ОБРАЗ СЛОВА

Sancho said to his master, «I have now reluced my wife to let me go with you whithersoever you please». «Reduced you would say, Sancho», quoth Don Quixote, «I have bid you more than once, if I have not forgotten», said Sancho, «that you do not correct my words, if so be you understand my meaning; and when you do not understand them, cry, "Sancho, or devil, I understand thee not"; and if I do not express myself, then you may correct me».

Cervantes, «Don Quixote», II:7

Постановка проблемы описания языка в плане языкового существования требует пересмотра той роли, которая в картине языка отводится дискретным, иерархически организованным элементам языковой структуры — фонемам и их дифференциальным признакам, словоформам и образуемым ими морфологическим парадигмам, абстрактным формулам синтаксических структур. В нижеследующих главах будет подвергнута критическому рассмотрению функциональная значимость этих общепринятых категорий языковой модели с точки зрения того, какой она предстает в перспективе протяженной во времени повседневной языковой деятельности.

Мы начнем наше обсуждение структурных параметров языка с фонематического уровня. Я исхожу из гипотезы о том, что абстрактные соотношения между элементарными частицами звуковой материи языка, выражением которых служат фонологические дифференциальные признаки, при

всей их логической очевидности, не играют большой роли в том, как говорящие осознают и различают звуковую форму множества известных им и понятных им языковых выражений. Происходит это потому, что различные фрагменты языкового материала, хранимые в памяти говорящего субъекта и узнаваемые им в речи других, имеют самую разную протяженность и строение — от отдельных словоформ и словесных сочетаний разной длины до целых предложений или даже целых отрезков текста. К тому же эти частицы не отличаются ни полной выделенностью, ни устойчивостью: они ассоциативно контаминируются друг с другом, перетекают друг в друга; их контуры и границы приблизительны, размыты и подвижны. В этих условиях способность говорящих опознавать и различать известные им фрагменты языковой материи опирается не столько на их расчлененную и структурированную звуковую «форму», сколько на их целостный и слитный звуковой «образ». Тот факт, что каждая такая частица языкового опыта может быть расчленена на элементарные звуковые единицы — фонемы и дифференциальные признаки, набор которых строго ограничен в каждом языке, или даже во всех языках мира (согласно универсальной типологии дифференциальных признаков), и которые повторяются, в разных комбинациях, от слова к слову, от морфемы к морфеме, от языка к языку, — остается для говорящего как субъекта языковой деятельности почти полностью безразличен, поскольку эти структурные соотношения перекрываются для него конкретными звуковыми образами конкретных слов и выражений.

На первый взгляд кажется, что присутствие в языковом сознании говорящих таких категорий, как фонема и дифференциальный признак, с несомненностью подтверждается наличием в языке «минимальных пар» словоформ или морфем, различие между которыми сводится к одному элементарному признаку. Возникает впечатление, что говорящие по-русски не смогли бы различать такие пары слов, как *дом* и *том, ел* и *ель,* то есть не были бы в состоянии ни адекватно воспринять, ни передать разные значения, соответствующие этим словесным знакам, не владей они противопоставлением между фонемами: 'д' vs. 'т', 'л' vs. 'л'', — а значит, и дифференциальными признаками 'звонкости/глухости' и 'палатальности/непалатальности', на которых эти противопоставления основываются.

В классической работе Якобсона, Фанта и Халле[70] принцип фонологической дифференциации эффектно иллюстрируется громадной серией английских одноморфемных слов, различие между которыми сводится к противопоставлениям их «начального консонантного сегмента»: bill - pill - vill - fill - mill - dill - till - thill - sill - nill - gill [*gil*] - kill - gill [*dzil*] -chill - hill - ill - rill - will. Эта цепочка была подвергнута «коммутационному тесту»: разные ее участки предъявлялись, в различных комбинациях, говорящим по-английски, которые неизменно оказывались способными распознать изменение начального согласного и правильно оценить получавшуюся в результате замену одного словесного знака на другой[71]. Дальнейший анализ выделенной на основании коммутационного теста серии позволил логически упорядочить ее следующим образом:

Для некоторых словесных пар в этом наборе различающий их минимальный признак оказывается идентичным. Поэтому можно с полным основанием утверждать, что *bill* так относится *к pill,* как *vill к fill,* или *dill к till,* или *gill* к *kill* и т.д.; или, если представить это более наглядным образом,— bill : pill = vill:fill =dill:till = gill:kill etc.

Различия между *bill* и *pill* или *bill* и *vill* или *bill* и *dill* являются минимальными, поскольку их нельзя расчленить на более простые параметры, которые в свою очередь были бы способны служить различительными признаками слов в английском языке[72].

Авторы отдают себе отчет в том, что такого рода серии в чистом виде не встречаются в повседневной языковой практике, за пределами «коммутационного теста»:

...этот тест является более сложным, чем нормальная языковая коммуникация. Стоящая перед слушателем задача различения слов не облегчается ни контекстом, ни ситуацией. Если бы слово *bill* появилось в последовательности *one dollar bill* или в качестве выражения, обращенного к официанту в конце обеда, слушатель мог бы предсказать его появление. ...Если, однако, слово лишено какого-либо подсказывающего контекста, словесного или несловесного, оно может быть опознано слушателем только на основании его звуковой формы. Следовательно, в этой ситуации звуки речи несут максимальную информацию[73].

Характерна убежденность авторов в том, что абстрактный тест выявляет свойства языка в «чистом» виде, тогда как реальная ситуация употребления языка лишь нарушает и редуцирует работу языкового механизма. В этой перспективе реальное содержание языковой коммуникации оказывается не содержанием в собственном смысле, но внешней, не относящейся к делу «подсказкой». Между тем, правомерно задать вопрос: имеет ли смысл описывать язык (не отражение всеобщих структурных принципов в языке, но язык в собственном смысле) в параметрах, которые оказываются действительными только в ситуациях, заведомо искусственных и исключительных с точки зрения условий его употребления?

Следует, впрочем, оговориться, что простота и симметричность фонологических отношений, демонстрируемых при подборе коммутантных пар морфем или словоформ, оказывается во многом мнимой, если принять во внимание гигантское число позиционных, стилевых, эмотивных, интонационных вариантов воплощения каждой фонемы, с которыми пришлось бы иметь дело говорящему, если бы он систематически строил звуковой облик своей речи на основании матриц дифференциальных признаков. Практически любое изменение в ближайшем, и даже не только ближайшем, звуковом окружении оказывает влияние на характер реализации фонемы. «Одна и та же» согласная фонема /т/ видоизменяет свою реализацию в начале, в конце и в середине слова, в контакте с лабиализованным и нелабиализованным гласным, взрывным, сонантом или спирантом, зубным, губным или небным, носовым или неносовым согласным, либо их различными возможными комбинациями. Эта вариативность усугубляется различиями звукового воплощения, связанными с разным положением по отношению к акцентной кульминации слова, а также с разной силой самой этой кульминации, которая в свою очередь зависит от длины слова, его положения во фразе, смыслового и апеллятивного веса, стилистической тональности. Большое влияние на реализацию фонем (не только гласной, но и сопряженных с ней согласных) оказывает также интонация: и интонационный контур высказывания в целом, и то место, которое в нем занимает данная словоформа. И наконец, бесчисленные модификации возникают в связи с изменениями темпа, тембра, динамики речи, произносительной манеры и стиля, характерными для разных жанров общения, разных социальных типов говорящих, наконец, характеризующими индивидуальные особенности речи каждой личности. Такое фонематически релевантное

свойство фонемы /т/, как ее глухость (напряженность), будет различаться по характеру и степени своего воплощения для слов 'сто' и 'три', 'ты' и 'так', 'смотри', 'смотришь' и 'рассматриваешь', 'трах' и 'трансцендентально'; более того, мой внутренний слух мне подсказывает, что человек, прочитавший повесть Ерофеева и приобщившийся к ситуациям и диалогам, развертывающимся в поезде Москва—Петушки, представляет себе ритмическую и мелодическую фактуру последнего слова иначе, чем двадцать пять лет назад, когда оно связывалось исключительно с кантианским эпистемологическим дискурсом. Вообще, звучание каждого из названных выше слов (в том числе и характер начального согласного) будет изменяться в составе различных высказываний. Сравним, например, каким предстает нашему языковому слуху звуковой образ слова 'так' в составе стремительно проговариваемого, устремленного к концу фразы: *Так-я-же-тебе-говорил!*— и протяженного, с отмеченным начальным приступом: *Та-ак... ну хорошо же...*

Стоит лишь освободиться на минуту от гипнотического воздействия нами же построенных абстрактных соотношений между звуковыми «элементами», перестать относиться к этим продуктам нашей собственной мысли как к непреложной данности и попытаться непосредственно представить себе действительный звуковой образ того или иного выражения в действительных и подходящих ему условиях употребления — как возникает бессчетное множество вопросов. Одинаково ли осуществляется позиционная модификация начального о- в предударной позиции в таких выражениях, *как Оленя ранили стрелой* и *Ой, оладьи-то совсем подгорели* ? одинаково ли производится редукция заударного гласного в выражениях *Око за окоп Около нашего дома киоски повырастали точно грибы* ? — и т. д. и т. д. В бесконечно разнообразных модификациях звукового воплощения каждой «фонемы», непосредственно воспринимаемых нашим языковым слухом, чистота и постоянство пропорциональных коррелятивных соотношений, основывающихся на дифференциальных признаках, оказывается отнюдь не такой ясной и бесспорной, какой она выглядит в бессмысленной цепочке морфем или словоформ, не имеющей никакого иного назначения, кроме того, чтобы подтвердить и проиллюстрировать исходный тезис о структурной упорядоченности звукового строя языка — любого языка в отдельности и всех языков вместе.

Можно, конечно, сказать, что все эти вариации относятся к явлениям «фонетической стилистики», наслаивающимся поверх основных структурных закономерностей. Но где и когда встречались нам эти «основные» параметры сами по себе, вне того или иного стилевого, жанрового, наконец, конкретного интонационно-ритмического воплощения? В лабораторном эксперименте? Но представление о чистоте лабораторной ситуации — это еще одна иллюзия, поскольку и произнесение, и распознавание цепочек слов и слогов в условиях фонетического теста также происходит в определенном стилевом, жанровом и интонационно-ритмическом модусе: именно в модусе лабораторной учебной или экспериментальной работы с языковым материалом; к этой стороне традиционных фонологических описаний мы еще вернемся несколько ниже.

Дело, однако, не только в том, что фонемный каркас звукового строя речи выглядит компактным и легко обозримым, только если сознательно игнорировать многие факторы, с которыми говорящим постоянно приходится иметь дело в реальной речевой практике. Главное — сам принцип сопоставления языковых выражений в категориях фонематических корре-

ляций не соответствует, как мне кажется, тому, как работает мысль говорящих при обращении со звуковой стороной языковой материи.

Даже если считать, что такие «минимальные пары» словоформ, как *том* и *дом, ел* и *ель,* соотносятся между собой четким и регулярным образом (что само по себе, как видим, далеко не очевидно), для нашей повседневной языковой деятельности этот факт имеет очень малое значение, потому что в этой деятельности нам, как правило, вовсе не приходится дифференцировать эти слова по отношению друг к другу. Конечно, если мне будет предъявлена фраза типа: *Ты ел ель? — я* буду поставлен перед необходимостью дифференцировать ее компоненты, для чего мне послужит способность различать твердый и мягкий согласный. Но суть вопроса как раз и состоит в том, как часто говорящий имеет шанс столкнуться с подобной ситуацией, в которой ему придется пустить в ход свои аналитические ресурсы? И если даже он с такой ситуацией столкнется — как, например, в искусственно мною построенной специально для этой цели фразе, — не явится ли она для него «чрезвычайным происшествием», требующим особого подхода и особых приемов?[74] Как кажется, в обыденном языковом существовании у нашего говорящего гораздо больше шансов встретиться с выражениями типа *Ты ел суп?* или *Тут ель не растет,* для понимания которых оппозиция 'ел' vs. 'ель' не имеет никакой актуальности.

Языковые знаки, которые в принципе могли бы быть выстроены в пропорциональные ряды, подлежащие коммутационному тесту, в реальном употреблении языка никогда или почти никогда (за исключением специально отмеченных случаев — таких хотя бы, как сам этот тест) в такие цепочки не выстраиваются и в отношения коммутации друг с другом не вступают. Они обитают в разных полях нашего языкового мышления и памяти: в составе разных потенциальных выражений, в применении к разным дискурсам, разным коммуникативным ситуациям, разному предметному и интеллектуальному содержанию языкового общения. Они расходятся по различным каналам пробуждаемых ими реминисценций и ассоциаций, вызываемых ими коммуникативных ожиданий. Наконец, даже в чисто звуковом отношении они диссоциированы по отношению друг к другу, потому что каждый из них выступает в определенных мелодических, ритмических, тембровых воплощениях, соответствующих сферам и условиям его употребления. Все это требует от говорящих принципиально иной стратегии воплощения и распознавания языковых звучаний, чем та, которая апеллирует к стабильно построенной системе звуковых инвариантов и стабильным правилам их вариантной реализации.

В нашей языковой памяти целые фрагменты языкового материала разной длины присутствуют слитно, в виде целостного звукового — а для говорящего, погруженного в письменную культуру, также и графического — образа. Этот образ имеет к тому же подвижный и множественный характер: он контаминируется с различными интонационными ходами, разной динамикой и тембрами, соответствующими тем потенциальным ситуациям, в которых говорящий ожидает увидеть или употребить эти слова и выражения. В этом непосредственном переживании языкового материала, неотделимом от конкретных ситуаций, в которых происходит языковая деятельность, словоформы и целые выражения не складываются для говорящего из фонем или матриц дифференциальных признаков, как из стандартных строительных «кубиков», но распознаются и различаются в качестве конкретных языковых предметов, каждый непосредственно во всей своей конкретности и целости. Встретив то или иное узнаваемое вы-

ражение, мы не сверяем его звуковой облик с соответствующей ему инвариантной цепочкой фонем (или матриц дифференциальных признаков), в контрасте с абстрактно возможными минимальными коррелятами, но воспринимаем его как нечто непосредственно знакомое, во всей полноте включенности в данную ситуацию. Иначе говоря, встретившись с выражением *One dollar bill,* мы воспринимаем не «цепочку» *bill* в качестве 'не *vill',* 'не *pill'* и т.д., но именно само

Парадоксальным образом, однако, чем более развернутой оказывается языковая подборка, призванная продемонстрировать релевантность фонологических корреляций для речевой деятельности, чем полнее стремится она имитировать формы этой деятельности, — тем ярче выявляется ее чисто каламбурный (если не пародийный) характер. Это знакомое нам выражение — *One dollar bill* — как целое, включенное в знакомую нам ситуацию.

До советской орфографической реформы поколения гимназистов заучивали стихи типа «Бхдный бхвлый блхдный бхсъ Убхжалъ обхдать вълхсъ». Суть этих и других подобных, более или менее нелепых стихов заключалась, конечно, в том, что они целиком были составлены из слов, которые следовало писать через 'ять'. В сознании ученика начальных классов, вооруженного мнемоническим стихотворением, складывались коррелятивные пары типа 'не белый, но бхлый', позволявшие успешно справиться с диктовкой. Но для человека, имевшего достаточно обширный опыт чтения и письма, такой корреляции не существовало, потому что он «просто» знал слово 'бхлый' как целое, принадлежащее к определенным полям языкового опыта, где он ожидал это целое встретить. Встретившись с написанием 'белый', такой читатель воспримет его не как нарушение правила выбора 'е vs. х', но как тотальное изменение языкового образа. Пастернак тонко подметил эту ситуацию в «Детстве Люверс»:

Отчего в слове «полезный» пишется «е», а не «х»? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы воображения сошлись на усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «полезный», дикое и косматое в таком начертаньи[75].

Разумеется, у современного читателя это случай вызовет совершенно иные реакции — но столь же глубоко укорененные в толще его языкового опыта.

То обстоятельство, что между теми или иными словоформами в принципе существует «минимальное» фонематическое различие, имеет для языкового сознания такое же маргинальное значение, как тот факт, что некоторые другие частицы хранящегося в нашей памяти материала вообще не различаются по звуковой форме, то есть являются омонимами. В самом деле, наличие омонимов нисколько не затрудняет наше пользование языком. Будучи укоренены в различных слоях языкового употребления, омонимы обычно — за исключением редких, главным образом специально конструируемых каламбурных ситуаций — не соприкасаются друг с другом, то есть не выступают в качестве единиц, которые необходимо как-то «отличать» одну от другой. Каждый омоним непосредственно узнается в той среде употребления, к которой он принадлежит. Не следует также забывать, что звуковая «тождественность» омонимов — это иллюзия, возникающая лишь при абстрагированном их представлении, — например, в словарной статье. Каждый омоним погружен в свою собственную интонационную, тембровую, динамическую сферу звучания, соответствующую

сфере его употребления. В этом действительном и полном своем звуковом воплощении омонимы никогда не бывают тождественны по звучанию.

То же самое можно сказать и о членах фонологической минимальной пары: они существуют не в абстрактной корреляции друг с другом, а каждая в своей сфере употребления и в соответственном этой сфере озвучивании. И тождество фонемного состава у омонимов, и минимальное различие этого состава у членов фонологической корреляции суть явления случайные, возникающие на поверхности языковой деятельности и не оказывающие на последнюю существенного влияния. Это хорошо видно хотя бы из того факта, что минимальные пары слов или морфем реально попадаются в языковом материале, в сущности, не очень часто и крайне нерегулярно. Каждый фонолог знает, как трудно бывает отыскать примеры минимальных пар для всех требуемых фонематических корреляций: для этого приходится долго перебирать словарный материал, отыскивая редкостные, иногда совершенно экзотические словесные единицы. Это происходит именно потому, что мысль говорящего развертывается в принципиально иных категориях, для которых параномастическое сродство или даже полное тождество слов оказывается не более чем курьезом — пригодным для создания каламбурных эффектов, полезным в качестве упражнения, но отнюдь не определяющим собой основную толщу языкового существования. Для говорящего по-русски, языковой слух которого настроен на воспроизведение и узнавание целых фрагментов звучащей речи, тот факт, что словоформы *код* и *кот* представляют собой «омофоны», то есть якобы полностью совпадают по звучанию, так же тривиален и полезен в лучшем случае в качестве курьеза, как то, что словоформы *том* и *дом* представляют собой «минимальные пары», то есть якобы отличаются друг от друга лишь одним фонологически релевантным признаком. Когда он слышит выражения типа:

На углу стоял кирпичный пятиэтажный [?]ом. — или: *Достал с полки объемистый [?]ом в старинном кожаном переплете.* — ему не приходится сверять воспринятый звуковой образ слова с оппозицией по глухости-звонкости. Его мысль движется в этих двух случаях по различным каналам, проецирует совершенно различные ситуации, включает эти ситуации в различные потенциальные сюжетные ходы, жанровые тональности, поля ассоциаций и аллюзий. И смысловой, и звуковой (если не забывать о ритме и мелодике) образ 'дома' либо 'тома' неотделим от целостного образа соответствующего выражения, растворен в нем, а не «вкладывается» в него механически в качестве стандартного, всегда самому себе тождественного компонента. Поэтому вопрос о том, какой именно из таких компонентов-кирпичиков вложен в данном случае в «кладку» высказывания, здесь попросту не возникает.

С другой стороны, любая неожиданная модификация в интонационном, тембровом, ритмическом, динамическом воплощении знакомого нам звукового «предмета» получает немедленый и непосредственный отклик в нашем представлении о коммуникативной ситуации, в которой мы находимся — ее жанре и эмоциональном тонусе, характере и состоянии партнера. И в этом случае говорящий не регистрирует модификацию как таковую, то есть как отклонение в реализации какого-то одного дискретного параметра, но воспринимает получившийся результат тотально, как иную языковую ситуацию — иной мир потенциальных языковых реакций, ассоциаций, ожиданий, пробужденный в его сознании этим модифицированным звуковым образом.

Если слово 'том' было реально произнесено с явно недостаточной степенью глухости (напряжения) начального согласного, либо слово 'дом' с недостаточной степенью звонкости (то есть не вообще, не абстрактно недостаточной — но недостаточной для данного ритмико-интонационного контура, в рамках данной коммуникативной ситуации, применительно к данному собеседнику и его речевой манере, в данном апеллятивном тонусе общения) — слушатель воспримет это не как нарушение правила фонемной реализации, но как модификацию, сдвиг, искажение (смотря по обстоятельствам, в силу которых он даст оценку этому явлению) всего образа происходящей языковой коммуникации. Такая деформация образа, в зависимости от ее характера и сопутствующих обстоятельств, может иметь различные коммуникативные последствия. Например, она может вызвать изменение «речевого портрета» собеседника, каким он представлялся нашему слушателю: он может сделать вывод, что перед ним иностранец, и соответственно скорректировать свою настройку восприятия его речи, либо вывести то или иное заключение об эмоциональном состоянии собеседника (он волнуется, он испытывает какие-то затруднения, он пьян, он что-то скрывает). В других обстоятельствах этот фонетический инцидент может быть просто сброшен со счетов в качестве случайной «оговорки» или «ослышки». Но и во всех подобного рода случаях наш носитель языка не спутает одно слово с другим только потому, что дифференциальный признак, по которому эти слова якобы соотносятся между собой, оказался неправильно или недостаточно четко выражен в речи. Путаница и непонимание возникают лишь тогда, когда субъект языковой деятельности почему-либо неправильно прочитал всю ситуацию в целом, в силу чего его мысль, направленная на распознание звукового образа выражения, пошла по неправильному пути.

В детстве мне не раз приходилось слышать чтение вслух стихов Маяковского. Одно из стихотворений заканчивалось словами:

Я подниму, как большевистский партбилет,
Все сто томов моих партийных книжек.

В моем восприятии стихи читались — «все сто домов». До сих пор помню захватывающий зрительный образ, который при этом возникал: гигант, поднимающий одной рукой сто домов, доверху набитых книжками. В чем заключалась причина этой ошибки? Читавший стихи, несомненно, произносил слово 'томов' правильно, с должной степенью «глухости» начального согласного. (Следует, правда, учесть, что в середине фразы — и тем более в середине стихотворной строки — темп произношения ускоряется, интонационный контур сглаживается, и, как следствие этого, звуки произносятся не с полной отчетливостью, как бы несколько смазанно. Кроме того, декламационный модус произношения предполагает некоторую общую «вокализацию» речи, что ведет, в отношении согласных, к более отчетливому выявлению звонкости и уменьшению напряженности, то есть глухости. Но обычно языковой слух говорящего легко адаптируется к таким вариациям, если он настроен в правильное смысловое поле и стилевую тональность). Представить себе, что ребенок в шесть лет еще не успел «овладеть» дифференциальным признаком глухости-звонкости, было бы абсурдно, так как во многих других случаях правильное опознание слов, составляющих такого рода «минимальные пары», не составило бы для него никакого труда. Я хорошо помню, что именно в это время, или даже рань-

ше, любил повторять разные скороговорки; среди них была одна как раз на сопоставление слов с начальным 'т' и 'д': «На дворе трава, на траве дрова». Почему же в таком случае была допущена столь грубая ошибка в восприятии стиха? Только потому, что я еще не знал, или нетвердо знал, слово 'том': не столько само это слово как отдельную единицу словарного состава, сколько всю ту сеть потенциальных сочетаний и тематических и ситуативных проекций, которой оно окутано в языковом сознании более взрослого говорящего (того говорящего, которому, в нормальном случае, адресованы эти стихи) и которая обеспечивает мгновенное и непосредственное распознание этого слова в его естественном окружении в речи.

Языковые действия ребенка состояли отнюдь не в том, что он неправильно зарегистрировал в своем восприятии дифференциальный признак глухости-звонкости у одной из фонем, вследствие чего на следующем операционном этапе был выбран неправильный член словесной минимальной пары, вследствие чего, в свою очередь, в структуру высказывания оказался вставлен неправильный семантический компонент, что привело к соответствующему сдвигу содержания этого высказывания. Можно предположить, что его действия имели более хаотический, синкретичный, но в то же время более творческий и синтезирующий характер.

Они определялись, прежде всего, сознанием того, что перед ним — «стихи», и притом «взрослые» стихи, серьезные и довольно торжественные (это можно было понять хотя бы по интонации их произнесения); это значило, во-первых, что они «имеют смысл» (то есть не являются веселой заведомой чепухой nursery-rhymes), во-вторых, что это будет смысл фигуративный, приподнятый над повседневной реальностью, и в-третьих, что он может оказаться немножко туманным и не совсем понятным. В частности, такой модус восприятия позволял принять выражения «большевистский партбилет», «партийных книжек», несмотря на туманность их смысла, как нечто естественно положенное такой приподнято-фигуративной смысловой фактуре: понятный образ «книжек» приобретал некие не совсем ясные, но явно высоко положительные и торжественные атрибуты.

Настроив свое восприятие на такую жанровую, стилевую и эмоциональную тональность, наш слушатель стремился воссоздать для себя в этом ключе смысловой образ стихов, используя для этого многие имевшиеся в его распоряжении ресурсы. В числе этих ресурсов было и представление о Маяковском как о «великане» (этот образ довольно явственно проглядывал и из самих его стихов, и из рассказов о нем, его портретов и т. п.) — представление, которое в ситуации «поднимания ста домов» естественно контаминировалось с иллюстрациями к приключениям Гулливера в стране лилипутов, получая конкретное образное воплощение; и восприятие образа дома, наполненного книгами, как чего-то вполне понятного и образно представимого. Заметим также, что выражение 'сто домов' имеет естественный, легко распознаваемый образ именно в детском языковом опыте. Во «взрослом» языке такая круглая цифра применительно к 'домам' была бы не вполне обычной; легко представить себе ситуацию, где вы скажете и услышите: 'два дома', 'пять домов', — но 'сто домов'? Зато языковая память взрослого привыкла оперировать круглыми цифрами применительно к 'томам': 'собрание сочинений в 10, 20, 30 томах', 'библиотека имеет сто тысяч томов'. Но в детской языковой перспективе выражение 'сто домов' естественным образом проецируется в нарративный модус детского повествовательного стиля, с типичными для него округлениями и преувеличениями: 'от его чихания слетели крыши у ста домов', ' в ту же минуту, как из-

под земли, выросли сто домов'. Этот гиперболический модус детского повествовательного дискурса легко транспонируется в экзальтированно-декламационный модус поэзии.

Мобилизовав таким образом наличные у него ресурсы — идиоматические, стилевые, жанровые, аллюзионные, образные, предметные, — ребенок воссоздал смысловой образ ситуации, который выглядел для него «приемлемым», с точки зрения той коммуникативной тональности, в которой развертывалась вся эта работа, — или, во всяком случае, не более туманным и экстравагантным, чем можно было ожидать от этих «взрослых стихов». Это был образ, который он мог удовлетворительно распознать (то есть мог сказать, что он его «понимает»), — образ, более или менее вписавшийся в тот языковой «ландшафт», который сложился в опыте его языкового существования, и занявший в этом ландшафте свое место, в качестве приемлемого (хоть, может быть, и немного загадочного) объекта. Выражению 'сто томов (каких-то) книжек' в этом ландшафте не было места, оно в нем попросту не существовало.

Когда, спустя некоторое время, недоразумение разъяснилось (к большому моему разочарованию), это произошло, опять-таки, не потому, что улучшилось восприятие фонологического контраста 'т' vs. 'д' и его реализации в речи. Причиной было то, что к тому времени в моем языковом опыте появилось и само слово 'том', и та идиоматическая, аллюзионная, жанровая среда, в которой, как в почве, это слово прорастает в своем бытии в языке. Для говорящего, обладающего такой мерой языкового опыта, проблема фонематического контраста 'том' vs. 'дом' в этом случае так же не вставала, как и для ребенка, хотя и по другой причине. И в том, и в другом случае слушатель не спрашивает себя, услышал ли он глухую либо звонкую фонему в составе предъявленной ему цепочки. Он задается вопросами принципиально иного порядка: 'что это за слово или выражение, знакомо ли оно мне, и откуда?', 'что это за высказывание, какие ассоциации оно вызывает?', 'что это за языковая ситуация, в которой я нахожусь?', — и как результат всего этого: 'что это за смысл?'

Услышав строку *Все сто томов моих партийных книжек,* зная при этом, что она появляется в контексте стихов, подводивших итог творческого пути поэта, — носитель языка вызывает в своем сознании целостный образ ситуации, в котором, растворяясь и прорастая друг в друга, сосуществуют многие различные компоненты: тут и стандартные языковые выражения-блоки: 'сто томов', 'поднял книгу/потряс книгой над головой'; и ассоциативное скольжение слов-образов 'партбилет— «красная книжка»— книга—том'; и типовой образ литературного наследия «классика» ('полное собрание сочинений в ... томах'); и образ голосования на партийном собрании (поднятие «книжки»-мандата); и реминисценция из другого стихотворения Маяковского, в котором поэт торжественно предъявляет «красную книжку» советского паспорта; и популярный образ «партбилета» в поэзии двадцатых годов (в частности, в знаменитом стихотворении Безыменского — одного из оппонентов и гонителей Маяковского), в качестве общего фона образа «партийной книжки»; и память о ленинской доктрине «партийной литературы» и ее применении в идеологической борьбе в советском литературном быту, и понимание той оборонительной позиции, которую Маяковскому, в качестве беспартийного (более того — вступившего в партию в молодости и затем вышедшего из нее) «попутчика» приходилось занимать в двадцатые годы, доказывая свою лояльность и «партийность» своего творчества; и знание об отчаянности его положения в

момент написания поэмы «Во весь голос», когда, после оппортунистического вступления в РАПП, он потерял большинство старых друзей и не приобрел новых. Такова смысловая среда, в которую теперь помещалось и в которой растворялось выражение 'сто томов партийных книжек'. В этом смысловом ландшафте словоформа 'домов' была бы так же неуместна, как жираф в помещении партбюро союза писателей. (Неуместна, но не невозможна — в языке вообще нет ничего невозможного; но ее появление было бы «чрезвычайным происшествием», которое нуждалось бы в какомлибо «чрезвычайном» объяснении.)

Мы можем теперь вернуться к ситуации «коммутационного теста», в котором системные соотношения между звуковыми формами слов якобы выступали в своей первозданной чистоте. Однако сам такой тест тоже является фактом употребления языка — хотя и очень специфического и нарочитого употребления. Если мы представим его себе не как абстрактный научный эксперимент, но как конкретную языковую ситуацию, в которой действовали конкретные говорящие, мы обнаружим, что и в этом случае их перцепция определялась оценкой ситуации, в которую они попали, и того, что, в их представлении, является для этого случая адекватным языковым поведением. Испытуемый знает, что он «проходит тест», и настраивает свое восприятие языка в соответствии с этой ситуацией. Он строит предположения о том, какого рода реакция от него ожидается; поняв, что речь идет о соотношениях сходных по звучанию произвольных рядов слов, он сосредоточивает внимание на том, чтобы оперировать этими словами как звуковыми цепочками, не задаваясь вопросами о смысловой связи между ними и об общем смысле сообщения. Он подстраивает свой слух к монотонно-перечислительной, специфически «тестовой» интонации, ритму, динамике, тембровой окраске, с которыми диктор произносит слова. Он сознает, что ему не приходится беспокоиться об эмоциональном и интеллектуальном строе сообщения, единственная его «коммуникативная цель» в данной ситуации — распознать и различить предъявленные ему звуковые отрезки. Испытуемый мобилизует также свою способность предвидеть — в меру своего понимания сущности теста, — какого рода цепочки ему будут предъявлены; услышав ряд типа *mill - dill - bill,* он начинает перебирать в своей памяти слова, которые можно включить в этот ряд на сходных основаниях, и в своих дальнейших ответах сверяется с теми возможностями, которые ему подсказывает его языковая память и оценка логического содержания теста. Участник коммутационного теста делает, в сущности, то же, что он привык делать всегда в своем обращении с языком: он стремится распознать звуковой образ слов, мобилизуя для этого различные ресурсы — слух, языковую память, различные ассоциации, представление о намерениях и языковом «портрете» говорящего, — так, чтобы этот образ давал результат, который успешно вписывается в данную ситуацию, как говорящий ее понимает.

Теория фонологических универсалий исходит из того, что ребенок закономерно, шаг за шагом осваивает систему дифференциальных признаков, и соответственно с этим приобретает способность распознавать в речи окружающих и реализовать в своей собственной речи все большее число языковых знаков, опирающихся на различные комбинации этих признаков[76]. В нарисованной здесь перспективе дело обстоит едва ли не противоположным образом: ребенок не потому оказывается способен воспринять те или иные слова и выражения, что это ему позволяет сделать уже усвоенная им часть фонологической системы, а напротив, только усваивая

и расширяя репертуар известных ему слов и выражений, он приобретает способность манипулировать их звуковыми образами, находить и обыгрывать параномастические сближения и контрасты между ними, получать удовольствие от парадоксальных, шуточных, эстетически фасцинирующих эффектов, возникающих при таком обыгрывании. Иначе говоря, не способность пользоваться языком возникает благодаря усвоенным структурным закономерностям, но напротив, осознание и вторичное использование последних возникает из первично приобретаемого языкового опыта.

Процесс постепенного овладения ребенком звуковыми образами языка — это процесс такой же непрерывно-текучий и совершающийся по бесчисленному множеству каналов, как процесс роста. Усвоение языкового образа не есть одномоментное действие, совершаемое однажды в определенном возрасте, раз и навсегда. Звуковой образ того или иного выражения изменяется по мере изменения сфер и условий употребления этого выражения в языковом опыте ребенка, подростка, взрослого. Он становится все более множественным, дифференцированным и богатым, по мере прорастания в его опыте все новых предметных, стилевых, жанровых сфер, требующих иного озвучивания. Помимо этого, весь звуковой строй речи изменяется с возрастом, по мере изменения тех коммуникативных ролей, в которые говорящий субъект себя помещает. «Детская речь» имеет свою собственную звуко-стилевую тональность, которая узнается нами с такой же непосредственностью, как стилевая тональность «детского рисунка»; дело тут, конечно, не просто в тембре детского голоса, но во всем строе произносительной манеры, создающей определенную окрашенность звуковых образов. Эта специфическая «детскость» звукового рисунка речи постепенно растворяется, перетекая в иные коммуникативно-стилевые тональности.

Процесс усвоения и развития звуковых образов языка отнюдь не завершается с достижением определенного возраста: он не завершается никогда. Врастая во все новые возрастные, социальные, интеллектуальные, эмоциональные роли, меняя условия своей жизни и характер окружения, говорящий субъект все время изменяет и свою речевую манеру в целом, и те образные перцепции, в которых ему предстают те или иные используемые им и встречающиеся в его коммуникативном опыте выражения.

То, что было здесь сказано о «детской речи», может быть в известной степени отнесено и к процессу усвоения иностранного языка. Мы все знаем из собственного опыта, что способность легко и надежно распознавать на слух речь на иностранном языке развивается медленно и постепенно, сложными и нам самим никогда до конца не ясными путями. В этом процессе упражнения в фонетической лаборатории играют несомненно положительную, но никогда не самодостаточную роль. Как бы хорошо мы ни усвоили различия между звуками изучаемого языка, как бы надежно ни научились распознавать предъявляемые нам в лабораторных условиях контрастные пары слов, само по себе это знание еще не обеспечивает нам успешное включение в речь на данном языке. Причина заключается в том, что распознавание слов и выражений в реальном языковом поведении происходит не в категориях фонем и их признаков, но гораздо более крупными блоками: в категориях знакомых нам слов и целых выражений. Мы не воспринимаем в речи фонему за фонемой, морфему за морфемой, но целые фрагменты, каждый в подобающей ему включенности в тематическую и жанровую ситуацию и в соответствующем этой ситуации озвучивании. При таком отношении к звучащей речи мы многое в ней способны

предвидеть, многое узнать с полунамека, многое додумать и представить себе в виде мгновенно и спонтанно возникающего образа. Именно поэтому, и только поэтому, нам удается справиться с речевым потоком во всей его мимолетности и многообразии. Иначе, пока бы мы занимались складыванием слова из составляющих его (и опознанных нами) фонемных компонентов, речь собеседника ушла бы уже на несколько выражений вперед. Это и происходит в действительности с новичком, даже прошедшим надлежащую фонетическую тренировку, но не укорененным в среде данного языка. Только постепенное «вырастание» надлежащей среды языкового опыта, со всем бесчисленным множеством хранимых памятью выражений, их ассоциативных валентностей, различных модальностей их возможного озвучивания, ведет ко все более успешному включению в звучащую речь на этом языке.

Означает ли все это, что сведению о том, что словоформы 'том' и 'дом' или 'mill' и 'will' находятся в отношении минимального фонематического контраста, вообще нет места в языковом сознании пользующихся языком? Нет, конечно, не означает. Носителю языка в такой же степени свойственно размышлять о своих действиях в языке, как действовать в собственном смысле. Его мысль фиксирует сходства и различия, параллели и контрасты в языковом материале, получающем объективацию в результате такой деятельности. Моделировать образ «идеального говорящего», который якобы ничего не знает о звуковых подобиях и контрастах в языковом материале, было бы так же искусственно, как исходить из представления об «идеальном говорящем», интуиция которого охватывает сведения о структурных закономерностях звукового строя языка, настолько совершенные и исчерпывающие, что они делают его способным создавать «правильные» звуковые реализации всегда и везде, в любой ситуации и по любым поводам, и даже без всякого повода. Наш языковой опыт чуждается жесткого единства и последовательности; никакие его аспекты нельзя считать его постоянными и единственно «релевантными» основаниями, как никакие другие аспекты нельзя из него исключить в качестве «нерелевантных».

Жанровая и ситуативная настроенность языкового опыта, идиосинкретизм ассоциативных ходов, развертывающихся в сознании каждого говорящего в каждом акте языковой деятельности, — все это суть силы отталкивания, разводящие в нашем сознании различные частицы языковой материи по разным тематическим сферам, разным ассоциативным каналам, разным стилевым модусам. Однако они сосуществуют и взаимодействуют с силами притяжения: нашей способностью и потребностью сополагать эти разные частицы друг с другом, используя результаты таких соположений для различных манипуляций с языковым материалом, имеющих познавательную, эстетическую, игровую ценность.

Наш — отнюдь не идеальный — говорящий субъект может заметить (или даже — не может не заметить, хотя бы мимолетно-полуосознанно), что слова 'том' и 'дом' «похожи» друг на друга. Это общее наблюдение может затем подвергнуться разной степени уточнения и получить разную формулировку, в зависимости от целей говорящего и степени владения им тем или иным аппаратом метаязыковых понятий. Он может отметить, что данныя пара «рифмуется»; или что она дает потенциальный материал для каламбуров; или может быть эффективно использована в упражнениях при обучении чтению и письму, а также в тренировке произношения при обучении иностранцев; или наконец — что звуковое соответствие такого порядка находит себе параллели во множестве других явлений, которые

можно наблюдать в языковом материале, и в силу этого может быть использовано для систематического описания этого материала. Он может далее применить полученное таким образом представление о языковом материале: написать стихи, сочинить остроту, построить учебный текст, создать лингвистическую модель. В этом смысле его языковая рефлексия вливается обратно в языковой опыт и становится частью его языкового существования — поскольку все, что мы делаем в наших взаимоотношениях с языком в процессе всего опыта нашей жизни, так или иначе оборачивается фактом нашего языкового существования.

Мне хочется закончить наше обсуждение двумя примерами, в которых ярко отразилась сознательная и целенаправленная конструктивная деятельность по отношению к звуковой материи языка.

Я видел выдел вёсен в осень.

Эта строка из стихотворения Хлебникова[77] (и многие ей подобные) идеально демонстрирует принцип минимальных фонологических пар словоформ, подбор которых позволяет выявить действующие в языке дифференциальные фонологические признаки. В данном случае «фонологический сюжет» стиха составляет признак твердости-мягкости согласных: противопоставление *в - в* 'и *н - н*'. Мысль поэта манипулирует звуковой материей языка, выявляя в ней сходства и контрасты и используя результаты этой работы для достижения интересующей его цели: создания максимально плотной параномастической фактуры стиха.

Сравним с этим стихом остроумный пример Якобсона, демонстрирующий особенности старомосковского стиля произношения:

Их Ида — ехида.

При «икающем» произношении предударного гласного левая и правая часть этого высказывания оказываются точными омофонами: [jих'-идъ— jих'-идъ].[78]

В обоих случаях создателем высказывания руководила вторичная задача — метазадача — по отношению к имеющемуся в его распоряжении первичному языковому материалу: подобрать частицы этого материала друг к другу таким образом, чтобы получить построение, которое, не теряя облика «высказывания», получило бы особым образом организованную звуковую фактуру, отвечающую известным требованиям конструктивной симметрии. В сущности, эти два «высказывания» могли бы поменяться местами: первое — занять место в фонологическом трактате, второе — в стихотворении (если не в «серьезном» футуристическом стихотворении, то по крайней мере — в шуточных стихах, плакате, частушке, типа тех, что сочинялись, в рамках футуристической поэтики, Маяковским и тем же Якобсоном).

При всем различии целей, которые преследовали авторы двух приведенных выражений, в их действиях обнаруживается много общего. Конечно, сама эта общность не случайна, но обусловлена генеалогическим сродством: ведь фонологическая теория Якобсона вышла из лона ОПОЯЗ'овской филологии, идеи которой были теснейшим образом связаны с поэтикой и творческой практикой футуристов[79]. В известном смысле можно сказать, что фонологическая теория, бескомпромиссно и безоговорочно перестраивавшая «сырой» языковой материал в параметрах строго организованной универсальной модели, была таким же продуктом авангардистского мышления, как и футуристическая поэтика и эстетика, с ее утопическим идеалом тотального языкового строительства и бескомпромиссной враждой к языковой повседневности. В этом заключается ее значимость, в

качестве характерного и мощного проявления определенной историко-культурной эпохи, — но также и ее историческая релятивность.

Глава 3. О ГЛОКОЙ КУЗДРЕ, ВОЛГОВЯТЭЛЕКТРОМАШСНАБСБЫТЕ И ТОМУ ПОДОБНОМ: ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА КАК АБСТРАКТНАЯ СХЕМА И КАК КОНКРЕТНЫЙ «ОБРАЗЕЦ»

Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: ein Gewinkel von Gaßchen und Platzen, alten und neuen Häusrn, und Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einvormigen Häusern.

Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1:18

Мы рассмотрели с некоторой подробностью вопрос о статусе элементарных единиц языковой структуры: фонем и дифференциальных признаков. Аналогичная линия рассуждений может быть проведена и в отношении структурных единиц более высоких порядков: морфем, словоформ, синтаксических конструкций, — и той роли, которую они играют в повседневном употреблении языка. В условиях языкового существования все эти единицы, выступающие в метаязыковой рефлексии в качестве первичных элементов языковой структуры, теряют свою дискретность и стабильность, растворяясь в подвижных полях хранимого в памяти языкового материала, составляющих основу языковой деятельности. Носитель языка так же не мыслит словоформу как построение, составленное из отдельных морфем, закономерно расчленимое на лексическую основу и деривационные и грамматические показатели, как он не мыслит ее звуковой образ в виде фонемной цепочки либо матриц дифференциальных признаков.

Я исхожу из того, что умение говорящих оперировать различными морфологическими формами слов определяется — если не полностью, то в очень значительной степени, — непосредственным знанием словоформ как таковых, вернее, знанием каждой словоформы укорененно в ее сфере употребления, в составе множества хранимых памятью выражений. На фоне этого непосредственного знания понимание того, что отдельные известные говорящему словоформы могут быть составлены в морфологическую «парадигму», которая имеет такое же или почти такое же строение, как парадигмы, составленные из других наборов словоформ, и которая поэтому могла бы быть выведена по определенным правилам из обобщающей схемы, — отходит на второй план, как нечто имеющее для говорящего периферийное и вторичное значение.

В опыте говорящего субъекта каждая словоформа оказывается погруженной и растворенной в своей собственной, только ей свойственной среде потенциальных употреблений. Она известна ему не с абстрактнограмматической точки зрения, не как такая-то «форма», занимающая закономерное структурное место в ряду других «форм», а в составе целого поля потенциальных выражений, частью которых она является. Объем и контуры этого поля подвижны и открыты, так как чем большее число выражений отложилось в памяти говорящего, тем шире расходятся от них круги потенциальных выражений, рождающихся по аналогии с уже известными.

Говорящий и сам не может с точностью определить, какие из всплывающих в его памяти выражений известны ему «действительно», на основании предыдущего опыта, а какие «потенциально», на основании аналогий с этим опытом.

Рассмотрим на одном примере, как конкретно существуют частицы языкового материала в среде их потенциального употребления. Для нашего примера я избрал — совершенно произвольно — форму одного из «косвенных падежей» одного из «существительных»: словоформу *рук*.

Для человека, в достаточной степени владеющего русским языком, словоформа 'рук' существует не как «родительный падеж множественного числа» слова 'рука', но как отрезок языкового материала, напоминающий ему о целых полях конкретных выражений, присутствующих в его языковом опыте. Попытаюсь назвать хотя бы некоторые из таких выражений, в составе которых эта словоформа укоренена в моей языковой памяти: множество взметнувшихся/вскинутых/протянутых рук; "лес рук" *[ассоциируется в моей памяти с школьным бытом: одобрительное и слегка ироническое восклицание учителя при виде множества поднятых рук в ответ на легкий вопрос]* творение человеческих рук/рук человеческих/рук человека [это] дело его/твоих рук!——полюбуйся надело своих рук! [совсем/окончательно/вконец] отбился от рук лечит наложением рук день и ночь/часами/сутками] не спускали с рук/с рук не спускали [благополучно] сбыть с рук——[как бы получше/поскорее] сбыть с рук не хватает рабочих рук——[острая] нехватка рабочих рук без [обеих] рук *[ассоциируется со статуей Венеры Милосской]* "слепой и без двух рук" *[из слышанного в детстве рассказа об инвалиде войны]* "Без рук, без ног на бабу скок" *[пародия детской загадки: по-видимому еще одно порождение послевоенного времени]* я без тебя/него/нее как без рук движения [его/ее] изящных/точеных/гибких/сильных/загорелых/мускулистых/округлых/старческих/ сморщенныхрук—— [невольно] залюбовался движениями... изящная форма [его/ее] рук тепло/жар [его/ее/их] рук прикосновение [его/ее] холодных/теплых/нежных/горячих/ледяных/ нечистых/ ласковых/сильных рук жирные пятна/следы [от] его рук/пальцев *[ассоциируется с образом Сталина: история о книгах, которые он одалживал у Демьяна Бедного и на которых оставались жирные следы его пальцев (не помню источник)]* "И память в пятнах икр и щек, И рук, и губ, и глаз" *[стихотворение Пастернака — нет полной уверенности в точности цитаты]*

"Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья" *[еще одно стихотворение Пастернака]* пожатие рук——не разжимая рук——не покладая рук ловкость рук——"Ловкость рук, и никакого мошенства!" *[шутливое выражение, имевшее хождение в речи подростков в 1940—1950-е гг.]* избежать рук [палача/правосудия]——"Он/она не уйдет от рук палача!" *[цитата или псевдоцитата, быть может, из какого-нибудь исторического романа: при полной неизвестности конкретного источника, очевидна литературность и стилизованная отнесенность к минувшей эпохе — что-то вроде Вальтер Скотта или Александра Дюма в русском переводе]* выскользнуло/вьшало/вывалилось из рук——[всё сегодня] валится из рук/[просто] из рук валится "Но слишком рано твои ударил час, И вещее перо из рук упало" *[стихотворение Некрасова «На смерть Добролюбова»: учили наизусть в школе]* [буквально] уплыл/уплыло из рук——[ну прямо] из-под рук ушел/ушла! *[рыбная ловля? может быть, чеховский «Налим»?]* вырвали [прямо] из рук——[ну прямо] из рук выхватили! но-но! [только] без рук, пожалуйста!——рук не распускать! рук не стоит/не стал

бы марать—— "Рук замарать не хочешь?" *[кажется, из какого-то соцреалистического повествования: слова, обращенные к герою, не желающему участвовать в раскулачивании, или что-нибудь подобное]* от рук ничего не осталось! *[после стирки]* купила/купили с рук сдать/передать с рук на руки——передать из рук в руки — "Из рук в руки" *[название московской газеты рекламных объявлений]* узнать из вторых рук [смотри] как дойдет до рук!——не дошло бы до рук! *[смутно проглядывающий в памяти обрывок какого-то выражения из литературного повествования «почвенного» характера, скорее всего на историческую тему]* [все что у него есть, это] пара натруженных/умелых/мозолистых рук еду брала только из моих рук *[о собаке]* [насилу/едва/еле] вырвался из его/ее рук/лап — и т.д., и т.д.

Я «систематизировал» этот заведомо неконечный список лишь самым поверхностным образом, сохраняя, насколько это было возможно, тот порядок, в каком различные выражения и цитаты всплывали в памяти, ассоциативно зацепляясь одни за другие. Поскольку моей целью было зафиксировать «естественное» состояние моей языковой памяти, я не пользовался никакими вспомогательными средствами и пособиями — не сверял цитаты, не заглядывал в словари. Я старался по возможности уловить и зафиксировать такие частицы из фонда языковой памяти, которые в моем сознании присутствуют как готовые единицы, непосредственно опознаваемые в качестве целостных и знакомых мне языковых «предметов». Это свойство объединяет все перечисленные выше речения, при всем различии между ними в отношении их внешней формы, тематического и стилистического круга употребления, происхождения и источников.

Присутствие в моей памяти этого (а в действительности, конечно, еще более широкого) набора конкретных выражений составляет источник моего непосредственного владения тем феноменом, который, в проекции на системно организованное описание языка, определяется как «форма родительного падежа множественного числа существительного 'рука'». Нельзя отрицать, что действия говорящих, среди прочих результатов, могут приводить и к такому определению, упорядочивающему для них языковую картину; но сами эти действия, по-видимому, лишь в малой и ограниченной степени основываются на такого рода определениях и зависят от их характера. Если употребленное мною выражение *множество рук* оказалось морфологически и синтаксически «правильным», то это происходит не потому, что я при употреблении этого выражения руководствовался синтаксическим правилом, согласно которому количественное слово на -о типа 'множество' требует при себе постановки родительного падежа множественного числа существительного, и морфологическим правилом, согласно которому лексема *рука,* будучи существительным женского рода такого-то деклинационного класса и подкласса, должна иметь форму род. пад. мн. ч. *рук.* Нет, я употребил это выражение правильно просто потому, что оно известно мне как таковое, само по себе; мне известно также бессчетное множество других выражений, в которых фигурируют «те же» словоформы либо другие члены той же «парадигмы» — известны, опять-таки, каждое непосредственно и в своей собственной сфере употребления. Лишь на основе этого первичного знания я могу представить себе, что между некоторыми из этих выражений имеется то или иное формальное сходство, которое может быть сформулировано в виде обобщающей классификации или правила.

Как лингвист, я могу иметь самые разнообразные сведения о деклинационных и конъюгационных классах и подклассах русского языка, пред-

ставленных в различных его описаниях, либо сам разработать более или менее удачный вариант такого описания. Но как говорящий по-русски, я убеждаюсь, что слова 'война' и 'страна' принадлежат к одному деклинационному классу, только «просклоняв» оба слова, то есть сопоставив заранее мне известные словоформы в пределах того множества, которое я согласился (на тех или иных логических основаниях) рассматривать в качестве «парадигмы склонения». (Я сначала взял в качестве примера слова 'война' и 'стена', но, «просклоняв» их, убедился, что у них различается в одной из форм акцентный контур: вин. пад. 'войну', но 'стену'). Я, конечно, мог бы не «склонять» сам, а заглянуть в Грамматический словарь и убедиться, что слова 'война' и 'страна' маркированы как принадлежащие к одному парадигматическому классу—'ж ld' (в то время как 'стена' отнесена к близкому, но все же несколько отличному классу — 'ж 1d"), либо выучить на память все эти сведения. Но ведь и заключенная в словаре информация вторична по отношению к чьему-то умению «просклонять» эти слова, то есть предъявить заранее и заведомо известные словоформы в пределах заранее обусловленного набора, который мы договорились называть «парадигмой склонения существительных». Если я видоизменю этот набор, включив в него, например, сочетания с предлогами, то «парадигмы» 'война' и 'страна' окажутся уже не тождественными по своей структуре и разойдутся по разным классам; но опять-таки, я смогу в этом убедиться, лишь сопоставив такие заведомо известные мне «формы» (в этом новом конвенционально обусловленном понимании данного феномена), как 'с войной' и 'со страной'.

Как я уже пытался показать выше, в условиях долговременного пользования языком говорящему в большинстве случаев оказывается выгоднее непосредственно хранить в памяти отдельные частицы языкового материала, чем порождать их на основе обобщающих правил, в качестве членов морфологической парадигмы либо словообразовательного гнезда. По самой своей сути, репродуктивное владение языковым материалом плохо поддается абстрактной логической аранжировке. В сознании говорящего члены парадигмы отнюдь не образуют такую четкую, устойчивую и организованную по единому плану картину, как на странице грамматического трактата. Различные словоформы, с чисто формальной точки зрения входящие в состав одной «парадигмы», в своем употреблении погружаются в различную языковую среду, расходятся по разным мнемоническим и ассоциативным каналам и, как следствие этого, диссоциируются по отношению друг к другу. То, что с точки зрения отвлеченной системной картины языка является «одной формой», в условиях языкового существования распыляется по множеству конкретных выражений, каждое из которых укоренено в своей конкретной среде употребления.

Рассмотрим для примера ряд тесно сопряженных по форме выражений: 'Что со мной?' — 'Что с нами?' — 'Что с тобой?' — 'Что с ним?' — 'Что с ней?'. На первый взгляд, эти выражения находятся в простых и ясных соотношениях друг с другом, в основе которых лежит парадигма форм лица, рода и числа личного местоимения; легко может возникнуть впечатление, что говорящему, владеющему данной парадигмой, остается лишь подставлять соответствующие формы в стандартную синтаксическую позицию, чтобы получить весь этот ряд выражений. Однако более внимательный анализ того, как реально употребляется каждое выражение, показывает, что между ними существуют множественные, идиосинкретичные и асимметричные соотношения. Переход от одного выражения к другому

оказывается отнюдь не простой альтернацией парадигматических вариантов в рамках инвариантной синтаксической конструкции, но каждый раз перемещает нас в уникальный смысловой и стилевой мир, взаимоотношения которого с другими такого рода «мирами» оказываются настолько сложными и множественными, что едва ли их возможно описать исчерпывающим образом.

Выражение 'Что с тобой?' проецируется в ситуацию живого, непосредственного, эмоционально наполненного контакта с адресатом; оно представляет собой реакцию скорее непосредственно на самого адресата (его физическое или эмоциональное состояние), чем на его речь. Поэтому такой вопрос не столько продолжает предыдущий разговор, сколько прерывает его; он показывает, что в предыдущем контакте говорящего с адресатом была какая-то неадекватность, что-то вызывающее беспокойство и требующее объяснения. Прервать неадекватную ситуацию и установить эмоциональный контакт — таково главное назначение этого вопроса.

В отличие от этого, вопрос 'Что с ним?', как правило, представляет собой реакцию на предыдущую реплику собеседника; он поддерживает и развивает диалог с собеседником *(Вы слышали про X? — Нет, а что с ним*»? или: *Посмотрите на X! — Боже мой, что с ним?),* а не стремится переключить его в иную тематическую и эмоциональную сферу, как реплика 'Что с тобой?'. Поэтому для этого выражения характерны различные словесные расширения, более явственно связывающие ее с предыдущим диалогом и вызывающие ожидание последующего информативного ответа собеседника: *[А] что с ним? Что [же] с ним?* Для реплики 'Что с тобой?' характерны расширения другого рода, усиливающие ее эмфатический характер: *[Да] что с тобой? [Ну] что с тобой?* Следует также отметить различие мелодики (характера ударений, движения интонации, эмоционального тембра), с которой произносятся эти реплики; их типический звуковой «образ» существенно различается в языковой памяти говорящих.

Реплика 'Что со мной?' имеет характер риторического вопроса. Это метаремарка, выражающая авторефлексию говорящего и не требующая какой-либо внешней реакции. Это свойство сообщает данной реплике налет «литературности»; даже за пределами собственно литературного текста такая реплика создает образ олитературенной, несколько аффектированной речи. Отличается она от предыдущих реплик и по смыслу. Ее непременным компонентом является удивление: говорящий не просто оценивает текущее состояние как необычное (как в реплике 'Что с тобой?'), но эмфатически утверждает, что такое состояние «не должно быть». Эмфатический характер реплики может усиливаться целым рядом типичных для нее словесных расширений: *[Ах], что со мной? Что [это] со мной ? [Да] что [же это] со мной ?* Этот оттенок смысла отражается и на мелодике, с которой произносится данная реплика, — скорее восклицательной, чем вопросительной.

Наконец, реплика 'Что с нами?' является несколько «странной» сточки зрения повседневного употребления. Для нее примысливается лишь очень специфичный, ярко отмеченный коммуникативный, стилевой, тематический контекст, в который такая реплика могла бы естественным образом включиться. Например, ее можно себе представить в устах доктора, обращающегося к пациенту (не столько, впрочем, реального, сколько «литературного» доктора), — или в публицистической статье, ставящей диагноз «больному обществу» (в частности, такая реплика легко представима в рамках постсоветского газетно-журнального дискурса). И конечно, она мо-

жет появиться в различного рода каламбурных играх с языком: например, в пьесе, где фигурируют два идентичных персонажа, произносящих все свои реплики хором, или в произведении абсурдистской эстетики, использующем монтаж примеров из грамматики.

Даже такие, казалось бы, максимально близкие по форме реплики, как 'Что с ним?' и 'Что с ней?', представляют собой не просто транспозицию в другую форму рода, но сложное смещение в иное потенциальное жанрово-тематическое пространство. В памяти говорящего существует целое поле потенциальных «мужских» и «женских» сюжетов, с их различными эмоциональными и стилистическими ореолами, — все то, что, согласно нашим ожиданиям, основанным на реминисцентном поле соответствующих выражений, может случиться, с большей или меньшей вероятностью, «с ним» либо «с ней» и что, соответственно, актуализируется в нашем сознании той либо другой формой вопроса. В результате каждый из этих вопросов выступает для нас в различном смысловом ореоле, определяемом различной жанровой проекцией, сюжетными ожиданиями и эмоциональной тональностью.

Как видим, наша «парадигма лица-числа-рода» личного местоимения растекается по различным полям употребления, в каждом из которых уникальным образом сплавлены различные компоненты смысла. Разумеется, если мы проследим судьбу нашей «парадигмы» в составе каких-либо других языковых фрагментов, наличествующих в нашей памяти, — например, в выражениях 'Я побуду с тобой' / с Вами / с ним / с ней', или 'Он хвостом ходит за мной/за тобой/за ним/за ней', и т. д., — соотношения между членами этой «парадигмы» каждый раз будут оказываться иными, чем в рассмотренном примере. Во всех этих случаях речь будет идти не о единообразной процедуре подстановки морфологических «вариантов», но о многообразном и всякий раз неповторимом переключении всей ситуации и потенциальных каналов ее развития.

В «Хованщине» М. Мусоргского имеется такая сцена: Андрей Хованский пытается соблазнить девушку из «немецкой слободы»; его бывшая любовница, Марфа, подслушивает их диалог и саркастически повторяет реплики Андрея — транспонируя их, как и подобает при употреблении «шифтеров», в другую форму лица:

А. Отдайся мне!

М. Отдайся ему!

А. Люби меня!

М. Люби его!

Согласно пониманию местоимений как «шифтеров», переключение из одной формы лица в другую при смене говорящих должно совершаться автоматически, поскольку оно отражает лишь иное отношение содержания высказывания к говорящему, без какого-либо изменения самого этого содержания[80]. Приведенный здесь пример мог бы служить учебно-наглядной и по виду совершенно бесспорной иллюстрацией того, как работают «шифтеры», — если только не стремиться вглядеться во весь спектр тех последствий, которые несет эта автоматически «правильная» замена одной формы на другую. Между тем, иронический эффект реплик Марфы вызван именно тем обстоятельством, что переключение из первого лица в третье лицо в данных ситуативных и жанровых условиях, в рамках данного содержания, совершенно неуместно. Второй член каждой фразовой пары оказывается не повторением той же реплики «от другого лица», но пародией, смысловая и стилистическая неадекватность которой подрывает всю

ситуацию. Эффект пародийного смыслового сдвига усугубляется тем, что реплики-близнецы нарочито и искусственно произносятся с одинаковой интонацией (в музыке оперы это передается тождественностью мелодии); само собой разумеется, что в своей естественной среде употребления, а не в парадоксальном и пародийном сопоставлении, каждая из этих реплик имела бы свой собственный интонационный образ, соответствующий ее смыслу и стилистике.

Но ведь нам приходится, возразит мне читатель, время от времени иметь дело с формами, с которыми мы сталкиваемся заведомо впервые, либо даже самим создавать такие формы, являющиеся заведомыми инновациями. Между тем, мы не ошибаемся ни в морфологическом образовании таких форм, ни в том, как включить их синтаксически в состав фразы, ни в понимании их грамматического значения — даже в том случае, если их предметное значение остается нам неясным. Не значит ли это, что в нашем представлении имеются абстрактные правила построения парадигм и абстрактные инвариантные значения грамматических категорий, позволяющие правильно ориентироваться в языковом материале, независимо от того, помогает или не помогает нам в этом предыдущий опыт? не доказывается ли этим, что наше знание грамматических свойств словоформы не зависит от такого опыта, а имеет абстрактный и всеобщий характер?

На это можно прежде всего ответить, что такие случаи в количественном отношении занимают весьма незначительное место в повседневной языковой деятельности, а в качественном — выступают в более или менее ярком ореоле языкового «чрезвычайного происшествия», обращение с которым требует соответственно чрезвычайной настроенности и чрезвычайных языковых мер. В числе таких чрезвычайных мер может оказаться и аналитическое расчленение необычного выражения; в этом случае говорящий пускает в ход имеющиеся у него сведения, либо спонтанные наблюдения, касающиеся отношений подобия и повторяемости в языковом материале. Но во-первых, такого рода особые и исключительные случаи не должны служить мерилом, которым поверяются все наши действия в толще языкового существования; поступать так — это все равно что пытаться описать феномен ходьбы на основании наблюдений над эволюциями, проделываемыми акробатами под куполом цирка. Во-вторых, мне кажется, что даже в этих особых случаях отвлеченные аналитические операции не выступают в чистом виде, но подкрепляются конкретными аналогическими прецедентами, по канве которых и происходит освоение незнакомой или необычной формы. Иными словами, даже в таком случае говорящий скорее будет искать известный ему конкретный «образец», на который он мог бы проецировать незнакомое явление, чем абстрактную «схему», из которой он мог бы вывести это явление закономерным образом.

Недавно мое внимание привлекло название предприятия в Нижнем Новгороде — *Волговятэлектромашснабсбыт,* которое даже по меркам советских номенклатур следует признать удивительным. Несмотря на явную новизну и экзотичность для меня этого языкового опыта, я, в качестве говорящего по-русски, не испытываю никаких трудностей в акцентировке этого слова: *Волговятэлектромашснабсбыт,* — в силу аналогии с такими хорошо известными мне образованиями, как *Уралмаш, Ростсельмаш, Моссельпрбм.Осоавиахйм, Энергосбыт, т. а.* В силу этой же причины у меня не вызывает трудностей создание различных «форм», требуемых для включения этого образования в речь: '[производственная драма на]

Волговятэлектромашснабсбыте', '[передовой опыт] Волговятэлектромашснабсбыта', '[остановка за] Волговятэлектромашснабсбытом', '[провалиться бы всем этим] Волговятэлектромашснабсбытам'. И в восприятии, и в дальнейшем применении этого уникального языкового опыта конкретные прецеденты и аналогии играют, по-видимому, более важную роль, чем структурные обобщения; я скорее вызываю в своем языковом представлении целые выражения с этим новым для меня отрезком языковой ткани, по аналогии с уже мне знакомыми, чем занимаюсь строительством «форм» в собственном смысле.

Кажется, трудно придумать более наглядную и убедительную иллюстрацию тезиса о том, что в нашем сознании присутствуют абстрактные грамматические структуры, извлеченные из и отвлеченные от конкретных употреблений, чем знаменитый пример Л. В. Щербы — «предложение», построенное согласно морфологическим и синтаксическим правилам русского языка, но при этом целиком составленное из несуществующих слов: *Глокая куздра штеко будланула бокра*[81]. Несмотря на то, что нам заведомо незнакомы составляющие эту фразу «слова» и их предметное значение, говорящие по-русски не испытывают никаких затруднений в определении грамматических форм и синтаксической роли этих псевдослов и оказываются в состоянии представить себе общие смысловые параметры высказывания, вытекающие из его грамматической структуры. Мы понимаем, что 'глокая куздра' означает субъект женского рода, по-видимому, одушевленный, с неким атрибутом; 'будланула' — глагол, передающий однократное и интенсивное действие в прошедшем времени; 'штеко' — квалифицирующее наречие, относящееся к характеристике этого действия; 'бокр' — объект мужского рода, одушевленный, на который действие направлено. Все это так; вопрос лишь в том, откуда, на какой основе, возникает это наше понимание?

Когда я представляю себе выражение 'глокая куздра ... будланула', в моем сознании возникает не чисто грамматическая, абстрактная идея об одушевленном субъекте женского рода, совершившем некое однократное действие, но более конкретизированный и осязаемый, жанрово и тематически окрашенный образ. Форма 'будланула' вызывает непосредственную ассоциацию с такими известными мне словоформами (и потенциальными выражениями, в состав которых эти словоформы входят в моем опыте), как 'толканула', 'шуганула', 'долбанула', 'звезданула', 'гвозданула', 'пизданула'. Это поле ассоциаций проецирует совокупный образ резкого и стремительного физического действия, агрессивного либо грубовато-фамильярного по своему характеру. Стилистически этот образ проецируется в сферу грубовато-простонародного дискурса, скорее всего в его стилизованной препарации — интеллигентски-разговорной либо литературной. В сознании возникает собирательный образ литературных сценок «из народной жизни» (скорее всего с несколько архаическим оттенком, то есть относящихся к прошлому или первой половине этого века), либо фольклорно-сказочного или басенного повествования о животных. Вспоминается строка из Крылова: «Мартышка, в зеркале увидя образ свой. Тихохонько медведя толк ногой» ('толк' и по физическому характеру действия, и по стилистике тесно ассоциируется с 'толканула/будланула', что и делает возможной такую реминисценцию). «Вспоминаются» также бесчисленные ситуации из бесчисленных повестей из народного быта: «"Вот я вас ужо шугану, пострелы окаянные", — с притворной свирепостью крикнула Дарья, угрожающе замахиваясь шумовкой»; «Маркел полез было к Маньке,

но та так его толканула, что мужик, хохоча, кубарем скатился с копны», и т. п. И хотя ни одного точного источника и точной цитаты я сейчас не могу назвать, в памяти всплывают типовые ситуации: посиделки, детские шалости, борьба с вышедшим из-под контроля домашним животным, — и целые поля соответствующих им выражений, образов, сюжетов.

Все это придает образу 'глокой куздры' осязаемые смысловые и стилевые очертания: это девушка, женщина, самка животного, являющаяся персонажем «почвенного» по характеру литературного повествования; ей свойственны грубоватость, энергия, решительность, чувство независимости, проявляющиеся в том, как расправляется она с чем-то ей досадившим (или мнимо досадившим) «бокром». Сам звуковой образ 'глокой куздры' вносит лепту в этот тематический и стилевой ореол: он выносит на поверхность памяти слова типа 'квёлый', 'волглый', 'Кузя', 'кура', 'лузга', 'мызга', — слова, смысл многих из которых я представляю себе весьма смутно, но весь облик которых, в том числе и звуковой, с несомненностью ассоциируется для меня с провинциально-простонародной, фольклорно-«почвенной» сферой и ее олитературенным отображением.

Когда летом 1993 года я попал в Нижний Новгород, мое внимание привлекло только что открывшееся частное кафе под названием «Лыкова дамба»; мне объяснили, что название это историческое — оно соответствует названию заведения, стоявшего здесь до революции. Название удачно проецировало немножно туманный по смыслу, но отчетливый по своей стилистической окрашенности, простонародно-провинциальный «купеческий» образ; в нем слышались и вызов по отношению к стилистике советских названий, с их бюрократической литературностью, и утверждение местного, народного, почвенного стиля. Я не сразу мог запомнить экзотическое название кафе, и тогда в шутку решил его окрестить — «Глокая куздра». Вдумавшись в механизм, в силу которого у меня возникла такая ассоциация, я понял, что образ 'глокой куздры', знакомый еще со времен школьного или университетского учебника, всегда выступал в моем сознании в тематическом, стилевом и жанровом ореоле, аналогичном тому, которым окружено название «Лыкова дамба».

Движущей силой, позволяющей осмыслить и правильно употребить неизвестные говорящему словоформы, служит не абстрактное знание грамматических моделей и их инвариантного значения, но конкретные выражения, выступающие по отношению к новой форме в качестве прототипического фона. При этом сама аналогия с известным прототипом возникает не просто на основании абстрактно-формального сходства с ним, но благодаря близости конкретных условий — той тематической и жанровой среды, в которой говорящий представляет себе незнакомую форму и которая возбуждает в его сознании конкретные, соответствующие этой среде аналогические соположения. 'Бокр' Щербы не вызывает у нас аналогии с ДОПР'ом («Дом предварительного заключения») или с МОПРЯЛ'ом, несмотря на то что, если сопоставить эти словоформы абстрактно, в качестве языковых «форм», между ними выявится тесное звуковое и формальное сходство (такая аналогия, конечно, может возникнуть, как все что угодно может возникнуть в языке, но лишь в качестве вторичного каламбурного развития ситуации); удаленность стилевых миров, в которые в нашем представлении погружается каждая из этих словоформ, диссоциирует их по отношению друг к другу и препятствует проявиться сходству между ними. Аналогия возникает всегда конкретно, в качестве продукта той смысловой среды, в которой говорящий ощущает данную языковую

ситуацию. Она появляется в его сознании в качестве фона-образца (часто совокупного, но не абстрактного), позволяющего распознать очертания встретившегося на его пути незнакомого языкового «предмета», — распознать именно в условиях данного коммуникативного «ландшафта», в качестве его составной части. Ассоциации с этим фоном как бы просвечивают в неведомой словоформе, придавая ей не до конца сфокусированный, но все же явственно проглядывающий смысл. Следование образцу, подсказываемому прототипом, позволяет говорящему «правильно» построить и употребить неизвестный ему материал.

Но почему же тогда так много слов имеют тождественные (или по крайней мере частично тождественные) ряды форм? почему весь языковой материал столь очевидным образом пронизывается регулярными и симметрическими отношениями, что и позволяет сводить множество конкретных случаев в обобщенные схемы?

Мне кажется, что это обстоятельство нисколько не противоречит предлагаемому здесь подходу, исходящему из первичности конкретного и индивидуализированного знания языкового материала. Наша память не просто хранит множество отдельных выражений: она пронизывается бесконечными ассоциациями и аналогиями между этими выражениями. Именно аналогическое осмысление мнемонического фонда позволяет создавать все новые языковые фигуры, находить новые условия для употребления словоформ, известных нам в составе определенных выражений, и создавать (или принимать и осмысливать) новые словоформы и выражения с ними. Тот факт, что мы, отправляясь от первично нам известных явлений, все время расширяем (или, скорее, «растягиваем») наш языковой репертуар, действуя «по образцу», на основании аналогий и прототипов, определяет сходство вновь создаваемых языковых произведений — будь то новые выражения или новые словоформы — с теми или иными уже известными. Кристаллизуясь в нашей памяти, превращаясь в первичное и безотносительное знание, эти новые произведения несут на себе печать аналогического сходства с их прототипами, на основе которых они были созданы, приняты и включены в фонд языковой памяти говорящих.

Именно поэтому в данном нам языковом материале так много сходств, аналогий, симметрий. Эти его свойства в свою очередь облегчают и стимулируют ассоциативный процесс, результатом которого является непрерывное обновление и изменение репертуара нашей языковой памяти.

Однако ассоциативная работа имеет многонаправленный, ситуативно распыленный, спорадический характер. Она не совершается по единому плану, не поддается полному контролю и учету. Каждое новое уникальное стечение обстоятельств может направить ассоциативную мысль но иному пути, или иным путям, вовлечь в процесс иные прототипы и иные приемы их аналогического растяжения в новых употреблениях. Вот почему сходства, симметрии и регулярности в языковом материале — в частности, в репертуаре парадигм и синтаксических позиций, в которые включается та или иная словоформа, — столь же очевидны, сколь неуловимы. Они бросаются в глаза с первых же шагов нашего контакта с любым языком: регулярность строения языковой материи кажется самоочевидной. Но как только мы пытаемся воплотить эту кажущуюся очевидность в действительно регулярное описание, на нашем пути немедленно вырастают огромные трудности. Чем далее мы продвигаемся по пути усложнения и дробления описания, стремясь преодолеть эти трудности, тем более распыленным, протеистически изменчивым и ненадежным оказывается язы-

ковой материал, каждый раз оставаясь в каких-то своих аспектах по ту сторону наших упорядочивающих усилий. Причина этого видится мне не в том, что интуиция говорящих обладает большей обобщающей силой, чем любая до сих пор построенная языковая модель, так что последней, несмотря на все усилия лингвистов, никак не удается сравняться с первой в отношении сложности и эффективности аналитической работы с языком; но в том, что языковая интуиция основывается на принципиально ином подходе к делу и развертывается в принципиально иных категориях. Для говорящих столь же важно наличие аналогий в языковом материале, как открытый и спорадически-множественный характер таких аналогий, то есть несводимость их к единому централизованному плану. Именно поэтому, при столь большой очевидности всевозможных «частичных» регулярностей в языковом материале, оказывается так трудно — а если подходить к задаче с полной интеллектуальной честностью, то попросту невозможно — достичь в его постижении «полной» регулярности.

Конкретность знания языкового материала отнюдь не препятствует тому, чтобы ориентироваться в новых, не имеющих прецедента языковых употреблениях. Возникающие ad hoc в каждом конкретном случае аналогии и ассоциации с имеющимся в распоряжении говорящего материалом обеспечивают успех в непредсказуемом числе новых ситуаций не в меньшей, но в большей степени, чем кодифицированное обобщенное знание. Централизованная система должна была бы подвергаться бесконечным модификациям, дроблению и усложнению, чтобы успешно адаптироваться ко все новым, никогда не повторяющимся задачам, которые приходится решать говорящему, и условиям, в которых ему приходится действовать. Но именно отсутствие централизованного подхода позволяет каждый раз оперативно мобилизовать те конкретные знания, которые притягиваются, в силу ассоциативных уподоблений, к ситуации, потребовавшей дополнительных усилий для своего осмысления. Неопределенность условий, при которых протекает эта ассоциативная работа, возможность бесконечного расширения и перестраивания мобилизуемого поля ассоциаций как нельзя лучше соответствует открытой, бесконечной множественности задач, возникающих перед говорящими в их пользовании языком.

Встретившись однажды (или несколько раз), новые выражения постепенно вживаются в конгломерат языковой памяти говорящего субъекта. Процессы непосредственного опознавания и аналогического проецирования фрагментов языковой ткани находятся в непрерывном взаимодействии; конфигурации этих фрагментов все время меняются в представлении говорящего — меняются с каждым конкретным опытом такого аналогического распознавания. Во многих случаях говорящий сам не мог бы определить, присутствует ли то или иное выражение в его памяти в качестве готового блока, либо является результатом легко опознаваемой, почти незаметной, но все же вторичной аналогической проекции. Сделать это различение часто оказывается невозможным хотя бы в силу того, что в тот самый момент, когда говорящий силится точно квалифицировать статус, который данная частица языковой ткани имеет в его сознании, объект его наблюдения — в самом процессе «переживания» его говорящим и в силу этого процесса — изменяет свой статус в фонде его языкового опыта. Это не отменяет, конечно, того, что в сознании говорящего всплывают многие фрагменты, которые он опознает (не обязательно — безошибочно) как заведомо ему уже известные или как заведомо вновь созданные.

В заключение мне хочется еще раз вернуться к приводившемуся выше

списку выражений, в составе которых в моем языковом сознании существует словоформа 'рук'. Я хочу подчеркнуть, что этот список никоим образом не претендует ни на полноту, ни на объективность. Сделать его «исчерпывающим» — задача принципиально невозможная. Говорящий субъект не имеет и не может иметь полного контроля над языком, которым он «владеет» и пользуется. Его «владение» языком означает только, что ему удается существовать в языке, как в среде, действовать в этой среде и взаимодействовать с ней, добиваясь достаточно успешных результатов, Поэтому его свидетельство о том языковом «ландшафте», который проглядывает в его языковом сознании, может быть не более исчерпывающим, чем всякое описание ландшафта. Носитель языка мог бы продолжать такую работу на протяжении всей жизни, все время видоизменяя получаемую картину. Более того, сам процесс такого осмысливания и описания уже представляет собой языковую деятельность; в этом качестве он оказывает обратное влияние на языковое сознание и память говорящего, актуализируя в ней новые соположения языкового материала, ведущие к возникновению новых выражений в его мнемоническом репертуаре, и так до бесконечности.

То же может быть сказано и о возможности полной объективации такого описания. Такая возможность не существует не только в практическом воплощении, но даже в виде идеальной цели, к которой следовало бы стремиться. «Знание» каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого это знание им приобреталось и пускалось в ход, Оно укоренено в переплетениях ассоциативных ходов — словесных, интонационно-жестовых, образных, сюжетных, — конфигурации которых неотделимы от личности субъекта. В нем просвечивает память об источниках — индивидуализированных или анонимных, «высоких» или «низких», отчетливо зафиксированных или смазанных и растворенных в общем тематическом и жанровом поле. Поэтому всякое знание языка — так же индивидуально, как жизненный опыт. Но, подобно жизненному опыту, языковой опыт личности пересекается с опытом других людей — пересекается множественным и неопределенным образом, но таким, который обеспечивает более или менее успешное взаимодействие на основе этого опыта. Носитель языка сознает, что некоторые из аспектов его памяти имеют заведомо индивидуальный, сугубо личный характер; некоторые другие — принадлежат более или менее узкому и четко очерченному кругу «своих», разделяющих тождественный опыт (вспомним такие феномены этого рода, достаточно хорошо описанные, как коллективная языковая память «арзамасцев» в пушкинскую эпоху или людей, побывавших в советских лагерях); о третьих с уверенностью можно сказать, что они имеют хождение в широкой и неопределенной по составу среде. Но многие такие оценки смазаны и приблизительны, и все они отличаются подвижностью и текучестью. Все, что носителю языка известно, — это что его знания и оценки языкового материала позволяют ему функционировать с относительным успехом в качестве человека, «владеющего» таким-то языком, «принадлежащего» к таким-то социальным кругам и сферам общения, адекватно действующего в открытом множестве разнообразных ситуаций, предполагаемом этими сферами.

Достижение говорящего, сумевшего овладеть языком в достаточной степени для того, чтобы успешно им оперировать в повседневном опыте, состоит не в интуитивном освоении каких-то сверхсложных систем, но в

способности обращаться с языковым материалом от случая случаю, и притом обращаться достаточно изобретательно и успешно. Интуитивное «владение языком», являющееся достоянием каждого, кто этим языком пользуется, вовсе не представляет собой некую сверхпрограмму, далеко превосходящую все, что до сих пор было достигнуто на путях алгоритмического моделирования языка. Наш язык есть явление принципиально иного порядка. Ему не свойственна ни экономность строения, ни четкость, ни последовательность, ни устойчивость и надежность; но зато ему свойственна такая емкость и пластичность, что он оказывается способным вместить в себя любой наш опыт, любые задачи, которые нам приходится решать, — в том числе объективирующую рефлексию по отношению к языку и любые игровые или интеллектуальные манипуляции с языковой материей.

* * *

Нам пора заканчивать «дезинтегрирующую» часть работы. Основной целью этой части был анализ рационалистического подхода к языку как к своего рода машине определенного устройства, совершающей предопределенную работу, «продуктами» которой являются реальные высказывания, имеющие хождение в языковой деятельности говорящих. Нет сомнения, что наблюдаемый нами материал языковой деятельности в принципе может быть представлен таким образом, хотя лишь с относительным успехом. Едва ли найдется какой-либо феномен, доступный нашему наблюдению, который человеческая мысль не могла бы и не стремилась бы организовать подобным образом, добиваясь на этом пути больших или меньших успехов, в зависимости от эффективности избранных приемов описания и степени сложности описываемого объекта. Однако если посмотреть на язык не как на искусственно заданный в объективированной форме предмет, подлежащий возможно более рациональному описанию, но как на континуальную, протяженную во времени духовную среду нашего повседневного существования, такой подход обнаруживает явные противоречия с языковой практикой говорящих.

Чем дальше продвигается лингвистика по пути моделирования языка как единой структуры, чем большей объяснительной силой и, соответственно, большей конструктивной сложностью отличаются получаемые на этом пути модели, — тем больше, как мне кажется, эта картина удаляется от тех конкретных, частных действий, всегда укорененных в конкретной ситуации и конкретных личностных ресурсах памяти и опыта говорящего, при помощи которых каждый из нас осуществляет свою языковую деятельность. То, что говорящим дано в качестве простого и непосредственного знания, в структурирующей перспективе выступает как сложнейший многоступенчатый алгоритм, при помощи которого говорящий субъект якобы переходит от абстрактной схемы к ее индивидуальному воплощению в речи; причем никакая степень сложности такого алгоритма не позволяет учесть все бесчисленные факторы, которые должны были бы действовать при каждом его воплощении. Лишь искусственное, стилизованное представление того, что мы в действительности наблюдаем в речи,— представление, из которого произвольно изымается целый ряд компонентов, без которых речь попросту не существует,— позволяет создать иллюзию, что инвариантные структурные категории и абстрактные правила операций с ними действительно работают, то есть действительно дают результаты, приблизительно адекватные языковой практике говорящих.

Дальнейшее усложнение и ветвление структурной модели, преследующее цель как можно полнее охватить все многообразие языкового существования, не кажется мне многообещающим путем — хотя бы уже потому, что такому усложнению заведомо нет конца. Как много разнообразных параметров ни удалось бы нам освоить в рамках структуры, каждый новый случай употребления языка будет выдвигать перед нами новую игру факторов, прежде в таком виде никогда не встречавшуюся и требующую все новых усилий для ее системного объяснения. Подобно тому как космическая ракета, для того чтобы иметь возможность достигнуть скорости света, должна была бы иметь массу, равную массе всей вселенной, так и языковая модель, стремящаяся полностью достигнуть то, что удается достигнуть говорящим в каждом их опыте употребления языка, должна была бы включить в себя, в виде ветвящейся классификации, все высказывания, когда-либо кем-либо при каких-либо обстоятельствах созданные. Дело не только в том, что это невозможно; главное — невероятная интеллектуальная сложность и громоздкость такой картины никак не соответствует всеобщей распространенности и повседневности, но вместе с тем поразительной протеистичности и динамизму того явления, которое она призвана описывать.

Пока что, в результате проделанной критической работы, то, что представлялось структурно организованным механизмом, превратилось для нас в гигантское множество разрозненных, самих по себе существующих деталей. Как эти детали соотносятся и взаимодействуют между собой, без того, чтобы занимать раз навсегда определенное место в единой структуре? Каким образом гигантский склад частиц языковой материи, хранящихся в памяти говорящего, превращается в конгломерат — некое целое, но притом целое подвижное, не заданное раз и навсегда в своем строении? И наконец — как бы ни была велика наша языковая память, она, разумеется, не бесконечна; между тем, наш языковой опыт приводит к созданию бесконечного числа все новых языковых произведений, включаемых во все новые ситуации. Как получаются они из уже наличного материала, нечто новое из известного? как удается нам оценивать степень приемлемости получающихся при этом результатов, если мы не руководствуемся единой и устойчивой системой правил?

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, необходимо заняться поиском принципиально иных категорий описания языкового материала, лежащих принципиально в иной плоскости, по сравнению с категориями языковой структуры. Это должны быть такие категории, которые были бы способны работать в условиях непрерывных и бесконечных изменений ситуаций и задач, возникающих перед говорящими; для которых такая вариабельность, пластичность и открытость была бы не пределом сложности, но напротив, естественным и простейшим условием их функционирования.

Поиску таких категорий и будут посвящены последующие разделы книги.

Часть II. СТОРОНУ ИНТЕГРАЦИИ: РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ТКАНИ

Глава 4. МНЕМОНИЧЕСКАЯ СРЕДА ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Взгляни на эти равнины, и пещеры, и впадины памяти, бесчисленные и бесчисленно наполненные бесчисленными родами предметов — образами, как будто совсем телесными: живыми изображениями, как в живописи; или различными понятиями и впечатлениями, отражающими состояние ума, — которые хранит память, даже если сознание этого не ощущает, хотя все то, что есть в памяти, есть также и в сознании, — мимо их всех я проношусь, пролетаю, погружаясь в них то с этой стороны, то с той, так глубоко, как только удается, и так без конца.

Августин, «Исповедь», X:9

Мы отправляемся от главного тезиса предыдущей части: основу языкового умения составляют не абстрактные правила, с помощью которых можно было бы создавать различные построения из языкового материала, — но скорее сам этот материал как первичная данность, усваиваемый в конкретной форме и применительно к конкретным условиям употребления.

Языковая память говорящего субъекта представляет собой грандиозный конгломерат, накапливаемый и развивающийся в течение всей его жизни[82]. Она заключает в себе в полусплавленном, ассоциативно подвижном, текучем состоянии гигантский запас коммуникативно заряженных частиц языковой ткани разного объема, фактуры, разной степени отчетливости и законченности: отдельные словоформы, каждая в окружении целого поля более или менее очевидных сочетательных возможностей; готовые словесные группы, в каждой из которых просматриваются различные возможности модификации, расширения, усечения, замены отдельных элементов; синтактико-интонационные фигуры, лишь частично заполненные отдельными опорными словами, в окружении целых полей словоформ и словосочетаний, пригодных для их полного воплощения; целые готовые реплики-высказывания (опять-таки, с возможностями их модификации); различные риторические «жесты», за которыми проглядывают более крупные речевые блоки и даже целые тексты, ассоциируемые с такими «жестами»; наконец, отдельные куски текстов и речений, устных и письменных, прозаических и поэтических, относящихся к различным сферам и жанрам языкового существования, которые говорящий помнит с разной степенью отчетливости — будь то точное знание наизусть, или приблизительное, размываемое лакунами воспоминание, или смутный, едва просвечивающий в памяти образ[83].

Общим для всех этих частиц является то, что они представляют собой не столько унифицированные строительные «кирпичи», которые можно укладывать в различные фигуры по предварительно намеченному плану, сколько индивидуализированные «предметы», сама фактура которых неотделима от принадлежности их к определенному коммуникативному

«ландшафту» и содержит в себе в потенциале весь образ того целого, к которому такой предмет принадлежит. Подобно тому как по одному предмету интерьера можно представить себе в общих чертах весь облик соответствующей среды обитания — включая представление о психологии, поведении, характере взаимоотношений, внешнем облике людей, являющихся обитателями и создателями такого интерьера, — точно так же в каждой отдельной языковой частице, присутствующей в памяти говорящего, проглядывают очертания всей потенциальной коммуникации, частью которой эта частица может являться: целый спектр возможных тем, тон общения или повествования, жанровый модус, социальные и психологические портреты потенциальных участников, различные сопутствующие обстоятельства. Наша память не хранит никаких сведений о языке как таковых, абстрагированно от условий употребления, но всегда в проекции на потенциальные тематические и жанровые сферы, коммуникативные ситуации, стилевую и эмоциональную фактуру. Сами метаязыковые сведения об абстрактных системных отношениях, обнаруживаемых в языковом материале, существуют в нашей памяти не отвлеченно, не сами по себе, но применительно к определенному типу контактов с языком, в рамках которых они актуализируются в нашем сознании и получают полезное применение.

Можно сказать, что основу нашей языковой деятельности составляет гигантский «цитатный фонд», восходящий ко всему нашему языковому опыту. Языковая память каждого говорящего формируется бесконечным множеством коммуникативных актов, реально пережитых и потенциально представимых. Каждая мысль, которую говорящий хочет выразить, уже при самом своем зарождении пробуждает этот цитатный мнемонический конгломерат, актуализирует некоторые его компоненты, которые почему-либо ассоциируются с образом зарождающейся мысли. Эти компоненты, в силу присущих им множественных ассоциативных связей, в свою очередь притягивают к себе другие языковые частицы, актуализируя их в сознании говорящего в качестве возможных ходов выражения его мысли.[84] Говорящий субъект реализует некоторые из этих пробуждающихся в его сознании возможностей и оставляет в стороне другие, и каждое принимаемое им решение, каждый ход его языковой мысли вызывает новые волны ассоциативной индукции. Сама мысль, подлежащая выражению, приобретает все более определенный образ, по мере того как она воплощается — в буквальном смысле этого слова — в этих конкретных, индуцируемых памятью говорящего и отбираемых им языковых ходах.

Конечный результат этого процесса — получившееся высказывание — представляет собой компромисс между тем, что говорящий «намеревался» высказать (но само это намерение становится *для* него образно ощутимой действительностью лишь в ходе языкового воплощения), и тем, что «получилось» в силу свойств использованного языкового материала.[85] Это компромисс между открытыми, неинтегрированными полями возможностей, пробуждаемыми мыслью говорящего, и его коммуникативной волей, стремящейся выловить из этого растекающегося по всем направлениям потока ассоциаций такие частицы, которые, с одной стороны, представлялись бы ему подходящим материалом для воплощения его замысла и, с другой, были бы способны объединяться друг с другом, интегрируясь в целое, образ которого более или менее соответствовал бы тому, который проглядывал в его мысли. Это также компромисс между печатью предыдущих употреблений, которую несет на себе каждый всплывающий в па-

мяти языковой ход, и желанием приспособить его к уникальному, всегда новому заданию и стечению обстоятельств, в которых и ради которых создается каждое высказывание.

Сходные процессы имеют место и в том случае, когда говорящий воспринимает чужое высказывание. Каждая поступающая к нему извне частица языкового материала облекается целым полем ассоциаций, реминисценций, отсылок, которые эта частица индуцирует в его языковой памяти. Конечный образ, в котором полученное высказывание воплощается в сознании говорящего в качестве его интерпретации этого высказывания, не может быть предсказан на основе постоянно действующих правил «дешифровки» языкового материала. Этот образ возникает из взаимодействия многонаправленных ассоциативных полей, в окружении которых — и через посредство которых — данное высказывание и различные его компоненты находят свое место в конгломерате языкового сознания говорящего.

И в поступающих к нам извне текстах, устных и письменных, и в колеблющихся, редуцированных очертаниях внутренней речи, в которой нам впервые — еще отрывочно и размыто — предстает наша собственная мысль, подлежащая высказыванию, мы прежде всего распознаем «отсылки» к нашему языковому опыту, те компоненты, которые вызывают резонанс в нашей языковой памяти. Процесс этот подобен тому, который возникает при восприятии интертекстуальных аллюзий, подтекстов, перифраз в художественном тексте. Различие, однако, состоит в масштабах такой работы: и количество элементов, вызывающих в нашем сознании всякого рода аллюзионные резонансы, и масштабы прошлого опыта, к которому эти аллюзии нас отсылают, несравненно шире и сложнее в повседневном языковом употреблении, чем в самом сложном и эзотерическом поэтическом тексте. Любой самый тривиальный разговор или написанный текст представляет собой, с точки зрения его аллюзионного потенциала, явление гигантских, необозримых масштабов и неисчерпаемой глубины — оказывается, так сказать, «грандиозней Святого Писанья». Проникнуть в эту толщу, распутать хотя бы некоторые из бесконечных наслоений и переплетений смысловой ткани, выделить хотя бы некоторые голоса в этом непрерывно звучащем в нашем сознании оркестре, грандиозном в своей анонимности, — такова задача, встающая при анализе языка как мнемонической среды, в которой протекает языковое существование.

Я предвижу возражение читателя: конечно, в языке существует некоторое количество устойчивых выражений и готовых формул, это всем известно; но ведь они составляют лишь небольшую и ограниченную часть употребления языка? На это можно ответить только одно: давайте попробуем отвлечься оттого, что «всем известно», возьмем наугад любое высказывание, свое или чужое, устное или письменное (хотя бы вот это, создание и интерпретирование которого мы с вами переживаем в данный момент), и приглядимся внимательно — сколько в таком высказывании проглядывает «кусков» языковой ткани, которые наша память подсказывает нам в готовом виде, в окружении неопределенного множества контекстов, в которых мы с этими «кусками» когда-либо прежде имели дело? И далее — возможно ли встретить, или даже специально сконструировать, такое высказывание, в котором для нас не просвечивало бы что-то такое, в чем наша языковая память способна была бы узнать нечто знакомое, где-то и когда-то уже бывшее в нашем прежнем опыте языкового существования, — узнать если не буквально, то в качестве более или менее отдаленной

вариации, может быть, даже причудливого искажения, но все-таки узнать, то есть испытать некоторый реминисцентный отклик? В последующих главах этой части мы займемся рассмотрением такого рода проблем на конкретном языковом материале.

Тезис о том, что основу употребления языка составляет априорное мнемоническое знание громадного материала, участвующего в качестве цитатного фонда в каждом коммуникативном акте, никоим образом не означает, что наше повседневное языковое существование имеет трафаретный и пассивный характер. Представление о том, что воспроизведение и узнавание известного является лишь мертвым повторением, противоположным творчеству, составляло квинтэссенцию авангардной эстетики и авангардной теории языка. Такое направление мысли рассматривает творчество как процесс производства, в ходе которого все время что-то заново строится или, по крайней мере, перестраивается. Нет нужды доказывать современному читателю, что «поэтика узнаваний» так же способна создавать новые эффекты, как и поэтика инноваций[86]; с другой стороны, инновации, создаваемые на основании фиксированных «правил игры», так же легко превращаются в рутину, как и механические повторы, — о чем красноречиво свидетельствует судьба авангардной поэтики и авангардной теоретической мысли во второй половине этого столетия, когда они сделались предметом массовой продукции и потребления.

К языковой цитате в полной мере применима образная формула, с помощью которой Мандельштам описывал эффект поэтической цитации:

Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает[87].

Иными словами, цитата не есть изолированный отрезок речи, раз и навсегда отложившийся в определенной ячейке памяти, но непрерывный «гул», заполняющий все интеллектуальное пространство, в котором осуществляется наша языковая перцепция и языковое творчество. Осевшая в памяти (точно или неточно, отчетливо или смутно) речевая цитата не существует сама по себе, в качестве отдельной «единицы хранения». Каждый памятный нам кусок языкового материала включается в разветвленную сеть переплетений, наложений, соположений с другими кусками. От каждого такого фрагмента расходятся волнами ассоциативные тяготения и резонансы — близкие и отдаленные, непосредственные и опосредованные, четко сфокусированные и размытые, — заполняющие собой, в конечном счете, все пространство языковой памяти. Наши мнемонические языковые ресурсы представляют собой не неподвижную упорядоченность складского помещения, но непрерывный «цикадный» гул притягивающих друг друга, перетекающих один в другой, резонирующих друг с другом смысловых образов.

Сам режим этой ассоциативной работы отнюдь не постоянен и не задан раз и навсегда. Напротив, он непрерывно изменяется в соответствии с тем, как говорящий «чувствует себя» в данной коммуникативной ситуации: какими видятся ему характер реального или потенциального собеседника и взаимоотношения с ним, интеллектуальная сфера высказывания, его жанровые параметры, эмоциональный и стилевой тон. Малейшее изменение этого общего модуса влияет на весь ход ассоциативной работы, из которой рождаются высказывания и их интерпретации. Какие поля языковой памяти включатся в ассоциативную работу, какими своими аспектами они будут высвечиваться в сознании говорящего, каковы будут результаты их взаимодействия друг с другом, — зависит от непредсказуемого множества

условий, из которых для говорящего складывается все время изменяющееся ощущение коммуникативной «температуры» той языковой среды, в которой и по поводу которой протекает его деятельность. Каждая новая реплика-высказывание, будучи в известной степени ассоциативным порождением предыдущей, в то же время вносит новый, только ей присущий заряд ассоциативных потенций и жанрово-стилевых модусов. Эти непрерывно возникающие новые проекции оказывают не только проспективное влияние на дальнейший ход развертывания коммуникации; они имеют также обратную силу, заставляя говорящих ретроспективно переосмысливать и корректировать смысл предыдущих, ранее созданных и осмысленных высказываний. Весь смысловой образ коммуникации непрерывно движется в сознании участников, все время репроецируется и рефокусируется. Насколько получающиеся в ходе этих усилий результаты способны произвести впечатление отчетливостью своего смыслового образа, множественностью и глубиной пробуждаемых смысловых резонансов, — зависит от того, как нам удалось использовать различные мнемонические ресурсы, как «сыграли» мы на оказавшихся в нашем распоряжении (применительно к данной ситуации) мнемонических клавишах и жанровых и эмотивных педалях.

Замечательным свойством этих процессов является также то, что каждое предпринимаемое говорящим коммуникативное усилие, приводя в движение конгломерат его языкового опыта, тем самым изменяет, хотя бы незначительно, очертания и валентные свойства самого этого опыта как целого: появляются какие-то новые соединения (в свою очередь открывающие пути для дальнейших ассоциативных связей), какие-то уже известные соединения или ассоциации либо актуализируются и укрепляются в памяти, либо, напротив, бледнеют, расподобляются, отходят на задний план[88]. Это движение языкового опыта никогда не останавливается на всем протяжении языкового существования говорящего. Границы между тем, что мы твердо и сознательно «знаем»; тем, что легко и уверенно «узнаем»; тем, что «принимаем» как нечто, по всей вероятности в таком точно виде нам никогда ранее не встречавшееся, но тем не менее вполне понятное и обыденное с точки зрения нашего совокупного опыта; и тем, наконец, что воспринимается нами как нечто неожиданное, требующее чрезвычайных мер для своей интерпретации и оценки, — границы между всеми этими слоями нашего взаимодействия с языковой средой остаются зыбкими и текучими. Ступить дважды в «один и тот же» поток языковой мысли поистине оказывается невозможным.

Развертывание коммуникации можно сравнить с перемещением человека в окружающей его среде. Каждая такая прогулка имеет некоторую цель и совершается в определенном, более или менее ясно намеченном направлении. Но в то же время каждый конкретный шаг меняет для нас и общий вид открывающегося нам ландшафта, и ту микросреду, в которой нам предстоит сделать следующий шаг. Вся процедура совершается, в основном, совершенно привычным образом; и мускульные действия, и их соотнесенность с перцептивными ощущениями в огромном большинстве случаев развертываются в виде автоматизированных, нерасчленяемых «блоков». Однако эта обыденная привычность происходящего не должна заслонять от нас того факта, что и наши действия, и их физический и психологический результат никогда не повторяются. С каждым шагом мы попадаем в новый, никогда прежде не бывший мир, обретаем уникальное, никогда прежде не встречавшееся в точности сочетание предпосылок для

следующего действия.

Если изъять какой-либо предмет — скажем, камень или растение — из ландшафта, естественной принадлежностью которого он является, и поместить его на полку среди других сходных с ними предметов, место которых относительно друг друга будет определяться согласно единому классификационному принципу — например, на основе их размера, формы, веса, цвета, — такой предмет приобретет характер фиксированного «элемента», имеющего определенный набор признаков и соответствующее место в классификационной системе. Но на своем естественном месте, в качестве части открытого и непрерывного ландшафта, наш камень не обладает ни полной выделенностью из среды, ни постоянством функций. Он существует в проекциях на множество других компонентов ландшафта, близких и далеких, образуя вместе с ними то, что в нашем представлении складывается в различные образы пейзажа как целого. Очертания таких образов те кучи: они изменяются с каждым изменением ракурса и освещения, с каждым включением в фокус внимания какого-нибудь нового компонента. В этом смысле оказывается невозможным четко регламентировать «функции», выполняемые нашим камнем в формировании того образа, в котором нам в тех или иных случаях, в ходе тех или иных наших действий предстает окружающий нас ландшафт.

Наше знание языка подобно такому ландшафту. В повседневном языковом существовании язык служит нам не как фабрика, производящая и выпускающая все новые продукты из стандартных полуфабрикатов, но как среда интеллектуального обитания. Все, что мы можем высказать, существует в нашем сознании как данность — но данность подвижная и открытая, способная к бесконечным модификациям, изменениям ракурсов и конфигураций. Мы перемещаемся по смысловому ландшафту коммуникации, как по более или менее нам знакомой местности. В ходе такого путешествия по полям нашего языкового сознания все встречающиеся нам знакомые языковые предметы не просто узнаются, но выступают каждый раз в новых ракурсах и новых соотношениях с другими предметами. Сам этот «готовый», не зависящий от нашей производящей деятельности характер языковой среды обусловливает ее открытость и пластичную подвижность[89]. То, что мы не производим на пустом месте нужный нам результат, а скорее «отыскиваем» его в данной нам среде, только на первый взгляд делает нашу роль более пассивной; в действительности именно такой способ обеспечивает открытость и неповторимость нашей языковой деятельности.

Ранее уже говорилось о том, что репродуктивная стратегия обращения с языком, основывающаяся на никак не регламентированном, разрозненном и хаотическом запоминании бесчисленных языковых фактов, представляется неразумной и неэкономной только при первом, поверхностно-позитивистском взгляде на проблемы, с которыми имеет дело говорящий субъект в процессе языкового существования. С позитивистски-рационалистической точки зрения, свертывание предмета при помощи единообразных правил и классификаций, устранение из него всего частного и случайного есть безусловное благо, облегчающее и интеллектуальное освоение этого предмета, и практическое пользование им. Однако понимание языка как развертывающегося во времени мнемонического конгломерата решительно расходится с таким представлением о разумности, эффективности и удобстве. Чем больше отдельных «кусков» языковой ткани хранится в памяти говорящего и чем более неопределенными и

множественными являются соотношения между ними, тем богаче оказывается сетка ассоциативных ходов, аналогических уподоблений, пластических модификаций имеющегося материала, на основе которой говорящий субъект создает и интерпретирует высказывания; чем большую протяженность и меньшую интегрированность имеет такая сетка, чем гуще расходятся по ней, по всевозможным направлениям, соположения между всевозможными частицами ее ткани, — тем с большей быстротой и успешностью говорящий субъект способен «вылавливать» с ее помощью языковые частицы, соответствующие его коммуникативному намерению, и пластически приспосабливать их друг к другу так, чтобы они могли соединиться в целое высказывание. Легкость, скорость и эффективность языкового выражения достигается на путях неограниченного расширения и усложнения «игры» с языком, при котором «правила» этой игры делаются все более туманными и неоднозначными, — а не на пути устремления к позитивистскому идеалу рациональной экономности и единообразия.

Все сказанное о текучести и непрерывности языковой памяти может быть в принципе отнесено и к многоязычной языковой среде и многоязычному языковому сознанию личности. Представление феномена «двуязычия» в виде двух разных фабрик-систем, которыми говорящий манипулирует как бы при помощи идеального пульта управления, переключая производственный процесс с одной системы на другую по мере надобности, не находит сколько-нибудь значимого отклика ни в моем личном опыте, ни в том, как, по моим наблюдениям, действуют люди в многоязычной среде. В моем представлении, многоязычное языковое сознание представляет собой единый конгломерат языковой памяти, в котором различные частицы языковой материи, принадлежащие разным языкам, и расходящиеся от них поля ассоциативных связей свободно «плавают», вступая друг с другом во все новые соположения и образуя все новые конфигурации. Говоря на одном языке, многоязычный субъект черпает не из специального резервуара, отведенного в его голове для этого языка, но из общего конгломерата своего языкового опыта. Почему же тогда, спросит меня читатель, такой субъект оказывается способным не смешивать один язык с другим и «чисто» изъясняться на каждом известном ему языке? Именно потому, что процесс мобилизации языкового материала, его отбора и соединения в высказывания совершается не абстрактно, но применительно к данной конкретной ситуации и данным конкретным целям языковой деятельности. Языковая мысль говорящего настроена на партнера, ситуацию, содержание, жанр коммуникации, и эта настроенность естественным образом определяет, попадает ли в поле его действий материал только «одного» из известных ему языков, или только «другого», или их обоих вместе, в разных пропорциях и разных функциональных соотношениях. Изменения такой настройки, вызываемые изменением модуса коммуникации, также летучи, как и сами поля языковых реминисценций и ассоциаций, возникающие в сознании говорящего в связи с определенной его настроенностью и направляющие его языковую деятельность. Случайная ошибка в выборе языкового материала была бы тут так же неуместна, как если бы мы «случайно» надели галстук поверх купального костюма, отправляясь на пляж (что не исключает, конечно, возможности сделать это преднамеренно — в качестве шутки, либо какого-то символического жеста, либо в особой карнавальной ситуации).

Однако тот факт, что материал разных языков диссоциирован в языковой деятельности многоязычного субъекта, расходясь по разным ситуаци-

ям употребления, не означает, что он существует для него в виде раздельных, не сообщающихся друг с другом наборов. Как и во всяких иных языковых проявлениях, и в этом случае силы диссоциации действуют совместно и во взаимодействии с силами ассоциации. Растекание частиц языкового материала по разным сферам употребления неотделимо от процессов их соположений и соприкосновений, в ходе которых эти частицы взаимно «просвечивают» друг в друге, выявляя новые аспекты своего смысла и новые ассоциативные потенциалы. Языковое сознание человека едино — тем неустойчивым и неупорядоченным единством, которое допускает бесконечное разнообразие и пластичность речевых воплощений. «Один язык» никогда не остается тем же самым, если в сознании субъекта он выступает в симбиозе с «другим языком» или языками. Говоря так, я отнюдь не имею в виду языковую «интерференцию» в поверхностном и примитивном смысле — то есть непроизвольное вкрапление в речь иноязычных слов, употребление неуклюжих оборотов, калькированных из другого языка. Такое явление часто имеет место как раз при недостаточном владении одним из интерферирующих языков. Парадоксальным образом именно в этом случае материал языка, в который субъект не вжился должным образом, выступает для него в виде механической «схемы», применение которой, безотносительно к условиям употребления, искажает его речь. Многоязычное языковое сознание, более полно и тонко настроенное на ситуативные требования к применяемому языковому материалу, легко избегает такой грубо механической интерференции языковой ткани. Однако и в этом случае соприсутствие разных языков проявляется в языковых действиях и языковом самосознании говорящего субъекта. Он видит каждый кусок языкового материала (какого бы то ни было языка) в таких ракурсах, таких потенциалах ассоциативного развития, которые представляют собой продукт множественных соположений, возникающих в многоязычном конгломерате, и в конечном счете определяются полным составом этого конгломерата.

Такой же текучей и размытой является граница между «объективным», надличностным состоянием среды языкового существования и ее субъективным образом в сознании каждого отдельного «обитателя» этой среды. Мнемонический конгломерат каждого говорящего уникален; он не только не повторяется в точности у других людей, но никогда не остается тождественным самому себе даже в сознании одного человека. Однако языковой опыт разных людей в значительной своей части сходен; какова именно эта общая, надличностная часть языкового опыта — никогда нельзя сказать с точностью, потому что она все время изменяется, также как все время изменяются конфигурации языкового опыта каждого отдельного индивидуума. Именно это зыблющееся, все время меняющееся соотношение между «своим» и «чужим», между тем, что данная личность сознает как часть своего собственного языкового опыта, и тем, что воспринимается ею как (в той или иной степени) новое, получаемое извне, и создает возможность языкового общения, — а отнюдь не тождество языковой «компетенции». Если бы все члены сообщества, «владеющие» данным языком, обладали тождественным знанием, они в каждом принимаемом высказывании способны были бы с полной определенностью отделить «знакомое» от «незнакомого», «правильное» (с точки зрения их знания) от «неправильного». В этом случае язык или вовсе не мог бы развиваться, или изменялся бы в виде дискретных скачков, путем введения сознательно санкционированных новшеств. Но в том-то и дело, что говорящим и самим ни-

когда не известно в точности, в чем именно состоит их «знание» языка, каковы очертания и где границы этого знания. Мы получаем извне высказывания, в которых знакомое и незнакомое, привычное и более или менее удивительное переплетено в нерасторжимом и каждый раз новом единстве. И получаем мы эти высказывания от различных людей, имея дело каждый раз с неповторимым социальным и психологическим образом говорящего (каким он нам представляется), в перспективе неповторимой ситуации, в которой и по поводу которой происходит языковой контакт. Наше восприятие коммуникации существует только во взаимодействии с этой подвижной средой личностей, предметов и обстоятельств. От этого взаимодействия каждый раз зависит, что в том или ином высказывании нам покажется обыденным и что необычным, что мы будем готовы и что не готовы принять.

Во множестве таких коммуникативных действий языковое сознание говорящего субъекта изменяется каким-то, самому этому субъекту не до конца известным образом. Создаются новые прецеденты, изменяющие его представления об обычном и необычном, приемлемом и неприемлемом; возникают (или ярче выступают на передний план) новые ассоциативные каналы, новые валентные тяготения, расходящиеся от известного выражения, а другие, напротив, бледнеют и стираются[90]. Эти внутренние изменения отражаются в характере языковой деятельности субъекта, а значит, и в том, как и сама эта деятельность, и его языковая личность в целом будет восприниматься другими говорящими.

Языковое общение протекает в виде непрерывных соприкосновений различных языковых личностей, в ходе которых они взаимно инкорпорируют в себя языковой опыт партнера, — именно инкорпорируют, пробуждая многообразные и сугубо индивидуальные отклики в своем языковом мире, а не регистрируют в качестве зафиксированных «новых» языковых сведений. В ходе этих столкновений-перетеканий языковых миров различных говорящих изменяются и сами эти миры, и представления того или иного говорящего о том, какой частью своего языкового мира он может и желает «поделиться» с тем или иным партнером. Субъективный и объективный, индивидуальный и надличностный аспекты языковой среды существуют только в их перетеканиях друг в друга, в бесконечных взаимных проекциях и репроекциях. Наша способность принять кем-то другим созданное высказывание в свой языковой мир есть результат общего языкового «цитатного фонда», к которому мы все, хотя и каждый по-своему, приобщены, результат многократных соприкосновений наших ресурсов языковой памяти и связанного с ними жизненного опыта, — а не того, что нам всем каким-то образом известен алгоритм, при помощи которого эту фразу мог бы построить некий гипотетический «носитель языка», не имеющий никакого жизненно-языкового опыта, соотносимого с нашим собственным.

Непрерывная органическая регенерация среды языкового существования через духовное взаимодействие отдельных личностей меньше всего напоминает идеал языкового муравейника, построенного и поддерживаемого объединенными усилиями говорящих, действующих как некий организованный для совместной производственной деятельности коллектив.

Это, однако, не означает, что у языкового существования нет своих законов, своей целенаправленности и упорядоченности, своих типичных единиц, приемов и категорий, через посредство которых оно осуществляется.

Глава 5. КОММУНИКАТИВНЫЙ ФРАГМЕНТ (КФ)

Ты хоть бы форточку открыл. Еще разок — и по домам. Жратва там, правда, будь здоров. Сил больше нету никаких! Какая рифма к слову «пять»? Упрямый, как не знаю что. Шесть букв. Кончается на «п». Ну всё. Пока. Я позвоню. Ему? Лет пятьдесят. А что? Ты, кстати, выключил утюг? Вот так приходит и сидит. Ты в зеркало давно смотрел?

Лев Рубинштейн, «Появление героя»

5.1. КОММУНИКАТИВНЫЙ ФРАГМЕНТ — ПЕРВИЧНАЯ ЕДИНИЦА ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ.

В нашем представлении о языке, почерпнутом из грамматик, язык предстает как иерархия единиц различных порядков: фонем, морфем, лексем, синтаксических фраз, предложений. Каждая единица высшего порядка складывается из единиц более низкого порядка по определенным правилам: фонемы соединяются в морфемы, морфемы — в слова, слова — в синтаксические построения.[91] Мы так свыклись с этим представлением, оно настолько неотделимо от нашей рефлексии по отношению к языку, что даже не задаемся вопросом: действительно ли мы пользуемся в своей спонтанной языковой деятельности именно этими единицами, и именно в таком их иерархическом соотношении? действительно ли то гигантски-неопределенное по своим масштабам и последствиям целое, которое мы называем нашим «знанием» языка, расчленяется на эти единицы, категоризируется в этих параметрах, а не каких-либо других?

Наша задача — попытаться показать, как может выглядеть язык в принципиально иной перспективе, при которой основой владения языком, обеспечивающей говорящим успешное обращение с ним, признается не языковая рефлексия, но языковая память. Те единицы языкового материала, в которые естественно и удобно укладывается рефлексия о языке, совсем не обязательно сохраняют релевантность в качестве компонентов, из которых складывается и которыми оперирует языковая память. Необходимо заново задаться вопросом о том, какими должны быть частицы языкового материала, свойства которых соответствовали бы характеру работы с языком, определяемому языковой памятью.

Обсуждение общих принципов обращения с языком, соответствующих условиям языкового существования, привело нас к выводу, что языковая материя, с которой имеет дело говорящий в таких условиях, должна обладать парадоксальным свойством, которое можно определить как неустойчивую, или динамическую заданность. Сущность этого парадокса состоит в том, что языковой материал, с одной стороны, существует для говорящего в конкретном и непосредственном виде, как собрание готовых языковых «предметов», которые могут быть извлечены из памяти в любой момент, без всяких посредствующих операций; но с другой стороны, это такой готовый материал, частицы которого не зафиксированы в памяти в качестве устойчивых единиц хранения, но обладают текучими очертаниями и гра-

ницами, делающими каждую такую частицу способной бесконечно видоизменяться, адаптироваться к другим частицам и контаминироваться с ними, приспосабливаясь к бесконечному разнообразию условий употребления. Именно такие, и только такие частицы языковой ткани, которые соединяют в себе заданность и пластичность, непосредственность воспроизведения и узнавания и зыблющуюся текучесть, предметную конкретность и эфирную протеистичность, могут быть признаны языковыми «единицами», из которых складывается и в параметрах которых протекает языковое существование.

Важнейшей единицей такого рода, лежащей в основании мнемонического владения языком, мне представляется коммуникативный фрагмент.

Коммуникативные фрагменты (КФ) — это отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний. К.Ф — это целостный отрезок речи, который говорящий способен непосредственно воспроизвести в качестве готового целого в процессе своей речевой деятельности и который он непосредственно опознает как целое в высказываниях, поступающих к нему извне.

Например, такие выражения, как 'сам построил дом', 'строительство жилых домов', 'в недавно построенном доме', 'чтобы построить дом, нужно/требуется ...', представляют собой различные коммуникативные фрагменты. Они существуют в моей памяти целиком, в качестве готовых к употреблению кусков языкового материала. Я не образую эти сочетания по правилам синтаксического построения именной или глагольной фразы, не думаю о том, какие «падежные формы» имеет лексема 'дом' и какая из этих форм мне понадобится в составе того или другого выражения; я не делаю всего этого, даже если в принципе было бы нетрудно сформулировать правила для соответствующих операций, и я сам мог бы, в случае надобности (например, чтобы объяснить механизм построения этих выражений человеку, не владеющему языком), извлечь такие правила из запаса моих метаязыковых сведений либо создать их заново. В спонтанной языковой деятельности мне не нужно этого делать, потому что я уже знаю эти выражения на память и целиком — каждое в отдельности и все вместе. У меня есть ощущение — не обязательно полностью и в точности соответствующее объективному положению вещей, но вполне реальное как факт моего личного языкового мира, — что в своем предыдущем языковом опыте я либо сам употреблял их в своей речи, либо встречал в устных или письменных текстах, с которыми мне приходилось соприкасаться. Поэтому я готов вновь и вновь пускать эти выражения в дело, всякий раз, когда, в процессе ассоциативных притяжении и наслоений в мысли разных кусков языкового материала, происходящих в ходе моих усилий высказаться, языковая память выносит те или иные из этих выражений на поверхность моего сознания. Чтобы быть уверенным в «правильности» такого выражения, мне не нужно справляться, соответствует ли оно определенным правилам построения: я просто знаю как факт, что оно «правильно», то есть принадлежит к корпусу моего языкового опыта. Поэтому же всякий раз, встречая такое выражение в предлагаемой моему вниманию речи, я не задаюсь вопросами о том, правильно ли оно построено, из каких компонентов, как эти компоненты соотносятся между собой и как следует их сложить в некий суммарный смысл. Я «узнаю» коммуникативный фрагмент целиком, как узнается знакомый предмет. Его смысл для меня непосредственен и безотносителен; он определяется фактом моего первичного зна-

комства с этим языковым предметом, а не поступенным смысловым выводом, основывающимся на сведениях о его составе, строении и функции каждого строительного элемента.

Чаще всего КФ представляет собой сочетание 2—4 словоформ[92]. Однако КФ могут состоять и из отдельной словоформы, или даже какого-то ее «осколка» (форма которого не обязательно соответствует морфемному членению), и из отрезков большей протяженности, вплоть до целых предложений и даже их сочетания. И размер, и грамматическая форма коммуникативных фрагментов, и потенциальные сферы и частота их употребления, и источники, из которых они поступили в личный языковой опыт говорящего субъекта, могут быть самыми различными. Нет никакой возможности, но также и никакой необходимости, определить и классифицировать все это нагромождение кусков языкового опыта каждой личности в виде устойчивой и упорядоченной системы. Общим у всех выражений, которые можно признать коммуникативными фрагментами в языковом репертуаре данного говорящего, является только то, что говорящему не нужно каким-то образом эти выражения «строить»:

он уже располагает коммуникативным фрагментом в качестве целого и конкретного компонента речи, готового к употреблению.

Вся наша языковая деятельность — и создаваемая, и воспринимаемая нами речь — пронизана блоками-цитатами из предшествующего языкового опыта.

Например, если я обращусь к предыдущей, только что мною созданной фразе, я немедленно опознаю в ее ткани целый ряд выражений, существующих в моем языковом опыте в качестве готовых фрагментов.

Так, я узнаю, как хорошо мне знакомое, выражение 'вся наша...'; оно, в свою очередь, притягивает такие хорошо мне знакомые более развернутые выражения, как: ' вся наша жизнь... ' —— ' вся наша жизнь состоит из / сводится к/есть не что иное, как ...'.И хотя эти знакомые продолжения непосредственно не фигурируют в получившемся в данном случае высказывании , они подспудно соприсутствуют в качестве его реминисцентного фона. Столь же хорошо освоенным моей языковой памятью является выражение ' вся его деятельность... ', с такими отработанными продолжениями, как '... была направлена на... / была проникнута стремлением к... '. Наконец, в фонде моей языковой памяти устойчиво присутствуют выражения 'языковая деятельность / речевая деятельность' и 'наш язык / наша речь'. Все эти известные мне выражения, пройдя через различные слияния и контаминации друг с другом, дают первый сегмент моего высказывания: ***Вся наша языковая деятельность....***

Аналогичным образом возникают и его последующие сегменты, также складываясь из множества контаминируемых фрагментов. Так, в образовании сегмента: ***...и создаваемая, и воспринимаемая нами речь,*** — принимают участие такие КФ, как 'создание и восприятие [художественного произведения]'; 'восприятие речи'; 'воспринимаемая нами [действительность]'. Наконец, последняя часть фразы — ***пронизана блоками-цитатами из предшествующего языкового опыта*** — строится на основе таких фрагментов, как 'статья вся пронизана цитатами из...'; 'цитирует целыми блоками'; 'известно из предшествующего опыта'; 'языковой опыт'.

Получившееся в результате высказывание оказывается как бы окутано целым полем известных мне выражений. Образы этих выражений «мерцают» в моем сознании — некоторые с полной отчетливостью, другие в

редуцированной и видоизмененной форме, третьи лишь в виде легкого реминисцентного намека. Мое взаимодействие с созданной фразой — и оценка того, насколько успешно в ней воплотилось то, что я хотел сказать, и активация различных ассоциаций и связей, в которых уже предугадывается, как пойдет дальнейшее развитие моей речи, — определяется немедленным и непосредственным узнаванием множества знакомых мне кусков языковой ткани и их контаминаций, из которых вырастает некий целостный смысло-стилевой образ. Этот образ и есть то, как я представляю себе данное высказывание как целое.

Какими конкретными путями происходят слияния и контаминации знакомых нам выражений, мы рассмотрим в последующих главах; сейчас же сосредоточимся на самих этих выражениях как таковых и их свойствах, позволяющих говорящим узнавать в этих кусках языковой ткани нечто знакомое из предшествующего языкового опыта.

Заданность такого выражения в нашем предыдущем опыте не является твердой и абсолютной. Наше узнавание выражения в качестве знакомого фрагмента может быть очень четким либо неуверенным и приблизительным; непосредственным, то есть восходящим к собственному опыту, либо опосредованным — когда мы принимаем некоторое выражение как данность, потому что верим, что оно является таковым для других говорящих, хотя в нашем собственном опыте оно ранее не фигурировало; действительным либо мнимым — когда нам только кажется, что мы знакомы с данным выражением, в силу его сходства и контаминации в памяти с другими, известными нам фрагментами. Разумеется также, что и репертуар коммуникативных фрагментов, и их свойства все время изменяются вместе с течением нашего опыта.

Например, до работы над этой книгой выражение 'коммуникативный фрагмент' не присутствовало в моем сознании в качестве готовой стационарной единицы (хотя, конечно, я не могу поручиться с полной уверенностью, что никогда не встречал его прежде: но во всяком случае, оно не отложилось в моей памяти в качестве заведомо знакомого выражения). Однако в моем предыдущем опыте наличествовало множество фрагментов, из которых такое выражение могло родиться на основе аналогий и контаминаций: 'коммуникативная единица', 'речевой блок', 'готовые блоки', 'фрагмент текста', 'от всего стихотворения в памяти сохранился лишь фрагмент', 'до нас дошел лишь фрагмент надписи', и т. д. Богатство и очевидность этих ассоциаций позволяет говорить о потенциальном, или косвенном, присутствии в моем опыте выражения 'коммуникативный фрагмент': хотя я «не знал» его непосредственно, мое языковое сознание способно было его «опознать» на соответствующем ассоциативном фоне. Разумеется, многократное употребление этого выражения в книге, которую я сейчас пишу, давно сделало для меня данное выражение стационарным фрагментом языковой ткани, для опознания которого я уже не нуждаюсь ни в какой фоновой поддержке; полагаю, что и в языковом сознании читателя этой книги произойдет тот же процесс. Этот «предмет» прочно занял свое место в ландшафте моей языковой памяти; теперь уже сам он, путем аналогий и контаминации, способствует косвенному «опознанию» других, непосредственно прежде мне не встречавшихся выражений: такого хотя бы, как 'стационарный фрагмент языковой ткани', который я только что употребил в предшествующем предложении.

Наличие в речевой практике говорящих на любом языке большого числа устойчивых повторяющихся выражений — факт сам по себе хорошо из-

вестный. Феномены такого рода, определяемые как «идиомы», «устойчивые сочетания», «речевые формулы», «речевые штампы», «клише», находят в этом качестве определенное место в любом описании языка. Мне кажется, однако, что понятие КФ отличается от понятия идиомы или устойчивого выражения и в количественном, и в качественном отношении. Расхождение касается и оценки масштабов, которые имеет данное явление, и главное — понимания его общей роли в языковой компетенции говорящих.

Устойчивые сочетания, идиомы, формулы, клише — сам характер этих терминов указывает на понимание их как вторичного и дополнительного явления, над страивающегося поверх структурного механизма языка, в качестве его особого отдела. В такой перспективе, наличие в прагматике употребления языка известного количества устойчивых сочетаний не затрагивает кардинального представления о высказывании как о «свободной» конструкции, которая каждый раз строится заново из стабильно заданных элементарных компонентов (слов или морфем) при помощи стабильных оперативных правил. Использование устойчивых сочетаний означает лишь, что говорящий в некоторых случаях встраивает в создаваемую конструкцию целые сочетания, ранее уже созданные согласно тем же структурным правилам, из тех же элементарных единиц. Устойчивые сочетания в таком понимании — это не что иное, как бывшие свободные синтаксические построения, окостеневшие в результате многократного употребления[93]. Не случайно описание и систематизация устойчивых сочетаний в фразеологических и толковых словарях обычно строится на базе «опорной лексемы», либо в качестве словарной статьи, описывающей сочетательные возможности того или иного слова. В таком подходе ясно видно отношение к слову как к основной строительной единице, на базе которой возникает бесконечное множество «свободных», а также некоторое количество так или иначе «связанных» сочетаний[94].

В отличие от этого, КФ следует признать первичной, непосредственно заданной в языковом сознании говорящих единицей языковой деятельности. Этот его статус не имеет никакого отношения к вопросу об его синтаксической и семантической членимости либо, напротив, нечленимости, или «идиоматичности». Коммуникативный фрагмент существует для говорящего в этом качестве, то есть как готовое целое, независимо от того, складывается ли это целое из частей, либо представляет собой «идиоматизированное» слияние. Можно сказать, что КФ является «членимой», но «не расчленяемой» единицей: членимой в принципе, с точки зрения морфосинтаксических параметров метаязыковой модели, но нерасчленяемой и целостной с точки зрения того, как себе представляют этот отрезок языковой ткани и обращаются с ним говорящие. В памяти говорящего КФ существует в качестве первичной действительности языка, безотносительно к вопросам о его внутренней структуре или обстоятельствам его происхождения. Подобные вопросы могут иметь метаязыковой, исторический, интеллектуальный интерес, но их постановка никак не влияет на ту непосредственность, с которой известный говорящему фрагмент всплывает в его памяти в подходящей ситуации, либо узнается при каждом своем появлении.

Внутренняя синтаксическая и семантическая структура КФ, которая может быть обнаружена путем логико-синтаксического или этимологического анализа, столь же несущественна, или по крайней мере маргинальна, для его повседневного употребления, как несущественна или маргинальна для

нас, в качестве говорящих, деривативная структура и этимологическая история хорошо знакомого слова.

В самом деле, когда мы имеем дело с достаточно хорошо нам известным языком, мы в огромном большинстве случаев оперируем словами, как целиком и непосредственно нам известными единицами, не составляя слово из морфем и не справляясь с его деривационной историей, чтобы понять его значение, — даже если этимологию слова легко было бы себе представить, стоит лишь задуматься, как это слово соотносится с другими, ему «родственными». Например, для того чтобы представить себе смысл слова *зимовка,* говорящий по-русски не нуждается в отнесении его к *зимовать,* от которого это слово «произведено», а того, в свою очередь, к слову *зима;* безразличен ему и тот факт, что эта цепочка образованных одно от другого слов демонстрирует такие же (или приблизительно такие же) формальные и смысловые соотношения, как цепочка *ночевка—ночевать—ночь* и некоторые другие, из чего следует, что этот способ деривации следует признать «продуктивным». При достаточном владении языком слово *зимовка* вызывает у говорящего мгновенный и непосредственный смысловой и образный отклик, точно такой же, какой вызывает у него всякое нечленимое слово, не имеющее деривационной истории, например, *стул.* Аналогичным образом, если говорящий по-немецки извлечет из своего опыта такие слова, как Vorspeise и Vortrag, и подвергнет их систематизирующему анализу, он может заметить, что в первом случае префиксальная и корневая морфема складываются в целое, составляющее значение слова, с большей очевидностью, чем во втором. Но это различие, которое может быть очень существенным для ученика, делающего первые шаги в изучении языка, либо для лингвиста, описывающего приемы деривации, отступает на задний план для говорящего, который в своем повседневном пользовании языком непосредственно знает каждое из этих слов как целое, в абсолютной слитности его формы и смысла. Для говорящего по-русски или по-немецки огромное большинство слов, в огромном большинстве случаев их употребления, существуют не в качестве двух-, или трех-, или четырехморфемных сочетаний, но в качестве непосредственно и целиком знакомых частиц языкового материала. Этот принцип перестает действовать, и деривативная структура слова выступает на первый план, только в случаях сознательных действий, производимых над языком,— с целью его изучения и описания, либо в преднамеренных манипулятивных действиях с языковым материалом.

Сущность моей гипотезы о свойствах языковой памяти состоит в том, что этот же принцип непосредственного и нерасчленяемого знания переносится на шаг дальше — от единичных слов к их сочетаниям разной длины, составляющим коммуникативные фрагменты. Я исхожу из того, что именно коммуникативные фрагменты, то есть целые готовые выражения, являются первичными, целостными, непосредственно узнаваемыми частицами языковой материи, составляющими основу нашего обращения с языком в процессе языкового существования, — а не отдельные слова в составе этих выражений, и тем более не компоненты их морфемной и фонемной структуры. В огромном большинстве случаев в своем опыте обращения с языком говорящий переживает коммуникативный фрагмент не как двух-, или трех-, или четырехсловное сочетание, но как нерасчленяемую единицу, непосредственно и целиком всплывающую в его памяти. Именно КФ служат для говорящих первичными единицами, из которых состоит их мнемонический «лексикон» владения языком.

Однако этот шаг — от слова к коммуникативному фрагменту в качестве элементарной единицы созидательной языковой деятельности — отнюдь не сводится к замене одной строительной единицы на другую;

как увидим ниже, он имеет принципиальные последствия для понимания всего строя языковой деятельности. КФ представляет собой единицу принципиально иного порядка, по сравнению со словом или морфемой, свойства которой заключают в себе квинтэссенцию того, как говорящие переживают язык и обращаются с языком в условиях языкового существования. Чтобы это стало ясно, необходимо подвергнуть эти свойства систематическому анализу.

5.2. СВОЙСТВА КОММУНИКАТИВНОГО ФРАГМЕНТА КАК «МОНАДЫ» ЯЗЫКОВОГО ОПЫТА.

1) Первой, наиболее очевидной конститутивной чертой коммуникативного фрагмента следует признать его непосредственную заданность в памяти говорящих. КФ составляют тот первичный материал, в котором говорящими мыслится материя языка: то «известное», «знакомое», «узнаваемое», из которого создаются и к которому в конечном счете восходят все их коммуникативные действия[95]. Об этом аспекте КФ было уже достаточно сказано в предыдущей секции.

2) С этим тесно связано еще одно важное конститутивное свойство КФ, которое можно определить как его смысловую слитность.

М. Цветаева в очерке «Мой Пушкин» передает впечатления детства, связанные с ежедневными прогулками по Тверскому бульвару к памятнику Пушкину. Постоянство этого маршрута и связанных с ним речевых формул приводит к тому, что в сознании ребенка сочетание «памятник Пушкину» сливается в единое речение, как бы одно слово, соответствующее неразложимому конкретному представлению:

Памятник Пушкина был не памятником Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина[96].

Цветаева тонко подметила способность нашего сознания сливать в единые нерасчленяемые представления повторяющиеся отрезки речевого опыта. Эта способность отнюдь не ограничивается рамками детского сознания и детской речи, но составляет одно из важнейших условий пользования языком.

Каждый КФ кристаллизован в нашем сознании в качестве индивидуализированного смыслового «предмета», во всей неповторимой совокупности его интеллектуального и эстетического содержания, ассоциативных валентностей, тематических потенций, эмоциональных обертонов, стилевой и жанровой фактуры[97].

Рассмотрим с этой точки зрения два таких общеупотребительных и общепонятных выражения, как *читал книгу* и *читал газету.* Любой говорящий по-русски много раз и сам употреблял эти выражения и встречал их в различных письменных и устных сообщениях. Чтобы пустить в ход такое выражение, говорящему нет нужды извлекать по отдельности все составляющие его слова, придавать им требуемый показатель грамматической формы и соединять их друг с другом по канве определенной синтаксической схемы. Выражения *читал книгу, читал газету* существуют для говорящего с той непосредственностью, с какой для него существуют повсе-

дневно знакомые предметы: стол и окно, дерево и камень, кошка и корова.

Соответственно, и наше восприятие смысла такого непосредственно узнаваемого выражения не разлагается на стандартные элементарные компоненты, из которых этот смысл мог бы быть сложен закономерным образом. Мы не выводим смысл выражения *читал книгу* шаг за шагом, — скажем, как «действие 'чтения', отнесенное к прошлому, представленное в имперфективной перспективе, производимое единичным субъектом — лицом мужского пола, и направленное на объект — единичный неодушевленный предмет 'книга'». Конечно, все эти компоненты смысла и их соотношения могут быть выделены в данном выражении, если мы предпримем его логико-синтаксический анализ. Но сталкиваясь с ним непосредственно в своем языковом поведении, мы представляем себе не смысловое построение, составленное, как из кубиков, из более элементарных смыслов, но целостный образ ситуации. Выражение читал книгу заставляет нас «увидеть» человека в некоторой позе и некотором окружении, с которыми для нас ассоциируется образ чтения, — и притом не всякого чтения вообще, а именно 'чтения книги'. Соответственно, выражение *читал газету не.* составляете предыдущим выражением четкого коррелята, в котором то же действие и тот же субъект приведены в сочетание с другим объектом. Вместо этого оно индуцирует в нашем представлении иной целостный образ всей ситуации: скорее мужчину, чем мальчика;

скорее средних лет или старого, чем молодого; сидящего в иной позе и в ином потенциальном предметном окружении (или с иной шкалой вероятностей для каждого такого окружения), — например, возрастает удельный вес таких аксессуаров ситуации, как 'за столиком (кафе)', 'на веранде'. Сам физический образ того, как мы себе представляем действие 'чтения', будет различаться в этих двух ситуациях, в силу чего потенциальные определения, уточняющие и развертывающие их образ — такие, например, как 'внимательно', 'рассеянно', 'небрежно', 'зевая', 'заслоняясь от ветра', 'не замечая ничего вокруг себя', 'не обращая никакого внимания на окружающих', 'изредка взглядывая на циферблат часов на здании городской ратуши', 'забыв обо всем на свете', —будут обладать разной степенью вероятности и уместности для каждой из них.

Разумеется, каждая словоформа (и каждая морфема), входящая в состав этих двух фрагментов, фигурирует также в составе многих других КФ, что способствует ее выделению в нашем сознании в качестве стационарного повторяющегося элемента языковой ткани. Но в том-то и дело, что в составе другого фрагмента «та же» словоформа оказывается растворенной в ином целостном образе, включенном в иную сеть ассоциативных каналов, имеющем иную коммуникативную тональность. Отдельные словоформы в составе КФ оказываются не столько «соединены» в построение более высокого порядка, сколько объединены в слитное по смыслу, непосредственно представимое целое. Специального аналитического усилия от говорящего требует не соединение слов и морфем в большее по объему образование, составляющее КФ, но напротив, диссоциация того непосредственно представимого единства, в котором для него изначально существует каждый фрагмент. Аналитическое расчленение коммуникативного фрагмента на отдельные компоненты — словоформы и морфемы, — повторяющиеся в других КФ, и произвольное перекомбинирование этих компонентов в «правильные» синтаксические построения представляет собой вторичную операцию, сама возможность которой возникает именно в силу того, что в нашей памяти уже непосредственно заданы фрагменты,

над которыми мы можем, в случае нужды, производить различные, в том числе аналитические и произвольно-манипулятивные действия.

До сих пор, говоря об общих свойствах коммуникативного фрагмента, я подчеркивал его заданность, узнаваемость, непосредственность и целостность переживания его в языковом сознании говорящих. Эти черты роднят КФ со словом. В этом смысле можно сказать, что коммуникативные фрагменты представляют собой частицы языкового материала, которые в совокупности составляют базовый «лексикон» языковой памяти. Однако аналогия КФ со словом верна лишь отчасти; чтобы оценить функцию, выполняемую КФ при создании и интерпретации высказываний, необходимо принять во внимание и другой его аспект — то, что отличает КФ от слов как стационарных единиц, которые могут быть заданы словарным списком.

3) Прежде всего, сама заданность коммуникативного фрагмента имеет иную природу, чем заданность слова; эту специфическую черту КФ можно определить как его динамическую заданность. За исключением редких случаев, относящихся скорее к области курьезов, говорящие не испытывают затруднений и колебаний при разбиении речи на слова, обнаруживая в этом замечательное единодушие[98]. Создается впечатление, что основной корпус слов устойчиво задан в сознании говорящих в виде списка. Импровизационные отклонения от этого списка, приводящие к созданию новых слов или параномастической игре со знакомым словом, составляют маргинальную сферу языковой деятельности, само значение которой выявляется именно на основе того, что говорящим твердо известен изначальный корпус, над которым такие операции могут производиться.

В отличие от этого, целостная заданность коммуникативного фрагмента отнюдь не предполагает, что все говорящие на данном языке, или даже один говорящий субъект, способны расчленить свою или чужую речь на составляющие ее КФ твердым и недвусмысленным образом. «Словарь» коммуникативных фрагментов и несравненно больше по объему, чем словарный запас, — ведь каждая словоформа участвует в большом числе различных КФ, — и главное, гораздо более неопределенен и подвижен по своим очертаниям. Говорящему не дан сколько-нибудь четко зафиксированный инвентарь коммуникативных фрагментов, имеющихся в его распоряжении. Напротив, как правило, мы не можем сказать с полной определенностью, где в речи заканчивается один КФ и начинается другой, представлен ли опознанный нами в том или ином конкретном случае КФ в своем «полном», либо «усеченном», либо «расширенном» виде, являет ли собой то или иное выражение единичный фрагмент либо контаминацию нескольких фрагментов.

Рассмотрим ряд сходных выражений: наша жизнь; вся наша жизнь; вся наша жизнь есть...; вся наша жизнь есть лишь...; вся наша жизнь есть не что иное, как ...; вся наша жизнь состоит из ... . Можем ли мы с уверенностью сказать, сколько в этом ряду единиц, которые мы готовы считать различными КФ? какие из этих выражений можно признать КФ в «исходной» форме, а какие — их усеченной или расширенной модификацией? является ли сравнительно пространное выражение: вся наша жизнь есть не что иное, как ..., — одним фрагментом, или плотным соединением двух разных КФ: 'вся наша жизнь есть ...' + '... есть не что иное как... '? На все подобные вопросы нет и не может быть твердого объективного ответа. Говорящий не только не в состоянии дать такой ответ, но сами эти вопросы не существуют для его языкового сознания. Все, что говорящему известно, — это что он «узнает» любое из этих выражений, готов принять его как данность.

Он знает и каждое из этих выражений в отдельности, и в то же время все их вместе, в качестве переливающейся и растекающейся совокупной языковой субстанции. Перед нами своего рода «соборный» феномен, в котором индивидуация каждой единицы осуществляется не вычленением и противопоставлением по отношению к другим единицам, но напротив, их совместной включенностью в общий конгломерат.

В этом обнаруживается критическое различие между **КФ,** с одной стороны, и словом или любой другой единицей, которую мы оказываемся способны выделить в процессе рефлектирующего осознания языка, с другой. Границы между отдельными КФ, по сравнению с отдельными словами (или морфемами, или синтаксическими позициями), оказываются принципиально подвижными и размытыми. И однако, эта неясность и неустойчивость границ не отменяет ощущения того, что я «знаю» каждое из этих выражений и все их в совокупности, что они присутствуют в моем языковом опыте как данность и в этом качестве мною узнаются в речи. В этом и состоит парадоксальность **КФ,** делающая его важнейшим инструментом мнемонического владения языком: мы переживаем КФ как нечто само собой разумеющееся и знакомое, но вместе с тем не способны это наше знание зафиксировать в виде устойчивого «словника». Извлекая коммуникативный фрагмент из памяти в процессе создания высказывания, либо встречаясь с ним в чужой речи, мы ощущаем, что это «уже было» в нашем языковом опыте; но что именно «было», сколько и какие частицы отложились в нашей памяти, сказать невозможно: невозможно не из-за дефектов припоминания, но потому, что в нашей языковой памяти коммуникативные фрагменты представлены в качестве подвижной и летучей субстанции[99]. Каждое конкретное явление этой субстанции в конкретном опыте употребления языка переживается как узнавание некоего знакомого, заведомо известного предмета. Но соотношения разных опытов размыты и текучи, и говорящий в своем обращении с языком отнюдь не стремится эту текучесть как-то зафиксировать и кодифицировать. Твердость и определенность каждого конкретного соприкосновения с КФ так же для него естественна, как рыхлость и текучесть всего поля таких соприкосновений в континууме его языкового существования.

Относительно словоформ можно утверждать, что наша память «хранит» некоторый их запас. Но по отношению к КФ понятие «хранения» едва ли буквально применимо — скорее, наша память вмещает в себя гигантский конгломерат выражений, находящийся в свободном и непрерывном движении. Заданность КФ означает не столько буквальную его принадлежность к некоему словнику, сколько «прецедентность». Мы осознаем некое выражение как имеющее прецедент в фонде нашего языкового опыта, — несмотря на то что мы не можем сказать с точностью и уверенностью, что именно в этом опыте имелось в наличии. Акт узнавания и воспроизведения КФ в речи не есть раз навсегда установленный «факт» языка; этот акт каждый раз осуществляется как. аллюзия, с ее ускользающей подвижностью и мерцающей неопределенностью очертаний.

Таким образом, КФ, сходствуя со словом своей непосредственной заданностью, вместе с тем существенно отличается от слов аллюзионной подвижностью, делающей его способным к бесконечным модификациям в различных, никогдане повторяющихся условиях употребления. Возможные варианты морфемы или лексемы могут быть определены на основании конечных правил либо заданы в виде конечного списка; как бы мы ни определяли лексему и ее парадигму, более узко или более широко, — любое

такое определение предполагает тот или иной, но всегда конечный и предопределенный набор вариантов каждой лексемы, а значит, и всех вообще словоформ, имеющихся в нашем распоряжении[100]. В отличие от этого, нет никакой возможности ни задать конечным списком, ни предсказать на основании стабильных правил все вариации, усечения, расширения, сращения, контаминации, которым каждый коммуникативный фрагмент подвергается в различных условиях употребления, во взаимодействии и в совокупности с неопределенным множеством других, так или иначе с ним сополагаемых и соединяемых фрагментов.

Это свойство КФ обеспечивает гибкость коммуникативных действий, необходимую в условиях непрерывной изменчивости и текучести языкового существования. Феномен «свободного владения» языком в значительной мере основывается на наличии в памяти говорящего достаточно обширного арсенала КФ и достаточно развитой сети аналогий, контаминаций, ассоциативных ходов, придающих каждому фрагменту аллюзионную пластичность и неопределенность очертаний. Приобретаемую таким образом свободу и мобильность в обращении с языковым материалом было бы невозможно достичь при помощи операционных правил, применяемых по отношению к фиксированному базовому словнику, сколь бы эффективными и виртуозными такие правила ни выглядели в перспективе, отвлеченной от обиходного языкового употребления.

4) Говоря о присутствии коммуникативного фрагмента в нашей языковой памяти в качестве готовой и заданной единицы, я не раз сравнивал его с языковой «цитатой». Сравнение это, однако, верно лишь отчасти, и именно в силу того, что КФ не свойственна та определенность источника и формы, которая составляет сущность цитаты в собственном смысле. Конечно, и всякую цитату мы можем помнить лишь приблизительно; мы можем также не помнить или вовсе не знать источник, к которому она восходит. Но и в этом случае у нас имеется убежденность в том, что в принципе у цитаты имеется определенная форма и определенный источник; такая убежденность неотъемлема от нашего восприятия данного феномена как «цитаты». Иначе обстоит дело с коммуникативным фрагментом. В этом случае и его форма, и источник, из которого он поступил в наш языковой запас, принципиально расплывчаты. Цитата — это то, что мы знаем или относительно чего по крайней мере сознаем недостаточность нашего знания; но относительно КФ мы и сами не знаем, что, собственно, нам известно и откуда. Для состояния, в котором КФ существует в языковой памяти, характерна не определенность цитаты, но аллюзионная множественность. Феномен «узнавания» КФ заключается в том, что он что-то нам напоминает, на что-то намекает, к чему-то отсылает, но делает это множественным, смазанно-неопределенным и ускользающе-ненадежным образом.

Специфика КФ по отношению к цитате проступает с полной отчетливостью, если присмотреться к тому, как мы сознаем некий языковой феномен, имеющий в нашем представлении несомненно цитатный характер. Например, и мне, и многим читателям со школьных лет памятны многие цитаты из «Горя от ума» — такие, скажем, как слова Молчалина: «По мере я трудов и сил, С тех пор как числюсь по архивам, Три награжденья получил». Цитата существует в моей памяти как абсолютная данность — языковой блок, целиком и непосредственно мне известный. Присмотревшись к ее языковой фактуре, можно, однако, заметить, что не все ее компоненты обладают той заданностью в языковом опыте, которая определяет статус коммуникативного фрагмента. Я готов принять в качестве КФ выражение

'по мере сил', но не выражение 'по мере трудов'; и это несмотря на то, что второе выражение, как и первое, с несомненностью присутствует в моей памяти в виде готового блока — присутствует именно в составе данной цитаты. Но в том-то и дело, что выражение 'по мере трудов' известно мне именно из этого, и только этого, определенного источника; в отличие от этого, выражение 'по мере сил' отсылает к предыдущему языковому опыту множественным и неопределенным образом. Я не мог бы перечислить различные ситуации, в которых я с этим выражением так или иначе соприкасался, указать, в составе каких единств большего объема оно в этих ситуациях фигурировало, каким модификациям, расширениям, контаминациям подвергалось. С другой стороны, сколько бы раз мне ни приходилось читать, слышать либо самому употреблять выражение «По мере я трудов и сил», оно сохраняет цитатную определенность источника и формы. Даже если я услышу цитату в искаженном виде — я сознаю его идеальную «правильную» форму или как минимум знаю в принципе, что таковая существует. Но у КФ нет никакой «правильной», или «идеальной», или «исходной» формы. Равным образом нет у него абсолютной исходной точки, с которой начинается его жизнь в языковом сознании индивидуума в качестве опознаваемого куска языковой материи. Даже если у говорящего в памяти отложился какой-либо особенно яркий случай употребления данного КФ во всей своей единичной характерности, он, как правило, не мог бы поручиться, что данное выражение не встречалось в его опыте раньше и не укоренялось в его памяти множественными, ему самому никогда полностью не известными путями.

5) Одним из важнейших конститутивных свойств коммуникативного фрагмента является его коммуникативная заряженность. Каждый КФ обладает своим целостным смыслом, но этот смысл не выступает в качестве дискретной семантической частицы. Напротив, КФ существует в плотной среде валентных тяготений, стилевых и жанровых ракурсов, сюжетных перспектив, тематических полей, которые он пробуждает в сознании самим фактом своего появления. Сам его образ в сознании говорящего оказывается неотделим от этих потенций его употребления и развития. Каждый КФ не просто готов занять определенное место в отведенной ему ячейке в высказывании — он активно предсказывает и направляет течение коммуникации, от непосредственных ходов разрастания до более отдаленных сюжетных, тематических и жанровых последствий. В этом смысле можно сказать, что каждый КФ заключает в себе, в потенциальном и сконденсированном виде, целый коммуникативный мир. Такая коммуникативная заряженность КФ, с одной стороны, способствует тому, что он ассоциативно притягивается к определенным коммуникативным ситуациям; он как бы сам собой возникает в памяти говорящего в процессе языковой деятельности, когда развертывающийся в его мыслях языковой ландшафт напоминает ему коммуникативную «среду обитания», в которой он привык мыслить данный фрагмент. Но с другой стороны, сам факт включения данного коммуникативного фрагмента в поле зрения говорящего способствует формированию того коммуникативного пространства, в котором он ощущает себя и в соответствии с которым строит свои языковые действия. Выбор того или иного КФ определяет, в большей или меньшей степени, и как сложится дальнейшее течение фразы, и какой предстанет ее стилевая фактура, и какие это будет иметь последствия для взаимоотношений говорящих, а значит, и всего характера коммуникации.

В качестве конкретного и индивидуализированного языкового предмета

КФ индуцирует в нашем сознании целый ландшафт языковой среды, в которой такой предмет может найти себе место. Даже случайно услышанный обрывок чьей-то беседы, случайно прочитанный кусок фразы в книге, которую читает сосед в вагоне, немедленно и непроизвольно погружает нас в целый мир представлений, догадок, ассоциаций, реминисценций; в этой движущейся массе языкового материала, пробужденного одним подслушанным или подсмотренным коммуникативным фрагментом, для нас проступает, в аллюзионной зыбкости, и предмет данного разговора или повествования, и его жанровый и стилистический модус, и характеры и взаимоотношения участников беседы, и характер автора книги и читателя, которому «такая книга» предназначается, и гипотетические другие разговоры, которые эти люди ведут между собой в другое время, и другие книги, которые прочитал или мог прочесть этот читатель. Конечно, все эти сведения не имеют характера твердых фактов, а выступают в виде зыблющегося, ускользающе-текучего аллюзионного поля. Совсем не обязательно также и то, что возникшие у нас таким образом представления соответствуют объективному положению вещей; быть может, если бы нам удалось подслушать или подсмотреть еще несколько выражений, наше представление сданной языковой ситуации и ее участниках существенно изменилось бы. Переживания, возникающие в нашем сознании при соприкосновении с коммуникативным фрагментом, не заключены в этом фрагменте в качестве его постоянного и объективного содержания, на которое мы могли бы раз и навсегда положиться; они скорее «излучаются» данным фрагментом, расходятся от него во все стороны в виде открытого и подвижного поля ассоциаций, чем «содержатся» в нем. Объективным и постоянно наличествующим в этом процессе является лишь сам этот процесс: тот факт, что каждый раз, когда мы вступаем в соприкосновение с каким-либо коммуникативным фрагментом, наша языковая мысль попадает в излучамое им ассоциативно-реминисцентное поле. Мы не можем воспринять КФ «как таковой», в его «собственном» значении: никакого «собственного» значения у него не существует вне того коммуникативного пространства, которое он излучает из себя и в которое, в силу этого, оказывается погружен.

Тезис о коммуникативной заряженности КФ позволяет, как мне кажется, по-новому взглянуть на один из центральных вопросов языковой семантики — вопрос о соотношении значения некоторого языкового элемента, как собственного его свойства, и той конкретизации и уточнения, которому это значение подвергается в определенном контексте. С точки зрения КФ это соотношение представляется едва ли не противоположным тому, каким оно выглядит с точки зрения стационарных значащих единиц языка — лексем или морфем. Значение «слова как такового», как оно определено в словарной статье, всегда оказывается и более широким, и более обобщенным, чем тот смысл, который слово получает в конкретном примере своего употребления, в конкретном контексте. В такой перспективе естественно возникает представление об уточняющей роли контекста; помещение слова в контекст понимается как акт, в котором находит разрешение многозначность слова и который позволяет говорящему выбрать одну из возможных альтернатив его значения.

Этому представлению вполне соответствует опыт человека, имеющего дело с относительно малознакомым языком. Одна из характерных черт такого языкового состояния заключается в том, что многие слова представляются нам имеющими необъяснимо широкий спектр разных значений. Нам кажется, что мы уже знаем значение некоторого слова — но встав в

очередной раз в тупик перед каким-то новым (для нас) его употреблением, мы обнаруживаем, что у этого слова имеется (и зарегистрировано в словаре) какое-то «второе значение», затем «третье», «пятое» и т. д. В этом случае только контекст облегчает для нас дело, подсказывая разумный выбор в лабиринте, в котором мы оказались, пытаясь понять значение слова как отдельной и дискретной единицы нашего языкового запаса.

Однако коммуникативный фрагмент представляет собой более двусмысленный феномен, чем стационарная языковая единица, которую можно актуализировать в известном контексте. КФ — это и «единица», мыслимая во всей своей непосредственной целостности, но в то же время и — сам себе — «контекст», излучающий из себя целое поле тематических, сюжетных, жанровых, ситуационных подразумеваний, аллюзий и ассоциаций. Он сам порождает (вернее — индуцирует) эти ассоциации в нашем языковом сознании, но в то же время оказывается погружен в них, как в контекстуальную среду. Соотношение языковой единицы и окружающего ее контекста оказывается здесь обратным тому, как мы привыкли это мыслить по отношению к слову: не контекст направляет и фокусирует значение КФ, но напротив, сам факт появления КФ в поле наших языковых действий направляет и фокусирует тот контекст, или шире — ту коммуникативную среду, в которой эти действия развертываются.

Конечно, в языке имеется немало слов, обладающих яркой жанровой, или тематической, или эмоциональной характерностью. Такое слово, даже взятое само по себе, проецирует из себя определенную коммуникативную среду точно так же, как это делает коммуникативный фрагмент. Однако такого рода слова в общей толще словарного запаса составляют маркированное меньшинство; большинство слов, с которыми мы имеем дело, «стилистически нейтральны», то есть сферы их употреблений слишком широки или слишком разбросанны, чтобы по самому такому слову, взятому в отдельности, можно было бы сколько-нибудь отчетливо представить себе коммуникативную среду, в которую оно погружено. В отличие от этого, коммуникативная заряженность КФ является его обязательным и неотъемлемым свойством. Происходит это в силу того, что всякий КФ является не абстрактной потенциальной «единицей», пригодной для употребления в речи, но готовым и конкретным куском этой речи как таковой, со всей неотъемлемой от речи погруженности в конкретную коммуникативную среду. Слово 'стол' нейтрально с точки зрения коммуникативной заряженности; оно может нам встретиться в самых разных жанрах и стилях, разных тематических сферах, разных ситуациях коммуникативных взаимоотношений. Но любой КФ, в составе которого это слово обнаруживается, несет в себе отчетливый коммуникативный заряд: 'стол, грубо с колоченный из...'; 'наконец позвали к столу'; 'в левом верхнем ящике стола', 'ну-ка вылезай из-под стола, живо!', 'двадцать лет работал исключительно в стол', 'на столе, обитом цинком, лежал ...', и т. д. Каждое из этих и тысячи других возможных выражений, которые мы способны узнать в качестве коммуникативного фрагмента, немедленно погружает нас в целый мир потенциальных повествовательных ходов, жанровых модальностей, подразумеваемой предыстории данного высказывания, а главное — десятков других КФ, всплывающих в нашей памяти по ассоциации с этим фрагментом и проецируемой им коммуникативной средой. Сам акт узнавания КФ неотделим от коммуникативной среды, которая в силу этого акта возникает в нашем сознании, оказывая влияние на все наши дальнейшие языковые действия.

Тот факт, что мы мыслим нашу речевую деятельность в категориях коммуникативных фрагментов, а не составляющих их слов, естественным образом объясняет феномен, который иначе можно было бы считать парадоксальным: есть стилистически нейтральные слова, и даже большинство употребляемых нами в речи слов нейтральны, — но нет стилистически нейтральной речи. Даже если мы не найдем в каком-либо высказывании ни одного стилистически характерного слова, которое заключало бы в себе указание на некоторое коммуникативное пространство, — такое высказывание в целом, вне всякого сомнения, будет обладать определенной коммуникативной заряженностью, проецируя из себя и вокруг себя определенную коммуникативную среду. Объясняется этот факт тем, что такое высказывание состоит для нас не из нейтральных слов, но из выражений-фрагментов, узнавание которых неотъемлемо от ощущения их коммуникативной заряженности.

Выше говорилось о той помощи, которую контекст способен оказать при определении и выборе значения слова; однако я хочу подчеркнуть еще раз, что такая картина имеет смысл лишь при обращении с относительно малознакомым языком. Если проследить, как мы продвигаемся в изучении какого-либо языка, постепенно укореняясь в нем, как в привычной и естественной среде языкового существования, можно обнаружить, что проблемы выбора значения того или иного слова, которые так досаждали нам вначале, исчезают как бы сами собой. Дело обстоит отнюдь не так, что нам теперь назубок известны все пять, или десять, или восемнадцать значений данного слова, и потому мы не ошибаемся в их выборе; напротив — мы теперь вовсе не задумываемся, имеются ли у данного слова «разные значения» и сколько их. Происходит это потому, что в нашем обращении с языком мы больше не имеем дело со словом, но с целыми готовыми выражениями — коммуникативными фрагментами. Каждый такой фрагмент известен нам во всей непосредственности той языковой среды, в которой он существует в нашем представлении. Нам не нужно помешать его в тот или иной контекст, чтобы понять его значение; напротив — он сам создает вокруг себя коммуникативное пространство, в котором нам предстоит действовать, коль скоро мы вступили в соприкосновение с этим фрагментом. В этой ситуации слово теряет свою смысловую отдельность, растворяясь в выражениях, которым оно принадлежит. То, что на начальном этапе обращения с языком, когда мы, не имея в своем распоряжении достаточного репертуара коммуникативных фрагментов, вынуждены были аналитически складывать смысл высказывания из данных списком стационарных элементов-кубиков, выглядело разными значениями одного и того же элемента, в процессе укоренения в материи языка диссоциируется в нашем сознании, расходясь по различным выражениям, каждое из которых нам непосредственно знакомо и потому не нуждается ни в каком уточнении и различении. Мы больше не мыслим себе отдельное слово в наборе его разных значений, каждое из которых может возникнуть в определенном контексте; наше первичное знание языка заключается именно в этих контекстах-выражениях, из которых значение слова оказывается возможным извлечь лишь путем вторичных аналитических операций, производимых над этим материалом. Сколько значений имеется у английского слова *figure?* Чтобы ответить на этот вопрос, говорящему придется перебрать в уме разные известные ему коммуникативные фрагменты, в которых участвует это слово, и сформулировать разные его «значения», аналитически извлекая их из смысла этих выражений: "see figure ... on page..."; "sixdigit

figure"; "he presented a rather pathetic figure"; "the front of the building was decorated by the figure of..."; "figure of speech", и т. д.; соответствующая задача для говорящего по-русски будет определяться знанием таких, или им подобных, выражений, как 'у него/нее замечательная фигура', 'чертил на песке какие-то фигуры', 'фигуры речи', 'во второй фигуре кадрили', ' показал ему известную фигуру из трех пальцев', и т. д. В словаре такие выражения будут приводиться в качестве примеров, иллюстрирующих значение слова, либо устойчивых сочетаний, образуемых на его основе. Я, однако, исхожу из предпосылки, согласно которой именно эти выражения являются для говорящих первичной данностью языка, а слова, их формы и их значения выделяются из этой первичной языковой материи в качестве ее вторичного продукта.

Мы переживаем нашу языковую деятельность не как строительство некоего сооружения из элементарных строительных единиц, но как движение целых языковых ландшафтов, неопределенно широких, открытых и все время изменяющих свои очертания и ракурсы. Не контекст и ситуация видоизменяет и уточняет для нас значение употребляемых слов, но напротив, коммуникативные фрагменты, которые мы пытаемся сложить вместе в высказывание, видоизменяют и уточняют тот контекст, ту коммуникативную среду, в которой мы себя ощущаем в процессе этой деятельности. Насколько общий коммуникативный ландшафт, получившийся из взаимодействий, слияний, перетеканий коммуникативных зарядов всех этих фрагментов, соответствует, в нашем представлении, той картине, которую мы стремились создать, — настолько успешной, в нашей оценке, оказалась эта попытка языкового выражения. Разумеется. в представлении нашего адресата коммуникативный ландшафт, возникающий из этого высказывания, будет выглядеть как-то иначе; невозможно увидеть «одну и ту же» языковую картину дважды совершенно идентичным образом, в силу открытости и растекаемости составляющих ее компонентов. Но если имеется разумная степень сходства того репертуара выражений, которые говорящие узнают в качестве коммуникативных фрагментов, и тех коммуникативных сред, в которые в их представлении эти выражения помещаются, — у них возникает ощущение, что они «говорят на одном языке» и «понимают» друг друга. Что это, собственно, значит — невозможно определить с полной точностью и объективностью, уже хотя бы потому, что ход и результаты каждого такого акта «понимания» никогда не повторяются. Но важно, что в представлении самих говорящих эти результаты оказываются достаточно удовлетворительными, чтобы продолжать взаимодействие тех языковых миров, в которых каждый из них существует.

6) Коммуникативная заряженность КФ предполагает, что его узнавание имеет конкретный и, так сказать, коммуникативно осязаемый характер. Это, однако, отнюдь не означает, что такое узнавание является устойчивой и постоянной величиной. Напротив — конкретность и осязаемость, с которой нам представляется коммуникативный фрагмент, неотделимы от пластичности такого представления. Это свойство смысла КФ вполне соответствует аллюзионной подвижности и множественности его формы. Мы уже говорили о том, что акт опознания КФ вызывает в нашем представлении целостный смысловой образ, обладающий конкретностью и непосредственностью знакомого предмета. Однако этот смысловой образ отнюдь не является нам в виде неподвижной картины. Он выступает на перекрещивании множества потенциальных ассоциативных каналов, по которым этот образ может модифицироваться и разрастаться, обрастая все новы-

ми аксессуарами, сопоставляясь со все новыми смежными ситуациями, встраиваясь в те или иные сюжетные ходы. Каждый такой потенциальный канал развития не просто механически прибавляется к исходному образу, но перестраивает сам этот образ, модифицируя и его очертания, и его дальнейшие ассоциативные потенции. Смысл коммуникативного фрагмента мерцает и движется в поле окружающих его ассоциативных связей, приоткрывая одновременно множество различных ракурсов и перспектив, в которых он может предстать в соответствии с разными потенциалами его дальнейшего разрастания и сюжетного развития.

Например, выше я говорил о том целостном, предметно-ощутимом представлении, которое вызывает в нашем сознании КФ 'читал книгу'. Теперь мы можем внести коррективу в это утверждение. Мы, действительно, «видим» всю ситуацию как целое, во всей конкретности физического действия, предметного окружения, эмоционального настроя. Но что, собственно, мы при этом «видим»: мужчину? мальчика? студента? молодого? старого? знакомого? незнакомого? читающего сидя? лежа? у стола? за столом? на скамейке? на стуле? в кресле? на диване? у окна? в шезлонге? на траве? в тени? в саду? в беседке? на палубе? примостившись/пристроившись возле/у/около/на/под ... ? прислонившись к ... ? облокотившись о(бо)... ?

Каждая из этих и многих других возможностей перестраивает весь образ ситуации по-новому, придавая ей и несколько иные физические очертания, и иную реминисцентную ауру, и иную жанровую тональность, и иные потенции включения в более пространное повествование. Реализация любой из таких возможностей, в свою очередь, вызывает все новые потенциальные вопросы, приоткрывающие в исходной ситуации все новые симультанно в ней наличествующие аспекты и очертания. Например, легко можно представить себе следующие возможные пути развертывания ситуаций, индуцируемых в нашем представлении выражениями 'читал книгу' и 'читал газету':

— Я познакомился с [...] в кафе. Он сидел за столиком в углу и читал утреннюю газету.

— Как обычно, в ожидании ужина он читал газету, лежа на диване.

— Примостившись в углу на табурете, молодой человек читал книгу, не замечая ничего/никого вокруг себя. Я заглянул ему через плечо — это был [трактат Шопенгауэра/затрепанный томик Верлена/последний номер «Современника»].

— Я читал эту книгу еще школьником. Помнится, там что-то такое говорилось про...

— Ты эту книгу читал? Это действительно так хорошо [как говорят]?

— Ты газету уже читал?

— Ты читал сегодня газету?

Каждая из намеченных здесь ситуаций, в свою очередь, намекает на возможности ее дальнейшего распространения. В перспективе развертывающейся ситуации, как сквозь магический кристалл, проглядывают характеры вовлеченных в нее участников, их взаимоотношения и действия, намечаются сюжетные контуры: знакомство с неким лицом (политическим деятелем? писателем? вообще какой-либо знаменитостью?), имеющим привычку проводить утро в кафе (действие, возможно, происходит не в России, повествование, весьма вероятно, имеет мемуарный характер); или: богемная студенческая обстановка, шум, теснота и посреди этого молодой человек, погруженный в чтение какой-то «серьезной» (отнюдь не

«развлекательной») книги: все это, весьма вероятно, из повествования об идеалистической молодежи прошлого века — «людях сороковых», либо «шестидесятых», либо «девяностых годов»; или: обмен репликами в интимной домашней или дружеской среде, и т. д.

Каждая реализованная возможность развития, отменяя многие альтернативные ходы, вместе с тем вносит новые потенции развития, а значит, и новые потенции пластического преображения исходного образа. Этот процесс, в сущности, не имеет абсолютного и твердого завершения: даже после полного «завершения» коммуникации, она остается открытой для различных рецепций, связанных опять-таки с различными ее репроекциями в мир адресата, с включением ее в различные сетки потенциальных ассоциаций, которые она способна возбудить в этом мире. В этом смысле значение любого выражения всегда, при любых обстоятельствах его употребления, остается протеистически подвижным и пластичным.

Знание целых полей таких возможностей и понимание тех видоизменений, которые реализация любой из них внесет в возникающее смысловое представление, является неотъемлемой частью нашего знания данного коммуникативного фрагмента. Мы видим образ выражения как целое — но целое подвижное, открывающееся нам в неопределенном множестве потенциальных ракурсов, в пластически изменчивых очертаниях, проглядывающих сквозь мерцание многих потенциальных его метаморфоз.

Сама непосредственность и целостность восприятия коммуникативного фрагмента служит залогом его бесчисленных адаптаций, разрастаний, контаминирования, происходящих при каждом его соприкосновении с другими, столь же целостно и непосредственно для нас существующими выражениями-образами. Опора на готовые фрагменты отнюдь не делает нашу речевую деятельность автоматизированной и клишеобразной. Напротив, именно готовый характер КФ, его опознаваемость участниками коммуникации в качестве целостного образа делает его мощным индуктором ассоциативной и реминисцентной работы, в ходе которой как раз и создаются новые, индивидуализированные смыслы. Каждое высказывание в каждый момент своего бытования в среде говорящих оказывается неповторимым: при всем желании мы не были бы в состоянии воспроизвести однажды полученный эффект в точности, во всей той реминисцентной ауре, в которой однажды совершился акт создания или восприятия высказывания.

7) Непосредственность и коммуникативная осязаемость, с которой мы переживаем коммуникативный фрагмент, определяет уникальность того места, которое каждый КФ занимает в конгломерате языковой памяти. КФ существует как целостная «монад а» языкового опыта; в этом своем качестве КФ, в окружении всех его коммуникативных валентностей, образует неповторимый языковой мир. В деятельности говорящих различные КФ — даже тесно соположенные и очевидным образом сходные по форме и по смыслу — никогда не застывают в четко симметричных, регулярных, пропорциональных соотношениях. Они растекаются по различным каналам языкового опыта, каждый своими путями, конфигурация которых складывается на пересечении бесчисленных разнонаправленных тяготений и ассоциаций — образных, жанровых, тематических.

Выше уже говорилось о том, что два КФ — 'читал книгу' и 'читал газету' едва ли имеет смысл описывать в качестве двух альтернативных заполнений валентного синтаксического места при глаголе 'читать'. Говорящий оперирует каждым из этих выражений в целом; выбор того или иного из них ведет к перестроению всего смыслового образа. В этом смысле два

коммуникативных фрагмента оказываются разными языковыми мирами, каждый из которых живет своей собственной жизнью в языковом опыте говорящих.

С не меньшим основанием то же самое может быть сказано о множестве фрагментов, в составе которых обнаруживается еще более очевидное формальное сродство. Так, соотношение КФ 'читал книгу' и 'читал книги', или 'читал книгу' и 'читает книгу' отнюдь не сводятся к «регулярному» изменению грамматической формы. Замена одного из этих выражений другим каждый раз означает перестройку всего смыслового и жанрового ландшафта. Например, выражение 'читал книги' не столько вызывает зрительно-моторный образ читающего и той конкретной обстановки, в которой происходит чтение, сколько намекает на склад его характера, интеллект, род занятий и склонностей. Из этого фрагмента легко прорастают такие сюжетные развертывания, как *читал книги запоем', целый год только и делал, что читал книги по...* ; *если бы ты читал книги, вместо того чтобы [смотреть телевизор/гонять собак/шататься неизвестно где]...', неужели ты все эти книги читал ?* Эти развертывания исходного образа-речения увлекают нас к иным сюжетным ходам, иным ролям и положениям, в иные тематические и жанровые поля, к иным взаимоотношениям с адресатом речи, наконец, в иные пласты культурных реминисценций и аллюзий. Внешнее сходство выражений 'читал книгу' и 'читал книги' очевидно и тривиально. Оно заслоняет от нас то, что позволяет обнаружить лишь более внимательный анализ: что в нашей языковой памяти каждое из этих выражений как целое живет своей собственной жизнью.

Конечно, между различными смысловыми «мирами», вызываемыми к жизни различными КФ, существует множество точек соприкосновения. Имеется множество общих положений, в которые оба выражения могут быть включены с полной естественностью в качестве альтернативы. Но такая альтернативная соотнесенность никогда не бывает полной; какой бы обширной ни была область альтернативных употреблений, возможных для обоих выражений, — всегда имеются какие-то языковые ходы, для которых одно из них оказывается явно предпочтительным, а второе — если не невозможным совсем, то во всяком случае мыслимым лишь при наличии каких-то специальных обстоятельств. Сам характер соотнесенности двух выражений меняется в каждой новой ситуации, в связи с неповторимым сочетанием различных обстоятельств, вовлеченных в каждый акт употребления и сообщающих ему уникальные черты.

Например, если рассмотреть с достаточной степенью внимания две пары выражений: 'читал книгу' vs. 'читал книги' и 'читал газету' vs. 'читал газеты ', которые на первый взгляд соотнесены друг с другом совершенно тождественным образом, — можно заметить, что соотношение смысловых миров, наблюдаемое в каждой из этих пар, имеет мало общего. Тот факт, что форма этих четырех выражений, будучи абстрагирована от всех других факторов, может быть выстроена в элементарную правильную пропорцию, не дает никакого представления о той глобальной и каждый раз уникальной перестройке смысла, которая имеет место при переходе от одного из этих выражений к другому. Скорее та внешняя легкость, с которой данный языковой материал может быть упорядочен в систему, в которой переход от одной единицы к другой будет совершаться на основании простых и регулярных операций, способна увести нашу языковую рефлексию положному пути; мы не задумываемся о характере каждого из этих выражений самого по себе, считая, что этот характер автоматически опре-

деляется его местом в структурной пропорции. Между тем, перестроение образа, происходящего в паре 'читал книгу/читал книги' и 'читал газету/читал газеты', протекает по различным каналам. Мы уже видели, что выражение 'читал книги' отодвигает на задний план зрительно-моторную наглядность ситуации и актуализирует ее психологические, характерологические, интеллектуальные обертоны. Этого, однако, нельзя сказать в отношении к КФ 'читал газеты'; выражение 'читал газеты' с такой же наглядностью индуцирует конкретный зрительно-моторный образ и самого читающего, и ситуации чтения, как и выражение 'читал газету' , — хотя сам этот образ оказывается несколько иным. Даже если выражение 'читал газеты' инкорпорируется в ситуацию, имеющую явную оценочную или характерологическую направленность (*Весь отпуск только и делал, что валялся на диване и читал газеты),* конкретное физическое воплощение такой ситуации ощущается с полной яркостью. Таким образом, даже такая простая операция, как переход от «единственного» к «множественному» числу в двух столь явно сходных выражениях, дает нетривиальное различие результирующего образа и потенций его дальнейшего развития.

Каким бы простым, с чисто логической точки зрения, ни выглядело соотношение различных «монад» речевого опыта — в нем всегда обнаруживаются идиосинкретичные аспекты; логическая правильность в соотношении двух речений размывается, их смыслы растекаются по различным слоям и каналам языкового опыта. Даже если мы опишем с полной точностью (что, вообще говоря, невозможно) соотношение между двумя КФ, различающимися «только» одной лексемой, или «только» одной морфологической формой, — это не гарантирует нам понимания того, как будут относиться друг к другу два других КФ, внешнее различие между которыми сводится к «той же» лексеме, либо «той же» морфологической форме. Анализ каждый раз приходится начинать сначала, и конечный его результат, как целое, всегда будет уникальным, сколь бы тесным ни было сходство между отдельными компонентами в составе этих целых.

8) Однако тезис о «монадном» характере коммуникативного фрагмента, отсутствии у него регулярной соотнесенности с другими единицами, фигурирующими в языковом опыте говорящих, выявляет лишь одну сторону картины. Другая ее сторона состоит в том, что существование и употребление каждого фрагмента неотделимо от факта его связанности и соположенности с другими фрагментами, имеющимися в распоряжении говорящих.

По сути дела, коммуникативные фрагменты, в их отношении друг к другу, нельзя назвать ни «вариантами» одной единицы, ни различными «инвариантными» единицами, в традиционном смысле этих терминов. В составе конгломерата языкового опыта они не выстраиваются в пропорциональные ряды соотношений, свойственных вариантам; каждый КФ занимает свое уникальное место, в окружении уникальной конфигурации присущих ему тяготений и ассоциативных потенций. Но с другой стороны, контуры смысла и потенциальных ситуаций употребления, очерчиваемые каждым КФ, накладываются на контуры множества других КФ, частично (в том или ином объеме и в тех или иных конфигурациях) совмещаясь с ними. Сами эти взаимные наложения в свою очередь воздействуют на контуры каждого из совмещаемых КФ, открывая потенции все новых его трансформаций.

Различные КФ связаны друг с другом не по принципу парадигматического тождества (вариантности) и парадигматической контрастности, но по

принципу наложения и смежности. Они образуют не систему, но непрерывный континуум частично совмещенных частиц языковой материи, перерастающих и перетекающих друг в друга по многим разным направлениям, в многослойных наложениях. Фактура нашей языковой памяти представляет собой не упорядоченные ряды соотнесенных и противопоставленных дискретных единиц, но сплошную ткань напластований и сращений, образующих самые причудливые, никогда не повторяющиеся конфигурации — и притом конфигурации подвижные, все время текуче меняющие свои очертания.

Соотношения между различными КФ в конгломерате языковой памяти имеют напряженно-подвижный характер. Различные речения, каждая в окружении своей коммуникативной среды и полей ассоциативных тяготений, выступают по отношению друг к другу в качестве взаимно проницаемых, «прозрачных» субстанций, просвечивающих друг в друге в разных наложениях и ракурсах — от самых близких, немедленно бросающихся в глаза, до отдаленных, попадающих в фокус внимания говорящих лишь в особых случаях, при особых поворотах и стилистических «освещениях» смыслового ландшафта. Взаимные наложения и сращения различных КФ в конгломерате языкового опыта можно представить себе в виде кубистической композиции, составленной из бесчисленных зеркал разного размера и формы, расположенных под разными углами. Невозможно исчерпывающим образом каталогизировать и предсказать все конфигурации образов, возникающие в бесчисленных взаимных отражениях, — они изменяются при малейшей смене угла зрения, освещения, наконец, при различной настроенности нашего восприятия. Вся композиция составлена из конкретных предметов, каждый из которых вполне различим и может быть рассмотрен в отдельности; но суммарный эффект получается бесконечным и текуче-ускользающим. Наше сравнение недостаточно лишь в том отношении, что в языковом сознании сам состав таких взаимно-просвечивающих «предметов» тоже подвергается непрерывным изменениям. Новые конфигурации, получающиеся из соположений известных нам частиц языковой материи, могут привлечь наше внимание и закрепиться в памяти, воплотившись таким образом в новые монады нашего языкового опыта, в свою очередь, способные вызывать, в окружении и взаимодействии с другими монадами, все новые смысловые конфигурации. Эти изменения в составе и форме всего конгломерата памяти непрерывно совершаются как в сознании каждого отдельного говорящего, так и в совокупном языковом опыте, возникающем из контактов между ними.

Рассмотренные нами свойства коммуникативного фрагмента в совокупности определяют его характер как феномена, динамически заданного в сознании говорящего субъекта: феномена, характеризующегося, с одной стороны, столь же непосредственной и целостной заданностью, как отдельное слово, но с другой — эфирной подвижностью и неопределенностью очертаний; узнаваемого говорящим как нечто уже «бывшее», вызывающего у него живой реминисцентный отклик, но в то же время не имеющего раз навсегда данного места в его языковой памяти.

Представление о языке как структуре основано на резком противоположении стабильных, всегда равных самим себе строительных элементов — лексем и их грамматических вариантов, с одной стороны, и новых построений, которые складываются из «свободного» комбинирования этих элементов, с другой. Между тем, если посмотреть на язык как на континуум действий и взаимодействий говорящих в мнемонической среде языко-

вого опыта, состоящей из воспоминаний, ассоциаций, аллюзий, — границы между известным и новым, между заданным и переменным теряют не только свою определенность, становясь относительными и изменчивыми, но и свою значимость в отношении того, как говорящие переживают язык и обращаются с языком. Коммуникативный фрагмент представляет собой такую единицу языкового мышления, которая пересекает и делает несущественными границы, в которых традиционно категоризируется наша рефлексия о языке: границы между инвариантным и вариантным, постоянным и переменным, членимым и нечленимым, изначально заданным и вновь созданным, между «словарем» и «грамматикой», «языком» и «речью».

Глава 6. АССОЦИАТИВНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ФРАГМЕНТОВ КАК ОСНОВА ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЧИ

Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn geben.... Wer ihn besitzt, sagtbeispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: Hier konnte, sollte oder mußte geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann derict er: Nun, es konnte wahrscheinlich auch anders sein. So lief er sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebensogut sei konnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.

Robert Musil, «Der Mann ohne Eigenschaften», Bd. I, 1:4

Обсуждение понятия коммуникативного фрагмента привело нас к выводу, что сущность этого феномена как основной единицы мнемонического владения языком состоит в сочетании таких противоречивых свойств, как заданность, автоматическая воспроизводимость и узнаваемость — и размытость очертаний и границ, не позволяющая зафиксировать ни каждый фрагмент в качестве отдельной словарной единицы, ни всю их совокупность в качестве словарного списка; нечленимая целостность, способность вызывать непосредственный отклик в представлении говорящего — и разложимость на отдельные компоненты (слова и морфемы), делающая возможными всяческие манипуляции с этими компонентами и их комбинациями: замены, перестановки, усечения, расширения; «монадная» уникальность каждого КФ, укорененность в неповторимой среде коммуникативного пространства и полей ассоциаций — и сплавленность его с другими КФ в конгломерате языковой памяти, растворенность в непрерывном континууме наслоений и пересечений с другими фрагментами. Такой характер коммуникативного фрагмента как нельзя лучше соответствует характеру языковой памяти, со свойственной ей конкретностью и осязаемостью каждого отдельного отложившегося представления и в то же время летучестью этих представлений, их способностью мгновенно изменять очертания, перетекать одно в другое и растекаться одновременно по многим разным направлениям[101].

Существование коммуникативных фрагментов в сознании говорящих, в

качестве частиц их языкового опыта, протекает в виде динамически неустойчивого равновесия, или скорее балансирования, между этими противоположными тенденциями: диссимилирующей, обособляющей каждое знакомое выражение в качестве индивидуального и мгновенно узнаваемого языкового «предмета», и ассимилирующей, сплавляющей различные выражения в поля более или менее явных аналогий. Каждый акт употребления языка являет собой только для данного случая действительный компромисс между этими противоположно направленными силами.

Ассоциативные связи между различными коммуникативными фрагментами могут быть прямыми либо опосредованными, двусторонними либо многосторонними и многонаправленными. Они могут иметь разную степень очевидности и интенсивности — от почти полного слияния, при котором два близкородственных стационарных выражения мерцают в качестве модификаций некоего совокупного образа, до далеких, едва намечаемых ассоциативных притяжений, становящихся заметными лишь при наличии определенных благоприятных условий. Каждый раз, когда говорящий соприкасается с каким-либо КФ в своей языковой деятельности, это соприкосновение немедленно отзывается ассоциативным напоминанием о целом ряде других КФ, так или иначе с ним сопряженных в его языковой памяти. Эта ассоциативная среда, в окружении которой фрагмент выступает в данном акте языковой деятельности, определяет и его собственную судьбу в этом акте (то есть то, какое он в нем займет место и каким при этом подвергнется модификациям), и те последствия, которые будет иметь его употребление в масштабах коммуникативного целого: те проспективные и ретроспективные влияния, которые будут расходиться от этого выражения, точно круги по воде, на всем пространстве данного коммуникативного действия.

Я уже говорил о том, что языковая память представляется мне в образе некоей «суперкубистической» композиции, грандиозно многомерной, различные частицы которой просвечивают и отражаются друг в друге в бесчисленном множестве разных направлений, причем эти взаимные отражения имеют подвижно-мерцающий характер. Чтобы описать хотя бы с минимальной степенью обстоятельности типичные фигуры и их перестроения, возникающие в этом n-мерном калейдоскопе, и получающиеся в результате эффекты, потребовалась бы по меньшей мере еще одна книга. В этой главе я попытаюсь, нисколько не претендуя на подобную обстоятельность, лишь наметить некоторые параметры, представляющиеся мне существенными для такого описания.

1. Рассмотрим прежде всего вопрос о конститутивных признаках, на основе которых могут возникать ассоциативные сопряжения между коммуникативными фрагментами. Следует подчеркнуть бесконечное, никоим образом твердо не регламентируемое разнообразие путей и признаков, по которым и на основании которых процессы ассоциативных сопряжении развертываются в языковом мышлении говорящих. Эффект сопряженности двух или нескольких КФ может возникнуть на основании сходства их звуковой и/или графической формы, либо их предметного значения, либо каких-то общих свойств того образного отклика, который они вызывают в представлении; на основании принадлежности к одной тематической, ситуативной, сюжетной, жанровой сфере; на основании способности пробуждать сходные реминисценции[102]. Сама степень этого сходства может быть различной — от очевидного параллелизма формы и смысла до маргинальных, почти случайных общих деталей, которые, однако, могут при

каких-то благоприятных обстоятельствах обратить на себя внимание говорящего и вызвать ассоциативное наслоение соответствующих выражений в его языковых преставлениях[103].

Мне вспоминаются слова Н. С. Трубецкого по поводу созданной им классификации фонологических оппозиций: «Нельзя противопоставить чернильницу и свободу воли»[104]. Этот заведомо нелепый, с точки зрения Трубецкого, пример призван был служить негативной иллюстрацией того факта, что связи и противопоставления между элементами языковой структуры имеют ограниченный и упорядоченный характер, который может быть разумным образом описан. Однако в действительности этот пример может служить иллюстрацией иллюзорности всех и всяческих «четких» и «разумных» классификационных критериев в применении к языку. Нет ничего легче, чем представить себе противопоставление, либо, если угодно, сопоставление чернильницы и свободы воли,— для этого нужно только посмотреть на них не как на имманентные смысловые «элементы», но как на часть той или иной коммуникативной среды, к которой они могли бы совместно принадлежать и в пространстве которой они могли бы выступать, в зависимости от свойств такой среды и позиции по отношению к ней субъекта, в качестве аналогов либо антиподов. Чернильница может служить воплощением бюрократического мира — этого типичного антипода свободы воли в романтическом сознании и романтическом дискурсе; или чернильница может обернуться символом творческого вдохновения, волшебным медиумом, посредством которого получает выражение творческая воля художника — магическим кристаллом, позволяющим увидеть даль свободного романа;[105] и разве не было самоубийство Есенина, воспринимавшееся многими в контексте надвигавшегося советского оледенения как символический акт утверждения личной свободы, тесно сопряжено с засохшей чернильницей в номере гостиницы? разве не побудило оно Маяковского призвать к увеличению производства чернил в качестве средства борьбы с ростом числа самоубийств? — и т. д., и т. д.

В 1960—1970-е гг., в период бурного расцвета «лингвистики текста», огромные творческие усилия были вложены в то, чтобы описать отношения между предложениями в тексте в виде такой же четко регламентированной системы, какой лингвистам в это время представлялись отношения в системе фонем, грамматических форм и синтаксических структур. Во множестве работ того времени (в том числе автора этих строк) с различных сторон обсуждался вопрос: каким образом такие-то два конкретных предложения A и B осознаются говорящими как «связанные» друг с другом? и как можно исчерпывающим образом классифицировать всевозможные признаки, на основании которых строятся такого рода связи?[6] Может быть, специалисты по лингвистике текста со мной не согласятся, но мне основное — и немаловажное — значение этих попыток видится в том, что они принесли отрицательный результат.

Нельзя исчерпывающим образом описать все возможные повороты мысли, все возможные фигуры смысловых и образных соположений, все возможные соотнесения с контекстом, подразумеваемым знанием, традициями и конвенциями повествования, все возможные реминисцентные отсылки, способные возникнуть между какими-либо двумя высказываниями, в той или иной коммуникативной ситуации, жанровой рамке, тематическом поле, в силу чего эти высказывания окажутся каким-либо образом «связанными» друг с другом в представлении участников сообщения, погруженных в эти ситуативные условия.

Еще меньше шансов на успех имела бы попытка такой классификации применительно к коммуникативным фрагментам — уже хотя бы в силу того, что последние не отделяются друг от друга в речи с такой определенностью, с какой (по крайней мере в некоторых типах языкового дискурса) одно предложение отделяется от другого. Все что мы можем сделать ~ это попытаться выделить и описать типичные, часто встречающиеся явления, либо, напротив, ярко характерные «особые случаи», не пытаясь придать описанию замкнутую форму. Такая позиция не представляется мне методологической капитуляцией. Ведь именно такой характер — отрывочный, неконечный, неустойчивый — имеет и само знание говорящих, которым они вооружены в своем обращении с языковым материалом. Попытаться показать, каким образом говорящим удается успешно решать при помощи языка разнообразные коммуникативные задачи на основании этого неполного и неустойчивого знания (притом, конечно, решать их не всегда одинаково успешно, и всегда лишь относительно успешно), — в этом и заключается суть того, как я представляю себе предмет лингвистического описания.

Вернемся, однако, к нашему обсуждению конститутивных параметров, определяющих ассоциативные сопряжения языкового материала. В множественной совокупности таких параметров-каналов, по которым различные выражения вступают в ассоциативные связи друг с другом, наиболее очевидная роль принадлежит признаку формального сходства сополагаемых КФ, то есть сходства того конкретного языкового материала, из которого каждый из них состоит. Вполне очевидно также, что действенность этого параметра определяется не только и даже не столько объемом формально сходных компонентов, сколько типичностью этого сходства, то есть тем, насколько соотношение формы двух известных говорящему выражений осознается как типовое, повторяющееся во многих других соположениях. Например, коммуникативные фрагменты 'купил книгу' и 'купил книги', хотя и не вполне идентичные по своему употреблению (мы уже не раз имели возможность убедиться, что двух идентичных по кругу употребления выражений в языке просто не бывает), несомненно, осознаются говорящими как «весьма сходные» или «явно сходные» выражения. Этому способствует и большой объем сходства их материальной формы, и тот факт, что такое соотношение подкрепляется в памяти говорящих целым рядом аналогичных соположений между другими КФ, имеющими похожее соотношение формы и смысла: 'купил карандаш / карандаши', 'купил билет / билеты'. В силу этого формальное сопоставление работает не изолированно, но включается в целое поле сходных случаев. Это придает и самому такому сопоставлению, и вытекающей из него ассоциативной интеграции соотносимых выражений полную убедительность и. очевидность.

Тот факт, что коммуникативные фрагменты образуются из словоформ и их частей, которые говорящие способны с легкостью вычленять в качестве стационарных частиц языкового материала, способствует соотнесениям между КФ на основании их формы. Говорящие не «строят» каждый КФ из слов, морфем и фонем, поскольку им нет необходимости это делать; но они сополагают между собой различные готовые фрагменты на основании частичного сходства их словесного, морфемного, звукового состава. Чем больше стационарных элементов в составе данного КФ включается в такие соотнесения, тем более пластичной, проницаемой для всевозможных слияний и аналогических модификаций оказывается форма самого этого фрагмента как целого — тем в большей степени выявляются свойства КФ

как динамически заданной, а не стационарно заданной языковой единицы.

Следует, однако, подчеркнуть, что даже в таком элементарном случае, как рассмотренный выше, речь не идет о чисто формальном соположении. Формальное сходство подкрепляется сходством предметного значения сопоставляемых выражений, их тематической и ситуативной соположенностью, определяющей общность сферы их употребления. Происходит это потому, что формальное сходство двух выражений проецируется в представлении говорящих не на отвлеченную формулу, в которой такое сходство могло бы быть представлено, но на поле конкретных выражений, более или менее аналогичных по характеру своего употребления, между которыми имеет место такая же формальная соотнесенность. Скажем, в приведенном выше примере ('купил книгу' — 'купил книги') речь идет не о соположенности любых сочетаний «переходного глагола совершенного вида прошедшего времени» с «существительным в форме винительного падежа единственного resp. множественного числа», но о конкретной группе более или менее сходных по употреблению выражений. Эта группа расходится от взятого за исходную точку выражения в виде открытого поля аналогий, бесконечно и непрерывно расширяющегося, но в то же время становящегося все более туманным и размытым по мере удаления от эпицентра.

Смысловая, ситуативная, стилевая сфокусированность формального соположения становится очевидной при наличии достаточно мощных центробежных смысловых или стилевых сил, способных диссоциировать выражения даже вопреки очевидному и вполне «регулярному» формальному сходству между ними. Например, следующие ряды выражений образуют идеальные пропорции с отвлеченно-формальной точки зрения, если рассматривать их в отвлечении от конкретных условий употребления: 'поднял руку / поднял руки'—'поднял ногу / поднял ноги'— 'поднял глаз / поднял глаза'—'поднял ухо / поднял уши'. Более индивидуализированный анализ позволяет обнаружить резкие диссоциирующие сдвиги, характеризующие отношения между некоторыми членами этой мнимой матрицы. Образ, вызываемый в нашем сознании выражением 'поднял руку', существенно отличается от образа выражения 'поднял руки' — отличается и подразумеваемыми возможностями тематического развития, и ассоциативными полями образов и речений, которые каждое из них притягивает к себе, и жанровым и тематическим потенциалом. Диссоциирующие силы, действующие в этой паре выражений, значительно более заметны, чем в паре 'купил книгу / книги', и соответственно их ассоциативное соположение и взаимодействие в конкретных ситуациях речевой деятельности будет гораздо слабее выражено. То же можно сказать о диссоциированности выражений 'поднял ногу' и 'поднял ноги', — причем смысловой и стилевой сдвиг в этом случае совсем не похож на тот, который имел место в паре 'поднял руку / руки'. Аналогично, соположение выражений 'поднял ухо/уши', 'поднял глаз/глаза' каждый раз переводит нас в существенно иные тематические, ситуативные и стилевые пространства, погружает в иные поля потенциальных ассоциаций и ходов развертывания.

Таким образом, в основе аналогического соположения двух выражений по форме лежит не столько «объективное» сходство между ними, каким его можно было бы представить с точки зрения отвлеченной шкалы формальных признаков, внеположных языковому употреблению, — сколько перцептивное сходство, то есть то, насколько тесно формы данных выражений сополагаются и сливаются друг с другом в перцепции говорящего

субъекта. Ощущение сходства двух языковых форм вырастает из взаимодействия упомянутых выше факторов: не только степени и типичности их формального сродства, но и общности сферы употребления, сходства ассоциативных полей, пробуждаемых каждым из выражений, сходства стилевой тональности; результирующий эффект возникает не из механического сложения этих факторов, но из их фузии, ход и результаты которой оказываются каждый раз различными в зависимости и от характера каждого фактора, какой он имеет именно в данном контексте, и от потенциальных коммуникативных условий, в которых мы мыслим себе этот процесс в целом. В каком сочетании выступают различные параметры в том или ином соположении различных КФ в тех или иных условиях языковой деятельности, каков окажется удельный вес каждого из них и, наконец, какие смысловые, образные, стилевые отклики данное ассоциативное совмещение пробудит в языковом мышлении говорящих, — исчерпывающий ответ на все эти вопросы пришлось бы искать заново для каждого индивидуального соположения. Вот почему различные пары выражений, содержащие одинаковый набор признаков формального сходства, могут давать существенно разный эффект с точки зрения того, насколько очевидной выглядит для говорящих аналогия между ними.

2. Ассоциативная сопряженность коммуникативных фрагментов в сознании говорящих выполняет различные функции, то есть имеет разные последствия для их языковой деятельности. Можно выделить две основные функции ассоциативных соположений: ассоциативное тяготение и ассоциативное совмещение.

С одной стороны, сопряженность двух или нескольких разных выражений имеет результатом то, что употребление одного из них вызывает из резервуаров памяти другое или другие в качестве возможного и естественного продолжения-развертывания речи. Например, выражение 'купил книги' способно пробудить, в соответствующих коммуникативных условиях, такие ассоциативные резонансы, как 'книги по [электродинамике / животноводству / буддизму]', 'книги для [летнего чтения]', 'книги в лавке у букиниста', и т. д. Эти и многие иные сопряжения, которые могут прийти говорящему субъекту на память в подходящей для этого ситуации, вызывают в его мыслях естественные — для данной ситуации — развертывания исходной фразы: 'купил [эти] книги в лавке у букиниста', 'купил книги, [рекомендованные] для летнего чтения', 'купил все книги по буддизму, какие только мог отыскать', и т. п. Само собой разумеется, что от любого такого развертывания распространяются новые волны ассоциативных резонансов, открывающие все новые возможности дальнейшего развития. Даже если некоторые из этих ходов останутся нереализованными в получившемся конечном варианте высказывания, они все равно соприсутствуют в этом высказывании в качестве его потенциального развития — соприсутствуют в представлении и самого говорящего, и его адресата, восприятие которого неотделимо от множества ассоциаций, пробуждаемых в его сознании этой фразой.

От каждого выражения по многим различным направлениям расходятся тяготения, определяющие возможные пути его распространения, то есть множество других выражений, с которыми оно может непосредственно соединяться, либо более опосредованным образом сосуществовать в речи. Тот факт, что данные выражения, в силу своей ассоциативной сопряженности, выступали в памяти говорящего во взаимных наложениях, подготавливает для него их действительное совмещение в речи.

С другой стороны, процесс ассоциативного совмещения состоит в том, что два или несколько сродственных фрагментов сливаются в представлении говорящего субъекта, образуя новую конфигурацию языкового материала, которая сама по себе не была задана в его языковом опыте. Говорящий способен принять получившуюся таким образом контаминацию в качестве понятного ему языкового феномена, потому что он видит в ней, в симбиозе, знакомые ему фрагменты. Например, фраза *Пора навестить магазин* явно не является непосредственно заданным коммуникативным фрагментом. Возможность ее принятия в качестве высказывания, понятного и уместного в определенной ситуации, определяется тем, что в этой фразе для нас просвечивают хорошо знакомые выражения: 'пора сходить в магазин', 'пора навестить / посетить [больного]', 'посетите наш магазин', — просвечивают во взаимных наложениях и сращениях, в которых затушевываются границы каждого из них и вырисовывается новая языковая фигура.

Каждый наличный коммуникативный фрагмент, надежно усвоенный языковой памятью, открыт для всевозможных модификаций, скрещиваний, расщеплений, возникающих в результате контаминаций со многими другими фрагментами. В броуновском движении частиц языковой материи, происходящем в ходе языковой деятельности, возникают все новые совмещения, вызывающие все новые фигуры языкового материала — новые и вместе с тем знакомые, потому что в них проглядывает и узнается ассоциативно совместившийся знакомый материал.

Если применить к описанным здесь двум типам ассоциативных взаимодействий широко употребительные терминологические системы, их можно было бы обозначить, с некоторой условностью, как процессы взаимодействия «по смежности» и «по сходству». В одном случае ассоциативно сопряженные выражения притягиваются друг к другу в процессе развертывания высказывания, образуя смежные звенья в составе более протяженных единств в речи; в другом — ассоциативная сопряженность ведет к их контаминированию, результатом которого оказываются новые языковые фигуры, опознаваемые в силу их аналогического сходства со знакомым материалом.

Можно также сказать, что эти два типа процессов осуществляются, соответственно, на «синтагматической» и «парадигматической» оси: ассоциативное тяготение служит синтагматическому развертыванию речи, втягивая в этот процесс все новые выражения, тогда как ассоциативное совмещение создает вокруг каждого фрагмента целую «парадигму» производных фигур, возникающих из его совмещений с различными другими фрагментами.

Отличие описываемых здесь процессов от традиционных понятий смежности и сходства, синтагматики и парадигматики состоит в их летучей неустойчивости. Традиционная риторика и лингвистика мыслит эти понятия применительно к словам — стационарным, всегда самим себе равным частицам языковой материи, которые в силу этого могут быть представлены в определенных соотношениях по сходству и смежности, либо выстроены в синтагматические и парадигматические порядки. Иначе обстоит дело с коммуникативными фрагментами: их взаимодействие дает результаты, в которых сами участники такого взаимодействия как бы исчезают, растворяясь во взаимных слияниях. Перед нами такая «синтагма» (resp. метонимическое распространение) или такая «парадигма» (resp. метафорическое соположение), «конститутивные члены» которой теряют свои

собственные, отдельные очертания и просматриваются в лучшем случае в виде аллюзионных намеков.

3. Ассоциативная сопряженность различных КФ позволяет применять их в языковой деятельности с бесконечным разнообразием, создавая все новые сращения и модификации известного языкового материала. При всем неограниченном разнообразии конкретных решений, которые каждый раз приходится принимать говорящему, можно заметить типичные технические приемы, при помощи которых осуществляется такого рода работа с исходным языковым материалом. Рассмотрим важнейшие из них.

а) Простейшим способом взаимодействия двух или нескольких К.Ф является аналогия. Явление аналогии состоит в том, что операция, производимая над некоторым фрагментом, непосредственно следует образцу другого или нескольких других, сходных с ним фрагментов; последние выступают в этой операции в качестве аналогического образца или прецедента, делающего такую операцию возможной.

Например, наша память хранит множество готовых выражений со словами *мороз* и *холод,* между которыми существует тесная сопряженность как формы, так и круга употребления:

'ужасный мороз' <—> 'ужасный холод'

'невыносимый мороз' <—> 'невыносимый холод'

'страшный мороз' <—> 'страшный холод'

'ну и мороз!' <—> 'ну и холод!'

'первые морозы' <—> 'первые холода'

'настоящие морозы' <—> 'настоящие холода [еще не наступили]'

'не выходи на мороз' <—> 'не выходи на холод [раздетый]'

Приведенные пары выражений можно признать равноправными с точки зрения их статуса в языковой памяти; все они бесспорно представляют собой готовые языковые феномены, которые для множества говорящих по-русски идентифицируются с их прошлым языковым опытом.

С другой стороны, легко представить себе целый ряд выражений, столь же тесно сопряженных по форме, но неравноправных с точки зрения их укорененности в языковой памяти:

'свирепый мороз' —> 'свирепый холод'

'жестокий мороз' —> 'жестокий холод'

'февральские морозы' —> 'февральские холода'

'крещенские морозы' —> 'крещенские холода'

'крещенский мороз' —> 'крещенский холод'.

В то время как первые члены каждой пары бесспорно наличествуют в качестве заданных фактов нашего языкового опыта, заданность вторых членов этих пар не столь бесспорна, а некоторые из них (например 'крещенский холод') вполне явственно имеют вторичный, производный характер. (Тот факт, что последнее выражение для многих будет соотноситься с определенным цитатным источником — строкой из «Евгения Онегина»: "У, как теперь окружена Крещенским холодом она!" — может служить косвенным подтверждением того, что для нас это выражение существует не как заданный фрагмент языковой ткани, растворенный в языковой памяти, но в качестве индивидуализированного языкового произведения). Соответственно, можно представить себе ряд выражений с противоположным соотношением:

'убийственный мороз' <— 'убийственный холод'

'жуткий мороз' <— 'жуткий холод'

'мороз пронизывал до костей' <— 'холод пронизывал до костей'.

В этом случае полной укорененностью в языковой памяти обладают вторые члены каждой пары, в то время как первые имеют более или менее отчетливо выраженный производный статус.

Оговорюсь, что даваемые мною оценки каждого выражения с точки зрения его укорененности в языковом опыте имеют субъективный характер и отражают то, как эти выражения выглядят в моих языковых представлениях. Весьма вероятно, и даже неизбежно, что другие говорящие не согласятся с некоторыми из моих оценок, поскольку каждый будет проецировать эти выражения в свой личный языковой опыт. Я не думаю также, что если бы я провел анкетный опрос, скажем, ста или пятисот говорящих по-русски и суммировал бы полученные ответы в виде процентных индексов, такой результат имел бы более «объективный» характер (хотя для некоторых целей такое анкетирование, конечно, бывает очень полезным и интересным). Ведь каждый говорящий представляет собой уникальный личный языковой мир, который не суммируется, а лишь соприкасается и взаимодействует с другими такими же мирами. Но именно эта неопределенность сходства между полями языкового опыта, которыми владеют и которыми оперируют различные говорящие, создает надежную основу для их взаимодействия и взаимного понимания. Говорящие никак не могут рассчитывать на полную идентичность своего знания языка; но они могут рассчитывать на то, что в пределах коммуникативного сообщества, членами которого они имеют разумные основания себя считать, имеет хождение некий общий корпус выражений — неопределимый с точностью, но достаточно обширный, — заведомо известных членам этого сообщества, и существуют единые принципы работы с этим цитатным фондом.

Поэтому у меня есть основания надеяться, что нарисованная выше картина имеет разумную степень скоррелированности с той, которая существует в представлениях других говорящих по-русски, — иначе мы просто не могли бы общаться на основе данного языкового материала.

Что всех нас объединяет — это то, что некоторые из этих выражений (может быть, не абсолютно одни и те же для каждого говорящего) ощущаются нами как бесспорно «уже встречавшиеся» в нашем опыте языковой деятельности, другие — как «быть может, встречавшиеся», или как «возможно, или скорей всего, в такой точно форме ранее не встречавшиеся», или, наконец, как бесспорно производные языковые образования, впервые сейчас переживаемые либо имеющие ясный цитатный источник. Общим является и то, что любой говорящий по-русски с легкостью принимает любое из этих выражений — то есть понимает его смысл, представляет себе ситуации, в которых такое выражение может фигурировать, видит возможные ходы его дальнейшего развертывания в речи. Выражения, имеющие «производный» характер, оказываются столь же понятными и «узнаваемыми», как и выражения, относительно непосредственной заданности которых в памяти у нас не возникает сомнений. Более того, само это различие между непосредственно заданными и производными выражениями в большинстве случаев становится заметным, лишь если наше внимание будет специально привлечено к этому явлению,— но даже и в этом случае мы часто оказываемся не в состоянии провести такое различие с полной уверенностью. Непрерывность пластических преобразований, которые претерпевают знакомые нам выражения в процессе языковой деятельности, делает во многих случаях невозможным утверждать с полной уверенностью, что в создаваемых нами и воспринимаемых конфигурациях языковой ткани нами опознается как заведомо уже бывшее и санкционирован-

ное предшествующим опытом, а что только распознается в качестве феномена, который «если еще и не встречался, то мог бы встретиться», и в этом качестве находит свое место в среде нашего языкового существования.

Каждое из «производных» выражений существует для нас на фоне густой сетки аналогических подобий и прецедентов. Ассоциативная укорененность выражения, связанность его со многими заведомо нам известными частицами языкового материала компенсирует отсутствие непосредственной его заданности в памяти. Если сетка ассоциативных связей, подкрепляющих данное выражение, обладает достаточной густотой и надежностью, «ассоциативная реальность» полностью заменяет собой мнемоническую реальность: мы попросту оказываемся не способны сказать, фигурировало ли уже данное выражение в нашем предыдущем опыте, и воспринимаем его с непосредственностью существующего языкового факта.

С другой стороны, чем «тоньше» подкрепляющая ассоциативная сетка, чем более далекие скачки, оставляющие лакуны пропущенных промежуточных звеньев, предполагает данное аналогическое соположение, тем с большей остротой мы воспринимаем его как заново созданное, не вмещающееся в эмпирическую реальность нашей памяти. Как бы ни было нам знакомо выражение 'дохлая луна', как хорошо мы ни помним обстоятельства, с которыми связано его возникновение и его смысл — или, может быть, именно в силу этой его индивидуации, — оно не утрачивает для нас своего импровизационного характера. Никакая точность запоминания, никакое число повторений не снижает для нас остроту восприятия известных выражений как языковых инноваций. Определяющим в подобных случаях оказывается тот факт, что ассоциативная сетка, сцепляющая данное выражение со всем массивом нашей языковой памяти, остается по-прежнему разреженной, в силу чего данный языковой артефакт, при любом числе своих появлений, вновь и вновь будет вызывать у нас ощущение далекого, дисконтинуального ассоциативного скачка.

В результате бесчисленных аналогических сближений разной степени сложности и убедительности в нашем распоряжении оказывается бесконечное множество словесных сочетаний, которые мы с уверенностью опознаем как «правильные», то есть понятные и уместные в определенной ситуации выражения. Возникает иллюзия, что мы строим такие сочетания по отвлеченной синтаксической схеме, свободно перекомбинируя словоформы в рамках этой схемы. Эта иллюзия, однако, исчезает, если присмотреться к бесконечному разнообразию коммуникативных результатов, которые говорящие получают всякий раз, когда они якобы применяют «одну и ту же» морфосинтаксическую формулу: от безупречно гладких до неуклюже-шероховатых, от банальных до причудливо-неожиданных, от растворенных в анонимности повседневного употребления языка до ярко индивидуальных.

В этом заключается принципиальное отличие производных выражений, образованных путем аналогической модификации коммуникативного фрагмента, от производных слов. Между первичными и производными словами в огромном большинстве случаев имеется ясное формальное различие; но граница между исходно заданными и производными КФ оказывается размытой и подвижной[106]. Вторично образуемые выражения являют собой не столько новые образования, построенные на основе исходного, сколько аналогические «растяжения» того образа, который исходное выражение имеет в сознании говорящего субъекта. Воспринимая выраже-

ние 'стояли февральские холода', в качестве аналогической модификации КФ 'стояли февральские морозы', мы видим не новую фразу, получившуюся в результате замены одного слова другим, но привычное смысловое поле, соответствующее знакомому фрагменту, в некоторой модификации и растяжении его очертаний.

Действенность аналогического образца, на основе которого происходит модификация коммуникативного фрагмента, может резко снизиться или даже вовсе исчезнуть, если имеются достаточно сильные диссоциирующие факторы, перекрывающие сходство с этим образцом. Мы видели, с какой легкостью слова *мороз* и *холод* замещают друг друга во множестве выражений. Эта легкость аналогической замены, однако, перестает действовать для выражения 'промозглый холод': аналогическое образование 'промозглый мороз' оказывается «странным», несмотря на то что оно построено, казалось бы, на основании такой же аналогии, которая успешно действовала для многих других случаев. Образованию аналогии препятствует выражение 'промозглая сырость', твердо укорененное в языковой памяти. Выражения со словами *мороз* и *сырость* отличаются значительной степенью диссоциированности. Круг их потенциальных употреблений и возможных развертываний существенно различается; даже такие внешне сходные выражения, как 'ужасная сырость' и 'ужасный мороз', включают нас в существенно различные потенциальные ситуации, сюжеты, возможности продолжений. В этом случае диссоциирующее отталкивание между 'морозом' и 'сыростью' оказывается сильнее, чем ассоциативное притяжение, в других случаях вполне очевидное, между 'морозом' и 'холодом'. Поэтому в восприятии говорящих выражение 'промозглый мороз' предстает как непонятное, противоречивое, или по меньшей мере неловкое: лежащий в его основе аналогический образец оказался смазан диссоциирующим влиянием, в силу чего облик выражения утратил понятность и естественность, свойственную более бесспорным аналогическим образованиям. Мы затрудняемся представить себе то смысловое поле, «растяжением» которого служит выражение 'промозглый мороз'.

Сама бесконечная множественность и неупорядоченность ассоциативных сопряжении между различными КФ имеет саморегулирующий эффект, ограничивающий возможности аналогических модификаций каждого фрагмента. Ассоциативных притяжений такое множество, разнообразие направлений, по которым они возникают, настолько неисчерпаемо, что многие потенциально возможные сопряжения теряют свою действенность, в силу того что они перекрываются другими сопряжениями, направленными в противоположную сторону. Сама хаотичность этого броуновского движения языковой памяти, непредсказуемость столкновений между отдельными частицами определяет тот факт, что каждая частица в отдельности, при всех бесконечных поворотах, которые она претерпевает в этих столкновениях, как правило, не удаляется слишком далеко от сферы своего употребления, не «растягивает» свое смысловое поле до полной неузнаваемости — если, конечно, такая деформация не является преднамеренной, рассчитанной на специальный эффект.

Замечательным свойством этого движущегося клубка сопряжении является также то, что даже более отдаленные и слабые сопряжения, действие которых в большинстве случаев перекрывается более сильными тяготениями, направленными в другие стороны, никогда не утрачивают возможность реализации полностью и бесповоротно. В любой момент может возникнуть такая коммуникативная ситуация, которая нейтрализует или осла-

бит действие диссоциирующих сил, открывая дорогу для такой модификации КФ, которая в других обстоятельствах, из-за действия негативных факторов, была бы невозможной или странной. Например, образ выражения 'промозглый мороз' может стать понятным и приемлемым, если включить его в подходящее окружение, например:

'Тут даже мороз какой-то промозглый—не то что у нас, в Сибири'. Слово 'какой-то' придает выражению приблизительный характер, что оправдывает его смысловую несфокусированность; противопоставление Сибири, с ее «настоящими» морозами ('сибирский мороз' — легко опознаваемый стандартный фрагмент), делает саму аномальность и парадоксальность ситуации осмысленной. В этих условиях выражение 'промозглый мороз' включается в коммуникативное пространство с полной естественностью и понятностью: мы с легкостью представляем себе ситуацию, ее возможные продолжения, ее стилевой и жанровый ореол. Растяжение знакомого языкового образа, которое в обычных условиях давало невразумительный эффект из-за столкновения противоречиво направленных ассоциативных сил, в этой ситуации, на фоне этого коммуникативного «ландшафта», обернулось к нам таким ракурсом, что мы оказались способными принять его в качестве опознаваемого языкового «предмета». Таким образом, граница между обычными и необычными, естественными и странными выражениями оказывается столь же гибкой и подвижной, как и граница между первично заданными выражениями и их вторичными модификациями.

Прием аналогии позволяет также объяснить механизм использования говорящими различных «грамматических форм» известных им выражений. Выше мне уже приходилось обсуждать вопрос о том, что говорящие не мыслят различные грамматические формы слов в качестве отвлеченных парадигм, но знают их в составе множества конкретных памятных им выражений. Как же тогда получается, что каждое такое выражение говорящий без труда способен «просклонять» или «проспрягать», создавая таким образом все возможные трансформации, предписываемые полным составом его грамматической парадигмы? Ответом на этот вопрос как раз и служат аналогические процессы. Обычно говорящему известны, в качестве заданного факта его языковой памяти, не все в принципе возможные «грамматические варианты» данного выражения, но лишь некоторые из них — каждый в качестве отдельного и непосредственно данного коммуникативного фрагмента. Например, заданность таких выражений, как 'посетите [наш] магазин', 'посещение магазина', '..., посетившие наш магазин', '..., посещающие наш магазин', в языковой памяти многих говорящих по-русски едва ли может вызвать сомнение. Однако заданность таких выражений, как 'посетила / [наш] магазин', 'посети [наш] магазин', '[необходимо] посетить магазин' в качестве априорных фактов языковой памяти, заведомо имевших место в предыдущем языковом опыте, уже не так бесспорна. Можно, конечно, представить себе ситуации, в которых эти выражения могут быть употреблены, но такие ситуации не возникают с такой же непосредственностью в качестве четко осознаваемого прецедента, как в предыдущих примерах. Тем не менее, говорящего по-русски нисколько не затруднит ни создание, ни интерпретация всех этих выражений. Происходит это в силу наличия множества бесспорно ему знакомых выражений, имеющих аналогичную форму и сходный круг употребления. Например, в нашем распоряжении имеются такие твердо усвоенные КФ, как 'посетил / посетила выставку', '[обязательно] посети [эту] выставку', '[необходимо] посетить эту выставку'. Следуя по канве этих (и, конечно,

многих других) аналогических прецедентов, говорящий способен создать и интерпретировать такие незаданные, или менее твердо заданные для него выражения, как 'посетила магазин' и т. п.

В распоряжении говорящего имеется колоссальное число готовых выражений, в составе которых фигурируют сродственные словоформы. Множественные взаимные наложения таких выражений образуют густую сетку аналогий. От каждого известного выражения оказывается нетрудно произвести полную «парадигму» сродственных форм, потому что каждая такая форма будет опираться на множество прецедентных выражений, для которых существование именно в такой форме является заданным фактом, зафиксированным в памяти говорящего. В результате возникает иллюзия, что говорящие строят парадигму каждого слова и каждого выражения имманентно, на основании общих грамматических правил. Против такого понимания говорит простой, но часто игнорируемый в грамматическом описании факт, что коммуникативная фактура парадигмы одного слова, а тем более целого выражения, никогда не бывает единообразной: некоторые из членов парадигмы немедленно опознаются как непосредственно нам известные, другие же ощущаются как более или менее естественные аналогические «растяжения» данного в памяти языкового материала. Невозможно найти такую парадигму, все члены которой были бы абсолютно равноправны с точки зрения своего статуса в языковой деятельности говорящего и выступали бы в регулярных пропорциональных соотношениях друг с другом по смыслу и по кругу употребления. Происходит это потому, что мы оперируем не парадигмами или их схемами, а наборами известных нам формально сродственных выражений; каждый такой набор имеет индивидуальный, только ему свойственный состав, и ни один из них не имеет идеально «полного» состава в принципе возможных сродственных форм. Лишь аналогические соотнесения таких конкретных наборов позволяют, если это оказывается нужно, создавать требуемую модификацию, даже если применительно к данному конкретному выражению такая модификация не присутствует в памяти в качестве готового языкового факта.

б) Другим типичным приемом ассоциативного взаимодействия между коммуникативными фрагментами является контаминация. Сущность этого приема состоит в том, что два или несколько КФ, сопряженных по форме и кругу употребления, не просто модифицируют свои очертания по аналогии друг с другом, но «перетасовываются» более радикальным образом, так что раздробленные компоненты всех этих КФ сосуществуют в сознании говорящего субъекта все вместе, в виде некоего калейдоскопического целого. Говорящий создает все новые контаминации из этого материала, перекладывая, как бы поворотом калейдоскопа, исходные выражения во все новые фигуры. Исходные коммуникативные фрагменты, прочно заданные в памяти, присутствуют в этих фигурах — но присутствуют более сложным И опосредованным образом, чем при прямом аналогическом растяжении какого-либо одного фрагмента.

Например, представим себе следующие три стационарных выражения:

'поразительно оригинальная мысль'

'мысль поражает [своей] оригинальностью'

'эта мысль [вовсе] не оригинальна'

Из этих выражений, путем их многообразных контаминации, оказывается возможным получить открытое множество языковых фигур, Как обычно, степень «производности» каждой такой фигуры по отношению к обозначенным выше фрагментам не поддается точной фиксации и может разли-

чаться в субъективной оценке разных говорящих; разумеется также, что в тех или иных контаминациях могут участвовать еще какие-нибудь КФ, кроме тех, которые были нами взяты в качестве исходных. Как бы там ни было, во всех получаемых фигурах можно разглядеть, в различных перетасовках, материал трех исходных выражений:

'оригинальность этой мысли поразительна' 'мысль не поражает оригинальностью' 'мысль поражает [своей] неоригинальностью' 'поразительно, до какой степени эта мысль оригинальна' 'поразительно, до какой степени эта мысль не оригинальна' 'пораженный оригинальностью этой мысли, он ...' 'при всей своей поразительности, эта мысль по существу вовсе не оригинальна' 'чтобы поражать, не требуется большая оригинальность' 'не всякая оригинальная мысль поразительна, но всякая поразительная мысль оригинальна' 'не всякая поразительная мысль оригинальна, но всякая оригинальная мысль поразительна'

Этот список можно было бы с легкостью продолжать, практически до бесконечности. Однако приведенных примеров достаточно, чтобы разобраться в тех приемах работы с языковым материалом, при помощи которых создаются все эти фигуры. Каждый из трех названных мною исходных КФ присутствует во всех этих выражениях — но присутствует в раздробленном состоянии, в переплетении с другими исходными КФ. Если аналогия представляет собой растяжение исходного образа выражения, при котором видоизменяются его очертания, но не разрушается его целостность, то в контаминации исходные выражения фигурируют как бы в «кубистической» презентации.

Для того чтобы контаминация стала возможной, необходимо найти для нее подходящую «упаковку», опирающуюся на какой-либо достаточно легко опознаваемый аналогический прецедент; иначе «кубистическое» дробление исходного материала не могло бы сложиться в какую-либо новую единую фигуру. Например, в выражении 'чтобы поражать, не требуется большой оригинальности мысли' просвечивают такие аналогические прецеденты, более или менее твердо санкционированные нашей языковой памятью, как 'чтобы [получить степень/преуспеть в обществе/жениться], не требуется большого ума' и т. п., по канве которых строится данная контаминация. Однако одной лишь этой канвы также было бы недостаточно ни для того, чтобы создать данное выражение, ни для того, чтобы оценить весь его смысловой и ассоциативный потенциал. Смысл нового выражения определяется для нас тем, что в нем узнаются хорошо знакомые фрагменты, которые, хотя сами по себе вовсе не похожи на данное выражение по форме, все же проглядывают в нем в кубистически-раздробленном виде.

в) Амальгамирование представляет собой еще более сложное и хаотически-множественное, по сравнению с контаминацией, преобразование исходных коммуникативных фрагментов. Участвующие в контаминации исходные КФ не сохраняют в получившемся выражении свою целостную форму, но по крайней мере физически в нем присутствуют, хотя и в раздробленном виде. Но в случае амальгамирования некоторые из вовлеченных в процесс компонентов вовсе не присутствуют непосредственно в получившемся результирующем выражении. Их участие проявляется лишь в виде отсылки-намека; однако эта отсылка, косвенно включающая исходный компонент в состав получившегося целого, необходима для опознания этого целого. Без нее нам осталась бы непонятной логика, в силу которой данные частицы языкового материала сложились именно в такую фигуру;

ни аналогические образцы, по которым эта фигура построена, ни присутствие в нем в контаминированной форме целого ряда знакомых нам фрагментов сами по себе не были бы достаточными для понимания смысла данного выражения и возможностей его употребления.

Вяземский восхищался строкой юного Пушкина, рисовавшей яркий образ Карамзина-историка: «Он там, в дыму столетий». В чем причина суггестивной насыщенности этого выражения и в то же время полной его понятности? Оно пробуждает в нашем языковом сознании множество резонансов, но делает это скорее косвенно, путем намеков, чем путем прямых аналогий. То, что мы «узнаем» в качестве смыслового образа этого выражения, не есть модификация какого-либо знакомого нам образца, ни даже контаминация нескольких знакомых компонентов; этот образ вырастает из целого поля притягивающихся друг к другу аллюзий, многие из которых присутствуют в нем лишь через опосредованные ассоциативные связи.

Стационарное выражение 'в дыму сражения' выступает в качестве аналогического фона выражения 'в дыму столетий', но, конечно, этой аналогией получившийся смысловой результат отнюдь не исчерпывается. В его формировании играют роль такие знакомые нам языковые «предметы», как'[скрылся] в туманной дали', 'сквозь дымку смутно проступали [очертания берегов]', 'даль времен', 'минувшие столетия', 'темная старина', 'смутные преданья старины', и множество других. В этом поле по-разному сополагающихся между собой частиц языковой ткани для нас прорисовывается результирующий смысловой образ. Его компонентами являются: ощущение отдаленности и смутности далекого прошлого, отделенного от нас столетиями; разрушительность хода времени, напоминающего артиллерийскую канонаду, в «дыму» которого минувшее скрывается из виду; и «стратегический гений» историка, который, подобно полководцу (Наполеону — не забудем, что дело происходит в 1816 году), улавливает черты происходящего в дыму этого «сражения» со временем. И сами эти компоненты, и их слияние в смысловое целое возникают в силу того множества конкретных языковых выражений, образных представлений, аллюзий, которые возникают в нашем сознании одновременно либо в произвольном порядке, притягиваясь друг к другу и ко все новым ассоциациям. Некоторые из этих потенциальных источников проглядывают, полностью или частично, в результирующем выражении — как, например, КФ 'в дыму сражения'; другие не оставляют на его поверхности никакого следа, участвуя в формировании его смысла лишь через посредствующие аллюзии. Все эти смыслообразующие компоненты важны не каждый сам по себе, а в качестве целого поля. В этом поле они находятся во взвешенном состоянии, как бы в виде амальгамы: и число отдельных частиц, и соотношения между ними остаются неопределенными.

Когда я говорю об аналогии, контаминации и амальгамировании как трех типичных процессах пластического преобразования стационарных фрагментов языковой ткани в ходе их употребления, я не имею в виду, что в каждом конкретном примере (в частности, в примерах, с которыми мы имели дело выше) имеет место только один из этих процессов. Напротив — весьма вероятно, что в образовании и интерпретации каждого конкретного выражения все они так или иначе принимают участие. В самом деле, даже простейшая аналогическая модификация способна пробудить в нашем сознании, кроме явного и непосредственного аналогического образца, более опосредованные аллюзии; множественность таких аллюзий и пробуждаемых ими смысловых обертонов вносит свой опосредованный вклад

в смысловую композицию каждого выражения, создавая неповторимое слияние смысловых обертонов. С другой стороны, даже в самых сложных примерах амальгамирования всегда проглядывают некоторые узнаваемые прецеденты — они-то обычно и служат отправными пунктами, от которых разворачиваются целые поля более отдаленных и опосредованных аллюзий. В лучшем случае различие между примерами, которые мы квалифицировали как «аналогию», «контаминацию» и «амальгамирование», состоит в том, какой из этих процессов в том или ином случае оказывается наиболее очевидным. Тем не менее выделение этих типичных процессов представляется полезным, если не для классификационной разборки языковых фактов, то для того чтобы оценить всю множественность и летучую Динамичность работы языковой мысли, создающей и воспринимающей все новые фигуры языковой ткани на основе знакомого материала.

Я хорошо сознаю эскизность нарисованной здесь картины. Чтобы заполнить открывающиеся в ней лакуны, чтобы ответить на множество вопросов, которые возникали у меня самого в ходе этого описания и, несомненно, будут возникать также у читателя, — потребовалась бы несравненно более подробная проработка языкового материала и тщательное ее продумывание. Свою задачу я, однако, видел не в этом. Я стремился нарисовать такую картину, которая передавала бы, хотя бы в эскизном приближении, всю динамическую остроту и парадоксальность нашей повседневной работы е языком. Эта работа имеет принципиально «рутинный» характер, в том смысле, что она постоянно опирается на знакомые, заданные, санкционированные памятью и предшествующим опытом факты языка. Но с другой стороны, сама эта «рутина» знакомых языковых фактов существует для нас лишь в непрерывном и хаотически-стремительном движении. Очертания каждого знакомого языкового предмета видятся только в мерцании, в летучих растеканиях, в виде поля бесконечных пластических преобразований, принимающего все новые конфигурации; с другой стороны, в каждой возникающей новой конфигурации языковой ткани так или иначе проглядывают и так или иначе нами узнаются знакомые предметы — выражения, укорененные в нашем опыте языкового существования.

«Новизна» фигур языкового материала, возникающих в поле пластических преобразований знакомого выражения, может быть самой различной: от едва заметных сдвигов стационарного коммуникативного фрагмента, которые остаются совершенно незамеченными при нормальном течении речи и могут быть обнаружены, только если специально к ним с этой целью присматриваться, до радикальных инноваций, не только явным образом выходящих из рамок предшествующего опыта, но прямо рассчитанных на то, чтобы вызвать в нашем восприятии эффект импровизационного сдвига. Но и в последнем случае и создание, и восприятие новых выражений опирается на знакомые прототипы, — хотя в этом случае соотношение с прототипом может быть парадоксально заострено, выступая в виде резкого слома привычной картины. В языке едва ли возможно создать что-либо «новое» без того, чтобы в нем так или иначе проглядывало и просвечивало «старое»; более того, сам эффект новизны представляет собой не что иное, как результат соотнесения с уже знакомыми языковыми образами[107].

С другой стороны, любое заведомо известное выражение выступает в перцепции говорящего как бы окутанным в целую сетку аналогических модификаций и сближений с другими выражениями. Эта сетка меняется в

зависимости от того поля смысловых тяготений и потенциальных ходов, которое вырастает в процессе создания каждого акта речи. Вместе с ним изменяется и конфигурация аналогических мерцаний, в окружении которых в нашей перцепции каждый раз является знакомое нам выражение. В этом смысле знакомое в такой же степени оказывается для нас каждый раз новым, в какой новое оказывается знакомым.

Разумеется, сам говорящий не должен полностью отдавать себе отчет о ходе этих процессов; он не думает о списке выражений, которые пробудились в виде резонансных отголосков в его сознании в связи с высказыванием, на создании или интерпретацией которого сейчас сосредоточена его мысль. Все что знает говорящий — это что он нечто «узнает», что для него что-то «проглядывает» в том смысловом ландшафте, который в ходе языкового действия развертывается в его языковом сознании.

Предлагаемая модель языка принимает в качестве исходного «словаря» не твердо заданные единицы, такие как слова и морфемы, но коммуникативные фрагменты, со всей рыхлостью их границ и неустойчивостью очертаний. «Морфология» такого рода единиц, в соответствии с их конститутивными свойствами, оперирует не твердо заданными наборами их вариантов, но открыто-неустойчивыми приемами их пластических изменений, приводящих к бесконечным, и в то же время органически непрерывным, модификациям их облика и свойств. Парадоксальным образом, такое понимание возвращает слову «морфология» его первоначальный смысл, который оно имело в романтической биологии, филологии и философии, в сочинениях Гёте, Ф. Шлегеля и Гумбольдта[108].

Принцип работы этой амальгамы в известном смысле можно считать диаметрально противоположным позитивистскому принципу «экономности» и «простоты» работающего устройства. С увеличением вовлеченного в процесс числа компонентов, их пестроты, разбросанности, неопределенности и непостоянства их свойств «эффективность» системы только возрастает; говорящим все легче оказывается находить бесконечно новые вариации и переплетения различных кусков языковой ткани, в их распоряжении в каждый момент оказывается все большее число различных возможностей — каждое из которых, в свою очередь, выступает в целом облаке дальнейших потенциальных развертывании, — позволяющее в большинстве случаев создать приемлемое для данной ситуации и данных целей языковое произведение. И напротив, при ограниченности такого исходного материала каждая известная единица располагается «далеко» от других, соединяющая их всех ассоциативная сетка оказывается слишком разреженной; в этом случае каждая новая коммуникативная задача способна поставить говорящего в тупик либо, как минимум, потребовать от него напряженной аналитической работы мысли.

Описание языка, опирающееся на слова и их формы, с одной стороны, и коммуникативные фрагменты и их пластические модификации, с другой, кажется мне возможным сравнить — насколько это позволяют мои крайне скудные познания в этой области — с принципом работы телефонной и электронной связи. Телефонная связь строится в виде единой системы, в которой отдельные линии сходятся в централизованные узлы определенным, раз навсегда заданным образом. В отличие от этого, электронная связь строится в виде множества частных соединений между отдельными точками, идущих по всем направлениям и не сведенных ни в какую иерархическую систему. Электронный сигнал движется в этой сети множественных соединений по любым направлениям, отыскивая оптимальную для

данного мгновения и данной ситуации дорогу. Его путь никогда не повторяется и не может быть предсказан: ответ на то, какие именно из открытого множества возможных ходов являются свободными и наиболее удобными, меняется в каждый конкретный момент, с каждым изменением всего множества электронных коммуникаций. Именно эта множественность и непредсказуемость коммуникативных решений обеспечивает практическую неисчерпаемость емкости электронной связи, в отличие от телефонной, возможности которой предопределены строением системы.

Представление о коммуникативном процессе как о некоей линии языковой связи, «проложенной» между адресантом и адресатом сообщения, — линии, возможности которой определены централизованными правилами языкового кода, обязательного для них обоих[109], — было выработано в первой половине этого столетия, в эпоху, когда телефонная связь сделалась непременным атрибутом повседневного общения. Соответственно, предлагаемая здесь модель общения на основе открытого множества коммуникативных фрагментов, выступающих в виде совокупного поля, не сведенного в централизованно построенную систему, представляется мне в некоторых отношениях сходной с принципом, на котором построена электронная связь — этот все более прочно укореняющийся в нашей каждодневной практике способ общения, характерный для конца нашего века.

Глава 7. СОЕДИНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ФРАГМЕНТОВ В ВЫСКАЗЫВАНИИ

7.1. ШОВ.

Da stieg ein Baum.
O reine Obersteigung!
Rilke, «Die Sonette an Orpheus», 1:1

В предшествующих главах был рассмотрен базовый «словарь» языковой памяти, то есть множество коммуникативных фрагментов, и их «морфология» — те пластические модификации, к которым, оказывается, способен каждый КФ ввиду его включенности в ассоциативный континуум, состоящий из множества так или иначе сопряженных фрагментов.

Теперь необходимо разобраться, как из уже существующих в памяти фрагментов складываются все новые, сколь угодно пространные речевые образования.

Предшествующее, только что мною написанное (а читателем только что прочитанное и воспринятое) высказывание дает вполне достаточный материал для первичной иллюстрации этой проблемы. Рассмотрим, например, его начальный сегмент: ***Теперь необходимо разобраться, как....*** В «подтексте» этого построения проглядывает целый ряд имеющихся в распоряжении моей памяти готовых выражений. Например:

Теперь необходимо немного отдохнуть / позаботиться о / подумать о...

В этом деле **необходимо** [как следует] **разобраться.**

Попробуем **разобраться, как** это получилось / это могло случиться.

Конечно, в действительности и в моей памяти, и в памяти любого говорящего по-русски существует несравненно больше усвоенных фрагментов, находящихся в разной степени сродства с рассматриваемой фразой и со-

ставляющих ее совокупный ассоциативный фон. Мысль различных говорящих, или даже мысль одного и того же говорящего субъекта в разные моменты его языковой деятельности, может извлекать из запасов памяти различные наборы выражений, способные послужить в каждом конкретном случае тем конкретным материалом, из которого будет соткана получившаяся фраза; сама открытая множественность и пластическая подвижность этого поля ассоциаций обеспечивает успешный результат, даже если к данному конкретному языковому действию окажутся привлечены лишь немногие из потенциально наличных ассоциативных ресурсов. Поэтому для целей нашего анализа представляются вполне достаточными три приведенных выше КФ в качестве исходного материала, из которого могло бы быть соткано анализируемое высказывание.

Сам факт притяжения отмеченных нами коммуникативных фрагментов друг к другу, служащий предпосылкой их объединения, обусловлен наличием между ними ассоциативных тяготений «по смежности», о которых говорилось в предыдущей главе. Но чтобы эти тяготения из потенциальной возможности развертывания превратились в действительную речевую композицию, их необходимо объединить друг с другом таким образом, чтобы получившийся результат мог быть успешно воспринят говорящими в качестве целого. Приглядимся внимательнее к тем приемам, на основании которых эти разные коммуникативные фрагменты, каждый из которых имеет свою смысловую целостность и свои собственные типичные ходы развертывания, совместились в получившейся фразе.

Важнейшим условием, делающим этот процесс возможным, является то, что в составе исходных фрагментов имеются общие компоненты, в силу чего эти куски языкового материала существуют как бы во взаимных наложениях. Именно эта частичная совмещенность фрагментов в конгломерате наших языковых представлений служит предпосылкой для их совмещения в речи; она же оказывается центральным приемом, на основании которого такое совмещение действительно осуществляется. Соединение коммуникативных фрагментов в речи происходит в виде наложения их друг на друга или «срастания» друг с другом, проходящего по общим для них участкам языкового материала.

Обозначив четыре словоформы, вошедшие в состав анализируемой фразы, как A, B, C и D, можно схематически представить отношение между исходными КФ и получившимся выражением следующим образом:

AB + BC + CD = ABCD

Результирующая фраза образовалась не столько как «построение», составленное из соединения целых элементов, сколько как своего рода фузия или коллаж. Высказывание в процессе его развертывания как бы «соскальзывает» или «перетекает» от одного стационарного фрагмента к другому. Смежные фрагменты в его составе не просто следуют один за другим, но сливаются или срастаются друг с другом; границы каждого исходного фрагмента растворяются в этих сращениях. Получившееся в результате новое единство представляет собой не цепочку соположенных дискретных элементов, но непрерывный континуум, абсорбирующий каждое из вошедших в его состав стационарных выражений.

Именно в силу органического срастания смежных фрагментов получившееся более обширное образование — если оно достаточно хорошо скроено, — сохраняет целостность смысла и остается «узнаваемым» для говорящих в качестве единого языкового предмета. Говорящие так же непосредственно воспринимают такую фразу как целое, так же немедленно

представляют себе ее смысл в виде целостного образа, как они это делают по отношению к исходным коммуникативным фрагментам, из которых эта фраза скомпонована. Им не приходится выводить смысл фразы путем складывания смыслов составивших ее исходных выражений, поскольку все эти составляющие нераздельно срослись в новое образование, имеющее такую же целостность и непрерывность, которые характерны для каждого знакомого нам «куска» языковой материи.

Если бы говорящим нужно было строить высказывание, присоединяя его компоненты друг к другу, по принципу **A+B+C+D** = **ABCD,** им всякий раз пришлось бы задаваться вопросами: отвечает ли каждое соединение соответствующему синтаксическому правилу? отвечает ли соотношение между его компонентами правилам семантической сочетаемости? Например, для того чтобы построить с помощью синтактико-семантических правил такую простейшую фразу, как *Мальчик читал книгу,* необходимо иметь сведения о том, что глагол *читать* — переходный, и значит, существительное *книга* в роли объекта должно быть поставлено в винительном падеже (последний, в свою очередь, должен быть образован по правилам, соответствующим тому классу и подклассу именной парадигмы, к которому принадлежит лексема *книга};* что форма несовершенного вида прошедшего времени *читал,* будучи употреблена применительно к однократному (продолженному) действию, не устраняет требования к постановке прямого объекта (хотя в иных случаях та же форма может предполагать снятие объекта — ср. фразу *Он читал, сидя у окна);* что действие 'чтения' предполагает наличие субъекта — человека, чему соответствует слово *мальчик;* что предикат *читал* должен получить форму единственного числа мужского рода, в соответствии с правилом согласования с субъектом, действующим для предикатов прошедшего времени; что слово *книга* семантически подходит к роли объекта при данном предикате.

Однако говорящему и воспринимающему сообщение в их непосредственном опыте языковой деятельности в большинстве случаев не приходится прибегать к такого рода процедуре синтаксического построения или анализа, потому что их память хранит огромное количество уже «построенных», заведомо правильных и заведомо осмысленных конкретных кусков языковой ткани. Задача говорящих состоит в том, чтобы «подогнать» друг к другу эти готовые куски таким образом, чтобы получившееся целое производило такое же ощущение правильности и осмысленности, как и составившие его готовые компоненты; то есть чтобы это целое, хотя и созданное впервые, достаточно убедительно возникало из сращений знакомого и понятного языкового материала и в силу этого достаточно ясно «узнавалось» бы в качестве целостного образования.

Поэтому для того чтобы создать фразу — *Мальчик читал книгу,* — говорящему не требуются все перечисленные выше метаязыковые сведения о ее синтаксическом и семантическом строении. В его распоряжении имеются готовые фрагменты: 'мальчик читал...' и '... читал книгу'. «Сшивание» этих двух частиц языковой ткани по общему для них компоненту 'читал' дает целое, синтаксическая правильность и семантическая понятность которого гарантированы. Ведь мы ни в чем не отклонились от композиции обоих исходных выражений, каждое из которых заведомо является правильным и понятным, поскольку уже присутствует в таком виде в нашей памяти. Техника слияния известных говорящему фрагментов позволяет производить бесчисленные импровизированные действия над конкретным языковым материалом, не прибегая к абстрактным правилам построения и

при этом добиваясь приемлемых результатов.

Всякое такое слияние — даже самое очевидное и повсеместно употребительное — означает не просто соположение соединяемых компонентов, но всегда — их более сложное совмещение, приводящее к более или менее глубокому врастанию их друг в друга. Результирующее выражение образует фузию, идиосинкретичное целое, не поддающееся механическому расчленению. Свойства получившегося целого не сводятся к свойствам его составных частей — или, вернее, того, что было, до слияния, отдельными составными частями. Эффект слияния создает уникальные языковые фигуры, в очертаниях которых исходные коммуникативные фрагменты, извлеченные из арсенала памяти, просматриваются лишь в полурастворенном виде; они как бы «проглядывают» в ткани созданного высказывания сквозь образовавшиеся сращения, как проглядывают привитые побеги в новом организме, получившемся в результате прививки. Требуется специальная концентрация внимания, чтобы выделить первичный материал, из которого составилось данное образование в речи, восстановить первоначальную форму, которой он обладает в конгломерате языковой памяти, — насколько это вообще позволяет сделать его динамическая неустойчивость и пластичность.

Вместе с тем, коммуникативные фрагменты, врастая в ткань высказывания, хотя и модифицируют свои свойства, но не растворяются в ней полностью. Каждый КФ, включившийся в развертывание высказывания, при всех модификациях и редукциях, которым он при этом может подвергнуться, соприсутствует в получившейся ткани в качестве более или менее очевидной отсылки-аллюзии. В результате языковой облик каждого высказывания приобретает стереоскопичность; в нем соприсутствуют многие опознаваемые для говорящих образы языковых фрагментов — присутствуют полу-имплицитно, в виде «подтекста». Проглядывающие на поверхности созданного высказывания частички знакомых языковых «предметов» отсылают к целым полям выражений, которые в этом высказывании подверглись компрессии и фузии. Эта множественная, растекающаяся в разных направлениях мнемоническая среда окружает собой высказывание, окутывая его резонансным «гулом» ассоциаций, нереализованных или частично реализованных возможностей, потенциальных продолжений.[110]

Получившееся таким образом высказывание оказывается и «знакомым», и вместе с тем «новым». Оно полностью состоит из коммуникативных фрагментов; в нем нет ничего, что не отсылало бы к тому или иному знакомому нам из предыдущего опыта языковому «предмету». Если бы они просто следовали в высказывании один за другим, его смысл оказался бы простой суммой вошедших в его состав готовых формул. Но в том-то и дело, что исходные фрагменты выступают не в изначальном своем виде, но в слияниях. Конфигурация таких слияний каждый раз создается заново; всякий раз, составляя очередное высказывание, мы импровизируем, подбирая различные, более или менее подходящие для наших целей фрагменты и пытаясь соположить их таким образом, чтобы они по возможности естественно совместились в единое целое.

Итак, суть предлагаемой здесь гипотезы состоит в том, что в условиях языкового существования важнейшим приемом создания более обширных речевых образований служит не соединение, но сращение, или «сшивание» исходных компонентов языкового материала. Мы будем называть то место в высказывании, по которому проходит такое сращение, речевым швом. Речевому шву принадлежит критически важная роль в превращении

готовых, отложившихся в памяти кусков речи в новое целое, впервые создаваемое в данный момент, в данной ситуации речевой деятельности . Успех каждого речевого акта во многом определяется тем, насколько удачно подобраны составляющие коммуникативные фрагменты и найдены приемы наложения швов, приводящие к их срастанию.

Сшивание или срастание коммуникативных фрагментов в речи оказывается возможным в силу описанных ранее свойств этих единиц. «Рыхлость» границ фрагмента, способность его пластично изменять очертания создает предпосылку для тех срастаний и растворений, которые происходят с ним в высказывании.

Степень легкости и отработанности действий, производимых говорящим в том или ином конкретном случае при наложении шва, может очень различаться. Соответственно, различным может оказаться результирующий эффект, возникающий в высказывании при наложении шва: от тривиально очевидного сращения, настолько «гладкого», что говорящий и сам затруднился бы сказать, соединил ли он два различных, раздельно ему известных фрагмента, или все результирующее выражение уже присутствовало в его памяти в качестве готового целого, — до весьма необычных и резко характерных по своим свойствам конфигураций языкового материала, принятие и интерпретация которых (то есть создание подходящего ассоциативного фона, делающего их приемлемыми и понятными) требует напряженных ассоциативных поисков и аналитических усилий.

Можно указать на несколько факторов, облегчающих срастание двух фрагментов и делающих шов между ними легким и незаметным.

1) Первым и наиболее очевидным из таких факторов является наличие у срастающихся КФ общего компонент а, по которому и проходит шов. Чем более очевидным образом сходствуют формы двух коммуникативных фрагментов, тем (при прочих равных условиях) легче совместить их в речевое целое путем наложения шва. Так, в приводившемся выше примере *Мальчик читал книгу,* несомненное наличие в памяти таких готовых выражений, как 'мальчик читал ...' и '... читал книгу', делает их срастание чрезвычайно легким, поскольку общий компонент этих выражений в точности совпадает.

С другой стороны, наличие между двумя КФ лишь приблизительно подобной обшей части, которую можно привести к полному тождеству лишь путем тех или иных модификаций их привычного вида, соответственно, усложняет и сам процесс сращения, и получающийся результат. В этом случае, как увидим ниже, могут потребоваться дополнительные источники аналогической поддержки, способные оправдать и сделать понятной (по аналогии) модификацию исходных КФ, необходимую для того, чтобы их слияние стало возможным.

2) Вторым полезным фактором является благоприятствующее линейное расположение соединяемых фрагментов. Наиболее благоприятный с этой точки зрения случай можно схематически представить как соотношение типа **AB** + **BC,** дающее результирующую фразу **ABC.** В этом случае сшиваемые фрагменты расположены относительно друг друга таким образом, что соприкосновение между ними происходит по общему для них компоненту B, по которому и проходит речевой шов. Иными словами, линейный порядок созданной фразы оказывается таков, что коммуникативные фрагменты в ее составе вступают в непосредственный контакт лишь через общую свою часть; те же компоненты в их составе, которые составляют специфику каждого из фрагментов, остаются разделенными, поскольку они

располагаются по разные стороны шва.

Ситуация осложнится, если мы попытаемся срастить фрагменты типа AC и BC. При срастании исходных выражений во фразу ABC компоненты A и B, изначально принадлежавшие к разным фрагментам, оказываются в непосредственном контакте. Иными словами, мы получаем в высказывании соположение **AB,** которое нами не опознается как такое, которое составило бы какой-либо знакомый нам фрагмент или его часть. Это создает возможности смысловых столкновений, нарушающих гладкость соединения и приводящих к побочным смысловым эффектам, на которые говорящий не рассчитывал при наложении шва.

Так, выражение '...дорогую книгу' входит в репертуар знакомых нам фрагментов с такой же очевидностью, как и выражение 'читал книгу'; ср. легко опознаваемые, в качестве действительно либо потенциально знакомых, выражения типа: *Как ты мог потерять такую дорогую книгу!* Но соединение этих двух фрагментов по общему для них компоненту 'книгу': '... читал дорогую книгу', — дает диссонирующий результат; ср. некоторую «странность» высказывания: 'Мальчик читал дорогую книгу'. Такое высказывание, конечно, не является полностью невозможным; оно может оказаться уместным, если поместить его в надлежащий контекст, обставить связями и ассоциациями, на фоне которых прояснится его смысл и сгладится диссонанс между составляющими его компонентами. Но во всяком случае, наша фраза утратила качество самоочевидности: она не воспринимается более как непосредственно данный и мгновенно, без дальнейших соображений и сопоставлений, узнаваемый языковой предмет. Произошло это в силу того, что компоненты, принадлежащие двум различным КФ — 'читал' и 'дорогую', — оказавшись в прямом контакте в результате сращения этих КФ, обнаружили диссонантные столкновения своих смысловых обертонов.

Однако стоит нам перестроить набор соединяемых фрагментов таким образом, что контакт между ними будет проходить только через их общий компонент, как получающийся результат сразу приобретает большую естественность и делается легко опознаваемым. Сравним, например, легкость срастания фрагментов 'читал книгу' и 'книгу в дорогом кожаном переплете'. Результирующая фраза — *Мальчик читал книгу в дорогом кожаном переплете* — утратила диссонантную проблематичность, свойственную предшествовавшему примеру. В этом высказывании не оказалось ни одного соположения, которое не принадлежало бы к одному фрагменту, а значит, не воспринималось бы нами как естественное и само собой разумеющееся. Диссоциированные элементы, принадлежащие к сферам различных фрагментов, обитающие в разных смысловых и ассоциативных «мирах», свойственных каждому КФ, не вступают друг с другом в непосредственный контакт, а значит, и не вызывают нежелательных последствий, которые могли бы произойти из такого, не зафиксированного прецедентом нашего опыта контакта. Каждый из этих элементов воспринимается внутри «своего» фрагмента, и в этом качестве занимает свое место во фразе с полной естественностью. Чем резче диссонанс между отдельными компонентами сшиваемых КФ, чем больше вероятности, что слишком тесный контакт между этими компонентами, извлеченными из разных «монадных» миров, в составе создаваемого нового целого может привести к непониманию или нежелательным побочным смысловым эффектам; тем, соответственно, с большей тщательностью говорящему приходится следить затем, чтобы такие компоненты оказались в композиции высказыва-

ния настолько далеко разведены друг от друга, что их диссонантность оказывается сглаженной или по крайней мере в достаточной степени смягченной.

3) Наличие аналогической поддержки составляет еще одно условие, облегчающее наложение шва. Чтобы сращение двух фрагментов прошло успешно, оно должно ассоциироваться в нашем опыте с более или менее сходными прецедентами: памятью об аналогичных операциях, производившихся над сходными выражениями и дававшими похожий результат. Каждый из сшиваемых фрагментов ассоциирован в нашей памяти с целым рядом других фрагментов, сходных с ним по форме и смыслу. В памяти говорящего накапливаются прецеденты слияний между всеми этими выражениями, в различных вариациях. Наличие такого опыта облегчает говорящему его задачу: производимое им в каждом конкретном случае слияние осуществляется как бы на фоне целого множества более или менее похожих слияний, отложившихся в его памяти, либо осознаваемых как потенциально возможные. Чем богаче и очевиднее такой фон аналогической поддержки, тем более гладким и самоочевидным оказывается шов.

Рассмотренная нами выше фраза — *Теперь необходимо разобраться, как ...* — составлена из сращений, имеющих весьма развитую и вполне очевидную аналогическую поддержку. Так, выражение *теперь необходимо* тесно соотносится с другими, столь же привычными выражениями типа 'теперь надо', 'теперь нужно', 'теперь следует', 'теперь [нам] остается [лишь]'. Выражению *необходимо разобраться* соответствует целое поле тесно с ним соотнесенных КФ: 'надо разобраться', 'нужно разобраться', 'необходимо установить', 'следует установить', 'следует выяснить', 'остается разобраться', 'остается выяснить'. Многие из этих двух групп выражений могут быть подвергнуты сращению, и способ которого, и характер получающегося целого весьма близки результирующей фразе, с которой мы реально встретились в речи. Сравним такие альтернативные сращения, как 'Теперь нам остается выяснить', 'Теперь необходимо установить', 'Теперь следует разобраться', и многие другие. Мы воспринимаем реально произошедшее сращение на фоне множества потенциальных возможностей, настолько тесно с ним связанных, что практически каждое из них могло бы быть избрано автором высказывания. Эта множественность путей, с помощью которых может быть получен приблизительно тождественный коммуникативный результат, облегчает для говорящего операцию наложения шва, а для адресата — восприятие получившегося целого.

4) Сращение двух КФ облегчается также, если у обоих фрагментов обнаруживаются сходные валентности их дальнейшего развертывания. Мы знаем, что каждый КФ, в качестве «монады» языкового опыта, заключает в себе потенциал типичных для него продолжений — от непосредственно примыкающих фраз до более отдаленных ходов тематического и сюжетного развития. Если два КФ обнаруживают значительную общность таких потенциалов развития, если мы с легкостью помещаем их обоих в сходные речевые ситуации, имеющие сходные или тождественные продолжения, то возможность совмещения этих фрагментов между собой приходит на ум с большей естественностью и воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Например, каждый из фрагментов 'теперь необходимо' и 'необходимо разобраться' пробуждает в ассоциативной памяти различные возможности продолжения, многие из которых оказываются сходными или даже полностью тождественными. Так, на поверхность нашего языкового сознания с

легкостью всплывают такие более протяженные выражения, включающие эти фрагменты, как например:

Теперь необходимо обсудить **вопрос о том, как**... *Необходимо разобраться* в **вопросе о том, как...**

Теперь необходимо выяснить, **как возникают** ... *Необходимо разобраться,* **как возникают ...**

Теперь необходимо назвать **характерные черты, отличающие данное выражение от ...**

Необходимо разобраться, в чем состоят **характерные черты, отличающие данное выражение от...**

Та естественность, с которой оба фрагмента могут быть вплетены в сходную речевую ткань, облегчает и делает самоочевидной возможность их слияния.

Рассматриваемое условие означает, что для того чтобы слияние двух фрагментов прошло успешно, недостаточно лишь механического наличия у них общей части. Требуется более многостороннее и тонкое их взаимопроникновение, при котором совмещаются не только общие части их формы, но и поля вызываемых ими ассоциаций и возможностей продолжения. Если два фрагмента формально имеют общую часть, но принадлежат разным тематическим и стилевым сферам, возбуждают противоречащие одно другому или просто резко различные поля ассоциаций, и соответственно с этим, различные направления потенциального развертывания, то их слияние вызовет смысловой или стилевой парадокс.

Например, каждое из двух выражений: 'незаурядный человек' и 'человек с густой рыжей бородой', — само по себе обладает для говорящих полной естественностью. Легко можно представить себе множество высказываний, возникающих из этих выражений, путем их распространения и слияния с другими фрагментами: 'Это был **незаурядный человек**/ человек незаурядного ума/незаурядных способностей' resp. 'Из окна в третьем этаже выглянул **человек с густой рыжей бородой** и тотчас скрылся', и т. п. Потенциальные ходы развития, приписываемые нашей памятью каждому из исходных выражений, развертываются в разных направлениях, в различных тематических, жанровых, сюжетных сферах. Поэтому, несмотря на формальное наличие у этих выражений общей части, их срастание по этой части дает парадоксальный результат: 'незаурядный человек с густой рыжей бородой' (?). Конечно, как всякий парадокс, он может найти свое место в речевой деятельности в качестве преднамеренного приема, призванного вызвать специально рассчитанный эффект. Легко себе представить, например, такое начало абсурдистского повествования: 'Петр Николаевич был незаурядный человек с густой рыжей бородой'. Но в этом случае оправданием получившегося соединения служит то, что оно задает особый сюрреалистический модус повествования, вызывая у читателя соответствующие поля коммуникативных ожиданий; вне такого специального обоснования соединение не работает.

5) Еще одним фактором, определяющим степень трудности и меру усилий, необходимых для получения удовлетворительного шва, следует признать общий уровень требований к качеству речевых произведений, характерный для той или иной тематической, жанровой, стилевой ситуации общения. Чем в более быстром темпе протекает общение, чем в большей степени ему свойственен неформально-импровизационный модус, при котором некоторая небрежность речи не только допускается, но даже является необходимой для поддержания нужного тона, наконец, чем в большей

степени общение апеллирует к непосредственно данной ситуации, самоочевидной для всех участников, — тем меньше требовательность к тщательности отделки языкового материала, в том числе и межфрагментных швов. Если говорящие стремительно переходят от одного высказывания к другому, если у них нет ни времени, ни потребности обдумать получившийся результат, вернуться к предыдущим высказываниям с целью их переоценки, последовательно перебрать в уме ряд возможных альтернатив с целью выбора наилучшей из них, — они либо не успевают заметить, либо сознательно игнорируют относительную неуклюжесть некоторых из получившихся у них самих и у их собеседников соединений. Говорящие с готовностью домысливают предполагавшийся результат, даже если с точки зрения объективного анализа, отвлекающегося от конкретных коммуникативных условий, получившееся высказывание соответствует этому результату лишь приблизительным и несовершенным образом. И напротив: чем в большей степени текст открыт для повторных прохождений, ретроспекции, различных интерпретаций, включения в разные контекстуальные рамки, тем более повышаются требования к отделанности швов, при помощи которых такой текст соткан. И сам создатель коммуникации, и его адресаты ощущают потребность тщательно «вдуматься» в получившийся текст, разобраться в конфигурации компонентов, из которых составлена его ткань, и вынести свое суждение о смысле этого текста на основании такого анализа. То, что в условиях летучей коммуникации прошло бы незаметным, либо даже приветствовалось бы в качестве импровизационного жеста, за которым стоит интимное доверие к способности собеседника подхватить и доосмыслить небрежно брошенный намек, в этом случае немедленно бросится в глаза в качестве неуклюжего хода, придающего всему высказыванию гротескную какофоничность, затемняющего и искажающего его смысл, — либо обратит на себя внимание в качестве преднамеренного приема, рассчитанного на определенный эффект.

Рассмотренные здесь факторы, в их совокупности и взаимодействии, определяют собой целый спектр возможностей и проблем, возникающих у говорящего в процессе переплавки его мнемонических языковых ресурсов в создаваемые речевые композиции, либо в интерпретацию того, что создано другими говорящими. Чем с большей полнотой и очевидностью выполняется каждое из сформулированных выше условий, тем более приемлемым и самоочевидным оказывается для говорящего полученный результат. Чем выше «гладкость» получившегося шва, тем меньше рефлектирующих усилий требуется от говорящего для того, чтобы его принять и осмыслить, тем с большей полнотой и уверенностью все соединение «узнается» в качестве слитного и непосредственно понятного речевого факта.

В предельном случае, при максимальной благоприятности всех условий соединения, слияние фрагментов происходит так легко и естественно, что мы и сами не можем сказать с уверенностью — действительно ли мы соединили два различных КФ в некое новое результирующее выражение, или все оно уже имелось целиком в нашей памяти, в качестве более протяженного фрагмента, и было извлечено уже в готовом виде. Иначе говоря, в этом случае шов получается настолько гладким и незаметным, что трудно даже сказать, имело ли вообще место наложение шва. К тому же такие предельно гладкие и естественные соединения с легкостью оседают в памяти в качестве целых частиц языковой материи. «Почти фрагмент», будучи однажды или несколько раз употреблен, может окончательно перейти в статус целостного КФ. Проходившие внутри него едва заметные

швы между более короткими стационарными выражениями полностью срослись. В языковой памяти говорящего субъекта отложился еще один целостный предмет, со всеми неисчислимыми последствиями его дальнейшего употребления, разрастания, взаимодействия с другими выражениями. Такого рода события происходят в опыте каждого говорящего постоянно, на протяжении всей его жизни в языке.

Однако в нашей коммуникативной деятельности мы то и дело встречаемся с более сложными ситуациями, когда на пути соединения нужных нам фрагментов вырастают более или менее серьезные препятствия. Происходит это в том случае, если хотя бы некоторые из факторов, способствующих слиянию, отсутствуют или недостаточно ярко выражены применительно к двум фрагментам, которые мы хотели бы совместить в речи. Например, общий компонент двух соединяемых фрагментов обнаруживает лишь приблизительное сходство, а не полное тождество;

в этом случае, чтобы слияние фрагментов стало возможным, требуется модифицировать их таким образом, чтобы более точно «подогнать» друг к другу. В других случаях, как мы уже видели, линейное расположение фрагментов по отношению друг к другу таково, что их оказывается трудно совместить в единое целое; в этом случае приходится подумать над возможными перестановками компонентов внутри того или иного фрагмента, либо изменениями в расположении фрагментов относительно друг друга в композиции высказывания, которые позволили бы наложить швы в нужных местах и избежать нежелательных диссонантных соположений. И наконец, дело осложняется, если два фрагмента существенно расходятся в отношении репертуара ассоциирующихся с ними альтернативных выражений и ходов развертывания; в этом случае совмещение фрагментов грозит резко изменить направление возникающих ассоциаций, вызывая ощущение смыслового или стилевого слома.

Если говорящему не удается преодолеть эти трудности, в его высказывании образуются неловкие швы, резко бросающиеся в глаза. Такое высказывание может оказаться понятным, поскольку понятен каждый составляющий его ингредиент; но оно ощущается как «неуклюжее», вызывая более или менее резкое ощущение диссонантных столкновений. Различные компоненты плохо помещаются вместе в смысловом пространстве высказывания, оказываются по отношению друг к другу как бы под странными, неловкими углами, создающими аберрацию их смысловой перспективы. Смысловой образ целого оказывается искаженным, сдвинутым; валентности различных компонентов не «кооперируются» друге другом, оказываются направленными в разные стороны, создавая возможности для ложных интерпретаций, нередко гротескно искажающих первоначальный замысел. В пределе это искажение может достигнуть таких степеней, при которых смысловой образ высказывания сделается совершенно неузнаваемым: плохо построенное высказывание окажется вообще непонятным, будет восприниматься как «бессмысленное».

Примерами подобных трудностей наша речь изобилует в такой же мере, как и примерами тривиальных и самоочевидных швов. Чтобы не ходить далеко за примерами такого рода, достаточно привлечь внимание к композиции предыдущей фразы. Я с полной уверенностью распознаю в ее составе такие готовые выражения, как 'наша речь изобилует примерами [подобных трудностей]' и ' [подобные трудности] свойственны нашей речи в такой же мере, как...'. Несмотря на их значительное сходство, это сходство не достигает полного тождества: сходные отрезки в каждом фрагменте,

'наша речь' и 'нашей речи', слегка различаются по форме и потому не могут непосредственно срастись в новое целое. Чтобы сращение стало возможным, приходится пожертвовать целостностью второго из фрагментов, сохранив от него в результирующей фразе лишь осколки. Другая трудность вызывается линейным расположением совмещаемого материала. Совмещаемые части у обоих КФ занимают инициальную позицию; если просто наложить их друг на друга (по принципу **AB** + **AC** = **ABC),** мы рискуем вызвать диссонанс неловким соположением элементов, принадлежащих разным фрагментам; ср. неловкость соединения: 'изобилует примерами в такой же мере'. Чтобы этого не произошло, приходится модифицировать первый КФ, переставив его компоненты таким образом, чтобы создать более благоприятное их линейное расположение относительно второго фрагмента: *Примерами* [...] *наша речь изобилует в такой же мере*....

Получившееся в результате высказывание нельзя признать идеально гладким. Соединению *изобилует в такой же мере* свойственна, некоторая шероховатость (к ' изобилию' едва ли применимо понятие 'меры'). Однако степень этой шероховатости не слишком велика — по крайней мере, она не выглядит таковой в моей оценке. По сути дела, она становится заметной только при пристальном аналитическом «впитывании» в получившуюся речевую ткань. При нормальном (для данного жанра) течении речи, на которое эта фраза и рассчитана, некоторая неловкость соединения остается незаметной, или по крайней мере не бросается резко в глаза. Подводя общий итог тому, что удалось и чего не удалось достичь в этом высказывании, я могу сказать, что сравнительно небольшое смещение смыслового рисунка на линии шва искупается тем, что мне удалось совместить два фрагмента, требовавшихся для выражения мысли.

Но если бы трудности в совмещении двух фрагментов оказались более серьезными, если бы я не нашел удовлетворительного компромисса, позволившего по крайней мере частично эти трудности преодолеть, если бы, как следствие этого, получившееся соединение немедленно бросалось в глаза своей неуклюжестью, — в этом случае мне пришлось бы встать перед более трудным выбором: оставить ли получившееся выражение, несмотря на неловкость его фактуры, или попытаться отыскать какие-то другие фрагменты, которые, может быть, не так прямо соответствуют мысли, которую я стремлюсь выразить, но зато гораздо лучше соединяются в целое?

Языковое творчество говорящего протекает в постоянной борьбе с этими трудностями, возникающими из противоречия между его замыслом и тем языковым материалом, который этим замыслом актуализируется в его сознании, с одной стороны, и необходимостью совместить этот материал в целое, приемлемое для говорящего и его аудитории в качестве целоосмысленного единства, — с другой. Каждая частица языкового материала, которую коммуникативное намерение говорящего актуализирует в арсенале его памяти, обладает своими собственными возможностями употребления на определенных вакантных местах, в соседстве с определенными другими выражениями, своими потенциями развертывания и ассоциативными тяготениями, наконец, своими механизмами модификации. Совместить все эти уникальные языковые микромиры, найти такие приемы их наложения, при которых каждому из них нашлось бы место в слитном единстве, заставить их взаимодействовать друг с другом, и притом взаимодействовать таким образом, чтобы результирующий эффект более или менее соответствовал общему замыслу, минимизировать и замаскировать по-

тенциальные диссонантные столкновения различных смысловых обертонов, исходящих из каждой монадной единицы языкового материала, — таков спектр задач, которые говорящему постоянно приходится разрешать в процессе его языковой деятельности.

Разумеется, решение этих задач облегчается тем, что в памяти говорящего имеется множество прецедентов, почерпнутых из его собственного речевого опыта и из речи других людей и подсказывающих возможные решения. Разумеется также, что в разных стилевых и социальных ситуациях уровень требований к качеству принимаемых решений существенно различается. Очень часто в повседневном языковом существовании говорящий довольствуется весьма приблизительным результатом, полагаясь больше на непосредственный контакт с адресатом и с ситуацией, чем на четкость рисунка языковой ткани высказывания как таковой. И тем не менее, творческий аспект даже самых простых и непритязательных речевых задач, уникальность проблем, постоянно возникающих перед говорящими в их существовании в языке, — поистине удивительны.

В заключение этого раздела мне хочется еще раз напомнить и читателю, и самому себе, что гладкость швов, органичность получающихся сращений, отсутствие диссонантных столкновений не являются абсолютно положительными качествами, как и вообще ничто в языке не имеет абсолютной, раз навсегдаданной и установленной ценности. Сама неловкость и странность соединений и вызываемое ими ощущение неуклюжести, непроясненности, парадоксальной двусмысленности речи могут, конечно, получить позитивное осмысление, то есть сделаться творческим приемом. История литературы знает писателей, претворивших свое «неумение писать», в обиходном смысле этого понятия, в неотъемлемую черту своей творческой индивидуальности. Поэтому, когда я говорю о нашей повседневной борьбе с языковым материалом, я имею в виду стремление по возможности избежать непредвиденных и нежелательных побочных эффектов, которые исказили бы наше коммуникативное намерение, а не о преднамеренном использовании такого рода эффектов.

Я сознаю, однако, что и с такой оговоркой нарисованная картина оказывается упрощенной, потому что в повседневной языковой деятельности часто оказывается невозможным отделить спонтанно получившуюся «неудачу» от ее вторичного творческого использования. Неотъемлемым аспектом нашего обращения с языковым материалом является возможность в любой момент «взять в кавычки» получившийся результат, придав ему характер игры, пародии, преднамеренного языкового жеста. Нередко мы и сами не можем быть вполне уверены, присутствует ли такого рода жест в только что созданной речевой композиции: перспектива, в которой говорящему видится высказывание, созданное партнером или даже им самим, может измениться в зависимости от условий общения, реакции партнера, настроения. Но, конечно, и такого рода игру приходится вести с достаточной степенью искусности и ощущением меры, иначе она сама может вызвать непредвиденные и нежелательные результаты.

Говорящему субъекту приходится все время балансировать между творческим риском, на который он идет, соединяя в одно целое разные «монады» своей языковой памяти, и стремлением сделать результат своих творческих усилий приемлемым и опознаваемым, между неограниченными возможностями, открываемыми языковой игрой, и необходимостью поставить дело так, чтобы сама игровая свобода не обернулась искажением коммуникативного замысла. В этих постоянных усилиях, колебаниях,

компромиссах нам никогда не удается добиться «полного» успеха — непонятно вообще, что бы это могло значить; более того, нам не дано знать с полной уверенностью, что, собственно, было достигнуто в тот или иной момент работы с языком. Все, что мы знаем, — это то, что в основном, в масштабах всего языкового существования, нам удается более или менее удовлетворительно справляться с этими задачами, каждому в меру своих способностей, опыта и стараний.

7.2. ТИПИЧНЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ШВОВ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Чтобы дать некоторое представление о проблемах, возникающих в процессе компоновки высказываний, и типичных приемах их разрешения, обратимся к несколько более сложному примеру по сравнению с теми, с которыми мы имели дело в предыдущей секции:

Я не один, это правда; у меня есть кружок, состоящий из благороднейших людей, которых от души люблю и уважаю и которые, может быть, еще более любят и уважают меня; но я один, потому что тебя нет со мною[111].

Я хочу рассмотреть с некоторой подробностью один фрагмент этого высказывания: фразу... *людей, которых от души люблю и уважаю.* В ткани этого фрагмента просматривается целый ряд хорошо известных стационарных выражений: '... людей, которых ...' [ср. двустишие из «Евгения Онегина»: «Людей, которых не сужу. Затем что к ним принадлежу»] 'люблю [тебя] от всей души' '(этого человека я] люблю и уважаю'.

Однако, при полной естественности каждого из этих фрагментов в отдельности, совмещение их всех в единую фразовую ткань сталкивается со значительными трудностями. Оборот 'люблю и уважаю' включен в нашей ассоциативной памяти в целую серию выражений: 'я его люблю и уважаю / люблю, но не уважаю / уважаю, но не люблю'; '... человек, которого я могла бы не только любить, но и уважать'; '... завоевал [всеобщую] любовь и уважение'. Во всех этих выражениях заметна противопоставленность 'уважения' и 'любви'. Эта противоположенность двух слов, на основании которой они совместно фигурируют в составе многих фрагментов, делает затруднительным использование таких квалифицирующих распространении, которые бы в равной мере относились к ним обоим. Например, такие типические распространения для слова 'люблю', как 'люблю его от всей души', 'люблю его больше жизни', — плохо подходят в качестве распространений для слова 'уважаю': 'уважаю его от всей души', 'уважаю его больше жизни' (?). Поэтому фраза '... людей, которых люблю от всей души' оказывается хорошо скомпонованной, образует естественный, легко опознаваемый смысловой рисунок, в котором швы между составляющими ее фрагментами совсем незаметны; но фраза '... людей, которых люблю и уважаю от всей души', оказывается сложенной значительно менее убедительно.

Оборот *люблю и уважаю* требуется автору для выражения его мысли, поскольку именно он наилучшим образом передает весь спектр эмоции, которую он хочет выразить. Но при всей самоочевидности этого выражения как такового, та «вакансия», которая для него открывается в создаваемом высказывании, в ряду других выражений, с которыми оно должно вступить во взаимодействие, оказалась для него мало подходящей.

Однако эта неловкость смягчается, если не устраняется вовсе, если пе-

реместить фрагмент 'от всей души' в позицию перед словом 'люблю': 'от всей души люблю'. Конечно, статус выражений 'люблю от всей души' и 'от всей души люблю' в нашем языковом опыте неравноценен: первое непосредственно опознается в качестве стационарного фрагмента, тогда как второе воспринимается, скорее, на фоне первого, как его вторичная модификация (во всяком случае, так обстоит дело в моем индивидуальном восприятии). Однако принятие такой модификации облегчается тем, что в нашем опыте присутствуют стационарные выражения с аналогичным соотношением их формы. Например, выражения 'От всей души поздравляю' и 'Поздравляю от всей души' равным образом опознаются в качестве стационарных формул; их употребление тесно сопряжено и во многих случаях с легкостью допускает взаимную замену. Эти и подобные им выражения играют роль прецедента, облегчающего модификацию фрагмента 'люблю от всей души', даже если сама эта модификация непосредственно не санкционирована нашей памятью.

Произведенная таким образом модификация линейного расположения значительно улучшает условия для введения фрагмента 'люблю и уважаю' в состав создаваемой фразы. В результирующем выражении: '... людей, которых от всей души люблю и уважаю', — оборот 'от всей души' оказывается непосредственно сопряжен только со словом 'люблю'. Он отдален от слова 'уважаю', и это смягчает диссонанс, угрожавший возникнуть между этими компонентами в высказывании. Формально, с точки зрения синтаксических связей, они по-прежнему сопряжены друг с другом; но эта сопряженность и связанная с ней неловкость, возникающая при их взаимном наложении, замаскирован а, в силу отсутствия непосредственного линейного контакта, и потому не бросается больше в глаза. Компоновка фразы осуществлена таким образом, что внимание говорящего привлечено к соположениям языкового материала, в которых просматриваются хорошо ему знакомые, естественные выражения, и отвлечено от неловкого шва.

Маскировка является типичнейшим приемом, широко употребительным при компоновке различных коммуникативных фрагментов в целое высказывание. Сущность этого приема заключается в том, что неловкость соединения, вызываемая плохой совместимостью соединяемых фрагментов, не устраняется вовсе, но подается таким образом, обставляется такими аксессуарами, которые делают ее менее заметной. Маскировка может осуществляться путем перемещения диссонирующих компонентов на «безопасное» расстояние, достаточное для того, чтобы их диссонирующее столкновение стало малозаметным; либо путем распространения соединяемых фрагментов, в результате которого диссонирующее соположение, опять-таки, «теряется» в окружившем его дополнительном языковом материале; либо, наконец, перенесением всего соединения в более периферийную позицию в составе целого, так что неловкость, которая бросилась бы в глаза, если бы она встретилась в смысловом фокусе высказывания, в этой позиции не привлекает к себе внимания. Прием маскировки позволяет срастить выражения, каждое из которых требуется для реализации замысла высказывания, даже если оказывается невозможным совместить все валентные требования, исходящие от каждого из этих выражений. Эффект получается совершенно аналогичный тому, когда в музыкальной композиции слишком резкое соположение аккордов может быть скрашено различными вспомогательными приемами: постановкой этого оборота в ритмически слабую позицию либо введением развитой мелодической орнаментации, скрадывающей гармонический остов музыкальной фразы; в

результате то, что в качестве соединения чистых аккордов звучало бы «неловко», дает вполне приемлемый результат в получившейся музыкальной ткани.

Вернемся к нашему примеру. Мы видели, что произведенная реорганизация фразы позволила найти место для оборота 'люблю и уважаю', в то же время сохранив некоторые другие, в принципе плохо с ним совместимые компоненты. Однако произведенная перестановка сегмента 'от всей души', разрешив одно противоречие, породило иную проблему. Выражение '... людей, которых люблю от всей души', несет в себе сильный эмоциональный заряд. Это его свойство, однако, размывается, если перенести ключевой эмоциональный компонент 'от всей души' с эмфатической заключительной позиции в середину фразы. Выражение '...людей, которых от всей души люблю', теряет эмоциональную приподнятость; в этой ситуации эмфатическое выражение 'от всей души' оказывается несколько неуместным, как бы преувеличенным. Маскировка выражения 'от всей души' сделала возможным включить в ткань фразы компонент 'уважаю'; но само это выражение в результате оказалось «не на месте» в своей новой, замаскированной позиции.

Совместить эти противоречащие друг другу факторы оказывается возможным на основании приема компромиссного соединения. Компромиссное соединение применяется в том случае, когда при компоновке фразы мы встречаемся с факторами не просто плохо совместимыми, но прямо противоречащими друг другу. Помочь в таком случае может редукция всех либо некоторых из компонентов, соединение которых привело к столкновению противоречащих факторов. Редукция соединяемых выражений ослабляет силу их действия в рамках целого и соответственно приглушает противоречие между ними, делая их совмещение допустимым, или, скорее, менее неловким. В результате все нужные компоненты оказывается возможным сохранить, хотя и в неполном, редуцированном виде.

Таким компромиссом, удачно разрешающим проблему в данном конкретном случае, оказывается частичная редукция КФ 'от всей души': превращение его в сокращенный оборот *от души.* Заметим, что выражение 'от души' само по себе тоже присутствует в нашем языковом опыте; вспомним такие стационарные обороты, как 'слова, идущие от души', 'смеялся от души', 'наговорились от души'. Во многих случаях эти альтернативные КФ частично совпадают в своем употреблении и могут легко заменять друг друга: 'от души поздравляю' — 'от всей души поздравляю'; 'сказано от души' — 'сказано от всей души'. Как обычно, сходство полей употребления двух выражений облегчает модификацию одного из них по аналогии с другим.

Выражение типа 'люблю этих людей от души' звучало бы неловко, поскольку в этой ситуации мы ожидаем стационарной для такого выражения формы 'от всей души', лучше передающей его эмфатический характер. Но в ситуации, когда весь этот оборот перемещен в более слабую позицию, такое замещение скрадывается и проходит незамеченным, как вполне естественная модификация: *...людей, которых от души люблю.* В то же время такая редукция ослабляет удельный вес данного выражения в смысловом балансе фразы — ослабляет настолько, что делает возможным сочетание с некоторыми противоречащими ей факторами, также необходимыми для реализации замысла высказывания.

Получившаяся в результате фраза:... ***людей, которых от души люблю и уважаю,*** — представляет собой сложный компромисс, результат

тонкого балансирования между противоречивыми смысловыми силами, которые впрямом, незамаскированном, несмягченном наложении явно «мешали» бы друг другу и создавали бы более или менее резкие диссонансы.

Помимо приемов маскировки и компромиссного соединения, заслуживает также упоминания прием медиации. Сущность этого приема состоит в следующем. Иногда два фрагмента, требующихся говорящему, оказывается трудно соединить непосредственно друг с другом; однако существует некоторый третий фрагмент, с которым каждый из них соединяется естественным образом. Скажем, фрагменты **L** и **N** плохо сочетаются друг с другом: их соединение **LN** дает неловкий «сдвиг». В то же время в распоряжении говорящего имеется еще один фрагмент **M**, который образует естественные соединения **LM** и **MN** с обоими нужными ему выражениями. В этом случае, применив фрагмент М в качестве посредствующего звена, говорящий получает сочетание **LMN**, все компоненты которого идеально подогнаны друг к другу. Хотя сам по себе фрагмент **M** не требовался говорящему для реализации его замысла, он употребил его в качестве медиатора, через посредство которого оба необходимых ему фрагмента **L** и **N** естественным образом включились в композицию фразы.

В нашем примере из Белинского прием медиации прослеживается в отрезке фразы, предшествующем разобранному выше: ***Уменя есть кружок, состоящий из благороднейших людей, которых....*** Сопоставим выражения, из которых этот отрезок составлен:'у меня есть кружок людей, которых...' '... благороднейших людей, которых ...'

Несмотря на явную близость обоих выражений, их непосредственное срастание дает неловкий шов: 'кружок благороднейших людей' (?). Однако включение посредствующего выражения '... состоящий из...' устраняет эту неловкость, поскольку данное выражение равно естественным образом сочетается с обоими необходимыми нам фрагментами: 'кружок, состоящий из...' и '... состоящий из благороднейших людей'. Фрагмент-медиатор, будучи присоединен к обоим подлежащим соединению выражениям, дает материал для образования гладкого шва, который в первоначальном виде у этих выражений отсутствовал.

Нам осталось рассмотреть еще один типичный прием, облегчающий говорящим создание высказываний, — прием инерционной поддержки речевого шва. Чтобы наглядно продемонстрировать сущность этого приема, рассмотрим еще один пример, принадлежащий совсем иному автору и иной языковой эпохе: он взят из статьи, опубликованной несколько лет назад в разделе публицистики журнала «Новый мир»:[112]

Мы говорим «опыт истории» — и думаем и даже убеждены при этом, будто ежедневно и чуть ли не ежечасно используем сегодня этот опыт, но, вернее всего, мы ежечасно его зачеркиваем, а то и решительно искажаем. Тем более что это такой опыт, который никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не повторим.

Для наших целей представляет интерес последний отрезок:***... опыт, который никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не повторим.***

В его составе опознается целый ряд КФ: 'неповторимый опыт'; 'опыт, который [невозможно повторить]'; 'никогда не повторяется'; 'нигде [больше] не встречается / не встретился', '[невозможно/недопустимо] ни при каких обстоятельствах'. Фраза скомпонована таким образом, что три выражения, восходящих к различным коммуникативным фрагментам, соположены в

виде параллельных звеньев, выполняющих квалифицирующую функцию по отношению к заключительному отрезку 'не повторим'. Представим себе, что наше высказывание содержит только одно какое-либо из этих квалифицирующих выражений вместо трех:

'... опыт, который никогда не повторим' (?)

'... опыт, который нигде не повторим' (??)

'... опыт, который ни при каких обстоятельствах не повторим'

Лишь последняя из этих альтернатив представляется достаточно гладко сложенной; две другие фразы в таком виде вызывают более или менее острое ощущение неловкости соединения. Конечно, в нашем мнемоническом репертуаре имеются такие выражения, как 'никогда не повторяется', 'никогда не повторяющийся'; все же даже этой аналогической поддержки недостаточно, чтобы полностью сгладить неловкость соединения 'никогда не повторим'. Тем более это относится к выражению 'нигде не повторим', не имеющему даже такой аналогической поддержки.

Тем не менее все высказывание в целом, каким оно получилось в процитированном тексте, представляется вполне удовлетворительным. Неловкость двух соединений, сразу обнажающаяся при изолированном их рассмотрении, становится значительно менее заметной в секвенции параллельных звеньев, в составе которой эти соединения выступают в высказывании. Эффект, который имеет здесь место, можно описать следующим образом: наличие трех параллельных звеньев создает своего рода «инерцию» в восприятии всего этого отрезка высказывания; мы не вглядываемся в каждое звено секвенции по отдельности, но воспринимаем его как некое целое. Полезный эффект инерционной поддержки проявляется с особенной силой в том случае, когда хотя бы некоторые из звеньев секвенции сложены достаточно хорошо. Эти «сильные» звенья служат как бы оправданием для более слабых, дефектных звеньев; последние воспринимаются «по инерции» на фоне полностью адекватных звеньев, в качестве их секвентного продолжения. Инерционная энергия движения фразы, создаваемая секвентным нанизыванием, служит своего рода поддержкой для слабых звеньев секвенции, которые без этой поддержки, сами по себе, не были бы способны сохранить свое место в высказывании.

Рассмотренные в этой секции примеры отнюдь не являются верхом языкового искусства и риторического совершенства. Несомненно, оба автора обнаруживают хороший уровень языкового умения, соответствующего той жанровой установке, в рамках которой протекает языковое творчество каждого из них. Но в тех операциях, которые наши авторы проделывают с языковым материалом, нет ничего экстраординарного ни в отношении сложности решаемых ими задач, ни в отношении яркости полученных результатов. (В последней части этой книги мы рассмотрим некоторые примеры действительно выдающегося языкового искусства, позволяющего достигнуть результатов, поистине поражающих воображение). Можно утверждать, что показанная на этих примерах динамика создания высказывания типична для нашей языковой деятельности в целом. В каком бы жанровом пространстве ни действовали говорящие, какие бы конкретные задачи выражения мысли ни пытались разрешить, они на каждом шагу встречаются с пестрым, противоречивым набором факторов, с которыми им предстоит так или иначе справиться, чтобы более или менее удовлетворительным образом выразить свою мысль. Говорящим приходится все время лавировать между множеством разнонаправленных тенденций, в какой-то степени неизбежно противоречащих друг другу, искать компро-

миссы, находить связный — и притом более или менее ведущий в желаемом направлении — путь в лабиринте причудливо переплетающихся, тянущих в разные стороны ассоциативных линий, исходящих от каждой частицы используемого языкового материала. Для этой цели, как видим, им могут потребоваться более сложные, обходные приемы создания сращений. Плохо подходящие друг к другу КФ подвергаются частичной деформации — усечению, модификации и перестановке компонентов, либо еще более сложным расчленениям и контаминациям, — устраняющей или ослабляющей те их компоненты, которые создают диссонирующий эффект, и тем самым открывающей возможность компромиссного соединения. Неловкие сращения маскируются благодаря линейным перемещениям или расширению фразы, дающим возможность либо развести плохо соединенные элементы на такое расстояние, при котором эта неловкость скрадывается, либо включить их в состав секвенции, сообщающей им энергию движения, при которой их неадекватность проходит незамеченной. Наконец, иногда оказывается возможным найти третий, посредствующий КФ, к которому оба первоначально выбранных фрагмента могут быть присоединены, без того чтобы диссонантно соприкоснуться друг с другом.

Если говорящий не может найти адаптационный прием, который дал бы удовлетворительный результат, ему приходится подумать о том, чтобы пожертвовать одним из несовместимых ингредиентов: найти для него более или менее удовлетворительный субститут, может быть, не так хорошо (но все же приемлемо) соответствующий замыслу, но зато более легко сочетающийся с другими необходимыми ингредиентами. Если и поиск замены не дает удовлетворительного результата — говорящий может быть вынужден радикально перестроить первоначальный замысел: начать развертывание с другой исходной точки, чтобы получить иной набор вакантных мест в высказывании либо вообще перераспределить необходимый материал по двум или нескольким высказываниям вместо одного.

Наконец, в распоряжении говорящего имеется еще одна возможность: он может сохранить неловкое соединение, но поместить все высказывание в определенную жанровую, стилевую, ситуативную рамку, в которой эта неловкость может получить осмысленное объяснение. То, что будет казаться странным и неосмысленным при одной стилевой ориентации, может стать вполне осмысленным и уместным в другой: в качестве выражения импровизационной раскованности речи, либо в качестве преднамеренного эзотерического «сдвига» языкового материала, либо, наконец, в качестве языковой игры: цитаты, пародии, псевдопародии, имитирующей неуклюжесть языковой манеры некоего реального или воображаемого прототипа. В этом случае говорящий как бы помещает свое высказывание в кавычки, переадресующие его в иное стилевое и жанровое пространство. Сама неловкость соединения и проистекающее отсюда смещение смыслового образа может создаваться преднамеренно, либо, раз получившись, быть переосмыслено в качестве приема — стать, так сказать, хорошей миной при плохой игре.

Подведем итог. Принципиальное отличие понятия шва от синтаксического соединения в традиционном смысле этого понятия состоит в том, что речь в этом случае идет не о соединении, но о фузии составляющих компонентов, при которой эти компоненты теряют свою отдельность и каждый раз сплавляются в нечто, ощущаемое нами не как «построение», но как целое.

Второе кардинальное отличие речевого шва от синтаксической конст-

рукции заключается в следующем. Создание синтаксической конструкции представляет собой движение от абстрактной структурной схемы (как бы она ни выглядела в той или иной лингвистической модели) — к ее конкретному речевому воплощению. Синтаксические правила всегда имеют обобщенный характер, отвлеченный от единичных актов речевого употребления. Синтаксическая схема становится фактом речи не сама по себе, но лишь воплотившись в подходящий словесный, интонационный, морфофонемный материал. Схема и ее воплощение, абстрактное знание и конкретное употребление выступают в этом случае как два различных и разграниченных плана языковой деятельности.

Идея срастания разных КФ по принципу речевого шва также предполагает, что воплощение каждого КФ в конкретном высказывании оказывается отличным от того исходного состояния, в котором он пребывает в языковой памяти. Однако в этом случае воплощение совершается не от абстрактного к конкретному, но от конкретного к конкретном у: от единичных КФ, фигурирующих в нашем сознании в качестве конкретных и целостных языковых «предметов», к единичным, каждый раз создаваемым экспромтом и применительно к неповторимому сочетанию условий, конфигурациям языковой ткани, образующимся при срастании различных КФ друг с другом.

В ситуации речевого шва мы не имеем дело с логически обобщенными «классами» языковых единиц и «типами» отношений между ними, — но всегда с конкретными выражениями-предметами и конкретными решениями, которые должны быть найдены, для того чтобы получить из этих предметов единый ансамбль. Нам приходится производить все новые конкретные действия, для того чтобы создавать все новые и новые ансамбли, либо мысленно воссоздавать такие ансамбли в качестве нашей интерпретации чужой речи. Конечно, в бесчисленном множестве таких действий можно усмотреть целый ряд повторяющихся приемов, трафаретные ходы, аналогии, прототипы, помогающие в каждом конкретном случае. Но эти обобщения скорее играют роль направляющих или предостерегающих сигналов, а отнюдь не твердых правил, которые говорящие могли бы применить как алгоритмическое руководство к действию.

Составление высказываний требует от пишущего или говорящего такого же искусства «аранжировки», какое требуется от композитора или импровизатора в процессе создания музыкальных фраз, или — если обратиться к более обыденным действиям — от человека, подбирающего детали своего костюма. Общие рекомендации относительно того, как осуществлять объединения общеизвестных коммуникативных фрагментов, чтобы в результате получались «удачные» или «приемлемые» конфигурации языкового материала, так же приблизительны, мерцающе-неустойчивы, так же мгновенно адаптируются к малейшим изменениям коммуникативного задания и характера участников, как, скажем, рекомендации, как «хорошо» (или «правильно», «подобающим образом») одеваться или вести себя в различных ситуациях. Конкретные образцы тут больше помогают делу, чем отвлеченные правила, — именно в силу их конкретности и непосредственной включенности в живую ситуацию.

Само собой разумеется, что во всех этих случаях — будь то языковое, художественное или бытовое творчество — такая работа может производиться с разной степенью тщательности (в соответствии с уровнем и характером требований, предъявляемых ситуацией), разной степенью искусности и успешности. Разные люди в такой же степени «лучше» или

«хуже» говорят и пишут, как они лучше или хуже владеют умением одеваться, обращаться с молотком и пилой, водить автомобиль, рисовать и т. п.

В своих действиях участники той или иной коммуникативной ситуации руководствуются, в основном, рядом признаваемых и принимаемых ими прецедентов, вернее, теми образами, в которых эти прецеденты отложились в их памяти; при этом они стремятся адаптировать свой предыдущий опыт к тому уникальному сочетанию факторов, которое ими интуитивно ощущается в качестве текущей ситуации, в которой им предстоит действовать. Коммуникативная деятельность протекает в виде множества конкретных решений, которые необходимо принять по поводу конкретных языковых предметов, с неопределенным числом возникающих в этом процессе новых поворотов мысли, затруднений, противоречий, неожиданных побочных эффектов, и с неопределенной степенью успешности конечного результата.

В этой конкретности и самих исходных единиц, с которых начинается воплощение замысла, и производимых над ними операций адаптации и фузии размывается граница между знанием и употреблением, языком и речью, между структурной «правильностью», прагматической «приемлемостью» и риторической «эффективностью» высказывания. Само знание говорящего, его языковая «компетентность», представляет собой не что иное, как огромное число образцов и прецедентов употребления, спрессованных в конгломерат его памяти. С другой стороны, каждый случай реализации этих образцов в речи, в их новой адаптации друг к другу и к новой конкретной ситуации, сам становится прецедентом употребления, и в этом качестве немедленно начинает оказывать более или менее существенное воздействие на языковое сознание всех участников данной коммуникации — и самого автора высказывания, и всех тех, прямых или отдаленных адресатов, которых оно так или иначе достигло и которые его так или иначе приняли и интерпретировали, инкорпорировав в свой языковой мир. Старая философская дилемма субъекта, который должен сначала научиться плавать, чтобы иметь возможность погрузиться в воду, — в ее лингвистическом применении выступающая как дихотомия языковой «компетентности» (competence) и ее «демонстрации» в речи (performance) , — теряет свою релевантность при понимании языковой деятельности как непрерывно развертывающегося процесса.

Еще одна теряющая свою актуальность дихотомия, о которой нам уже не раз приходилось говорить, — это противопоставление между «старым» и «новым», между пассивно усвоенным языковым «материалом» и его актуализацией в речевом творчестве. Эта противоположенность снимается, если представить себе развертывание языковой деятельности по принципу распознавания знакомых образов-прототипов. В этом случае оказывается попросту невозможным провести границу, за которой кончается узнавание знакомых образов как «старых» и начинается «новое» их распознавание в составе нового целого. Новизна каждый раз создаваемого целого определяется не тем, что оно заново строится на пустом месте, — но скорее как раз тем, что в нем узнаются образы прежде бывшего, проглядывают бесчисленные прецеденты-образы. Уходящая в бесконечность галерея узнаваемых и полуузнаваемых речевых образов, аллюзий, намеков, проглядывающая в перспективе каждой фразы, обволакивающая ее гулом бесчисленных смысловых обертонов, которые сливаются, сталкиваются, пробуждают друг у друга резонансные отголоски, — это и есть то, что при-

дает каждому создаваемому или принимаемому высказыванию характер неповторимого творческого действия. Именно то обстоятельство, что этот языковой материал нам знаком, служит залогом его неисчерпаемой способности являться нам по-новому в каждом акте употребления. С другой стороны, сам факт знакомства не установлен раз и навсегда, поскольку характер нашего знания обновляется с каждым языковым опытом — каждый раз, когда мы узнаем знакомое в новом и новое в знакомом.

Глава 8. КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТУР ВЫСКАЗЫВАНИЯ (КВ)

Beethoven, Quartette op. 135, Pi. 4: «Der schwer gefasste Entschluss»

Мы видели, что различные коммуникативные фрагменты, присутствующие в памяти говорящих, способны срастаться в более протяженные линейные последовательности. Успешно произведенное сращение фрагментов дает новое целое, воспринимаемое с такой же или почти такой же непосредственностью, как отдельные фрагменты, входящие в его состав. Процесс этот в принципе может продолжаться до бесконечности. Наша память подсказывает все новые фрагменты, пригодные к сращению с тем целым, которое образовалось в результате предыдущих соединений; каждая новая успешно произведенная операция вызывает новые потоки притягиваемого по ассоциации языкового материала, готового послужить к дальнейшему расширению; чем дальше идет процесс разрастания, тем больше открывается возможностей для дальнейшего роста. Таким образом, срастания фрагментов открывают неограниченные возможности развертывания в речи хранящегося в памяти языкового материала.

Однако описанный процесс представляет собой лишь один аспект речевой деятельности; сам по себе он не способен обеспечить успешное создание и принятие высказываний. Если бы говорящие создавали свою речь только на основе наложения коммуникативных фрагментов по принципу шва, они были бы способны порождать речевой континуум неограниченной длины, любой отрезок которого, взятый сам по себе, воспринимался бы в качестве «узнаваемого» и «понятного» языкового феномена. Но весь континуум как целое, будучи создан по такому рецепту, далеко не обязательно окажется наделен этими свойствами. Приемлемость каждого отдельного соединения сама по себе еще не обеспечивает приемлемости целого, возникающего из всей суммы произведенных соединений.

Чтобы проиллюстрировать это положение, рассмотрим следующий произвольно созданный пример:

Если посмотреть из окна была видна часть сада удалось сохранить то немногое, что осталось после катастрофы жизнь круто переменилась

Все выражения, которые можно выделить в составе этого образования, представляют собой либо опознаваемые коммуникативные фрагменты, либо сращения фрагментов настолько тесные, что шов в них удается обнаружить лишь при внимательном анализе: 'если посмотреть из окна' — 'из окна была видна часть сада' — 'часть сада удалось сохранить' — 'удалось сохранить то немногое, что осталось после катастрофы' — 'после катастрофы жизнь круто переменилась'. В свою очередь, каждое из этих выражений соединено с соседним совершенно безукоризненно, если исходить из критериев, предложенных в главе 7. Соединяемые единицы содержат общий компонент, обеспечивающий гладкость речевого шва; этот общий компонент находится именно в той позиции, по которой проходит шов, и имеет именно ту форму, которая требуется для наложения, так что не приходится производить какие-либо модификации фрагментов, чтобы приспособить их к срастанию; каждый переход от одного фрагмента к другому происходит без резких тематических или стилистических скачков.

И однако, получившийся суммарный результат совершенно очевидным образом неадекватен. Любой говорящий по-русски немедленно увидит, что получившееся образование в целом не составляет приемлемого и осмысленного высказывания, — увидит с такой же непосредственностью и отчетливостью, с какой он способен охватить и адекватно осмыслить каждое из перечисленных выше отдельных выражений и каждое отдельное их сращение в составе этого псевдовысказывания.

Как явствует из этого примера, континуальное разрастание речевой ткани, при котором принимается во внимание только гладкость швов между смежными компонентами, оказывается недостаточным условием для того, чтобы создать адекватное сообщение в целом. Очевидно, что для этой цели мы нуждаемся в каком-то добавочном механизме, способном взять под контроль процесс разрастания фрагментов, с тем чтобы придать этому процессу такие общие очертания, которые могли бы быть опознаны говорящими в качестве целого высказывания.

Первая мысль, которая может возникнуть по этому поводу у любого говорящего (в том числе у автора этих строк), знакомого хотя бы с элементарными понятиями грамматики, состоит в том, что рассмотренный пример неадекватен в силу того, что он явным образом отклоняется от синтаксической структуры предложения. Значит ли это, что синтаксическая схема, соответствующая предложению, и есть тот необходимый компонент, который призван контролировать упаковку словесного материала, поставляемого коммуникативными фрагментами и их соединениями? Нам уже не раз приходилось убеждаться в том, что абстрактные схемы построения языкового материала, кажущиеся такими очевидными в первом приближении, при обозрении языковой деятельности «общим планом», быстро теряют эти свои свойства, как только мы начинаем приближать нашу точку наблюдения к непосредственной реальности языковых употреблений. Четкая схема начинает обрастать все более запутанными ограничениями, оговорками, поправками и субпоправками «на случай».

Построение предложения путем лексического и морфофонемного воплощения обобщенной синтаксической схемы не составляет в этом отношении какого-либо исключения. Конечно, если лингвист довольствуется искусственно составленными «правильными» предложениями, не имеющими никакой коммуникативной идентификации (кроме той, что они выглядят как типичные предложения из лингвистического трактата или языкового учебника), — такие предложения можно конструировать путем поч-

ти автоматического заполнения структурной схемы подходящим по форме словесным материалом[113]. Но если мы в своем описании языковой деятельности будем стараться ориентироваться на «настоящие» высказывания — такие, которые можно было бы естественным образом идентифицировать в рамках той или иной реальной коммуникативной ситуации, — в этом случае реализация синтаксического «плана» сталкивается с огромными трудностями. Буквально каждая новая лексическая единица, каждый новый поворот интонационного строя фразы, каждое изменение реального и потенциального окружения данного высказывания — того, что ей предшествует и за ней следует в повествовании или диалоге, наконец, каждое смещение тематической сферы, ситуативных условий, жанровой рамки и стилевой тональности будут вносить свои коррективы в наше представление о том, какие формальные синтаксические операции «можно» и какие «нельзя» производить (или можно произвести лишь при соблюдении каких-либо добавочных условий) при построении данного высказывания. Какие синтаксические позиции могут, или обязательно должны, или не могут быть заполнены в данном конкретном случае; какие якобы «факультативные» расширения фразы второстепенными членами обязательно потребуются в данном высказывании, чтобы оно приобрело адекватную наполненность; какие конкретно формы времени, лица, числа, залога, вида предполагаются в данном случае, приданном стечении разнообразных обстоятельств, — все это вопросы, на которые пришлось бы заново отвечать при построении каждого предложения, каждый раз ad hoc корректируя общую синтаксическую схему, так что от ее абстрактного и универсального характера в конце концов почти ничего не остается.

Иначе и быть не может. Мы видели, какой гибкостью отличается процесс разрастания словесной ткани, происходящий на основе взаимной адаптации и совмещения коммуникативных фрагментов. В каждый момент перед говорящим возникает множество расходящихся по разным направлениям потенциальных возможностей, конфигурация которых изменяется с каждым предпринятым шагом, каждым новым перцептивным усилием по отношению к получающемуся в речи результату. В таких условиях твердо заданная синтаксическая схема (или ограниченный набор типовых схем) предложения оказывается слишком негибким инструментом; чтобы таким инструментом можно было пользоваться, его фактически каждый раз пришлось бы корректировать, приспосабливая к конкретной задаче.

Говорящим необходим контролирующий механизм, который позволял бы упаковывать разрастающуюся языковую ткань в некую целостную конфигурацию, которая могла бы быть ими опознана в качестве высказывания. Но этот механизм сам должен отличаться гибкостью и подвижностью, которые позволили бы ему успешно действовать в беспрерывно меняющемся потоке речевых ассоциаций. Он не может быть чисто внешней «рамкой», абстрагированной от заполняющего языкового материала, готовой в принципе заключить в себя любой подходящий по форме материал. Механизм оформления высказывания должен обладать способностью адаптироваться в соприкосновении с конкретным языковым материалом. Если обратиться к помощи визуальной метафоры, такой механизм представляется мне не в виде раз навсегда прочерченного структурного «чертежа», но скорее в виде подвижной кривой на экране, которая, не теряя своей целостности и опознаваемого общего контура, гибко и плавно меняет очертания при соприкосновении с каждым, даже легчайшим, новым

фактором, влияющим на ее развертывание.

Чтобы функционировать таким образом, механизм оформления высказывания не может быть отчужден от содержания и коммуникативного модуса этого высказывания; он должен не столько «оформлять» речевой материал извне, сколько «абсорбировать» его в себя. Для этого оформляющий механизм должен быть наделен конкретными смысловыми и коммуникативными параметрами, на основе которых он мог бы усваивать себе определенный языковой материал и, в свою очередь, адаптироваться к этому материалу[114].

Из этих предварительных соображений следует, что инструмент, при помощи которого говорящие придают разрастающейся словесной ткани облик целостного высказывания, должен представлять собой не отвлеченный «механизм» построения этого высказывания, но более конкретный его образ, имеющий характер наметки, или контура, конфигурации которого вмещают в себя и направляют процессы разрастания словесной массы. Каждый подобный образ имеет неокончательный, эскизный характер; его очертания намечены как бы контуром. Однако в этом контуре говорящий узнает, хотя и мерцающе-подвижные, открытые всяческим модификациям, но вполне конкретные черты высказывания, имеющего вполне определенный коммуникативный облик. Я исхожу из предположения, что память говорящего хранит неопределенно большое и неупорядоченное множество таких «образов» высказываний.

В сознании говорящих контурный прототипический образ высказывания выступает в виде конкретно представимого целого. Это целое включает в себя, в слитном единстве, и мелодико-кинетическую кривую, по которой движется высказывание, и некоторые конкретные слова и выражения, как бы проступающие в отдельных опорных его точках, и, наконец, целые поля дальнейшего языкового материала, притягиваемого именно данным эскизом. Контурный образ высказывания имеет определенную коммуникативную окрашенность, определенный тематический и жанровый потенциал употребления. На заднем его плане, в качестве подкрепляющего фона, «просвечивают» реальные фразы-прецеденты, соответствующие этому образу, которые удержались в памяти говорящего с различной степенью точности и законченности, — от готовых речений цитатного или формульного характера до речевых полуфабрикатов разной степени неполноты и приблизительности; эти прецеденты еще более конкретизируют прототипический образ-эскиз высказывания и направляют возможные ходы его полного воплощения.

Целостный прототипический образ, непосредственно узнаваемый говорящими в качестве эскиза конкретных высказываний, обладающий конкретной ритмико-мелодической конфигурацией, словесным потенциалом, коммуникативной направленностью, стилевой и жанровой принадлежностью, я буду называть коммуникативным контуром высказывания (КВ).

Рассмотрим основные конститутивные компоненты, из которых в совокупности складывается коммуникативный контур высказывания.

1) Непременным компонентом всякого КВ является целостный ритмико-интонационный образ. Любое высказывание представляет собой своего рода ритмико-мелодическое произведение, обладающее сложной тоновой, тембровой и динамической фактурой. Эта фактура складывается из подъемов и понижений тона, замедлений и ускорений произносительного темпа, пауз, акцентировок разной силы, внезапных переключений или волнообразных изменений динамики и тембровой окрашенности[115]. Следует

подчеркнуть, что все эти факторы свойственны отнюдь не только устной, но также и письменной, и внутренней речи. Мы обладаем языковым «внутренним слухом», позволяющим ощущать ритмико-мелодическую фактуру высказываний без ее физического воплощения в звук; подобно этому, мы ощущаем ритмическое движение стихов при чтении, без произнесения их вслух.

Звуковой контур высказывания представляется мне в виде динамической кривой, в которой все интонационные повороты, все ритмические напряжения и разрядки, все акцентные точки складываются в представлении говорящего в целостный образ. Это своего рода ритмико-интонационный эскиз высказывания. Такой эскиз заключает в себе некую совокупность характерных мелодических ходов, ритмико-динамических напряжений и разрядок, акцентных пунктуаций, тембровых переключений, по которым он опознается как индивидуальное целое, имеющее определенную коммуникативную тональность. Но при этом, как всякий эскиз, он сохраняет известную открытость. Наиболее характерные опорные места ритмико-интонационного эскиза предстают внутреннему языковому слуху с полной отчетливостью, но промежутки между ними имеют рыхлое, размытое заполнение. В силу этого эскизный образ высказывания способен пластически видоизменяться в ходе взаимодействия с вмещаемым в него материалом: подвергаться расширению и сжатию, педалировать либо, напротив, приглушать и размывать те или иные из своих ингредиентов, приспосабливаться к произносительной манере участников коммуникации, к темпу и настроению, в которых она протекает.

2) В составе коммуникативного контура непременно имеются опорные выражения: конкретные слова и сочетания слов (коммуникативные фрагменты), занимающие в данном контуре определенное место. Часто в роли таких опорных словесных точек выступают служебные и местоименные слова: союзы, предлоги, частицы, местоимения, связки и полусвязочные предикаты. Однако и слова с более конкретизированным значением, и целые выражения могут выступать в роли опорных компонентов контура.

Приведем несколько примеров КВ, включающих в себя различные опорные компоненты; в квадратных скобках даны возможные варианты словесных заполнении, разрастание которых вокруг опорных точек превращает контур в конкретное высказывание:

[Всю осень] **стояла/-ли** [прекрасная теплая погода] / [необычные холода]. [В комнату] **вошел** [господин лет тридцати, в..., с...]. [Ну] **что за** [странное поведение]!

Характерно, что [данный феномен наблюдается всякий раз, когда ...]. **Мне/Тебе/Нам/Вам необходимо** [сесть и серьезно подумать, как...]. **Никто из** [собравшихся] **не** [мог даже предположить], [во] **что** [выльется вся эта затея].

[Самая простая мысль], **будучи** [высказана своевременно], **может** [внезапно все поставить на место] / [стать настоящим откровением]. **Продолжается** [обсуждение доклада...].

[Прошу внимания], [заседание] **продолжается. Несмотря на** [поздний час], [игра] **продолжалась.**

Как видно из этих немногих примеров, опорные компоненты могут находиться в разных местах КВ, состоять из разного числа и различных типов лексических единиц, группироваться вместе либо располагаться в различных точках контура.

Часто опорный компонент представлен индивидуальной словоформой

либо сочетанием словоформ. Но он может также реализоваться в целом альтернативном наборе близких по форме и смыслу словоформ. Так, в ряде КВ несколько личных местоимений выступают в качестве альтернативных вариантов; то же часто можно сказать об альтернативных формах рода (и/или числа, и/или лица) опорных лексем. В таком случае опорную точку можно представить себе в виде динамической совокупности, как бы мерцания близких вариантов-альтернатив. Однако набор таких вариантов, «мерцающих» в той или иной опорной точке того или иного контура, всегда индивидуален: он никогда не определяется автоматически составом морфологической «парадигмы» соответствующего слова. Например, в большинстве случаев лишь некоторые — но не все — личные местоимения или личные предикативные формы какого-либо глагола фигурируют в качестве типичных опорных лексем в составе определенного КВ. Конечно, и другие альтернативные формы зачастую могут быть употреблены в составе того же контура, но только в качестве производного случая, по аналогии с теми словоформами, которые являются для данного КВ опорными в собственном смысле. Так, в контуре 'Мне (Ему/Ей) кажется, что [...]' употребление местоимений 'тебе' или 'вам' гораздо менее очевидно и может состояться лишь в качестве особого случая, при наличии надлежащих условий. С другой стороны, для контура 'Не кажется ли тебе (вам), что [...]?' употребление местоимений 'мне', 'нам', 'им', в свою очередь, оказывается «особым случаем», требующим особых условий для своего осуществления. (Я вспоминаю, в частности, ироническую формулу, предложенную А. М. Пятигорским на одной из конференций в 1960-е годы: *Не кажется ли мне?*— пародирующую выступления участников, формально обращающихся с вопросом к докладчику, только для того чтобы под этим предлогом пространно изложить свою собственную точку зрения). Контуры 'стоит [теплая погода]' и 'стояла / -о [теплая погода / теплое лето]' с чисто формальной точки зрения выглядят как грамматические варианты, различающиеся «только» формой времени предиката; между тем, если посмотреть на эти образования как на эскизы конкретных высказываний, можно увидеть, что они существенно различаются и с точки зрения интонационного воплощения, и в отношении словесного материала, потенциально пригодного для их заполнения, и в отношении ситуаций, потенциальных сюжетов, речевых жанров, в составе которых они могут мыслиться. Даже если мы заполним эти эскизы одинаковым словесным материалом, этот материал приобретает в рамках каждого контура различные валентности развертывания, различный ситуативный и сюжетный потенциал, наконец, различное интонационное воплощение. Сравним ритмическое, тоновое, тембровое звучание, жанровую и ситуационную рамку, возможности расширения приведенных выше высказываний:

Стоит теплая погода и *Стояла теплая погода;* нетрудно убедиться, что, хотя поля потенциальных воплощений и употреблений каждого из этих высказываний частично пересекаются, в целом эти поля существенно различны. Поэтому приходится признать, что в этом случае высказывания, опирающиеся на форму «настоящего времени» и «прошедшего времени» предиката, соответствуют двум разным коммуникативным контурам.

Опорные точки контура должны обладать достаточной конкретностью, чтобы говорящий мог исходить из них как из непосредственной данности при воплощении контура в высказывание. Именно в этом, собственно, и состоит функция опорных компонентов: они придают коммуникативному контуру конкретность и непосредственную узнаваемость эскизного образа.

Благодаря наличию таких опорных точек построение высказывания идет не по абстрактному синтаксическому плану, но с первых же шагов опирается на конкретный эскиз, намечающий высказывание в его осязаемых очертаниях.

3) В коммуникативном контуре с самого начала уже проглядывает, намечаемое как бы пунктиром, будущее готовое высказывание. Его опорные компоненты служат «вехами», отмечающими те очертания, которые должен принять процесс развертывания словесной ткани. От них, как от отправных пунктов, исходят ассоциативные импульсы, притягивающие языковой материал, призванный заполнить все лакуны в контуре и воплотить его в полное высказывание. Такого рода композиционные лакуны, не имеющие определенной заполненности в контуре высказывания, но обладающие аллюзионным потенциалом, составляют еще одну неотъемлемую черту композиции контура, наряду с ритмико-интонационной кривой и опорными словесными компонентами.

Композиционная лакуна в составе контура высказывания существенно отличается от синтаксической позиции в структурной схеме предложения, подлежащей словесному заполнению. Это отличие определяется, во-первых, аллюзионным характером лакуны. В эскизе высказывания лакуны представляют собой не «свободные» места, в которые может быть встроено любое подходящее по форме слово или словосочетание, но скорее размытые, не вполне воплощенные участки высказывания, в которых уже проглядывает, с разной степенью отчетливости, тот материал, который им предназначен. Вакантные отрезки не столько «заполняются» этим материалом, сколько «воплощаются» в нем.

Композиционной лакуне чуждо какое-либо твердое и устойчивое различие между «заполненностью» и «незаполненностью». Как уже было сказано, лакуна никогда не бывает полностью «вакантной», так как в ней всегда проглядывает потенциальный, притягиваемый ею языковой материал. Эти проглядывающие воплощения лакуны могут иметь самую различную степень отчетливости или смутности: от неопределенно-растекающихся полей потенциальных возможностей, которые говорящий субъект пока лишь смутно «предчувствует» и над выявлением которых его языковой мысли еще предстоит работать, до вполне определенного образа, который остается лишь окончательно сфокусировать в составе данного высказывания. Степень отчетливости или размытости, с которой образ композиционной лакуны представляется говорящему субъекту, зависит и от свойств высказывания, и от характера коммуникативной ситуации и может изменяться с каждой новой расстановкой сил, действующих в языковом акте. Более того, само пространство композиционной лакуны может оказаться с этой точки зрения неоднородным: в нем могут проглядывать более отчетливо представимые компоненты, между которыми остаются более размытые участки.

Каждой композиционной лакуне в определенном контуре соответствует целый массив коммуникативных фрагментов, в разной степени подходящих для постановки их на этом вакантном месте. Этот массив складывается из неопределенного множества высказываний, памятных говорящему субъекту — с разной степенью отчетливости — из его прошлого языкового опыта, которые в его восприятии ассоциируются с данным контуром,

Совокупность выражений, пригодных к заполнению определенного вакантного отрезка в определенном коммуникативном контуре, представляет собой не предустановленный список, но подвижное и открытое поле. У

этого поля есть эпицентр — выражения, заведомо употребительные в данной ситуации, создающие высказывания, которые говорящие опознают как несомненно им знакомые.

Например, восклицание *Что за шум!* можно считать с несомненностью принадлежащим к числу «образцовых» заполнителей контура ' Что за [...]!' Говорящему на русском языке эта фраза, по всей вероятности, встречалась неоднократно: и в ситуациях устного общения, не оставивших в памяти индивидуального следа, но отложившихся в качестве обобщенного образа ситуации, при которой такое выражение «могло быть» употреблено; и в качестве индивидуализированных цитат, отсылающих к памятным текстам или памятным обстоятельствам. Мне, в частности, немедленно приходят на память, с разной степенью отчетливости, несколько прецедентов, обладающих цитатной индивидуализированностью: шутливое изречение *Что за шум, а драки нету*? и его использование у Зощенко при описании драки на коммунальной кухне (рассказ «Нервные люди»); популярные детские стихи «Что за шум, что за рев, То не стадо ли коров?», а также ситуации из домашнего быта, когда взрослые насмешливо напоминают этот стих капризничающему ребенку; реплику Гувернантки из оперы «Пиковая дама» (вместе с ее музыкальным оформлением): «Mademoiselles, что здесь у вас за шум?»; мне кажется также, что этот (или очень сходный) вопрос произносит умирающий Гамлет, услышав приближение Фортинбраса и его войска, в финале трагедии Шекспира в одном из русских ее переводов, но я не уверен ни в точности цитаты, ни в источнике[116]. Несомненно, в моем прошлом опыте имелись и другие случаи употребления данной фразы, которые, однако, отложились лишь в виде анонимного резонансного «гула». У других говорящих по-русски репертуар конкретных цитатных припоминаний и более общих образов ситуаций, с которыми эта фраза ассоциируется в их опыте, окажется иным: это зависит и от реального содержания языкового опыта каждого субъекта, и от того, какими путями и с каким успехом будет происходить припоминание этого опыта в той или иной ситуации. Но при всей множественности конкретных путей, по которым может осуществляться этот процесс, можно утверждать с уверенностью, что для большого числа говорящих по-русски фраза *Что за шум!* будет опознаваться как «знакомая».

К эпицентру ассоциативного поля, окружающего этот же контур, относятся, конечно, и многие другие выражения, которые большинством говорящих по-русски будут восприняты как действительно либо потенциально знакомые: 'Что за несносная погода!'—'Что за странное поведение!'—'Что за манеры!'—'Что за ужасный характер!'—'Что за вздор!'—'Что за воздух!'—'Что за великолепие!'—'Что за сказочное место!'.

Если мы возьмем в качестве отправного эскиза какой-нибудь другой КВ, например: 'При этом [...] может/могут [...]',— то окажется, что он также притягивает к себе целое поле коммуникативных фрагментов и их сращений, но совсем иного рода: 'При этом между ожидаемым результатом и реально полученной величиной может наблюдаться значительное расхождение.'—'При этом читатель может не испытывать никакого доверия к повествователю и рассказываемой им истории.'—'При этом даже самые простейшие операции могут потребовать на первых порах полной концентрации внимания' и т. п.

От этих эпицентров концентрическими кругами расходятся выражения и ходы развертывания, в которых все с меньшей отчетливостью, все с большей приблизительностью и большими оговорками распознается про-

тотипический аллюзионный образ. Чем дальше от эпицентра отстоит материал, который мы хотели бы вместить в тот или иной контур, тем больше требуется усилий, направленных на создание таких условий, при которых этот материал оказался бы способным вписаться в образ высказывания, диктуемый его контуром.

Свойства заполняющего материала мыслятся говорящим не в категориях отвлеченной морфосинтаксической формы, а через посредство тех конкретных словоформ и выражений, которые проступают в его памяти в качестве возможных воплощений этого участка контура высказывания. Вопрос о требуемой форме решается сам собой, коль скоро говорящий отправляется от имеющихся в его распоряжениях конкретных прецедентов; он или непосредственно реализует один из таких прецедентов, или находит иное воплощение, действуя по аналогии. Соответственно, если наш говорящий попытается встроить в данный участок контура выражение, явно отклоняющееся от имеющегося у него прототипического образа, он сразу заметит получившийся диссонанс. Встретив, например, в недавнем номере газеты фразу: *В понедельник начался дважды откладываемый визит в Норвегию президента России Бориса Ельцина*,[117] — я ощущаю ее безграмотность не потому, что она нарушает якобы мне известные правила выбора формы времени у причастия, но потому, что с точки зрения моего языкового опыта выражение 'дважды откладываемый визит' непосредственно воспринимается как искажение хорошо мне знакомого и подходящего к данному контуру выражения '[дважды / неоднократно] откладывавшийся визит'. В зависимости от многих участвующих в коммуникативной ситуации факторов, говорящий субъект может либо отвергнуть этот диссонанс, то есть интерпретировать его как «неправильное» высказывание, либо попытаться так или иначе осмыслить вызываемый им эффект. Я, например, ощущаю приведенную выше газетную фразу не просто как неправильную, но как характерный рецидив советского официального стиля, с типичным для него сочетанием «торжественной» громоздкости и невразумительности; такой интерпретации способствует и заглавие статьи («Северный флот показал свою мощь перед визитом Б. Ельцина в Норвегию»), и все ее содержание, живо напомнившее тематику и тон советских газетных «заметок на международные темы».

Контроль и отбор материала, призванного заполнить композиционную лакуну, осуществляется не только непосредственно окружающими лакуну опорными компонентами. В этом процессе участвует и ритмико-интонационный строй высказывания. Так, интонационные свойства контура 'Что за [...]!' явно не благоприятствуют длительному развертыванию: начальное восклицание и заключительное, отмеченное сильным ударением и понижением тона слово не должны отстоять друг от друга слишком далеко. В соответствии с этим производится отбор и разрастание выражений, уместных для воплощения этого эскиза. Это требование может быть нарушено лишь намеренно, с целью создания крайней, даже преувеличенной аффектации: *Что за чудовищная, совершенно неслыханная, ни с чем не сообразная наглость!*

Если свойством контура 'Что за [...]!' является ритмическая компактность, то при работе с контуром 'При этом [...] может [...]' говорящий, напротив, ожидает значительного развертывания языкового материала; в его распоряжении имеется множество потенциальных ходов такого развертывания, которые он готов пустить в дело. В этом случае прототипический фон высказывания составляют преимущественно не единичные фрагмен-

ты, но различные возможные их сращения.

Непременной принадлежностью аллюзионного образа композиционной лакуны является также его коммуникативная специфичность. Например, проецируя эскиз 'Что за [...]!' на свой языковой опыт, носитель языка ощущает коммуникативную, смысловую, жанровую тональность, в которой должно осуществиться такое высказывание: тот факт, что оно представляет собой непосредственную реакцию на наличный либо только что упомянутый в речи предмет; что ей свойственен эмфатический оценочный характер; что такое высказывание предполагает повышенный эмоциональный настрой говорящего, его личную вовлеченность; что говорящий в этом случае апеллирует к непосредственному либо подразумеваемому собеседнику, ожидая, что последний разделит его эмоциональную реакцию; наконец, что высказывание, создаваемое по канве такого эскиза, имеет неформальный, импровизационный, импульсивный тонус, но в то же время ему свойственна некоторая стилизованность, «литературность», афористическая отточенность формы. Соответственно, имея дело с контуром ' При этом [...] может [...]', говорящий осознает такие свойства проглядывающего в нем высказывания, как абстрактность и гипотетичность предмета речи; объективность тона, отделенность повествователя от адресата; принадлежность к сфере интеллектуального (чаще всего научного) рассуждения; включенность в протяженное, связное повествование, имеющее в целом несколько тяжеловесную и вязкую фактуру; встроенность данного высказывания алогическую цепочку рассуждений, вызывающая необходимость осмысливать его в соотнесении с предыдущим утверждением или утверждениями.

Все это — от морфосинтаксических очертаний различных сегментов высказывания и их интонационного воплощения, до тематических возможностей, ситуативной рамки, стилевого модуса — наш говорящий ощущает в виде нерасчлененного целостного представления. Для того чтобы успешно реализовать потенциал коммуникативного контура высказывания в своей языковой деятельности, он не нуждается ни в экспликации своего представления, ни в разложении его на отдельные дискретные параметры. Аллюзионные свойства каждой композиционной лакуны и всего эскиза в целом позволяют говорящему непосредственно, реактивно распознавать, насколько хорошо к тому или иному участку высказывания подходит то или иное выражение, — то есть насколько естественным, легко узнаваемым либо, напротив, необычным, требующим дополнительных интерпретирующих усилий предстанет облик данного выражения в том формальном, интонационном, смысловом, стилевом «климате», который создается данным контуром в данных условиях его воплощения.

Чем больше такого рода операций мы проделываем в нашем повседневном опыте, чем больше неясных и сомнительных случаев нам удается разрешить в ту или иную сторону, — тем более богатым и гибким становится механизм отбора и адаптации языкового материала и распознавания и оценки получающихся результатов. С каждым новым фактом употребления, каждым отложившимся в нашей памяти — хотя бы в виде намека — своим или чужим высказыванием слегка изменяются объем и конфигурация тех полей потенциальных выражений, которые аккумулируются вокруг вакантных отрезков того или иного контура, имеющегося в нашем коммуникативном репертуаре.

Маяковский в очерке «Как делать стихи» дал яркое описание того, как протекает процесс создания стихотворной строки. Описывая самый пер-

вый момент возникновения образа вновь создаваемого стихотворения (речь шла о стихотворении «Сергею Есенину»), Маяковский замечает: «Сначала стих только мычался», — то есть в сознании возникает некая ритмико-интонационная звуковая ткань, в которой, как будто сами собой, всплывают некоторые опорные слова и выражения:

Вы ушли ра ра ра ра ра в мир иной,
Может быть, летите ра ра ра ра ра.

Затем следует поиск, иногда очень долгий и мучительный, слов, которые заполнили бы остающиеся в этой канве лакуны, воплотив эскизный образ в реальную строку[118].

Мне представляется, что создание и восприятие всякого высказывания напоминает этот процесс. Говорящий узнает тот прототипический образ, в который облекается звуковая ткань фразы (ее «мычание», по словам Маяковского), и те опорные выражения, которые для него неотделимы от данного образа. Весь этот сложный образ, в котором сливаются различные звуковые, кинетические, словесные, образно-смысловые, апеллятивные, эмоциональные компоненты, складывается в невоплощенный, но обладающий аллюзионным зарядом эскиз. По канве этого эскиза, руководствуясь словесными и интонационными «вехами», говорящий развертывает лексический материал, заполняющий и проясняющий все лакуны в фактуре высказывания. Характер этого материала приспосабливается к конфигурациям контура; но и сам контур адаптируется к языковому материалу, который говорящий стремится в него вместить. Лакуны между «вехами» заполняются более или менее протяженными построениями; в зависимости от этого корректируется и ритмико-интонационная кривая, и весь образ воплощаемого высказывания.

Заполняющие композиционную лакуну выражения обладают неограниченной способностью к разрастанию, втягивая в размытый отрезок высказывания все новый языковой материал. Однако в рамках коммуникативного контура высказывания процесс расширения словесной ткани не имеет неограниченного и бесконтрольного характера. Ход этого процесса поверяется соответствием получающегося результата с целостным эскизным образом высказывания. Коммуникативная задача, стоящая перед говорящим, пробуждает в его сознании неопределенное множество выражений, которые в чисто смысловом отношении могли бы служить подходящим материалом для ее реализации. Но не все эти выражения действительно могут быть пущены в дело, а лишь те, которые способны поместиться в рамки, создаваемые опорными компонентами контура. Если необходимый языковой материал не подходит к отводимому ему месту в контуре, говорящему придется этот материал модифицировать либо, если и это не удастся, быть может, даже сменить контур и начать создание высказывания по иному эскизу.

Не следует думать, что описанные здесь процессы происходят лишь при создании высказываний. Аналогичным образом действуют они и при восприятии и интерпретации получаемых извне языковых композиций. Мы узнаем знакомый контур по характерным ритмико-мелодическим оборотам (или их конвенциональному отображению на письме), по опорным точкам, наконец, просто «предчувствуем», какой контур или контуры могут появиться в данной коммуникативной ситуации. Это узнавание предопределяет «понимание» высказывания еще до того, как высказывание полностью воспринято, — понимание эскизное, размываемое лакунами, но уже складывающееся в целостное смысловое представление.

Богатство репертуара коммуникативных контуров и способность мгновенно их узнавать, гибкость и быстрота ассоциативных процессов, ведущих к воплощению контура, позволяют говорящему, достаточно хорошо владеющему языком, понять высказывание даже в том случае, когда часть языкового материала в его составе им не была воспринята или даже вовсе оказалась ему незнакомой. В этом случае недослышанное или непонятное слово не зияет абсолютной «пустотой», но воспринимается в виде лакуны, имеющей размытый, не до конца проясненный, но потенциально узнаваемый смысл. Если, однако, говорящий не укоренен в языке достаточно прочно, чтобы действовать на основе таких непосредственных «предузнаваний», если ему приходится «выстраивать» свои и чужие высказывания, как карточные домики, — такой домик грозит рассыпаться в любую минуту, как только из него окажется изъят какой-либо строительный компонент. Как кажется, именно такого рода действия являются тем подразумеваемым идеалом, к воссозданию которого стремится описание языка в терминах морфосинтаксических структур.

В заключение рассмотрим, в качестве более развернутого конкретного примера того, как функционирует коммуникативный контур высказывания в процессе нашего обращения с языком, одну фразу из «Былого и дум» Герцена:

Узнав, что я русский, он начал меня расспрашивать о строгости полиции, о паспортах.

Вся фраза в целом немедленно и непосредственно воспринимается как «правильная». Для этого нам не нужно справляться с правилами синтаксического построения, которым она соответствует. Мы «узнаем» эту фразу как такое целое, которое с полной убедительностью соответствует целому ряду имеющихся в нашей памяти прототипических образов высказываний. Попробуем разобраться, на чем основывается это впечатление.

Во-первых, несмотря на то что данная фраза является частью письменного текста и предназначается в первую очередь для прочтения, она имеет свой характерный ритмико-интонационный облик. Этот облик складывается из сложного сочетания мелодических подъемов и понижений, меняющихся произносительных темпов, ударений разной силы и разной тембровой окрашенности. Попытаемся перечислить основные характерные моменты, из которых, в их совокупности и слиянии, складывается для нас общий ритмико-мелодический образ этой фразы. Такими моментами являются:

— легкое повышение тона на первом слове, сопровождающееся небольшой (факультативной) паузой перед следующим сегментом;

— ускорение темпа на словах 'что я' — быстрое их проговаривание с понижением голоса и затем подъем тона на слове 'русский' (более сильный, чем на начальном сегменте), после которого следует обязательная пауза (более длительная, чем в первом случае);

— сравнительно медленное и равномерное проговаривание следующего сегмента, с возможной (факультативной) небольшой паузой и небольшим понижением тона на слове 'расспрашивать';

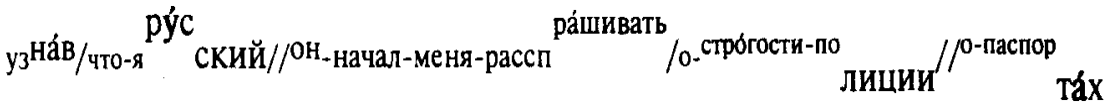
— параллельная, почти тождественная интонационная фигура у двух последних сегментов: начальное повышение тона и ускорение темпа на словах 'о строгости по——' и 'о паспор——', сопровождаемое понижением тона и замедлением темпа на последнем ударном слоге каждого сегмента,— причем и начальное ускорение, и последующее ударение несколько сильнее выражено во втором сегменте по сравнению с первым;

между этими двумя заключительными сегментами пролегает довольно заметная пауза;

— словоформы 'узнав', 'русский', 'расспрашивать', 'полиции', 'паспортах' отмечены более сильными ударениями; сильнейшие из них — на словах'русский' (восходящее ударение) и 'паспортах' (нисходящее): это две главные акцентные опорные точки фразы; другие словоформы несут менее сильное ударение, либо даже вовсе проговариваются без ударения, но сохраняя при этом различие в произнесении ударных и безударных гласных: [он-начъл-миня-распрашывът];

— мне кажется также, что в первой части фразы ('узнав, что я русский') тембр голоса должен быть более светлым, за счет слегка продвинутой вперед вокализации, тогда как в заключительной части (начиная с предлога 'о') наблюдается потемнение тембра, связанное с несколько более глубоким произнесением гласных.

Отмечая повышения и понижения тона, паузы, ударения разной силы, ускорения и замедления темпа, можно приблизительно — насколько это позволяют графические средства — представить себе ритмико-интонационную «кривую» фразы следующим образом:



Как видим, даже только слегка намеченный анализ потенциального звукового наполнения фразы дает сложную и многомерную картину. Однако в своем восприятии этой фразы мы следуем за всеми колебаниями ее ритма, мелодики, динамики с полной естественностью, поскольку все они хорошо соответствуют прототипическим образам-контурам, всплывающим в нашем сознании по мере продвижения по высказыванию. Ничто в его течении не вызывает у нас ощущения «толчка», перебоя, который более или менее настоятельно побуждал бы нас приглядеться к соответствующему месту, с тем чтобы попытаться выяснить, в чем причина этой трудности и как она может быть истолкована.

Во-вторых, в этом узнаваемом ритмико-интонационном контуре фразы для нас проглядывают отдельные конкретные словоформы, которые мы воспринимаем в качестве его непременной и характерной принадлежности. Такими направляющими «вехами» лексического строя высказывания в данном случае можно считать:

— начальное выражение 'узнав' (с немногими возможными альтернативами: 'увидев / увидав', 'услышав / услыхав / заслышав / прослышав', 'решив', 'догадавшись', 'поняв');

— начало второго сегмента: '[...], что [...]';

— начало следующего сегмента: 'начал / стал / принялся расспрашивать / говорить / рассуждать о [...]';

— повторяющийся параллельный оборот 'о [...], о [...]'.

Подобно ритмико-мелодическому строю фразы, этот ее лексический пунктирный остов всплывает в нашем сознании не по отдельным частям, так, как они перечислены выше, но весь целиком, в неразрывном единстве с мелодическим движением.

Между этими опорными точками, следуя изгибам ритмико-мелодического контура, располагаются более размытые участки эскиза, в

которых с разной степенью отчетливости проступают целые поля потенциальных выражений и их возможных разрастаний. Нам ясно, например, что начальный сегмент высказывания мог бы получить воплощения различной степени протяженности, в силу того что опорная начальная словоформа 'узнав' (либо другие, равно возможные альтернативы зачина данного контура, такие, как 'поняв', 'догадавшись', 'увидев') с легкостью может получить распространение: 'Узнав от хозяина, что ...', 'Догадавшись по некоторым признакам, что...', 'Поняв с первого взгляда, что... ', и т. п. Эти развертывания, если бы они реализовались, оказали бы модифицирующее влияние на ритмико-мелодический контур начального сегмента: в этом случае интонационную отмеченность получило бы не только первое, но также (в меньшей степени) последнее слово сегмента, пауза перед 'что' из факультативной превратилась бы в обязательную. Говорящий следит, однако, за тем, чтобы такие модификации контура не зашли слишком далеко — чтобы контур высказывания, в ходе гибких приспособлений к словесному материалу, не «сломался», перестав узнаваться в качестве воплощения понятного говорящему прототипического образа.

Движение по канве коммуникативного контура в процессе воплощения высказывания облегчается для говорящего тем, что сам этот контур вызывает в его памяти — с буквальной точностью либо в виде полунамеков — образы конкретных высказываний, уже фигурировавших прежде в его языковом опыте. Так, контур рассматриваемого здесь предложения может выступать в нашем языковом сознании в ореоле таких, или приблизительно таких, готовых и полуготовых фраз, как *Узнав, что я только что с передовой, он буквально засыпал меня вопросами о*.... о ... — *Догадавшись, по некоторым признакам, что я тут человек новый, он пустился в пространные рассуждения о.... о... — Поняв, что перед ним опытный игрок, он повел дело издалека, затеяв разговор о*..., и т. п. Эти фразы, действительно встречавшиеся ранее, либо с легкостью узнаваемые как такие, которые «могли бы» встретиться в нашем прошлом опыте, подкрепляют эскизный образ создаваемого либо воспринимаемого высказывания и облегчают контроль за его воплощением.

Коммуникативный контур высказывания представляет собой второй основной тип единиц, наряду с коммуникативными фрагментами, в которых конденсирован языковой опыт говорящих и которые они оперативно применяют при создании и интерпретации все новых речевых композиций.

Между этими двумя единицами много общего. Их кардинальной общей чертой является непосредственная представимость — тот факт, что и различные фрагменты, и различные контуры-эскизы высказываний существуют для говорящих в качестве непосредственно данных образов — конкретных языковых «предметов», отложившихся в памяти из прошлого опыта. В своих действиях, производимых над этими единицами, говорящие руководствуются конкретными прецедентами-образцами таких действий и их аналогическими проекциями.

Другой общей чертой КФ и КВ является то, что и те и другие не составляют какого-либо закрытого и упорядоченного набора, который можно было бы задать списком или твердыми правилами порождения. И фрагменты и их возможные сращения, и эскизы высказываний и их возможные воплощения присутствуют в языковой памяти в виде открытого и хаотического множества. Они беспорядочным образом накладываются друг на друга, пересекаются, совмещаются, просвечивают друг в друге; никто не может сказать с уверенностью, сколько отдельных фрагментов или отдельных

эскизов высказываний присутствует в его памяти, где кончается сфера вариантного «растяжения» одной и начинается сфера другой единицы, где и как проходят границы между отдельными частицами, из которых складывается все это мнемоническое нагромождение. Именно эта неупорядоченность открывает неисчерпаемые возможности аналогических притяжении, слияний, растяжений, репроекций языкового материала, из которых возникает неисчерпаемая, бесконечно подвижная и летучая в отношении своих условий и результатов языковая деятельность.

Общим признаком фрагментов и контуров является также их отчетливая коммуникативная направленность: и те и другие с самого начала несут в себе заряд определенных ситуаций, тем, коммуникативных заданий, характеров говорящего и адресата и их отношений друг с другом, стилевых и жанровых параметров, эмоциональных обертонов. Этот коммуникативный заряд столь же определенен и конкретен, сколь — именно в силу своей конкретности — подвижен и способен к адаптациям. Контур высказывания и вмещаемая им языковая ткань, составленная из коммуникативных фрагментов, все время взаимодействуют, приспосабливаясь друг к другу; они приспосабливаются также к все время меняющимся параметрам коммуникативной ситуации, в которую данное высказывание призвано внести свой вклад.

Вместе с тем, коммуникативный фрагмент и коммуникативный контур являют собой два различных феномена, относящихся к разным аспектам языковой деятельности. Коммуникативные фрагменты способны к бесконечному и беспрерывному разрастанию; этот процесс в принципе не имеет ни границ, ни законченной формы. В отличие от этого, коммуникативный контур представляет собой некое целое, имеющее вполне определенные очертания; эти очертания, в их целостности, должны сохраняться при всех пластических расширениях контура за счет вмещаемого в него материала. Любой коммуникативный фрагмент обладает бесконечным потенциалом р о с т а; в отличие от этого, любой коммуникативный контур обладает более или менее значительным (но не бесконечным!) потенциалом емкости.

В силу этого своего свойства, КВ выступает в качестве оформляющего и интегрирующего начала при создании высказываний. КФ, напротив, обеспечивает в принципе бесконечное расширение коммуникативного произведения; в любой точке высказывания этот потенциал расширения готов реализоваться, насколько это позволяют интегрирующие силы, исходящие из контура высказывания. Процесс создания высказывания, происходящий во взаимодействии этих двух его аспектов, можно сравнить с джазовой импровизацией, когда музыканты, следуя по определенной канве, производят всевозможные импровизационные разрастания, не покидая пределов этой канвы; причем в роли такой интегрирующей канвы выступает не абстрактная ритмическая фигура (например, период из стольких-то тактов), но конкретный образец — чаще всего уже известная мелодия, либо нечто новое, но опознаваемое на фоне совокупного опыта как музыкантов, так и слушателей.

Потенциал ассоциативных разрастаний, свойственный КФ, сообщает высказыванию гибкость и пластичность; интегрирующие свойства КВ позволяют сохранить, при всех разрастаниях высказывания, ощущение его как целого. Говорящим все время приходится иметь дело с напряжениями, возникающими между этими противоположно направленными силами, разрешая возникающие проблемы путем взаимных адаптаций между интегрированным образом фразы как целого и тем множественным и летуче

разрастающимся материалом, который стремится найти в этом образе свое место.

Глава 9. КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ПОЛЕ

Так на холсте каких-то соответствии
Вне протяжения жило Лицо.
Хлебников, «Бобэоби пелись губы»

9.1. К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ.

Описывая, как говорящий субъект извлекает из запасов памяти потребный ему языковой материал и соединяет этот материал в единое языковое произведение, осознаваемое им в качестве высказывания, мы пришли к выводу о том, что первичными языковыми единицами, которыми оперирует в этой деятельности его языковая мысль, являются не такие стационарные элементы, как морфемы, слова в совокупности своих морфологических форм и синтаксические схемы объединения словоформ в правильно построенные единства, — но более подвижные, размытые в своих очертаниях, пластически неуловимые и вместе с тем осязаемо конкретные «куски» языковой ткани: целостно известные говорящему выражения (коммуникативные фрагменты), сращения между ними, производимые на основании конкретных прототипических образцов, и наконец, эскизные контуры, по которым, как по конкретно намеченной канве, такие выражения объединяются в целое высказывание.

Это, однако, не означает, что понятие слова в таком описании утрачивает всякий смысл. Просто его место в модели языковой деятельности оказывается иным, в известном смысле даже диаметрально противоположным, чем при подходе к языку как к структуре. Слова теряют традиционно приписываемый им статус первичных, изначально данных строительных элементов, из которых, как из кирпичей, строятся всевозможные языковые «сооружения». Напротив — слово оказывается вторичным продуктом бесчисленных ассоциативных сопоставлений и речевых сшиваний языковых фрагментов, первично и непосредственно известных говорящему. Перебирает ли говорящий субъект частично сходные выражения, предоставляющие ему альтернативные возможности развертывания речи, или пытается составить два выражения вместе, так чтобы они срослись в органичное целое, он вольно или невольно, сознательно или бессознательно обращает внимание на совпадения и различия их словесного и морфемного состава. В этих бесчисленных сопоставлениях и взаимных наложениях знакомых ему кусков языковой ткани морфемы, словоформы, лексемы проступают как бы сами собой, как такие частицы этой ткани, которые то и дело, по разным поводам и в разных перегруппировках, фигурируют в качестве «разменной монеты» всех этих сопоставлений и наложений. Слова как будто «выпадают в осадок» той амальгамы, которую представляет собой языковая память говорящего субъекта и ее непрерывное ассоциативное коловращение.

В итоге говорящий оказывается в состоянии осознать и выделить слова в качестве дискретных элементов, из которых составлена языковая ткань.

Парадоксальным образом он способен сделать это с большим успехом и уверенностью, чем выделить и перечислить известные ему коммуникативные фрагменты. Но в этом кажущемся парадоксе есть свой смысл. Ведь слова, морфемы, словесные формы представляют собой феномен вторичного осознания языкового материала, возникающего поверх того, что говорящему известно первично и непосредственно. Именно в качестве продукта рефлексии эти единицы яснее осознаются, легче поддаются выделению и всевозможным классификациям, чем тот первичный языковой материал, по поводу которого эта рефлексия возникает.

Легко возникает иллюзия, что именно эти, столь ясно видные каждому единицы и есть та основа, на которую говорящий опирается в своей языковой деятельности. Кристаллизованные продукты мерцающе-неуловимого движения языкового материала заслоняют и замещают собой само это движение, тем более что «разглядеть» этот последний феномен в конечном счете, раз и навсегда, оказывается невозможным, в силу его протеистического и летучего характера. Лишь очень внимательно вглядевшись в движение языковой ткани, начинаешь замечать, как идиосинкретичны, как далеки от структурной пропорциональности соотношения словоформ в составе, на первый взгляд, совершенно «тождественных» парадигм; как бесконечно растекается по разным смысловым пространствам употребление «одного и того же» слова, каждый раз изменяя то, что на первый взгляд казалось легко определимым его «значением», или «значениями»; как, наконец, соединения слов в речи, как будто следующие одной и той же формуле, каждый раз дают иной результат в смысле своей относительной приемлемости, гладкости, понятности и выразительности. Тогда и возникает предположение о том, что не наша языковая деятельность оказывается продуктом знания нами слов и их форм, но напротив, наше осознание слов и их форм, с их иллюзорной стабильностью и очевидностью, становится возможным лишь в качестве вторичного продукта языковой деятельности.

Сказанное о лексемах и словоформах имеет силу и применительно к другому фундаментальному аспекту той языковой картины, которая возникает в качестве рефлектирующего отображения языковой деятельности, — а именно, применительно к грамматическим формам и их соотношениям, образующим грамматические категории.

Описывая приемы, действующие при создании высказываний, мы неоднократно сталкивались с феноменом грамматической формы. Формальная характеристика того или иного выражения является одним из важнейших факторов, определяющих его способность заполнить лакуну в контуре высказывания.

Например, мы можем представить себе множество различных конкретных высказывании, созданных по канве одного контурного эскиза:

'Когда, добравшись наконец домой и наскоро поужинав, я отправился спать, было уже два часа ночи.' — 'Когда, после долгих блужданий, мы решили вернуться к началу нашего маршрута, стало уже смеркаться.' — ' Когда, стремительно распахнув дверь, он с порога обвел всех нас долгим вопросительным взглядом, стало ясно, что он успел уже как-то узнать о случившемся'. Во всех этих и подобных высказываниях, следующих тому же контуру, соблюдена определенная формальная канва, по которой осуществляется заполнение всех лакун нашего эскиза. Так, мы располагаем целым полем выражений, заключающих в себе словоформы типа 'вернувшись', 'поспешив', 'начав', 'поняв', 'увидав', подходящих к заполне-

нию первого вакантного отрезка, непосредственно следующего после опорного слова 'когда'. Очевидно формальное единообразие выражений, способных занять это место в высказывании: все они строятся на базе «деепричастия» с зависимыми от него словами. Аналогично, мы сознаем, что второй вакантный отрезок должен воплотиться в выражениях, образованных вокруг словоформы на '-л', то есть «глагола прошедшего времени»; заключительный отрезок высказывания, по всей вероятности, должен включать в себя «наречную» словоформу на '-о'.

Такого же рода соображения возникают, когда мы пытаемся присоединить один имеющийся в нашем распоряжении коммуникативный фрагмент к другому, чтобы создать более протяженное образование. Нам приходится считаться с формальными параметрами соединяемых фрагментов, особенно той их части, по которой проходит шов. Если эта часть тождественна по форме у обоих фрагментов — наложение шва не вызывает никаких трудностей, по крайней мере с формальной стороны. Так, выражения 'я решил ...'и 'решил переехать на новую квартиру / решил немедленно приступить к делу / решил не обращать внимания на ...' гладко срастаются в более пространное целое, поскольку точкой наложения шва в этом случае служат тождественные словоформы «глагола прошедшего времени» — 'решил'.

Я употребляю привычные грамматические термины в кавычках потому, что они лишь условным образом обозначают тот феномен, с которым мы во всех подобных случаях имеем дело. Как я уже неоднократно стремился показать, в своей языковой деятельности мы имеем дело с конкретными выражениями и целыми полями выражений, которые нами опознаются как «сходные» или «подходящие» друг к другу — всегда лишь в определенном смысле и применительно к определенной задаче, — а не с универсальными классами, отвлеченными от этих конкретных частиц языкового материала. Поэтому, говоря, что в такой-то языковой ситуации говорящий может или должен употребить форму «деепричастия», «прошедшего времени», «родительного падежа» и т. д., мы допускаем заведомую неточность. Абсурдно было бы полагать, что в позиции, потенциально вмещающей известный ряд выражений с родительным падежом, может быть употреблена любая словоформа, квалифицируемая как «существительное родительного падежа», или что в позиции, предполагающей «глагол прошедшего времени», может быть поставлен любой глагол прошедшего времени. Все, что говорящему известно применительно к каждому конкретному случаю, — это приблизительный набор конкретных выражений, которые он оценивает как несомненно подходящие к данному случаю. От этого эпицентра исходят аналогические тяготения, втягивающие в орбиту творческой мысли говорящего неопределенно широкие поля более или менее аналогичного, и в силу этого более или менее пригодного к данному случаю языкового материала. Аналогии расходятся концентрическими кругами, постепенно делаясь все более отдаленными, все менее убедительными и, соответственно, все более трудно применимыми[119].

Таким образом, знание говорящего, позволяющее ему успешно заполнять те или иные отрезки в высказывании и соединять эти отрезки друг с другом, во-первых, всегда специфично, основано на конкретных фактах употребления. Во-вторых, такое знание представляет собой непрерывный континуум возможных конкретных решений разной вероятности и приемлемости, простирающийся от наиболее очевидных и стандартных случаев до все более необычных, трудных, чреватых специальными эффектами,

неясных и, наконец, таких, для которых этот говорящий субъект в этих условиях вовсе не видит способов, при помощи которых они могли бы быть реализованы и каким бы то ни было разумным образом интерпретированы.

Понятия грамматического класса, грамматической формы и грамматической категории в структурно ориентированной модели языка строятся на принципиально иных основаниях. При всех расхождениях в определении этих феноменов в рамках различных моделей, эти определения исходят из общих классификационных предпосылок. Такими предпосылками являются, во-первых, требование универсальности каждого выделяемого грамматического класса, то есть безусловного включения в его состав всех конкретных случаев, отвечающих конститутивному признаку, на основании которого данный класс определен; и во-вторых, полное равенство всех членов класса в отношении к объединяющему их признаку. Каждый конкретный языковой факт либо принадлежит, либо не принадлежит к данному грамматическому классу, подклассу, формальному параметру. Разного рода смешанные, сомнительные, переходные явления осмысливаются на фоне основной классификации в качестве особых случаев, совмещающих в себе признаки различных классов; в этом своем качестве они имеют статус заведомо маргинальных и аномальных явлений, которые лингвистическое описание стремится преодолеть или по крайней мере локализовать.

Все попытки придать грамматическим классам большую конкретность путем дробления их на более мелкие и более специфичные по своим признакам подклассы — например, разбиение глаголов на стативные, транзитивные, каузативные или разбиение существительных на одушевленные, собирательные, вещественные, абстрактные и т. д. — не изменяют этих принципиальных свойств логической классификации языкового материала. Разбив более широкий класс на несколько подклассов, мы получаем новые феномены такого же интеллектуального порядка, хотя и меньшие по объему. Как бы мало конкретных языковых единиц каждый такой подкласс ни заключал в себе, все они принадлежат ему на основании логического «закона», то есть того, что все эти единицы соответствуют его конститутивному признаку или признакам. Даже если класс состоит из одной-единственной конкретной единицы (таким, например, может оказаться грамматический класс «связок»), он и в этом случае формируется на основании отвлеченных и «всеобщих» (для этой единственной единицы) признаков.

Отличие того, как говорящий субъект обращается с языком, от модели структурной организации языка состоит не в том, что его языковая интуиция оперирует группами языковых единиц, меньшими по объему и более сложно и точно определенными, чем грамматические классы, но в том, что эти группы обладают подвижностью, характерной для ассоциативного мышления: их конфигурация все время видоизменяется, они каждый раз формируются по-иному в языковом представлении говорящих в зависимости от конкретной коммуникативной задачи и конкретных условий, в которых и для которых эта задача решается. Что остается неизменным во всех этих трансмутациях — это свойства непрерывного континуума, развертывающегося от наиболее очевидных до наиболее отдаленных возможностей, — континуума, в котором категорические «да» и категорические «нет» занимают лишь маргинальные участки, к тому же лишенные твердых, безусловно гарантированных границ.

Со времени появления основополагающих трудов Якобсона и Ельмсле-

ва, в которых был теоретически обоснован подход к грамматической форме как феномену, имеющему постоянное, определимое в виде матрицы дифференциальных признаков инвариантное значение (Gesamtbedeutung), и продемонстрированы поразительные результаты применения такого подхода к различным грамматическим категориям,[120] в этом направлении была проделана громадная по объему и интеллектуальной значимости работа. Можно только восхищаться чудесами изобретательности, проявляемой при попытках найти определение инвариантного значения той или иной формы, настолько емкое, чтобы оно вместило в себя, в качестве закономерных «вариантов», огромное множество употреблений этой формы в речи, как бы эти употребления ни были распылены в предметно-смысловом и стилевом отношении. Результаты такой работы заслуживают полного признания в той степени, в какой они выявляют заложенный в языковом материале потенциал выстраивания и перестраивания его в различные преднамеренно заданные структурные порядки; их познавательная, дидактическая, прикладная ценность не подлежит сомнению. Следует, однако, помнить, что, во-первых, эти результаты всегда имеют относительное значение, поскольку их оказывается возможным достигнуть лишь при условии большего или меньшего суживания спектра факторов, влияющих на выбор и интерпретацию языковой формы и создающих бесконечное разнообразие и текучесть условий ее употребления. Во-вторых, и главное, сам принцип инвариантного значения языковой формы невозможно принять в качестве модели того, как обращаются говорящие с языковыми формами. Идея «общего значения» предполагает, что язык построен по какому-то единому общему плану, идеальное схематическое отображение которого помешается, в виде идентичных копий, в голове каждого говорящего на этом языке. Но как мог возникнуть такой общий план, кто или что могло его создать? Божественная воля (как считали в XVIII веке)?[121] «дух» или «гений» языка (как думали романтики)? «законы природы», которым язык почему-то должен неукоснительно подчиняться (как утверждалось в эпоху позитивизма)? или, наконец, врожденное стремление человека все на свете выстраивать в системы, отвечающие логическому идеалу непротиворечивости и экономности,[122] либо даже врожденное априорное владение такими системами?[123] Как ни заманчиво звучит любая из этих гипотез, в какие высокие сферы она ни уносит наше воображение, они все представляют собой чисто умозрительные конструкты, Между тем, то, что можно наблюдать в любом акте употребления языка, - это спорадичность наших действий с языком, их адаптируемость к все время изменяющимся условиям, идиосинкретичность среды аналогий и ассоциаций, окружающей каждый такой акт. Кажется более естественным предположить, что языковой материал, который мы все время по-новому используем и все время по-новому пересоздаем в процессе его использования, обладает такой же спорадичностью и протеистической адаптируемостью, как и сами языковые действия и взаимодействия говорящих, из совокупности которых этот материал складывается.

Смысл каждой грамматической формы в каждом случае ее употребления лежит на пересечении множества разнонаправленных факторов, Характер предметного значения слова, выступающего носителем данной формы, его стилевая и жанровая принадлежность, образная яркость, эмоциональная заряженность, потенциальное его место в высказывании и характер других слов и выражений, с которыми оно может в этом месте сочетаться, ситуативные и тематические параметры высказывания, наконец,

даже фонический облик словоформы (например, ее длина) — все эти факторы и их переплетения оказывают свое воздействие на характер смысла и потенциал употребления грамматической категории, реализуемой в данной словоформе в данном случае ее употребления[124]. Грамматическая категория в целом складывается из бесчисленных сопоставлений и пересечений этих разнородных и разнопорядковых смысловых пространств.

Если исходить из того, что между соотносительными рядами грамматических форм существуют регулярные противопоставления — такие, как противопоставление единственного-множественного числа, мужского-женского рода, первого-второго-третьего лица, настоящего-прошедшего-будущего времени и т. п., — придется признать, что в каждом конкретном случае, для каждой конкретной соотносимой пары, эта инвариантная основа обрастает специфическими вариантами, придающими каждому воплощению инвариантной корреляции уникальный характер. Говорящему, который в своем употреблении словоформы вздумал бы отправляться от ее инвариантного смыслового «ядра», пришлось бы иметь дело с огромным, более того, принципиально неперечислимым количеством факторов, влияющих на «варьирование» этого ядерного значения и определяющих его конкретное воплощение в конкретном употреблении. И сам набор таких факторов, и характер их воздействия изменялись бы от словоформы к словоформе, от контекста к контексту, от интонации к интонации. Учесть все это подвижное многообразие было бы невозможно. Этой проблемы, однако, не возникает для говорящего, для которого языковые формы существуют только в виде конкретных выражений, которые ему известны непосредственно, во всей целостной слитности их смыслового и стилевого потенциала.

Однако отрицать какую-либо значимость грамматической формы и грамматических категорий для употребления языка было бы такой же односторонней позицией, как пытаться построить модель употребления языка непосредственно на основе этих понятий. Грамматические категории играют важную роль в языковой деятельности — но не в качестве прямого руководства к действию, следование которому гарантирует для говорящего «правильность» языкового поведения, а в более косвенном, опосредованном и диффузном смысле.

Языковое мышление протекает в непрерывном взаимодействии, противодействии и балансировании между силами отталкивания и притяжения, между «монадной» раздробленностью и аналогической интеграцией языкового материала. Первая из этих тенденций направлена на то, чтобы приспособить языковой материал к уникальности каждого случая употребления. Малейшее изменение факторов, действующих в данном акте коммуникативной деятельности, ведет к переменам в конфигурациях языкового материала, всплывающего в сознании говорящего субъекта в связи с этим актом. Вследствие этого у говорящего нет никаких твердо установленных классов и понятий, на которые он мог бы опереться безотносительно к непрерывно меняющимся условиям его деятельности. Он имеет дело не с «классами», но с «полями», конфигурации которых летуче-изменчивы. Никакое, даже самое очевидное сходство между какими-либо частицами языкового материала не гарантирует, что при всех перипетиях языковой деятельности говорящий сможет полагаться на это сходство: в его практике всегда возможны (и, как правило, то и дело возникают) такие повороты, при которых пути употребления каждой из этих частиц расходятся, делая их сходство неприменимым для данного конкретного случая.

В 1960—1970-е годы, в эпоху бурного развития структурной и генеративной семантики, в лингвистической литературе пользовалась большой популярностью пара 'дантист' — 'зубной врач' в качестве примера «полных» синонимов. Казалось бы, что может быть более тесным и очевидным, чем сродственность этих выражений? И однако, если мы захотим сказать об «эпохе дантистов» в истории КГБ (в отличие от более рафинированных эпох «химиков» и «психологов»), подстановка выражения «зубной врач» даст нелепый результат: на этом повороте их коммуникативной биографии пути двух выражений, столь близких при иных обстоятельствах, внезапно и круто расходятся.

Тенденция языкового материала к монадной индивидуализации буквально выбивает почву из-под ног говорящего субъекта: вместо «почвы» ему приходится продвигаться в летучей эфирной субстанции, очертания которой изменяются с каждым движением его мысли. Такое положение сделало бы всякую деятельность невозможной, если бы оно не уравновешивалось стабилизирующими, интегрирующими, центростремительными процессами. Каждый шаг выводит говорящего в неведомое пространство, в котором любая частица его предыдущего опыта может оказаться не работающей так, как он мог бы, на основании этого прошлого опыта, рассчитывать; но вместе с тем, каждый сделанный шаг пробуждает в его сознании множество ассоциаций, аналогий, прецедентов, предлагающих себя в качестве потенциальных возможностей для данного случая. Многие из этих возможностей отпадут, или подвергнутся существенным трансмутациям, при следующем шаге; но, вместе с тем, этот следующий шаг вызовет к жизни множество новых связей, аналогий, ассоциаций, откроет множество новых возможных ходов развития.

Движение мысли говорящего открывает перед ним все новые аналогии, все новые прототипические положения, напоминающие ему о том, что он уже делал в сходной ситуации в своем прошлом опыте, облегчая оперативное принятие решений, конкретизируя условия и возможности выбора.

Процессы аналогических сближений и притяжений, интеграция языкового материала на основании просвечивающего в нем прототипа конденсируют этот материал в поля потенциальных возможностей, плотно обволакивающие каждое высказывание на всем протяжении его создания или восприятия; процессы адаптации к данной, неповторимой ситуации и неповторимому коммуникативному заданию все время размывают эти поля и изменяют их очертания. Потоки языкового материала, непрерывно обновляемые и реорганизующиеся благодаря ассоциативным притяжениям, придают запас прочности деятельности говорящего, обеспечивая его множеством возможностей; но эта мнемоническая база высказывания все время растекается, теряет определенность очертаний, сталкиваясь с уникальным стечением обстоятельств, возникающим при каждом новом ходе мысли, — с тем, однако, чтобы тут же обновиться и интегрироваться поновому за счет притока нового материала и новых организующих прототипов, вызванных этим самым ходом мысли.

Из этого следует, что говорящие нуждаются в постоянно действующих интегрирующих факторах. Мысль говорящего все время ищет и находит различные сходства между частицами языковой ткани, облегчающие их совместное употребление, и различные прототипические образцы, на основании которых эти частицы могут быть организованы в некое коммуникативное целое.

В своем поиске интегрирующих факторов говорящий субъект не связан

каким-либо предустановленным набором признаков или какой-либо иерархией этих признаков. Характер его интегрирующей мысли приспосабливается и к характеру того языкового материала, с которым он в данном конкретном случае имеет дело, и к характеру данной коммуникативной задачи так, как он ее понимает. Интегрирующий поиск в ситуации «интимного разговора» резко отличается по характеру и результатам от того, что может потребоваться в ситуации «академической лекции» либо при интерпретации «авангардного стихотворения». Те черты сходства, которые могут играть важную или даже определяющую роль в одной ситуации, и потому в этой ситуации немедленно бросаются в глаза, теряют свое значение и остаются как бы незамеченными в другой ситуации. Например, изоритмичность некоторых выражений либо наличие в их составе сходных звуковых комплексов могут служить важным фактором их аналогического притяжения в одном виде языковой деятельности и отступить на второй план, даже сделаться совсем несущественными в другом ее виде.

Среди множества разных признаковых каналов, через которые различные частицы языковой памяти втягиваются в интегрированное поле, признак формального сходства играет, как мы видели, чрезвычайно важную роль. Это — один из самых мощных факторов образования анало- гий, и к тому же самый простой и очевидный. Каждый раз, когда мы имеем дело со словоформами 'воды' и 'сестры' в составе разных известных нам фрагментов, в разных ситуациях их употребления, мы имеем возможность наблюдать сходство их формы. Это сходство делается тем более заметным и важным, если перед нами открывается возможность использовать его полезным образом, то есть если на каком-то повороте нашей языковой деятельности открывается перспектива, в которой эти словоформы втягиваются в состав одного, интегрированного для данного случая поля потенциальных употреблений. В этом случае формальное сходство, со всей его очевидностью, может послужить мощным инструментом аналогической интеграции.

Подобно любому другому фактору интеграции, формальное сходство само по себе не служит автоматической гарантией того, что аналогия между какими-то двумя формально сходными выражениями окажется уместной и приемлемой применительно к интересующему нас конкретному случаю. Но при наличии благоприятных обстоятельств (стечение которых никогда не бывает одинаковым и никогда не гарантируется) формальное сходство может сыграть решающую роль в интегрирующем процессе. Наличие формальных классов слов, легко выделяемых — хотя бы с некоторой степенью приблизительности — на основании простейших наблюдений и сопоставлений, дает говорящим мощный рычаг, направляющий процессы аналогических модификаций и «растяжений» языкового материала, без которых была бы невозможна языковая деятельность.

Способность говорящих распознавать сходства формы различных известных им выражений коренится в самом их языковом опыте. Каждый раз, когда говорящий накладывает шов по тождественной части двух фрагментов, он осознает формальное тождество совмещаемого компонента; каждый раз, когда он выбирает между целым рядом альтернатив развертывания высказывания, он осознает формальное сходство конкурирующих выражений как один из факторов, позволяющих им фигурировать в качестве альтернатив, равным образом подходящих к данному вакантному месту. Даже самый «наивный» говорящий, вовсе незнакомый с такими метаязыковыми понятиями, как «парадигма», «словообразовательное

гнездо», «синтаксическая схема», не может не сознавать пропорциональность рядов выражений типа 'он писал' / 'она писала' — 'он читал' / 'она читала' или 'он проснулся' / 'проснувшись, он ...' — 'он оделся'/'одевшись, он...'. Более типичный для современного мира случай состоит в том, что носитель языка в большей или меньшей степени приобщен к метаязыковому понятийному аппарату, в котором отображены регулярные соотношения между элементами языковой формы и зафиксирована их логическая классификация, пусть несовершенная и приблизительная. Обучение письму, изучение «школьной грамматики» и риторики, изучение иностранных языков — таковы те каналы, через которые большинство носителей языка в современном мире приобщаются к метаязыковому отображению своего непосредственного языкового опыта. Все эти сведения и понятия, будучи усвоены говорящим, сами становятся частью его языкового сознания. Вооруженный соответствующими приемами категоризации языкового материала, говорящий субъект уже не просто непосредственно «видит» аналогию между выражениями 'у окна' и 'к окну', 'стоял у окна' и 'стоя у окна', но категоризирует этот свой опыт как феномен «родительного» и «дательного падежа существительного», «личной формы глагола» и «деепричастия», «предикативной фразы» и «деепричастного оборота». Присутствие такого рода категорий в сознании говорящего субъекта не может не воздействовать на те процессы сопоставлений, соположений, выборов, в которых протекает вся его языковая деятельность.

Конечно, это воздействие не имеет абсолютного характера. Какое бы значение говорящий ни придавал имеющимся в его распоряжении метаязыковым классификациям, он никогда в своей языковой деятельности не станет руководствоваться этими сведениями как таковыми, буквально, вопреки тому, что подсказывает ему непосредственный опыт. («Никогда», то есть за исключением тех случаев, когда такое пренебрежение опытом в пользу метаязыкового правила оправдывается особым характером коммуникативного задания: например, если мы имеем дело с сюрреалистическим текстом, составленным как монтаж цитат из школьного учебника, или заняты концептуальным построением или проверкой очередной структурной закономерности в языке). В практической деятельности говорящего класс языковых явлений, объединяемых, скажем, понятием «родительного падежа существительного», не фигурирует как целое. В каждом конкретном случае говорящему приходится иметь дело с некоторым полем словоформ «родительного падежа», более или менее пригодных к данному случаю, а отнюдь не с целым формальным классом, выделяемым на основании данного признака. Каждый раз он имеет дело с каким-то «куском» этого класса, выкраиваемым заново для каждого случая в виде поля конкретных аналогий и прецедентов, подходящих к этому случаю. Разные такие «куски», или поля, отнюдь не соотносятся единообразно в качестве подклассов одного более общего класса, но скорее перетекают друг в друга или накладываются один на другой самым множественным, беспорядочным и неопределенно-подвижным образом.

И тем не менее, при всей хаотичности и неустойчивости процессов аналогической интеграции языкового материала, идея «родительного падежа существительного» как некоего целого не растворяется полностью в растекающихся по всем направлениям аналогиях. Тот факт, что все словоформы, которые можно охарактеризовать как «существительные родительного падежа», имеют определенное сходство, проступает за всей калейдоскопичностью условий их употребления. От внимания говорящего не

ускользает, что многие (хотя никогда — все) словоформы, обладающие этим сходствам, то и дело оказываются вместе в составе одного поля употребления и что многие аналогические сближения осуществляются в пределах, диктуемых этим формальным сходством.

Идея «родительного падежа» как единый языковой концепт проглядывает за всеми сближениями и расхождениями, группировками и перегруппировками выражений, в составе которых фигурирует соответствующая форма. Но она именно «проглядывает», то и дело перебиваемая и рассекаемая диффузностью языкового опыта, а не выступает в качестве монолитной и непреложной данности.

Грамматическое описание языка, в качестве упорядочивающей классификации языкового материала, стремится претворить диффузность и континуальность языковых употреблений в дискретную, единообразно и по возможности просто организованную систему. В такой перспективе, понятие грамматической категории отражает движение мысли лишь в одном направлении: от конкретности — к обобщению, от множественности — к единообразию, от непрерывного континуума частично сходных возможностей — к дискретности, от хаотического переплетения и нагромождения разных аналогических сближений — к логической непротиворечивости, наконец, от летучести и неустойчивости — к кодифицированному постоянству. Такой подход принципиально односторонен. Между тем, сущность языкового мышления говорящих состоит в том, что оно протекает в постоянной борьбе и взаимодействии между интегрирующими и дифференцирующими силами, между естественным интеллектуальным стремлением к обобщению и фиксации языкового опыта и столь же естественной диффузностью и летучестью непосредственных реакций, из которых складывается этот опыт, между устойчивостью хранимых в памяти прецедентов «правильных» употреблений и уникальностью каждой сиюминутной ситуации, делающими любые прецеденты лишь частично и относительно пригодными в качестве руководства к оперативным действиям в этой ситуации. В силу этого калейдоскопическая раздробленность, диффузность и неустойчивость значения и условий употребления отнюдь не составляют отрицательных свойств, которые необходимо преодолеть, чтобы постигнуть «идеальную» сущность грамматической категории; напротив, эти свойства составляют такую же неотъемлемую принадлежность категории, как и ее интегрирующий характер и связанная с ним тенденция к единообразию.

Говорящему необходимо ощущение того, что отдельные прецеденты употребления поддаются некоторому обобщению, что они складываются в интегрированные поля. Ощущение того, что где-то на заднем плане его языковой мысли, сквозь калейдоскопическое мелькание частных прецедентов употребления и частных аналогий между ними, проглядывает некое интегрированное целое, стимулирует интегрирующую работу его мысли, помогает находить все более сложные аналогии, все более далекие сопряжения между частицами языкового материала. Но это ощущение, вполне реальное в качестве аллюзионного стимула, остается совершенно иллюзорным и неуловимым в качестве твердо регламентированного руководства к действию. Говорящий все время стремится к интеграции, все время производит какие-то интегрирующие сопоставления и обобщения; но при этом он все время обнаруживает, что все эти интегрирующие усилия, хотя и помогли в конкретном случае языковой деятельности, однако ничуть не продвинули его в восхождении к полностью интегрированному

целому[125]. Идеал тотального единства, как вектор, направляет усилия интегрирующей мысли, но при этом остается неуловимым. Каждое завоевание интегрирующей мысли, притягивая в поле обобщения новые массы языкового материала, вносит вместе с ними все свойственное им разнообразие свойств, условий употребления, устремляющихся в разных направлениях ассоциаций; каждое усилие, направленное к интегрированному уловлению материала, создает новую неопределенность и множественность.

Для языковой деятельности конкретные частицы языкового материала являются первичной реальностью, существующей непосредственно и безотносительно в памяти говорящих, все же аналогии, обобщения, всевозможные манипуляции с этими частицами вырастают как нечто вторичное и производное на почве этой их непосредственной и абсолютной мнемонической заданности. Поэтому частицы языкового материала, втягиваемые силой аналогии в состав некоего интегрирующего поля, отнюдь не теряют всего многообразия и монадной уникальности своих свойств; напротив, они вносят эти свои свойства в поле, незаметным образом трансформируя его общий характер и свойства, как бы растягивая и видоизменяя его конфигурацию. Известный логический принцип, согласно которому увеличение объема понятия сопровождается редукцией его содержания, непреложный для всякой логической классификации, оказывается совершенно неприменим к описываемому явлению, именно в силу того, что языковая деятельность не имеет абстрагирующего и классифицирующего характера. В ситуации языковой деятельности, напротив, всякое расширение объема аналогического обобщения приводит и к расширению его содержания. Интегрированное поле языковых аналогий расширилось, включило в себя больше частных случаев — кажется, что это должно увеличить его обобщающую силу, приблизить его к конечному идеалу единства языкового механизма; но эти частные случаи, во всем многообразии своих параметров, вливаясь в обобщение, незаметным образом перерождают его. Каждая экспансия имеющегося в сознании говорящего аналогического обобщения означает не просто расширение «того же» обобщения, но его трансмутацию во что-то иное, отражающее особенности того материала, который оказался к него включен. Чем шире становится обобщающий охват, тем более многообразными и более далекими друг от друга делаются трансмутации обобщающей идеи, подрывая таким образом самую ее сущность как обобщающей идеи.

В процессе движения своей языковой мысли к обобщению и аналогии говорящий субъект все время незаметным образом изменяет свое представление о том, что, собственно, значит достигнутое им обобщение. Образ некоей обобщающей языковой идеи, к которой устремляются его интегрирующие усилия, все время изменяет свои очертания, являясь во все новых, изменчивых, подобно облаку, трансмутациях. Но этот «сизифов труд», при котором каждое достигнутое уподобление на пути к некоей обобщающей идее означает одновременно расподобление и трансформацию самой этой идеи, имеет, в отличие от своего мифологического прототипа, высоко положительное значение. Подобно Сизифу, говорящему никогда не удается достичь вершины обобщающей пирамиды; но это непрерывное, хотя и не продвигающееся ни на шаг обобщающее восхождение приобретает смысл, если оценивать его результаты не по отношению к идеальной и недостижимой цели, но по отношению к самому процессу, то есть непрерывно разворачивающейся языковой деятельности. Для под-

держания этой деятельности устремленность к объединяющей цели так же необходима, как та протеистическая множественность, в которой эта цель все время является говорящему в ходе его усилий приблизиться к ней. Специфичность и уникальность каждой частицы языкового материала в каждый момент ее употребления может воплотиться в некий конечный языковой продукт — высказывание — лишь в силу осознания прецедентов, аналогий, обобщающих приемов, помогающих говорящему находить опоры в летучем мире его языковой памяти. Но это осознание обобщающих и стабилизирующих факторов никогда не воплощается в устойчивую, обозримую и целостную идею; оно все время растекается, меняет очертания, как бы ускользает из виду. Именно эта мерцающая невоплощенность языковых обобщений позволяет говорящему субъекту поставить их на службу воплощению мысли в неповторимых и все время изменяющихся условиях, с которыми ему приходится встречаться в своей языковой деятельности.

Представим себе, что нам дан некий предмет, который мы имеем возможность наблюдать только сквозь прозрачную, но крайне неровную и неоднородную, мозаично раздробленную преграду. Эта преграда-медиум составлена из бесчисленных осколков разной формы и толщины, разной степени прозрачности и шероховатости, совмещаемых друг с другом под различными углами, в разных взаимных наложениях. Наблюдаемый сквозь такой медиум, наш предмет принимает «кубистически» раздробленные, многомерные, зыблющиеся очертания; эти очертания к тому же меняются при малейшем нашем движении, поскольку каждый раз смещается причудливое сочетание углов между различными осколками, сквозь которые мы смотрим, и при малейшей смене освещения. Путем многих проб, многих более или менее удачных опытов мы научаемся так манипулировать нашим положением в пространстве, углом зрения, эффектами освещения, чтобы предстающий нам образ предмета каждый раз принимал очертания, приблизительно соответствующие нашим ожиданиям. Конечно, при таком способе работы с предметом нам никогда не удастся ни полностью учесть, ни полностью взять под контроль все бесчисленные «побочные эффекты», возникающие при такого рода манипуляциях; но этого и не требуется для того, чтобы, опираясь на интуицию и опыт, научиться достигать удовлетворительных, а иногда и чрезвычайно выразительных и эффектных результатов.

Во всех этих манипуляциях мы исходим из представления о нашем предмете как о некоем целом — но таком целом, которое дано нам только в бесконечных раздроблениях и пере группировках. Мы принимаем предмет таким, каким он нам предстает в той среде, в которой мы его воспринимаем, а не таким, каким он мог бы оказаться «сам по себе», если бы этой среды не существовало. Более того, все бесчисленные манипуляции с образом предмета, вся эта игра, никогда полностью не контролируемая, но вместе с тем не знающая пределов виртуозности и выразительности, оказывается возможной только в силу нашего принятия этих условий существования предмета, во всей их разнородности и раздробленности.

Вопрос о том, каковы очертания предмета «на самом деле», в отвлечении от среды, в которой он нам является, может и должен возбудить наше интеллектуальное любопытство. Чтобы ответить на него, нам придется разрабатывать все более изощренные аналитические процедуры, позволяющие учесть и скорректировать различные аберрации, исходящие от передающей среды, и соответственно строить все более остроумную «мо-

дель» предмета, очищенную от этих аберраций. В идеале все аберрации должны быть учтены, так что все метаморфозы образа, в котором нам является предмет, будут выводиться закономерно из его имманентной модели. Но этот идеал все время ускользает; чем более подробно нам удается описать фактуру тех или иных осколков, тем больше открывается новых вопросов о том, какие эффекты могут возникать при тех или иных соотнесениях этих осколков и как эффект каждого такого соотнесения изменяется в соположении с другими факторами, и так до бесконечности; каждый полученный ответ открывает новые вопросы, и конечный результат отодвигается в неопределенное будущее.

Однако в своем интуитивном обращении с предметом мы действуем поиному. Для этой цели нам необходима не идеальная модель предмета, но его образ; нас интересует не то, чем этот предмет «мог бы» или «должен был бы» оказаться ноуменально, в некоей воображаемой идеальной ситуации, в которой он мог бы быть отделен от воздействия передающей его и воплощающей его среды, — но его отображения, которые нам предстают именно через посредство этой среды. Сам предмет, как целое, существует для нас только в этом бесчисленном разнообразии своих воплощений[126].

Мне кажется, что грамматические формы и грамматические категории отнюдь не теряют своего значения, если принять их во всей раздробленности и разнородности картины, которую являет употребление каждой формы и каждой категории, не стремясь искусственно представить этот феномен в виде единого и устойчивого конструкта, устремленного к идеалу Gesamtbedeutung. Такая постановка задачи не должна восприниматься как простая капитуляция перед невозможностью дать описание, которое полностью учитывало бы всю множественность и изменчивость факторов диффузии, раздробляющих монолитный образ категории, — но как позитивная задача, направленная на познание той принципиальной раздробленности и пластичной неустойчивости языкового обобщения, с которой мы имеем дело в своей повседневной работе с языковым материалом.

Грамматическая категория, понимаемая таким образом, предстает не как инвариант, единообразно реализуемый в различных конкретных выражениях, но как конгломерат этих выражений, интегрированный конкретными прецедентами их параллельных употреблений, взаимных замещений и ассоциативных притяжении. Такой конгломерат по необходимости образует многомерное смысловое пространство, разные ячейки которого сложнейшим образом накладываются друг на друга.

Калейдоскопическая пестрота и подвижность смысла грамматической категории так же важна, как ее единство, основанное на ассоциациях между полями сходных по виду и по употреблению словоформ. Идея единства, проявляющаяся через все дробления и сдвиги, оказывается в конечном счете наделенной более мощным интегрирующим потенциалом, чем униформное обобщение. Такая идея не ограничивается одним, раз навсегда сформулированным «общим значением», но аккумулируется как многомерный смысловой континуум, присутствие которого ощущается при всех сменах его очертаний, происходящих при каждой перемене условий его появления в речи.

Чтобы проиллюстрировать способность грамматической категории, протеистически изменяясь и адаптируясь к различным условиям употребления, сохранять в то же время множественно интегрированное единство, рассмотрим с достаточной степенью подробности одну грамматическую категорию русского языка.

9.2. ФУНКЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ: УПОТРЕБЛЕНИЕ КРАТКИХ И ПОЛНЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Возможность альтернативного употребления краткой и полной формы прилагательного (в дальнейшем — Sh и L) в роли именного предиката и связанные с этой возможностью формальные, смысловые и стилистические факторы, определяющие выбор одной из форм, являются интересной и характерной чертой современного русского языка. История изучения этого вопроса связана с различными попытками найти такой инвариантный признак (или иерархически организованный набор признаков), на основании которого можно было бы противопоставить эти формы друг другу во всех случаях их употребления в речи, объяснив таким образом логику выбора каждой из них в каждом конкретном случае.

Наиболее широко известное решение проблемы состоит в том, что выбор краткой или полной формы признается зависящим от отношения выражаемого прилагательным признака ко времени: L представляет признак в качестве постоянного свойства субъекта, тогда как Sh обозначает признак, ограниченный во времени; ср. *Он был больной* 'у него было плохое здоровье' и *Он был болен* 'он болел (некоторое время в прошлом)'.[127]

Такое определение остроумно объясняет целый ряд конкретных случаев, реально наблюдаемых в речи; но оно же оказывается совершенно неприменимым ко многим другим случаям, столь же обычным в практике употребления языка. В частности, именно Sh обязательна во многих научных определениях, философских сентенциях, общежитейских суждениях, несмотря на то что такого рода выражения имеют панхронический характер, то есть утверждают признак, не ограниченный во времени: *Треугольники ABC и DEF подобны. Выражение X многозначно. Жизнь прекрасна.*

С другой стороны, некоторые другие научные определения, казалось бы, совершенно аналогичные предыдущим и по стилю, и по смыслу, требуют как раз L: *Эти прилагательные — краткие. Угол ABC — прямой.*

Очень часто в языковой практике встречаются параллельные выражения как с Sh, так и с L, равным образом обозначающие постоянное свойство либо равным образом относящиеся к ограниченному по времени состоянию. Так, к обоим альтернативным выражениям *Он (был) болен я Он (был) больной* можно с одинаковым успехом (хотя и с различным стилевым эффектом) присоединить указатели как панхронического характера, типа ' всегда', ' постоянно', ' всю жизнь', так и имеющие ограничительное временное значение: 'сейчас', 'сегодня', 'вчера', 'в прошлом году'.

Столь очевидные противоречия традиционной интерпретации[128] побудили авторов большинства работ на эту тему, появившихся в последние тридцать лет, искать иные инвариантные признаки, которые обладали бы большей объяснительной силой. Назовем наиболее важные из них.

1) Указывалось, что Sh часто обозначает (или подразумевает) различные степени признака, тогда как L выражает признак абсолютно, безотносительно к степени его проявления[129].

2) Согласно интерпретации, предложенной Н. Ю. Шведовой,[130] L выражает отвлеченное качество, свойственное целому классу, к которому принадлежит данный предмет, тогда как Sh приписывает свойство непосредственно данному предмету. В высказываниях *Китайский язык труден.*

Это вино вкусно — речь идет о нашем непосредственном впечатлении от предмета, безотносительно к каким-либо обобщениям; но высказывания *Китайскийязык трудный. Это вино вкусное* — подразумевают, что данный предмет принадлежит к разряду 'трудных языков' или 'вкусных вин'.

3) Наконец, еще одна линия исследований обращает внимание на то, что в современном употреблении L и Sh сохраняется противопоставление определенности vs. неопределенности грамматического субъекта, которому приписывается признак, то есть значение, которое было присуще членной и именной форме прилагательного в древнецерковнославянском языке[131].

Каждая из этих интерпретаций удачно объясняет целый ряд конкретных примеров. Более того, интуитивно ощущается, что каждая из них имеет непосредственное отношение к описываемому явлению, верно схватывая какую-то его сторону. Каждое из найденных различными исследователями свойств L и Sh проявляется, более или менее выпукло, в целом ряде благоприятствующих случаев; однако попытка возвести любое из этих свойств в ранг «общего значения», представить его в качестве общего правила немедленно наталкивается на контрпримеры. Так, идее об абсолютности и/или объективности свойства, выражаемого L, противоречит широкое употребление Sh в научных определениях, которым как раз присуще объективное и абсолютное значение. Обобщенный, родовой характер признака, выражаемого L, больше зависит от характера предмета, чем от самой этой формы как таковой: если выражение *Китайский язык трудный* удачно интерпретируется в том смысле, что данный язык принадлежит к классу трудных языков, то выражение *Этот чемодан очень тяжелый* едва ли можно без натяжки истолковать в том смысле, что данный предмет принадлежит к классу очень тяжелых чемоданов.

Смысловое соотношение выражений с L и Sh осложняется стилистическими различиями. Со времени Пешковского принято считать, что L тяготеет к разговорному и неформальному стилю, Sh — к книжному и формальному[132]. Но уже Виноградов упоминает такие случаи, противоречащие этой картине, как употребление L в высоком поэтическом стиле[133]. В последующих работах было показано со все большей подробностью, что обе альтернативные формы в принципе обладают широким стилевым спектром, хотя в отдельных конкретных случаях соотносительные выражения с L и Sh могут быть четко противопоставлены стилистически[134]. Остается, однако, невыясненным, каким образом стилистические и смысловые параметры соотносятся между собой: имеется ли какая-либо связь между различной стилистической окрашенностью, свойственной разным конкретным выражениям с L и Sh, и различными аспектами их значений?

Эти трудности побудили некоторых исследователей вовсе отказаться от смысловой интерпретации, переведя проблему в план формальных синтаксических отношений. Различие между выражениями с L и Sh объясняется в этом случае тем, что они, несмотря на внешнее (поверхностное) формальное сходство, имеют различную глубинную синтаксическую структуру, которой соответствует различная трансформационная история: Sh непосредственно присоединяется к связке в качестве именного предиката, тогда как L в роли предиката представляет собой трансформ именной фразы. Так, выражение *Елка была высока* складывается непосредственно из сочетания субъекта 'елка' и предиката 'была высока'; Sh, в сочетании со связкой, выступает в такой же синтаксической роли, как глагольный предикат. Но выражение *Елка была высокая* заключает в своей трансформаци-

онной истории две разные фразы: предикативную — *елка была* и атрибутивную — *высокая елка',* иначе говоря, смысл такого выражения интерпретируется как '(эта) елка была высокая елка'.[135]

Множественность и разбросанность получающейся картины, наличие контрпримеров, встающих на пути любой конкретной интерпретации, не означает, однако, что в рассмотренных выше гипотезах мы имеем дело с «неправильно» сформулированным признаком, который должен быть заменен каким-то другим, лучше объясняющим доступный нашему наблюдению корпус примеров. Специфика подхода, предлагаемого на этих страницах, состоит в том, что он вообще не исходит из возможности и необходимости формулирования единого инвариантного признака, который возвышался бы над всем конкретным материалом и его частными обобщениями в качестве вершины пирамиды. Напротив, основой нашего анализа будет служить представление о языковом употреблении и языковых функциях, принципиально избегающее телеологической направленности к последнему и конечному, обладающему полной обобщающей силой решению.

В предыдущей секции этой главы уже говорилось о том, что совокупность реально встречаемых в языковой деятельности случаев употребления какой-либо языковой формы представляет собой поле, в котором взаимодействуют различные факторы — синтаксические, интонационные, смысловые, образные, — имеющие разное значение и разную силу. Более того, и значение, и относительная весомость каждого из таких факторов представляют собой переменную величину; она изменяется в зависимости от наличия и характера других взаимодействующих с ним факторов, а также от общих коммуникативных, стилевых, ситуационных условий употребления.

В силу такой множественности и переменности действующих сил, описываемый феномен — в данном случае выбор формы прилагательного в предикативной позиции — приобретает подвижный, динамический характер. Он не столько «реализует» некую изначально заданную твердую систему ценностей и правил, сколько «развертывается» в разнообразных, все время меняющихся конфигурациях, отражающих переменный набор признаков и тех ценностей, которые эти признаки каждый раз приобретают во взаимодействии друг с другом в конкретных (тоже все время меняющихся) коммуникативных условиях.

Не следует думать, что динамический подход означает отказ от понимания грамматической категории как целого, растворяя ее в бесконечных «частных случаях». Просто характер обобщения и интеграции в этом случае оказывается иным; его предметом становится взаимодействие и пластические перевоплощения различных факторов как общий принцип, согласно которому говорящие осуществляют выбор и осмысление языковых форм. Будучи однажды продемонстрирован с достаточной убедительностью, этот принцип может затем применяться ко все новому материалу, все новым ситуациям. В этих ситуациях первоначально продемонстрированные параметры будут подвергаться все новым трансформациям — при сохранении, однако, общего принципа их динамического взаимодействия. Такой подход отказывается от попыток построить языковую машину, способную автоматически порождать неограниченное число эмпирически правильных языковых фактов; динамическая модель — это такой «механизм», который сам все время изменяется в процессе своей работы. Его невозможно поэтому «построить» в буквальном смысле — но можно описать общий характер его работы.

Обращаясь с этой точки зрения к различным случаям употребления краткой и полной формы прилагательного, можно высказать предположение, что различие между этими двумя формами лежит не в значении приписываемых субъекту признаков как таковых; но скорее — в том, как, каким способом эти признаки приписываются субъекту. Это различие отражает опыт употребления каждой из форм — все поле прецедентов употребления, в составе которого каждая форма существует в представлении говорящих.

L участвует в выражениях двоякого рода, занимающих различное место в контурах высказываний: с одной стороны, в сочетании со связкой, то есть в качестве именного предиката, и с другой — в сочетании с существительным, в качестве его атрибута. Между этими двумя типами выражений имеется тесная связь; выражения с L в роли предиката и в роли атрибута часто имеют тождественный словесный состав, так что различное синтаксическое расчленение отмечается лишь разным расположением слов: *Было I сырое и туманное утро* (связка 'было' — сказуемое, 'сырое и туманное утро' — именная фраза: подлежащее со своими атрибутами)— *Утро было туманное и сырое* ('утро' —подлежащее/было туманное и сырое' — предикативная фраза: составное сказуемое). Более того, в силу широких возможностей свободного словорасположения, свойственных русской речи, даже это формальное различие может затушевываться всевозможными вариациями порядка слов, имеющими разные стилистические и эмоциональные оттенки. Например, в следующей фразе из Достоевского («Белые ночи»): *Небо было такое звездное, такое светлое небо* — читатель сначала интерпретирует L в первой части фразы, на основании порядка слов, как предикат ('Небо / было такое звездное'); однако во второй части фразы аналогичные по форме прилагательные явно выступают в роли атрибутов ('было / такое звездное, такое светлое небо'), что дает возможность ретроспективной переоценки их роли и в первой части фразы как атрибутов, которые оказались в позиции после связки лишь в силу «поэтической» инверсии.

Такого рода соскальзывания от одного типа выражений к другому возможны не только в литературном стиле, но и в непринужденной разговорной речи. Сравним полную естественность для разговорной речевой ситуации таких оборотов, как *Эта книга совсем слабая, совсем слабая книга,* — где первоначальное утверждение и его перифраза-подтверждение по-разному располагают субъект и относящееся к нему — то ли в качестве атрибута, то ли в качестве именного предиката — прилагательное. В сущности, говорящим в таких случаях нет необходимости делать четкий выбор между двумя альтернативными контурами: «мерцающее» совмещение двух разных ходов языковой мысли составляет неотъемлемую характеристику такого рода высказываний. Можно утверждать, что в языковых представлениях говорящих проглядывает неопределенно большое число сходных выражений-прототипов, в которых различие между атрибутивной и предикативной фразой с участием L затушевывается, принимая характер полутонов, тонких оттенков, легко соскальзывающих один в другой, в зависимости от контекста и интонационного воплощения фразы.

С другой стороны, предикативная роль Sh фиксирована, в силу того, что в опыте говорящих атрибутивных выражений с этой формой просто не существует. Поэтому предикативность Sh (то есть противопоставленность, совместно со связкой, субъекту-существительному) сохраняется независимо от перемещений ее в высказывании относительно субъекта и не за-

тушевывается разговорной или поэтической инверсией. Например, в стихе *Просты мои песни и грубы* (Демьян Бедный) — тот факт, что одно из прилагательных предшествует существительному, а другое следует за ним, нисколько не затушевывает строй фразы, в котором оба прилагательных недвусмысленно выступают в предикативной роли.

Тесная аналогическая связь между атрибутивным и предикативным употреблением L накладывает свой отпечаток на тот смысл, который эта форма получает в роли сказуемого: попадая в предикативную позицию, L сохраняет оттенок атрибутивности; заняв место предиката в контуре высказывания, полная форма как бы «растягивает» смысл этой позиции, привнося в нее отпечаток своих употреблений в качестве атрибута, непосредственно относящегося к существительному.

Различие между атрибутивной и предикативной отнесенностью признака к предмету состоит в том, что в первом случае признак как бы растворяется в предмете как его неотъемлемая часть; в выражении *тихая ночь* речь не идет о 'тишине' и 'ночи' как двух раздельных компонентах смысла, но именно о 'тихой ночи' как целостном представлении. С другой стороны, эффект предицирования состоит в том, что мы активно приписываем данный признак данному предмету. Выражение *Ночь тиха* исходит из первичной идеи 'ночи', отвлеченной от признака 'тишины'; утверждение о том, что данный предмет характеризуется наличием у него данного признака, и составляет цель и смысл высказывания. Мы получаем представление о принадлежности данного признака данному предмету именно в силу того, что говорящий создал высказывание, чтобы сообщить нам об этом.

Это интерпретирующее, квалифицирующее, анализирующее отношение к предмету, направленное на то, чтобы приписать ему некоторый признак, ослаблено в случае, когда в предикативной позиции оказывается L. Конечно, всякий акт предицирования до некоторой степени предполагает интерпретирующую позицию говорящего по отношению к предмету высказывания; ведь предикат — это и есть то, что говорящий «сообщает» о данном предмете. Но в выражении с L аналитическое отношение к предмету размывается прецедентами атрибутивного употребления этой формы. Говорящий не расчленяет предмет и его свойство; он представляет предицируемый признак как непосредственно «присущий» данному предмету — как неотъемлемую часть той общей картины, которую являет собой данный предмет. Акт предицирования признака формой L высвечивает для нас предмет в его целости и непосредственности, обращает наше внимание на то, что он таков, каков он есть. Роль говорящего по отношению к предмету оказывается пассивной: не он совершает операцию над предметом, вычленяя в нем и приписывая ему некое свойство, но скорее предмет производит на него определенное «впечатление», оборачивается к нему такой стороной, при которой становится видно это свойство. Высказывание такого рода не представляет собой суждение о предмете, но скорее передает целостное ощущение предмета как данности, на которую говорящему остается лишь указать; оно приобретает скорее деиктический, нежели анализирующий характер.

С деиктическим оттенком тесно сопряжен апеллятивный оттенок, также присущий высказываниям с L. Указывая на предмет, как бы под влиянием непосредственного впечатления, говорящий тем самым приглашает собеседника разделить с ним это впечатление. Понять такого рода высказывание — означает не столько принять к сведению его смысл, сколько приобщиться к тому ощущению, которое данное высказывание вызывает в виде

целостного, нечленимого образа. В высказывании-суждении, модус которого задается Sh, на первый план выдвигается каузальный подтекст: те подразумеваемые «почему» и «для чего», в силу которых говорящий счел нужным сообщить данное сведение о предмете. Но в высказывании-указании на первый план выдвигается эмпатический, апеллятивный подтекст: ожидание, что адресат примет предмет в этом его состоянии как данность, как впечатление, не подлежащее расчленению и анализу.

Например, высказывания с Sh типа *Он смертельно болен. Он несчастен в личной жизни* имеют объяснительный смысл. Говорящий произносит свое суждение на основании имеющегося у него «знания» о субъекте, а не на основе производимого субъектом впечатления; состояние субъекта, о котором нам сообщается, может никак не проявляться в том внешнем впечатлении, которое он оставляет: он может казаться здоровым или веселым, а между тем говорящему известно, что он болен или несчастен, и он хочет поделиться этим своим знанием с адресатом. Но в высказываниях *Он совсем больной. Он такой несчастный* речь идет именно об образе субъекта, несущем на себе печать этого своего состояния. Говорящий выражает свое впечатление/ощущение и стремится передать это впечатление адресату. В первом случае адресат «узнает» нечто о предмете высказывания; во втором — он приобщается к тому впечатлению от предмета, которое ощущает и которое стремится выразить говорящий.

Различие смысловой перспективы, задаваемой двумя формами, проявляется также в том, что в случае с Sh в фокусе внимания оказывается признак, приписываемый предмету, тогда как в случае с L внимание сосредоточено на самом предмете, несущем этот признак.

Это различие с полной безусловностью проявляется в безличных предложениях. Безличные предложения принципиально «беспредметны», они исключают определенное, конкретизированное представление о субъекте высказывания. В этих условиях предикат в форме L оказывается полностью невозможен: ведь такой предикат должен выдвигать на первый план именно представление о предмете. Вот почему конкуренция двух предикативных форм существует только в личной конструкции:

Ночь была тиха и светла. — Ночь была тихая и светлая. Но в безличном предложении возможно только Sh: *Ночью было тихо и светло.* Безличное предложение представляет собой наиболее радикальный случай утверждения признака в отвлечении от предмета, и этому его свойству хорошо соответствует функция, выполняемая Sh. Характерное отклонение от этого принципа находим, однако, в сцене из «Носа» Гоголя, когда цирюльник Иван Яковлевич обнаруживает нос, запеченный в хлебе:

Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «П л о т н о е!— сказал он сам про себя, — что бы это такое было?»

Хотя предмет речи здесь предстает в «анонимной» замаскированности, типичной для безличного предложения, его осязаемость, «предметность» ощущения всячески подчеркнута; этим и вызывается предпочтение L. Ср. аналогичное различие в смысле таких выражений, как *Тут мокро. Горячо!,* с одной стороны, и *Тут мокрое. Горячее!*— с другой. Первые передают ощущение как таковое, безотносительно к вызвавшему его предмету, вторые — сообщают о «некоем предмете» (пусть еще не опознанном), вызвавшем данное ощущение.

Модус целостного образа, непосредственного ощущения, сообщаемый высказыванию полной формой, и модус суждения о субъекте, сообщаемый краткой формой, отнюдь не являются «общими значениями», способными

сами по себе объяснить все разнообразие употреблений каждой формы. Дело в том, что они вовсе не являются какими-либо определенными значениями, а именно разными модусам и, в которых может быть представлен тот или иной смысл. Поэтому их роль может по-разному проявляться в различных ситуациях, в зависимости и во взаимодействии с многими факторами: такими, например, как характер субъекта (одушевленный или неодушевленный, конкретный или абстрактный); характер признака (конкретно представимый или отвлеченный, имеющий или не имеющий оценочный оттенок); отношение высказывания к более общему содержанию коммуникации и к той подразумеваемой ситуации, в которой и по поводу которой это высказывание создается; взаимоотношения между говорящим и адресатом; стилистическая и жанровая фактура сообщения. В этой переменной смысловой и стилевой среде модус каждой формы проявляется как смысловой «вектор», который, взаимодействуя со всеми другими факторами, каждый раз дает несколько иную равнодействующую, имеющую несколько иную смысловую и коммуникативную направленность.

Можно сказать, что картина предмета, наделенного теми или иными признаками, предстает в различной перспективе, как бы в разном освещении, в зависимости от того, выражены ли данные признаки полной либо краткой формой адъективного предиката. Но в зависимости от многих переменных условий это различие перспективы дает разные результирующие эффекты; оно воплощается во множестве конкретных значений, образующих целый континуум смыслов. В одних ситуациях на первый план выступает различие в интерпретации самих признаков: их постоянного либо переменного характера, относительности либо безусловной заданности, степени их существенности для понимания предмета, степени их «объективности» либо, напротив, импровизационной окказиональности. В других — различие перспективы не вносит каких-либо существенных изменений в понимание признака как такового, но проявляется в первую очередь в характере позиции, занимаемой говорящим по отношению к предмету сообщения и к адресату: позиции интимного соучастия либо формально-отстраненного обмена суждениями, непосредственно адресованного апеллятивного «жеста» либо объективированного сообщения. Иногда, наконец, это различие отражает не столько подразумеваемые отношения говорящего и адресата, сколько различную жанровую рамку сообщения: высказывание приобретает оттенок «разговорности» либо «научности», эмоционально заряженной импровизационности либо отчетливой и резкой аподиктичности, непритязательной небрежности либо ораторского или поэтического пафоса.

Рассмотрим некоторые линии, по которым происходит эта игра различных коммуникативных сил, воплощающая значение каждой из конкурирующих форм во все новые, бесконечно разнообразные конфигурации.

1) Предметное содержание сообщения.

Целостное образное отношение к предмету, к которому тяготеют высказывания с L, проявляется в предпочтении для этого типа высказывания квалифицирующих признаков, способных вызывать непосредственное образное представление. И напротив, высказывания с Sh естественным образом обращаются с признаками, имеющими отвлеченный смысл, невоплотимый в осязаемом образе. Это различие наглядно проявляется в тех случаях, когда какое-либо физическое свойство подвергается метафорическому переосмыслению, приобретая более отвлеченный смысл; отражением такого сдвига служит предпочтение, оказываемое в этом случае

Sh. Сравним:

Голос у него негромкий. Он совсем простой. Мой дар убог, и голос мой негромок. (Баратынский) Зорич был очень прост. (Пушкин)

В первом случае речь идет о конкретных, образно представимых свойствах: 'негромкость' как тембр голоса, 'простота' как определенная внешность и манера поведения. Во втором — эти свойства получают вторичный, метафорический смысл, невоплощаемый в чувственный образ: негромкость поэтического голоса символизирует определенную эстетическую позицию, простота интерпретируется как 'наивность, глупость'. Этому различию соответствует предпочтение L для первого случая и Sh — для второго.

Характерен следующий пример из басни Крылова «Волк на псарне» — слова «ловчего»-Кутузова, обращенные к «волку»-Наполеону:

Ты сер — а я, приятель, сед!

Употребление в этом случае L лишило бы фразу всякого смысла; она превратилась бы в простое указание на цвет шкуры «волка» и цвет волос «ловчего». Но Sh придает физическим свойствам вторичную символическую ценность: «серый» цвет выступает как знак лицемерного камуфляжа, седина — как символ житейской мудрости и опыта.

Сказанное, конечно, не означает, что высказывания с L всегда имеют дело с физически осязаемыми свойствами, а высказывания с Sh — с абстрактными; такое различие наглядно проявляется лишь в случаях, подобных приведенным выше, когда эффект символического переосмысления признака вызывает явный сдвиг в значении прилагательного. В большинстве случаев такого резкого сдвига не происходит, так что один и тот же признак с равным успехом воплощается в обеих конкурирующих формах. Но и в этих случаях воплощаемый признак получается не совсем «одним и тем же». Тяготение к аналитической абстрактности, исходящее от формы Sh, может придавать даже физически конкретному признаку оттенок всеобщности, освобождая его от связи с определенной, конкретно представимой ситуацией:

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!

Чуден Днепр при тихой погоде. (Гоголь)

Сравним выражение типа *Погода чудная,* где отношение к предмету приобретает характер деиктической непосредственности: такое высказывание указывает на состояние погоды «здесь» и «сейчас».

В этом случае определяющую роль играет не характер самого признака как такового, но скорее общий характер подразумеваемой ситуации: ее конкретность, непосредственное наличие, делающее естественным «указательный» языковой жест, либо, напротив, поэтическое обобщение, возвышающееся над конкретно представимой картиной.

Однако и характер ситуации не является конечной инстанцией, определяющей выбор формы прилагательного. Естественное тяготение более конкретных и осязаемых ситуаций к L и более обобщенных и абстрагированных к Sh может перекрываться влиянием, исходящим от стиля и жанра сообщения. Смысл высказывания, несущего отпечаток торжественной книжности, либо поэтической приподнятости, либо аподиктической категоричности, не ограничивается одним конкретным актом сообщения, но апеллирует к более широкому и абстрактному адресату. На этих стилевых «подмостках» высказывание как бы возвышается над эмпирической конкретностью, даже если его непосредственный смысл относится к опреде-

ленной, конкретно представимой ситуации:

Ты бледен, речь твоя сурова. (Пушкин)

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит. (Лермонтов)

«Перевод» такого рода высказываний в модус эмпирически конкретного, непринужденного контакта между говорящими даст выражения типа *Какой ты бледный! Ночь совсем тихая!* Сравним пример из Маяковского, где традиционно поэтический пейзаж подается с непринужденной интонацией, нарочито лишенной «литературности»; этой стилевой установке соответствует появление L:

Будто бы вода — давайте мчать болтая,

Будто бы весна — свободно и раскованно!

В небе вон луна такая молодая,

Что ее без спутников и выпускать рискованно.

Итак, большая или меньшая образная воплотимость признака, более или менее конкретный или обобщенный характер ситуации, наконец, более непринужденный либо книжно сублимированный модус сообщения — таковы различные оси смысловых тяготений, взаимодействие которых определяет вектор выбора одной из конкурирующих форм прилагательного. Результирующий эффект почти никогда не бывает полностью и заведомо предсказуемым, потому что он не зависит исключительно от одного из этих факторов. Если один из признаков выражен более явно, недвусмысленно тяготея к определенному полюсу выбора, весомость других признаков соответственно снижается, как бы отступает на второй план. Например, чем отчетливее тяготеет смысл выражения в сторону выбора одной из форм, тем большую вариабельность стилистических условий допускает и может адаптировать такой выбор. И напротив, если смысловой фактор выражен не так отчетливо — стилистический характер высказывания выступает на первый план в качестве определяющего критерия выбора.

Такие выражения, как *Человек он был простой. Голосу него был негромкий и приятный,* по самой сути обозначаемой ситуации естественно тяготеют к выбору L. Поэтому стилистический спектр их употребления относительно широк и свободен — от непринужденного разговора до беллетризованных форм повествования. С другой стороны, форма Sh, будучи применена к такого рода ситуациям, вызывает эффект нарочитого повышения стиля, даже ходульности. Краткая форма в этом случае делается возможной только тогда, когда стилистическая сублимация достигает такой резкости, что перекрывает конкретность и предметность самого признака. Таков, например, отзыв о Ленине в очерке М. Горького, произносимый неким анонимным «рабочим»: *Прост, как правда.*

Однако чем более абстрактным и/или «высоким», относящимся к духовной сфере, является значение признака, тем с большей естественностью допускает он воплощение в форме Sh — тем, соответственно, свободнее становятся стилистические условия употребления этой формы. В частности, переносное употребление признака 'простой', о котором говорилось выше, возможно с Sh и в непринужденной речи: *Ну и прост же ты, братец!* (то есть 'глуп, наивен'). Соответственно, такой признак оказывается труднее воплотить в форме L. В этом случае суживается стилистический спектр полной формы: она может появиться только в подчеркнуто непринужденной, даже нарочито непритязательной речевой ситуации. Так, печать явной разговорности лежит на выражении *Эта книга, действительно, прекрасная;* без вставной конструкции, подчеркивающей «импровиза-

ционность» фразы, ее трудно было бы употребить даже в разговорной речи. Но уже выражение *Погода была прекрасная* обладает более широким стилистическим спектром употребления: от разговорной речи до литературного повествования. Различие состоит в том, что феномен 'прекрасной погоды' отличается большей предметной осязаемостью, чем феномен 'прекрасной книги'. В одном случае более благоприятные смысловые предпосылки употребления L допускают большую гибкость стилистических условий, в которых может произойти выбор этой формы; в другом — употребление L оказывается возможным лишь при условии резкой стилистической маркированности, перекрывающей тяготение смысла ситуации к Sh.

2) Позиция говорящего.

Вернемся к исходному тезису о том, что Sh задает модус «суждения» о предмете, а L — модус «представления» предмета. Это различие определяет разницу в самоощущении говорящего в его отношении к предмету своего высказывания. Модус суждения определяет стремление к четкости, точности, аподиктичности; модус представления, напротив, тяготеет к импрессионистичности и импровизационности. Поэтому всякое уточнение вводимого признака, обставление его квалифицирующими ограничениями (прямо упоминаемыми либо подразумеваемыми) расширяет возможности употребления Sh; и напротив, подчеркивание неточности, субъективной приблизительности признака повышает вес L.

Например, выражения *Он серьезно болен. Он болен эпилепсией. Он был болен два года* практически не допускают возможности употребления L. Последняя, однако, естественным образом появляется в высказываниях типа *Он ведь больной. Он совсем больной,* в которых признак не получает точной квалификации, растворяясь в неопределенно-целостном образе.

По этой же причине Sh явно предпочитается в выражениях с подразумеваемым объектом, даже если последний прямо не назван: *Он виноват* ['в чем, перед кем']; *Как похож!* ['на кого']; Ты, *кажется, влюблен* [*'в* кого']. В эту же категорию попадают все выражения со страдательным причастием: *написан, сломан, рассказан* ['кем']. Во всех подобных случаях смысл ситуации предполагает некое ограничение, определенное условие, которым обставляется наличие данного признака. Такой квалифицирующий, аналитический подход к ситуации естественно укладывается в смысловую перспективу, задаваемую Sh.

В этих неблагоприятных для нее смысловых условиях L может появиться только при поддержке сильной стилистической компенсации — в условиях явной сниженности, даже субстандартности речи. Ср. знаменитый возглас Катюши Масловой в «Воскресении»: *Не виноватая я!* — в котором наглядно предстает социальная пропасть, отделяющая ее от Нехлюдова.

С другой стороны, добавление выражений, создающих эффект приблизительности, импрессионистической субъективности,— таких, как 'будто', 'словно', 'как', 'как бы', 'как будто', — резко повышает тяготение в сторону L: *Ты словно мертвый. Этот домик как нарисованный. Платье как будто вырезанное из модного журнала.* В последнем случае, как видим, даже наличие причастия и уточняющего объекта не препятствует появлению L, поскольку выражение *как будто* аннулирует (или, по крайней мере, смягчает) квалифицирующий эффект; все же наличие этих противоположно тяготеющих факторов создает в данном случае возможность и для употребления Sh: *Платье как будто вырезано из модного журнала.* Эта возможность практически отсутствует в предыдущих двух примерах, не имеющих такого противовеса.

Некоторые оценочные слова и обстоятельственные выражения могут с равным успехом инкорпорироваться в состав выражений с L и Sh. В этом случае они приобретают различные оттенки смысла, адаптируясь к двум разным смысловым перспективам. Так, выражения, содержащие указание на конкретный, легко обозримый отрезок времени в настоящем или прошлом, не препятствуют употреблению L. В этом употреблении, однако, они не столько уточняют время и место, сколько придают ситуации черты непосредственной данности, т. е. адаптируются к смысловой перспективе, задаваемой L. Высказывание *Ты вчера был невесел* определяет отрезок времени, в течение которого признак наличествовал у субъекта; утверждается, что субъект был таков именно ' вчера' (' в отличие от его состояния сегодня', или 'в отличие от его обычного состояния'). Но в высказывании *Ты вчера был невеселый* обстоятельство времени указывает не столько на продолжительность действия признака, сколько на время, в течение которого говорящий воспринимал предмет своего высказывания в этом состоянии. Сколько времени субъект находился (объективно) в этом состоянии — в данном случае несущественно; важно, что 'вчера' говорящий «застал» его в этом состоянии, воспринял этот его образ.

Выражения с L и Sh по-разному реагируют на ситуацию, когда субъекту одновременно атрибутируется несколько признаков, выраженных сочинительной цепочкой прилагательных. Такая ситуация оказывается благоприятной для полной формы: повышается вероятность ее употребления, расширяется (от чисто разговорного в сторону нейтрального и даже книжного) ее потенциальный стилистический спектр. И напротив, возможность выбора Sh снижается и приобретает резко отмеченный характер. Например, такие выражения с единичным прилагательным, как *Ночь была холодная* и *Ночь была холодна,* составляют приблизительно равноценную смысловую и стилистическую альтернативу: первая тяготеет к несколько большей разговорности и непосредственности, вторая — к книжности и аподиктичности. Однако в такой паре выражений, как *Ночь была тихая, светлая и холодная* и *Ночь была тиха, светла и холодна,* — равновесие явно нарушается в пользу первой альтернативы. Первое предложение воспринимается как нейтральный, наиболее вероятный выбор, вполне уместный не только в разговорной речи, но и в книжно окрашенном повествовании; второе — представимо только в качестве «крайнего случая»: при наличии сильной смысловой эмфазы либо в условиях возвышенного поэтического стиля.

Это различие объясняется тем, что множественность атрибуцируемых признаков усиливает ощущение импрессионистической приблизительности в характеристике предмета. Чем больше признаков приписывается предмету, тем труднее представить их раздельно, в качестве дискретных параметров, характеризующих предмет. Различные признаки совмещаются друг с другом, сливаясь в единое комплексное представление. Ощущение, что мы не столько характеризуем предмет с разных сторон, сколько получаем его комплексный образ, находит свое естественное выражение в предпочтении L. С другой стороны, употребление подряд нескольких Sh делает смысловую фактуру слишком напряженной: слишком много суждений о предмете оказывается «упаковано» в оболочке одного высказывания. Такое высказывание приобретает оттенок крайней резкости и категоричности. Характерен следующий пример из Тургенева («Бретер»):

— Лучков неловок и груб, — с трудом выговорил Кистер, — но... — Что «но»? Как вам не стыдно говорить «но»? Он груб и неловок, и зол, и само-

любив.136

3) Эвристическая установка высказывания.

Существенным фактором, определяющим динамику выбора формы, является представление о «новизне» либо, напротив, самоочевидности мысли, выраженной в высказывании. Высказывание с Sh приписывает предмету определенный признак, сообщая о наличии у него этого признака в качестве нового сведения; высказывание с L выражает непосредственное впечатление о предмете, с целью вызвать соответствующее впечатление у слушателя. В силу этого чем более очевиден и тем самым непосредственно узнаваем признак, тем с большей естественностью он может быть подан в модусе указания, свойственном L; и напротив, чем в большей мере наличие признака является предметом рассуждения, тем более повышается вероятность и необходимость употребления Sh.

Эта разница с особенной наглядностью проявляется в научной речи, где различие между постулируемым, принимаемым как данность исходным определением и таким, которое является результатом логического вывода, имеет принципиальное значение и проводится с полной отчетливостью. Определения первого рода неукоснительно выражаются с помощью L, второго — с помощью Sh. Когда мы говорим: *Эти прилагательные — краткие. Этот угол — прямой,* — мы ничего не «сообщаем» о предмете; мы просто указываем на наличие предмета 'краткое прилагательное' или 'прямой угол'. Высказывание такого рода есть акт узнавания предмета ('я узнаю эту грамматическую форму: это краткое прилагательное', или 'я знаю из условия задачи, что это прямой угол'), а не акт его познавания. Но утверждение типа *Эти треугольники подобны* выражает результат некоторого рассуждения и в этом качестве требует Sh.

Различие между познавательным и указательным характером высказываний с Sh и L лежит в основе их двойственного отношения к временной протяженности признака. Мы могли уже убедиться, что обе формы способны обозначать как постоянный, так и переменный признак. Однако и это постоянство, и эта переменность имеют разный эвристический смысл для каждой из форм.

Высказывание-суждение, относится ли оно к постоянному либо переменному свойству предмета, всегда имеет относительную ценность, в том смысле, что на него можно возразить, его можно опровергнуть. Когда я говорю: *Эти треугольники подобны, я* высказываю суждение, которое не имеет временных ограничений; его эвристическая относительность заключается, однако, в том, что я могу ошибаться, мне могут возразить — *Нет, эти треугольники неподобны.*

С другой стороны, высказывания с L могут относиться и к постоянным свойствам предмета, неотъемлемым от самого его существования, и к мимолетным, преходящим и субъективным впечатлениям-ощущениям. Но в обоих этих случаях высказывание служит как бы «снимком» с предмета, воссоздающим его целостный облик; сколько бы других снимков-впечатлений того же предмета ни было предложено — они не отменяют данной, однажды запечатленной картины. В этом смысле высказывание с L имеет абсолютную эвристическую ценность, даже если оно относится к мимолетному и заведомо поверхностному ощущению. Сказать об одном и том же лице: *Он глуп* и *Он умен* — значит произнести два несовместимых суждения, одно из которых должно быть отвергнуто как ложное. Но высказывания *Какой ты глупый!* и *Какой ты умный!,* обращенные к одному лицу, не содержат в себе противоречия: они запечатлевают два разных

снимка субъекта, в которых он предстает в различных ситуативных и эмоциональных ракурсах.

Можно утверждать, что различие между высказываниями с L и Sh лежит в эпистемологическом, а не эмпирическом плане; их отличительным свойством является, соответственно, эвристическая абсолютность и относительность — а отнюдь не эмпирическая постоянность или временность, объективность или субъективность, определенность или неопределенность вводимого признака. Высказывания с L, по сравнению с Sh, и более непосредственны, и более абсолютны — как абсолютно всякое прямое указание на предмет, в сравнении с описанием или суждением о том же предмете.

Различие в эвристическом статусе высказываний с L и Sh определяет также различие той роли, которую они играют в развертывании коммуникации в целом. Высказывание с Sh содержит в себе нечто такое, о чем говорящий считает необходимым сообщить: что-то объяснить, доказать, на что-то возразить. В этом смысле у него всегда имеется реальная или подразумеваемая предыстория — то исходное состояние знания или суждения о предмете, на фоне которого данное высказывание выступает в качестве «нового» сообщения. Но высказывание с L утверждает образ-снимок предмета как данность, которую слушателю остается лишь принять.

Например, высказывание *Чемодан тяжел* получает осмысление на фоне той или иной презумпции: мы выбираем чемодан в магазине и считаем, что этот чемодан нам не подходит — слишком 'тяжел'; или: мы укладывали вещи, и, очевидно, их оказалось больше, чем мы предполагали,— чемодан 'тяжел'; или: я не хочу, чтобы вы поднимали этот чемодан, — он 'тяжел', и т. п. Наше высказывание занимает свое место в коммуникативном «сюжете», состоящем из подразумеваемых исходных интенций, их подтверждения, либо отрицания, либо уточнения в данном высказывании, и вытекающих из этого потенциальных следствий. Но высказывание *Чемодан тяжелый* прежде всего передает само ощущение, возникающее непосредственно в момент контакта с предметом.

Аналогично, например, фраза *Эта задача трудна* может иметь различный смысл, в зависимости от различных презумпций: 'трудна по сравнению с другими предложенными задачами', 'трудна для вашего уровня подготовки', 'требует повышенного внимания'; но фраза *Эта задача трудная* имеет самодостаточный смысл: она передает непосредственное впечатление говорящего, сообщает о 'трудной задаче' как о непосредственно данном факте.

В высказывании с Sh в фокусе внимания оказывается изменение в состоянии адресата, вызываемое тем, что ему сообщается нечто «новое» о предмете; высказывание с L направлено на достижение тождества между говорящим и слушателем в отношении того, как они представляют себе данный предмет. В первом случае предшествующее состояние изменяется, и именно этот переход от прежнего суждения о предмете к новому составляет подразумеваемый «сюжет» данного сообщения; во втором — предшествующее состояние, каким бы оно ни было, отступает перед непосредственной наглядностью данного впечатления. Высказывание с L вкрапливается в речь в качестве статичной образной картины. Оно может стать отправной точкой, фоном для последующих суждений о предмете; но само оно как бы не имеет предыстории, появляясь как непосредственная данность.

4) Взаимоотношения с адресатом.

Различие позиции, занимаемой говорящим по отношению к адресату в связи с выбором Sh либо L, можно описать как различие между стремлением создать объективированное утверждение, с одной стороны, и стремлением к контакту, к эмпатии — с другой. В первом случае говорящий исходит из некоторой презумпции, по отношению к которой он нечто «сообщает» своим высказыванием. От адресата ожидается, что он обладает надлежащим предварительным знанием, позволяющим адекватно воспринять смысл сделанного по отношению к этому исходному состоянию сообщения. В этом случае адресат выступает в качестве абстрактного получателя сообщения, соответствующим образом «квалифицированного», а не живого лица, к которому непосредственно апеллирует говорящий. Успешность принятия сообщения адресатом определяется знакомством с необходимой фоновой информацией, а не личными взаимоотношениями с автором сообщения.

В отличие от этого, высказывание с L не нуждается в презумпции; оно указывает на непосредственно возникшее впечатление или ощущение. Но именно поэтому такое высказывание нуждается в эмпатическом соучастии говорящего; принять высказывание с L — значит разделить с говорящим испытанное им впечатление. Такая ожидаемая реакция предъявляет определенные требования к адресату как личности. Его объективная, чисто функциональная подготовленность к роли адресата — владение необходимой фоновой информацией — оказывается недостаточной, да и не столь существенной. Важнее то, что говорящий считает собеседника лицом, способным разделить его впечатление и ощущение. Если высказывание с Sh всегда так или иначе подразумевает, «что знает» или «что думает» по этому поводу адресат сообщения, то высказывание с L так или иначе подразумевает, «кто таков» этот адресат, как относится к нему говорящий. Это соотношение, разумеется, остается в силе не только в случае конкретного собеседника, но и в коммуникации, обращаемой к обобщенному адресату. И в этом случае сохраняется различие между подразумеваемым внеличным адресатом, обладающим должной квалификацией, и подразумеваемым личным адресатом — потенциальным союзником говорящего, с которым он может «поделиться» своим высказыванием.

Соотношение высказываний с L и Sh несколько напоминает соотношение обращений на 'ты' и на 'Вы': 'ты' предполагает личное отношение к собеседнику, 'вы' — чисто функциональную роль, которая может быть заполнена любым адресатом. Неудивительно, что существует довольно сильная корреляция в употреблении 'ты' и L, с одной стороны, 'Вы' и Sh, с другой. Так, в знаменитом стихотворении Пушкина обращение на 'Вы' сочетается, вполне закономерно, с Sh:

И говорю ей: как *вы* милы!

И мыслю: как *тебя* люблю!

Однако в ситуации интимного обращения (в письме к жене) Пушкин пользуется обращением на 'ты' — и формой L:

Какая ты умненькая, какая ты миленькая! какое длинное письмо! как оно дельно!

Высказывания с 'ты' самой своей формой программируют прямой, интимно-непринужденный контакт с адресатом. В этом апеллятивном и стилевом пространстве выбор L оказывается полностью естественным. Отклонение от этого выбора может произойти лишь в «особых случаях», при наличии очень резко выраженных противодействующих факторов.

А. М. Пешковский в свое время подметил, что выражение *Ты глуп* зву-

чит как оскорбление, но реплика Ирины в «Трех сестрах» Чехова: *Ты, Машка, глупая* — не только не заключает в себе ничего оскорбительного, но напротив, подчеркивает интимность контакта.[137] К этому можно добавить, что и выражение *Ты очень умен* звучит если не оскорбительно, то во всяком случае резко и сухо; в таком высказывании как будто подразумевается: 'Ты очень умен, но... '. Дело тут в том, что Sh, с его объективирующим характером, плохо сочетается со смысловым и стилистическим полем высказываний с 'ты'. В условиях прямого и очевидного контакта, задаваемого местоимением 'ты', установка на «объективированность» суждения осмысляется как отстраняющий жест: хотя говорящий явно имеет интимно-личные отношения с адресатом, дающие право на 'ты', однако он почему-то выбрал объективированную форму для своего суждения, которая как бы игнорирует всякое личное соучастие собеседника; отсюда эффект особой сухости или неприязни, исходящий от такого рода высказывания.

Противоположный эффект возникает в высказываниях с 'Вы' (в значении вежливого обращения). Обращение на 'Вы' задает модус формального, безлично-объективированного отношения к адресату. В этом смысловом поле высказывания с Sh оказываются естественным выбором. *Ты сегодня весел. Ты болен* звучит как несколько резкое по тону суждение — безапелляционный приговор, в подтексте которого угадывается конфронтация с собеседником (он забыл о том, как еще вчера жаловался на жизнь, он отказывается обращаться к врачу, и т. п.). Но высказывания *Вы сегодня веселы. Вы больны* — оказываются более нейтральными по тону; эффект объективированного суждения, задаваемый Sh, не имеет здесь такого подчеркнутого, нарочитого смысла, поскольку он не противоречит формальному модусу взаимоотношений с адресатом, определяемому обращением на 'Вы'. Напротив, в этих условиях выбор L будет резко маркирован, создавая ощущение повышенной интимности; эффект получается такой, как будто прямая апелляция к адресату как бы пробивается сквозь оболочку формальных отношений, заданную обращением на 'Вы'. Характерен в этом отношении следующий пример из Бабеля («Гюи де Мопассан»):

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный! — прорычала она ...

Что касается предложений с субъектом в третьем лице, то здесь объективирующая установка Sh и апеллятивная направленность L не выражаются прямо, но подразумеваются, окрашивая собой смысловую перспективу и стилевую тональность высказывания. Можно сказать, что высказыванияс Sh подчеркивают отстраняющий, экстернализирующий потенциал, свойственный форме третьего лица. Но в выражениях с L предмет высказывания как бы играет роль медиума, через посредство которого возникает эмпатическая связь между говорящим и его собеседником.

Так, высказывание *Он* .жив/может иметь разный смысл, в зависимости от смыслового фона: простое утверждение (в ответ на вопрос), возражение, удивление, радость. Некоторые из этих возможных интерпретаций включают в себя и эмоциональное отношение говорящего к сообщаемому факту, и определенную позицию по отношению к собеседнику. Но эти эмотивные и апеллятивные обертоны не обязательны: они появляются лишь как результат осмысления высказывания в определенном контексте. Первичным его содержанием является собственно утверждение, которое может быть по-разному (в том числе и эмоционально) осмыслено в разных ситуациях. Но высказывание *Он живой!* по самой своей сути неотъемлемо

от непосредственной эмоциональной реакции говорящего — и того, что он рассчитывает на такую же реакцию со стороны адресата. Какой бы конкретный смысл ни имело это высказывание в разных контекстах — радость, изумление, сострадание, ужас, — неизменным остается стремление говорящего передать адресату возникший у него импульс-ощущение.

Характерно, с точки зрения подразумеваемого отношения к адресату, соотношение следующих двух предложений:

Дело ясное — вот вам карта,

Это — Америка, а это — мы.

(Маяковский, «Христофор Коломб»)

— Милостивый государь... — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши...

Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... (Гоголь, «Нос»)

В первом случае (Колумб стремится убедить купцов дать ему деньги на экспедицию) подчеркивается апеллятивное давление, оказываемое говорящим на собеседника; предмет речи как бы приближается к собеседникам, его «ясность» должна им быть непосредственно, образно очевидной. Во втором — герой явно затрудняется в обращении к собственному носу; при всей объективной «очевидности» его дела, ему не ясно, каким образом он может адресоваться с ним к данному собеседнику. Это различие апеллятивного жеста — в одном случае подчеркнуто открытого, в другом — затрудненного и неуверенного — передается контрастными выражениями с L и Sh.

9.3. МЕТАФИЗИКА ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИАЛЬНОГО МОДУСА ВЫСКАЗЫВАНИЯ.

Опыт работы с целым рядом явлений грамматического строя русского языка (таких, как вид, время, число, лицо, порядок слов) все более убеждает меня в том, что, для того чтобы иметь возможность говорить о значении грамматической формы и грамматической категории, следует отказаться от попыток выделить в этом значении какое-либо субстанциальное ядро — понимая под «субстанциальностью» не только конкретное вещественное значение, но и понятие любой степени абстрагированности, если только оно сформулировано в виде твердого концептуального «предмета», имеющего определенные очертания. Степень сложности грамматического значения более высока: оно не вмещается в рамки какого-либо единого, пусть даже очень сложно сформулированного, различительного признака или единой системы таких признаков. Семантическое поле, в котором развертывается употребление той или иной языковой формы, принципиально не сводимо к единому понятийному феномену: это именно поле, непрерывный смысловой континуум, открытый для растяжений и растекания по всем мыслимым направлениям. «Идея» грамматической формы, мерцающая в языковом сознании говорящих сквозь калейдоскопический узор всех тех смысловых, стилевых, образных эффектов, которые сопровождают разные случаи ее употребления, представляет собой скорее некий концептуальный вектор, способ мыслить различные концепты, — чем какой-либо концепт, пусть самый обобщенный, в собственном смысле.

Различный взгляд на предмет в его отношении к признаку, направляемый употреблением краткой либо полной формы прилагательного, может служить в этом отношении наглядным примером. Это различие является

одним из многих воплощений двух разных модусов отношения к миру, двух различных перспектив, в которых человек, в качестве субъекта языкового существования, осмысливает — и выражает в языковых высказываниях — окружающий мир и свое место в нем. Наличие этих двух разных перспектив, невозможность сделать окончательный выбор между ними и устойчиво стать на точку зрения одной из них, составляет кардинальную дилемму языкового существования, неотделимую от самой сущности этого феномена.

Одна из этих перспектив определяется погруженностью субъекта в континуальный поток опыта, которой он силится осмыслить и выразить. В этом модусе отношения к миру субъект не способен возвыситься над опытом существования, отделить его от себя в качестве обозримого объекта, встать по отношению к нему на внешнюю, объективированную точку зрения. Весь его опыт, все его мысли о мире растворены в экзистенциальном потоке, частью которого он себя ощущает. В этой перспективе смысл предстает в виде текучих «впечатлений», растворяющихся в духовном мире личности в качестве нерасчлененного, континуально развертывающегося опыта.

Другая перспектива определяется тем, что акт выражения какого-либо смысла по самой своей сути имеет объективирующий характер. «Высказать» что-либо (даже для самого себя) — значит стать на внешнюю точку зрения по отношению к высказываемому, то есть как бы выйти из потока существования, неотъемлемой и невычленимой частью которого предмет высказывания является. В этой перспективе субъект не «существует» в экзистенциальном смысле, но мыслит и действует по отношению к миру; объект его мысли и действия оказывается «внешним миром», то есть объектом в собственном смысле. Сама его объектная отделенность обусловливает его обозримость, то есть возможность расчленения на дискретные частицы, каждая из которых выступает в виде отдельного «предмета» мысли и высказывания.

Все попытки выразить в языке какой-либо опыт, пережитый говорящим субъектом, несут на себе отпечаток этих двух различных перспектив. Парадокс состоит в том, что сознание не может устойчиво занять какую-либо одну из этих позиций, но все время балансирует между ними. В языковом существовании континуальный, непрерывно развертываемый и обновляемый опыт, с одной стороны, и потребность и возможность выразить этот опыт в дискретных высказываниях, имеющих обозримость конкретного смыслового «предмета», с другой, существуют только во взаимосвязанности и взаимодействии. Каждое создаваемое и воспринимаемое высказывание растворяется в конгломерате языковой памяти говорящего субъекта, во всех открыто-растекающихся полях припоминаний и ассоциаций, которые оно пробуждает и в которые оно погружается; но сама языковая память складывается и обновляется на основе создания и принятия бесчисленных высказываний, каждое из которых, для того чтобы отложиться в конгломерате памяти, должно иметь облик опознаваемого и обозримого языкового артефакта.

Избежать противоречия между сплошным и необозримо-открытым характером каждого языкового переживания и необходимостью воплотить этот процесс в виде отдельных и обозримых произведений, созданных из языкового материала, невозможно: оно присутствует в каждый момент языкового существования, в каждом движении языковой мысли. Обе перспективы, вытекающие из этой дилеммы, существуют и действуют не по-

переменно, не каждая по отдельности, но вместе, в бесконечно разнообразных наложениях и пересечениях.

Эта постоянная борьба и взаимное перетекание двух модусов существования получает многообразное отражение в языке. Ведь сам феномен языка представляет собой, с одной стороны, важнейшее средство объективации жизненного опыта, но с другой — сам является важнейшим и неотъемлемым компонентом жизненного опыта, в котором протекает существование говорящего субъекта.

Грамматические категории представляют собой своего рода подмостки, на которых разыгрывается эта драма — разыгрывается в каждом высказывании, в каждой его точке, в которой говорящий осуществил тот или иной категориальный выбор, а адресат этот выбор воспринял и оценил. Грамматические категории, каждая в своем роде и на своем месте в высказывании, вносят свой вклад в развертывание двух модусов языкового смысла, в которых находит выражение кардинальная дилемма языкового опыта и языковой деятельности.

Понимаемое таким образом значение грамматической формы имеет скорее «метафизическую», чем логическую или вещественную природу[138]. Акт употребления той или иной формы представляет собой акт утверждения определенного способа видения выражаемого опыта, определенной перспективы, способной, в зависимости от обстоятельств, включить в себя самые разнообразные, в конечном счете едва ли не любые понятия, — а не реализацию самих этих понятий как таковых, даже в самом широком инвариантном обобщении. Такого рода концептуализирующую перспективу можно описать, но едва ли возможно твердо и окончательно сформулировать. Эмфаза в описании переносится с вопроса «что?» на вопрос «как?»: не «ч т о значит» данная форма, но к а к она интерпретирует, в какой перспективе представляет тот бесконечный континуум значений, который развертывается в связи с этой формой в бесконечных актах языкового употребления[139].

Два кардинальных аспекта, в которых протекает взаимодействие интерпретирующих усилий субъекта с его опытом существования, получают в различных ситуациях в высказывании разные воплощения, принимают разные, калейдоскопически сменяющиеся обличья: такие, как'индивидуализированное — собирательное', 'дискретное — континуальное', 'единичное — множественное', 'уникальное — типичное', 'определенное — неопределенное', 'перфективное — имперфективное', 'личное — безличное', 'живое — неживое', 'активное — пассивное', 'динамичное — статичное', 'осознаваемое — ощущаемое', 'объективированное — субъективное', и многие другие[140]. Каждое из этих направлений языковой мысли, возникающих в связи с появлением той или иной языковой формы, имеет неустойчивое, векторно-колеблющееся значение, все время ускользающее от твердого и стабильного определения; оно остается перспективой или векторным тяготением, никогда не воплощаясь до конца в дискретное понятие.

Колебания смыслового вектора, вносимого данной формой, зависят от сочетания открытого множества факторов: и от предметного значения и образно-кинетических свойств того выражения, в котором эта форма, воплощается, и от позиции в эскизном рисунке высказывания, и от общих тематических, коммуникативных, жанровых свойств этого высказывания и всей ситуации общения в целом. Но самое главное — смысловая перспектива, намечаемая одной формой в составе высказывания, вступает во

взаимодействие и борьбу с перспективами, исходящими от других форм в составе этого же высказывания[141].

В результате — каждое высказывание, каждое языковое действие Предстает окутанным густой сеткой векторных смысловых тяготений, исходящих из различных его компонентов; взаимодействуя друг с другом и адаптируясь друг к другу, эти тяготения создают категориальный модус высказывания. Равнодействующая всех этих взаимодействий определяет смысловую перспективу высказывания в целом — во всей ее множественности, противоречивости и динамически неустойчивом равновесии разных факторов, вносящих свой вклад в каждую языковую композицию[142].

***

На протяжении всей II части книги прослеживалось шаг за шагом, каким образом — из какого исходного материала, при помощи каких приемов и операций — говорящим удается создавать отдельные языковые артефакты: высказывания и их интерпретации. Я стремился показать конкретно, каким может быть описание языка, в основании которого лежат память и ассоциативные способности индивидуальных говорящих субъектов, а не фиксированные и обязательные для всех упорядочивающие правила. Несомненно, что при дальнейшем углублении в предмет представленная здесь картина может подвергнуться значительным модификациям: обнаружатся иные конститутивные компоненты, не попавшие в поде моего внимания, возникнет необходимость по-иному определить и описать ряд предложенных здесь понятий и приемов. Задачей этой книги было показать принципиальную возможность конкретного и детального описания языковых процессов на основе предлагаемого в ней подхода и наметить возможные пути такого описания. Мне кажется, что предложенный путь дает возможность получить картину языка не менее упорядоченную и осмысленную, чем стратегия формулирования твердых правил, — но при этом картину более динамичную и способную найти более естественный отклик в интуиции людей, владеющих и пользующихся языком.

Читателям лучше судить, насколько оправданно такое представление. Предположим, однако, что разработанный здесь аппарат позволяет показать, с разумной степенью осмысленности, как говорящие создают и принимают высказывания, более или менее адекватно отвечающие их намерениям и ожиданиям и выполняющие, в их оценке, свое коммуникативное назначение. Это, однако, еще ничего не говорит нам о том, каковы были сами эти намерения и как они взаимодействовали с процессом создания или принятия высказывания. Как двигался говорящий к своей коммуникативной цели, какие метаморфозы и перевоплощения сама эта цель прошла на пути, ведущем к результирующему высказыванию, его оценке и пониманию? Что собственно значит это «понимание», то есть способность говорящего охватить мыслью свое или чужое языковое произведение?

Эти и подобные вопросы выводят нас за рамки собственно языкового материала, вовлеченного в создание высказывания. Чтобы дать на них ответ, необходимо обсудить, в каком отношении находятся созидательные усилия, направленные на языковое воплощение высказывания, с более широкими духовными процессами, происходящими в сознании говорящего субъекта, — той работой его мысли, неотделимой от всего строя его личности, которая в конечном счете направляет всю его языковую деятельность, но и сама все время испытывает воздействие стимулов, возникающих в процессе этой деятельности.

До сих пор мы в основном имели дело с микропространством языковой деятельности, ограниченным рамками одного адекватного высказывания. Сама эта «адекватность» принималась нами как данность: мы довольствовались тем, что предлагавшийся пример в удовлетворительной степени соответствовал языковой интуиции. Но чтобы понять, в чем по сути состоит эта «адекватность» и каким образом говорящий способен ее интуитивно ощутить и оценить, необходимо выйти за пределы данного высказывания как такового. Иначе говоря, необходимо проецировать описанные микропроцессы языковой деятельности в языковое макропространство, составляющее контекст и питательную среду этой деятельности. Обсуждение этой задачи и связанных с нею концептуальных параметров составит последнюю часть нашего исследования.[143]

Часть III. ВМЕСТО СИНТЕЗА: ЯЗЫК КАК ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 10. ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ

10.1. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.

Hamlet. Do you see yonder cloud that's almost in shape of a camel?
Polonius. By th'mass, and 'tis like a camel indeed Hamlet. Methinks it is like a weasel.
Polonius. It is backed like a weasel.
Hamlet. Or like a whale.
Polonius. Very like a whale.
Shakespeare, "Hamlet", III:.2

Способность говорящих откликаться и на каждую отдельную частицу языкового материала, и на композиции, которые возникают из их объединения в речи, образными представлениями, спонтанно возникающими в сознании, составляет неотъемлемую черту языковой деятельности, столь же необходимую для ее успешного осуществления, как владение множеством коммуникативных фрагментов и умение интегрировать их в высказывания. Постоянное движение языковой мысли, создающей и воссоздающей все новые сообщения из частиц предшествующего языкового опыта, — то, что составляет весь смысл нашей повседневной работы с языком, — было бы невозможно, если бы мы не были способны проецировать в сознание различные частицы языкового материала в качестве немедленно и непосредственно представимого образного целого; если бы мы не были способны "узнавать" или "не узнавать" представление, пробуждаемое тем или иным предложенным нам или нами же созданным языковым артефактом, замечать в этом представлении всевозможные модификации, сдвиги, искажения чего-то нам знакомого и нами ожидавшегося, распознавать сходства и различия между разными представлениями, их слияния и контаминации, всевозможные перетекания одних представлений в другие, — все это с той непосредственностью и слитностью, которая характерна для образного мышления.

Но что такое эти представления, или "образы", которые, как некая эфирная ткань, складываются во все новые, бесконечно разнообразные очертания в каждом акте языковой деятельности? Ответить на этот вопрос нелегко, именно вследствие их эфирно-текучей природы. Сложность проблемы усугубляется тем, что возникающие у каждого говорящего субъекта при соприкосновении с языковым материалом образные представления имеют индивидуальный характер, окрашиваются в интимно личностные тона, неотделимые от личного жизненного опыта и всего строя личности именно этого субъекта. Как перевести интимно-субъективный, почти неуловимый в своей летучести мир образных представлений одной личности в объективированное описание, в котором он мог бы быть "узнан" другими, или по крайней мере нашел бы отголосок в их образном мире? И тем не менее самая сущность языковой деятельности состоит именно в том, что между различными говорящими личностями происходит смысловой обмен;

нечто, сказанное одним, что-то “значит” для других, и реакция этих других на сказанное в свою очередь имеет смысл для автора сообщения. Реальность языкового контакта между людьми столь же несомненна, как несомненна уникальность внутреннего мира каждого из партнеров, вступающих в контакт, и его непостижимость для внешнего наблюдения. Необходимо хотя бы прикоснуться к миру личностных образных представлений, во всей его субъективности, чтобы можно было поставить вопрос о том, как этот мир субъективных образов приобретает коммуникативную ценность, то есть приходит в соприкосновение с аналогичными мирами других личностей[144].

Начну с простейшего примера. Слово 'трава', будучи употреблено в составе различных знакомых мне выражений, немедленно откликается в моих представлениях целым рядом образных картин: ярко-зеленая трава на поляне, окаймленной лесом; островки редкой, с пролысинами глинистой почвы, травы под стеной дома во дворе; высокая степная трава, нагретая солнцем, пронизанная яркими пятнами полевых цветов.

В собственно психолингвистическом плане по вопросу об образных реакциях говорящих на языковые выражения существует небольшая по объему, но очень интересная исследовательская литература. Пионером в этой области является канадский психолог А. Пайвио, в работах которого, начиная с конца 1960-х гг., систематически исследуются образные реакции на различные типы слов. Постоянство, с которым языковой материал связывается с образными представлениями, привело А. Пайвио к теории “двойного кодирования” языковых смыслов — вербального и невербального (образного). См. его итоговую книгу: Allan Paivio, *Images in Mind: The Evolution of a Theory,* New York & London:

Harvester Wheatshesf, 1991, а также работу, в которой дается философское и психологическое обоснование результатов экспериментальных исследований образа: John T. E. Richardson, *Mental Imagery and Human Memory,* New York: St. Martins, 1980. См. также работу: В. Ф. Петренко, А. А. Нистратов, “Коэффициенты образности, конкретности и ассоциативной значимости для 84 русских существительных”, — *Общение. Текст. Высказывание,* М., 1981, стр. 5—16, — авторы которой проводят аналогичное исследование для носителей русского языка в параметрах, разработанных Пайвио и его соавторами; эта работа особенно интересна тем, что авторы приводят, наряду с анкетными результатами, высказывания испытуемых, в которых они стремятся передать свои образные ощущения. Интересен также сборник: *Text und Bild, Bild und Text,* hrsg. Wolfgang Harms, Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1988, в котором проблемы соотношения слова и образа рассматриваются в философской, эстетической и историко-культурной перспективе.

Для меня очевидна связанность по крайней мере некоторых из этих представлений с личным опытом: первый образ несет на себе явственные черты пейзажа южной Эстонии, где я прожил 15 лет, хотя у меня нет точного воспоминания, где именно находится, и существует ли реально вообще, “та” поляна, чей образ запечатлен в моей зрительной памяти; второй воссоздает кусочек двора того дома, где прошло мое детство: я отчетливо представляю себе участок двора перед воротами, ограниченный слева глухой, без окон, стеной дома, покрытой неровной серой штукатуркой; третий хотя в принципе и соответствует степному пейзажу на юге России, где я родился, но картина, возникающая в моем представлении, имеет скорее живописную или кинематографическую фактуру и не соответствует

какому-либо осознанному реальному воспоминанию.

Дальнейшее погружение в запасы моей образной памяти — а вместе с тем, и в запасы известных мне коммуникативных фрагментов, целых высказываний, целых памятных мне историй, в которые так или иначе вовлечена 'трава', — способно вызвать еще целый ряд представлений, каждое из которых я узнаю в качестве подходящего образного отзыва на различные языковые ситуации, в составе которых 'трава' фигурирует в том или ином случае: трава в лесу, в промежутках между деревьями и кустами, в пятнах солнечных бликов; трава, пробивающаяся из трещин в асфальте или между бетонными плитами городской мостовой (я представляю себе кусок тротуара перед домом моего детства, а также похожую на него, но все же несколько иную, как-то иначе спроецированную в пространстве, воображаемую мостовую воображаемой улицы, которая в моей образной памяти ассоциируется со знаменитым началом “Воскресения” Л. Толстого); мягкие очертания холмов, покрытых ярко-желтой, выгоревшей на солнце травой (кавказский или калифорнийский пейзаж); черно-белый рисунок в учебнике ботаники, с надписью: “Осот полевой” (что именно изображено и как именно должен выглядеть этот “осот полевой”, я сознаю весьма смутно, но при этом отчетливо представляю себе положение рисунка на левой странице в книге и тот факт, что он изображает нечто, что я опознаю как рисунок “травы”).

И эти образы, и все дальнейшие, которые я мог бы вспомнить и/или вообразить, отражают мои личные жизненные, художественные, интеллектуальные впечатления. Они отражают также особенности моего сознания, ту меру способностей, которая мне дана в обращении со зрительными представлениями. Например, хотя мне кажется, что я ясно “вижу” многие их этих картин, я не мог бы их нарисовать; мне не дано знать, чем мое “видение” отличается от образных представлений человека, способного воплотить на бумаге картину, предстающую его внутреннему зрению. Совершенно очевидно, что у любого другого говорящего по-русски слово 'трава' вызовет несколько иной ряд конкретных образов-картин, иначе сформированных и окрашенных в соответствии с собственным опытом и личными перцептивными способностями. Никакое описание не способно воссоздать эти образы в их полной зрительной конкретности, какими они являются в моем представлении; соответственно, у меня нет никакой возможности проникнуть в аналогичный образный мир другого человека. Любое словесное описание или рисунок способны дать лишь очень приблизительное и заведомо стилизованное изображение того, что возникает в сознании данной личности в качестве образной реакции на то или иное выражение со словом 'трава'. Даже если бы я мог непосредственно показать своему собеседнику тот конкретный пейзаж, который послужил источником одного из моих образных представлений, — например, тот угол двора возле стены, — этот пейзаж получил бы в его сознании совсем иное отображение и занял бы в его образном мире иное место.

Я намеренно начал с наиболее простого и очевидного примера. Слово 'трава' обозначает материальный предмет, имеющий характерный зрительный облик. Каждый из нас встречался бесчисленное количество раз и с самим этим предметом в действительности, и с его художественными отображениями — в живописи, кино, поэтических картинах. Неудивительно, что, встречаясь в нашей языковой деятельности с этим словом, мы с легкостью вызываем в представлении подходящий зрительный образ, подсказываемый памятью или воображением. Это простейший вид образ-

ного отклика, заключающийся в том, что в представлении говорящего возникает конкретная картин а, в которой он непосредственно “узнает” предмет, обозначенный вызвавшим этот отклик словом или целым выражением. Но в каком смысле возможно, и возможно ли вообще, говорить об образном представлении слов и выражений, обозначающих абстрактные понятия, качества, действия? Чтобы понять, как это происходит, необходимо не упускать из виду свойства языкового материала, отзывами на который служат образные представления.

Как и всякое другое слово, 'трава' не существует в языковой памяти в качестве изолированного и самодостаточного языкового объекта. Оно мыслится в составе множества коммуникативных фрагментов, каждый из которых в свою очередь способен разрастаться в более пространные выражения, втягиваясь в состав целых потенциальных сюжетов, тематических и жанровых полей. Любой образный отзыв, пробуждаемый словом 'трава', каждый раз вписывается в более широкую коммуникативную среду, в которую для говорящего в данный момент погружено это слово. Образ 'травы' выступает не как единичный знак, но в качестве неотъемлемой части некоего более широкого образного ландшафта, определяемого коммуникативной средой. Сколько бы я ни силился представить себе образ “травы как таковой”, мне это не удается; каждый раз он растворяется в целой образной среде, в которой он оказывается неотделимым от бесчисленных других образов, принадлежащих к той же среде в качестве ее аксессуаров: трава в лесу, в поле, во дворе, в комнате, в руке, под ногами, под стеклом, на рисунке. Каждой такой среде соответствуют в арсенале языковой памяти известные выражения и ходы их развертывания.

Это свойство языкового образа делает возможным образный отклик на любые частицы языковой материи, даже если их значение само по себе не предполагает зрительного и вообще какого-либо материального воплощения. Каким бы абстрактным ни был смысл языкового знака как такового, он всегда мыслится в составе какого-то более пространного и потенциально все далее разрастающегося языкового целого. Наш “абстрактный знак” погружается в языковую среду, в которой всегда присутствуют те или иные образно представимые компоненты и которая в силу этого получает, как целое, образное воплощение. В этом образно представимом “ландшафте” более широкой ситуации абстрактный знак находит свое воплощение — в качестве одного из аспектов или компонентов такого ландшафта[145]

Например, слово 'страх', смысл которого сам по себе не имеет зрительного воплощения, мыслится нами в составе множества коммуникативных фрагментов и их разрастаний, у которых такое воплощение имеется: 'сжался от страха', 'у страха глаза велики', 'страх заставлял людей отворачиваться и проходить мимо', ' ночью на улицах города царил страх' и т. п. В составе таких более широких образных картин 'страх' получает если не прямое, то хотя бы косвенное зрительное воплощение в качестве компонента-аксессуара этих картин. Представление ночной улицы оказывается “окрашено страхом”; картина получается совсем иная, чем та, которая возникает, например, по поводу выражения 'тишина ночных улиц'. Картина ночной улицы, модализированная ощущением “страха”, создает зримую среду, в которой 'страх' получает метонимическое воплощение: мы “видим” 'страх' в качестве компонента, растворенного во всем образном облике этой картины[146].

Однако характер образного отклика, возникающего в качестве косвенного, метонимического воплощения феноменов незрительного характера,

часто отличается от образа-картины, непосредственно отображающей зримый предмет.

Попытаемся, например, представить себе образный отзыв, возникающий в связи с выражением 'в голове проносились мысли'. В моем индивидуальном перцептивном опыте такой отклик связан с неким образом “головы”. Однако это зрительное воплощение абстрактной по своей сути ситуации отличается от того, как я себе представляю 'голову' в тех или иных ситуациях, когда в фокусе моих представлений оказывается собственно 'голова' как физический, зримый объект; оно менее ясно, мимолетно-неуловимо. Образ “головы” как бы мимолетно проскакивает в сознании, позволяя уловить лишь его схематический абрис, а не полную картину, обставленную теми или иными индивидуализированными приметами. Моему внутреннему зрению предстает скорее намек на зрительный образ, чем сам такой образ в полном картинном воплощении. Этого зрительного намека, однако, достаточно, чтобы я ощутил, что выражение 'в голове проносились мысли' получило в моем сознании образный отклик.

Еще один компонент этого образного отклика состоит в ощущении стремительного движения. И это ощущение имеет скорее намекающий, чем собственно предметный характер: это как бы движение как таковое, без возможности “разглядеть” движущийся предмет; что-то “проносится”, но это “что-то” не имеет зрительного наполнения.

Аналогично, различные выражения со словами 'скорость', 'быстрота', 'скорый' способны вызывать условно-мимолетные образы стремительно движущегося поезда, автомобиля, полета пули (ср. обиходные выражения, способствовавшие возникновению этих образов: 'скорый поезд', 'промчался пулей' и т. п.), либо образ стремительного движения как такового, в котором вообще не удается “разглядеть” движущийся предмет. Слово 'вес' воплощается для меня в беспредметном кинетическом образе “тяжеловесного” опускания-падения, на который может накладываться намек на образ “весов”. Слово 'пространство' — в виде мимолетных картин разворачивающегося (как бы из окна движущегося поезда) ландшафта, либо участка карты или глобуса, либо, наконец, в условном (почерпнутом из книжных иллюстраций) образе космического пространства и космических тел — планет, созвездий, галактик.

Во всех приведенных примерах предметный образный отклик на непредметное по своему смыслу выражение имеет специфические черты, в силу которых такой образ можно назвать иероглифическим. Иероглифическому образу свойствен абстрагированный, мимолетно-схематический облик; он выглядит не как запомнившийся или воображаемый конкретный предмет, но скорее как намек на такой предмет[147]. Такого рода стилизованная, “иероглифическая” репрезентация часто отличает зрительный образ выражения, имеющего абстрактный смысл, от образа, имеющего непосредственное соответствие в мире видимых предметов, хотя, как увидим ниже, отчетливость и предметная конкретность последнего также может варьироваться в различных случаях языкового употребления.

Любопытные черты присущи образному отклику на отрицательные выражения. Мир образных представлений неспособен прямо передать отрицательную или условную модальность, так же как к этому неспособны живопись или музыка. Поэтому образный отклик на отрицание по необходимости имеет положительный характер, то есть содержит отображение той ситуации, наличие которой отрицается. Однако образная картина приобретает в этом случае “иероглифическую” размытость и затемненность.

Например, выражение 'хоть трава не расти' вызывает в моем представлении образ разросшейся травы; при словах 'Я еще не написал письмо' — представляется положительный антипод этой ситуации, то есть как раз образ пишущегося письма. Но эти образы лишены картинной отчетливости, которая была бы свойственна соответствующим позитивным выражениям; они как бы затемнены или полустерты, их “трудно разглядеть”. Это суггестивное ускользание картины и служит образным воплощением ее негативной модализованности.

Другим важным образным аспектом, позволяющим осуществить зрительное воплощение незрительных по своей сути явлений, является кинетический компонент образа. Как ясно из приводившихся выше примеров, мы способны зрительно представить себе образ движения — его направленность в пространстве, скорость, плавность или прерывистость, движение единичного объекта либо множества тел — без конкретного воплощения самого движущегося предмета[148]. Мы можем также представить себе жест, со всей присущей ему кинетической экспрессивностью, без зрительного воплощения исполнителя этого жеста.

Кинетическое представление играет очевидную роль в образной репрезентации выражений, смысл которых связан с физической или символической идеей движения. Однако этот перцептивный аспект может также служить образному воплощению выражений, не имеющих собственно кинетического характера. Так, слово 'развитие' зрительно воплощается для меня в кинетическом образе направленного вперед развертывания, как будто разворачивающейся ленты, без того, однако, чтобы конкретно представить себе эту “ленту” или какой-либо иной развертывающийся предмет. Слова 'объяснить', 'объяснение' воплощаются в образе направленного вовне движения — своего рода кинетического жеста, отвлеченного от какого-либо субстанциального наполнения. Слово 'указать' воплощается в ином по характеру движения, но столь же абстрактном “указывающем” жесте и т. д.

Как кажется, сопровождающая нашу речь жестикуляция связана с кинетическим аспектом образных представлений, которые получает в нашем сознании языковой материал. Мы говорим: 'я попытаюсь объяснить', — и при этом делаем “открывающее” движение руками от себя вовне, придавая движению характер некоторой затрудненности, как бы преодолевая препятствие. Динамика жеста передает кинетический аспект образа, который в нашем представлении соответствует этому выражению. Жест помогает говорящему и самому лучше прочувствовать образную проекцию употребленного им выражения, и пробудить сходную образную проекцию в представлении собеседника.

Конечно, речевые жесты имеют до некоторой степени условную природу: и сам конкретный характер исполнения того или иного жеста, и ситуации, при которых он может быть уместен, и интенсивность жестикуляции зависят от условных “правил поведения”, принятых в определенном языковом коллективе. Все же вполне очевидно, что степень конвенциональной условности жестов никак нельзя сравнить со степенью условности языковых знаков в собственном смысле. Я не говорю здесь о ритуализованных жестах пантомимического характера, служащих составной частью какого-либо принятого в данном обществе символического социального ритуала: приветствия, инициации, культовых действий. Но что касается спонтанной жестикуляции, сопровождающей языковое общение, то здесь, за исключением отдельных курьезов (как знаменитый, бесчисленное коли-

чество раз приводившийся пример инверсии жестов согласия и несогласия в болгарском языке по сравнению с огромным большинством других языков)[149], действия говорящих, воспитанных в разных языковых и социальных конвенциях, не требуют специального усвоения: они понятны сами по себе, или, по крайней мере, не заключают в себе ничего загадочного. Национальная и социокультурная специфика жестов придает кинетическим образам различную стилевую окраску, но в большинстве случаев, как кажется, не изменяет существо самих этих образов; наблюдая жестовое поведение различных языковых и культурных коллективов, мы видим, в основном, сходные кинетические образы, но выступающие как будто в разном стилевом воплощении. Подобным образом мы воспринимаем изобразительное искусство разных культур и эпох: отчетливо ощущая стилизованную окрашенность изображения, мы в огромном большинстве случаев способны воспринять его предметное содержание (если, конечно, оно вообще нам понятно), с легкостью адаптируясь к новой для нас манере репрезентации знакомых образов.

Говоря о различных возможных путях, которыми может идти перцептивное отображение языкового материала, нельзя не упомянуть о возможности образного отклика, при котором слова или выражения предстают внутреннему зрению в том зрительном облике, который они имеют на письме, в качестве компонентов действительно отложившегося в памяти или воображаемого письменного (или печатного) текста. Образ слова или целого выражения, воплощенный в письменных знаках, может возникнуть в представлении наряду с картинным, либо схематизированным иероглифическим, либо кинетическим образом, как бы поверх всех этих отображений. Я могу представлять себе буквенное отображение с большей или меньшей отчетливостью, охватить в представлении целое слово или только его часть, но в принципе буквенный образ слова способен возникать, в качестве образного отзыва, с такой же непосредственностью, как картинные или иероглифические образы.

Можно не сомневаться, что у различных говорящих буквенный образ слов способен принимать разный конкретный зрительный облик, характеризующийся разной формой букв, наличием или отсутствием окрашенности[150], различным положением в пространстве. Но кажется, что сам способ буквенного представления языкового материала естествен для языкового сознания в условиях современной культуры, в которой письменное отображение языка составляет очень большую часть языкового опыта. Этот тип образного представления можно назвать метаязыковым образом, поскольку в его основе лежат представления, являющиеся результатом обучения и рефлексии по поводу языка.

В моем опыте обращения с языком существуют ситуации, в которых метаязыковая репрезентация выступает на первый план в качестве образного отклика на слово или выражение. Так, союз 'что' вызывает у меня представление этого слова в буквенном воплощении, от которого по обе стороны развертывается некое абстрактное, предметно не наполненное пространство, которое я ощущаю как пространство предложения определенного строя. Мне кажется, что графическое представление опорных слов и окружающего их пространства фразы вообще играет важную роль в том целостном образе, в котором говорящему предстает коммуникативный контур высказывания.

Как можно увидеть даже из такого беглого обзора, образные отклики на те или иные частицы языкового материала могут существенно различать-

ся как своими перцептивными свойствами, так и характером своего отношения к отображаемому феномену. Картинный, иероглифический, кинетический, метаязыковой образ используют различные свойства отображаемого языкового материала, претворяют их в зримое представление различными путями. Несомненно, более тщательное и систематическое исследование этой стороны языковой деятельности позволило бы выделить еще целый ряд типов образных реакций и показать более четко место каждого из них в соотношении друг с другом. Я, однако, позволю себе ограничиться лишь указанием на широкую распространенность этого феномена и в то же время большое разнообразие форм, которые он способен принимать в различных конкретных случаях. Для нас важно констатировать, что так или иначе, тем или иным путем образные представления говорящего откликаются на языковой материал, с которым говорящий входит в соприкосновение в процессе языковой деятельности, — откликаются если не на каждое слово в отдельности, то на более пространные выражения, в отображении которых каждая частица используемой языковой материи в конце концов, так или иначе находит свое место.

Задача состоит в том, чтобы разобраться, какую роль в нашем обращении с языком играет этот столь распространенный, хотя и трудноуловимый, феномен и каковы его общие свойства, определяющие его место в соотношении с другими аспектами языковой памяти. Но прежде чем приступить к обсуждению свойств языкового образного отклика, необходимо ввести несколько квалифицирующих ограничений, которые позволят нам лучше представить себе предмет наших рассуждений.

Во-первых, следует подчеркнуть, что предметом наших рассуждений служит не мир образных представлений человека вообще, но лишь тот его специфический аспект, который можно считать языковыми образами. Языковой образ представляет собой перцептивную реакцию не на предметы или понятия как таковые, но на их языковое воплощение — нате выражения, которые наличествуют в языковом опыте говорящего субъекта[151]. Для языкового образа характерно свободное, я бы даже сказал, необязательное отношение к “сущностной” характеристике отображаемого предмета. Это свойство языкового образа проявляется с полной очевидностью тогда, когда какой-либо феномен получает косвенно-метонимическое образное воплощение; мы видели, что оно может быть связано с сущностью воплощаемого феномена условным, поверхностным, почти произвольным образом. Что, однако, в языковом образе неукоснительно наблюдается — это его привязанность к конкретному языковому выражению, на основе которого образ формируется. Образное воплощение “страха” в виде расширенных глаз, характерной позы или жеста, темной улицы или комнаты имеет весьма поверхностное и иероглифически-условное отношение собственно к феномену страха;

сама множественность таких образных иероглифов говорит об условности и необязательности каждого из них. Но каждое такое представление прямым и непосредственным образом соотносится с каким-то “куском” языкового материала, который говорящий субъект опознает как знакомый ему, легко и непосредственно узнаваемый языковой предмет. Образные снимки “страха” отражают не свойства этого феномена как такового, но свойства его в качестве частицы языковой материи, приобщенной к определенной языковой среде; наше образное видение этого феномена определяется не онтологическим знанием его смысла, но знанием конкретных языковых выражений, в которых он фигурирует в нашем языковом опыте.

Тот же принцип действует и по отношению к образу-картине. На первый взгляд кажется, что мы в этом случае “видим” образный снимок предмета как такового. Однако наш анализ образных снимков 'травы' показал, что в образном опыте личности имеется множество альтернативных отображений этого предмета; свойства каждого из них восходят к конкретному языковому выражению или ясно опознаваемой языковой ситуации. В конечном счете оказывается, что мы неспособны образно представить себе “траву как таковую”, но лишь в том или ином ситуативном окружении; причем свойства такого окружения всегда корреспондируют с какой-либо конкретной языковой средой, в составе которой 'трава' фигурирует в языковой памяти.

Укорененность языкового образа в языковой памяти, оперирующей конкретными выражениями и коммуникативными ситуациями, наглядно проявляется в тех случаях, когда мы имеем дело с языковым знаком, характер употребления которого нам хорошо знаком, но о “значении” которого, в онтологическом смысле, мы имеем в лучшем случае лишь смутное представление. В памяти любого говорящего хранится множество образных отпечатков языковых выражений, относящихся к предметам, визуальный облик которых этот говорящий субъект способен представить себе лишь с очень большой приблизительностью. Например, современный городской житель часто имеет очень неопределенное представление о том, как конкретно выглядят те или иные виды деревьев, трав, птиц. Это не препятствует ощущению того, что ему “знакомы” соответствующие слова и выражения: встретив их в тексте, наш говорящий “узнает” их и сам способен их употреблять таким образом, что они окажутся узнаваемыми для других говорящих. Я не был бы в состоянии узнать “осоку” или “можжевельник” как конкретные предметы; но, встретив в своем обращении с языком эти слова или, вернее, целые выражения типа 'заросли прибрежной осоки', 'душистый можжевельник', я узнаю их в качестве мне знакомых и известных. В моем представлении возникает некий образ — зрительно весьма неопределенный и, несомненно, лишь очень приблизительно соответствующий действительному облику этих растений, недостаточный для того, чтобы вызвать субъективное ощущение “узнавания”. Аналогичная ситуация имеет место, когда мы имеем дело с повествованием, действие которого происходит в прошедшую эпоху либо в стране или местности, непосредственно нам не знакомой. Много ли современных говорящих по-русски способны отличить по виду “шарабан” от “ландо” или “бричку” от “пролетки”? Но, читая роман прошлого века, говорящий принимает их в составе подобающих им выражений, которые он узнает как “знакомые выражения”: 'допотопный шарабан', 'щегольское ландо, покрытое сверкающим лаком', 'правил сам, сидя на козлах новенькой пролетки'. “Узнанное” таким образом выражение оказывается включено — пусть в несколько туманном “иероглифическом” воплощении — в движение образов, возникающих в сознании в процессе восприятия данного высказывания и повествования в целом. Говорящий адекватно реагирует на языковое бытие предмета, даже если его онтологическое бытие остается ему почти или совсем неизвестным.

Итак, если нам неизвестен сам предмет, но известно его языковое употребление, мы с готовностью принимаем его в свой образный мир, включая в состав подходящих ситуаций, подсказываемых языковой памятью,— даже если сам этот предмет в составе такой ситуации видится не более чем смутным намеком. И напротив: если сам предмет нам известен и вполне

понятен, но для его языкового воплощения почему-либо на находится выражения, которое мы способны были бы воспринять как “узнаваемое”, то есть укорененное в нашем языковом опыте, — такая ситуация способна вызвать ощущение резкого образного сдвига. Онтологическое понимание ситуации в этом случае нисколько не помогает: сколько бы мы ни объясняли себе, как “на самом деле” нужно понимать смысл этого выражения, мы не можем избежать непосредственного образного ощущения странности, экстравагантности, гротескной искаженности.

Несколько лет назад я услышал выражение 'белые мужчины', которое мой собеседник употребил точно в том значении, как его английский эквивалент — 'white men'. В отличие от более старого выражения 'white man', относящегося к идее расового неравенства и угнетения, это более недавнее по происхождению, но уже прочно укоренившееся в английском языке выражение относится к идее неравенства и несправедливости не только в отношении между расами, но также в отношении между полами: 'white men' противостоят, в качестве “патриархального” начала, стремящегося сохранить свое господство, не только не-белым народам, но также женской половине “белого” общества. В русском языке более старому выражению соответствует столь же прочно вошедшее в языковой обиход выражение 'белый человек'; но более новому выражению в русском языке — по крайней мере в моем языковом репертуаре, в том его состоянии, в каком он был 5—7 лет назад, — не находилось укорененного соответствия. Спонтанная образная реакция, которую вызвало у меня это выражение, имела характер комического образного буквализма: возникала картина голых, преувеличенно белых, точно побеленных известкой, мужских фигур. Я прекрасно понимал и смысл того, что хотел сказать мой собеседник, и английский источник созданного им выражения; само собой разумеется, что в моей образной перцепции выражения 'white men' не заключается ничего экстравагантного (я представляю себе группу пожилых мужчин чрезвычайно “приличного” вида, кажется, сидящих за каким-то большим столом). Но интеллектуальное понимание никак не отражалось на спонтанной образной реакции на предложенный мне языковой артефакт, определявшейся тем, что я непосредственно ощутил, с точки зрения своего опыта в русском языке, его необычность или смещенность; смещенность языковой фактуры вызывала — хотел я этого или нет — эффект смещенности в непосредственном образном отзыве на нее.

Еще один пример. Представим себе, что кто-нибудь, по той или иной причине, употребил выражение 'моет волосы' или 'washing his/her head', вместо обиходного 'моет голову' или 'washing his/her hair'. В моей индивидуальной перцепции выражение 'мыть волосы' вызывает картину неестественно изогнувшейся фигуры с отвесно свисающими волосами, кончики которых их обладатель “моет”; выражение 'washing his/her head' — вызывает представление о гладко выбритой голове, или даже белой голове манекена, которую кто-то держит в руке и “моет”. Я понимаю всю комическую неадекватность обоих образов “действительному” содержанию ситуации; но в том-то и дело, что эти образы возникают в качестве отзыва не на ситуацию все “действительном” значении, а на предъявленные моему восприятию выражения — языковые артефакты, которые я на основании своего языкового опыта ощущаю как смещенные и странные. В обоих примерах обращает на себя внимание преувеличенный “буквализм” образного отклика на выражение, не находящее опоры в языковом опыте говорящего субъекта. Белизна “белых мужчин” оборачивается абсолютной белизной,

какая бывает только у покрашенного в белый цвет предмета; 'моет волосы' — вызывает представление о ситуации, в которой моются “только волосы”, а голова остается немытой; и напротив, 'washing his/her head' воплощается в образе головы, начисто лишенной волос. Этого буквализма нет у отклика на обиходные выражения. По поводу выражения 'мыть голову' наше воображение не проделывает экстравагантные кульбиты, направленные на то, чтобы представить себе такое мытье головы, в которое не вовлечен ни один волос; мы представляем себе ситуацию в целом, со многими принадлежащими ей аксессуарами, которые будут проступать с большей или меньшей отчетливостью, в зависимости от развертки этого выражения в речи. Выражение 'белый человек' откликается в воображении фигурой именно “белого человека” (в соответствующем антураже, отвечающем тематическому полю колониального и расового угнетения, к которому это выражение принадлежит), а не покрашенного в белый цвет. Причина этого различия состоит в том, что обиходное, укорененное в языковой памяти выражение существует не само по себе, но именно в качестве укорененного в целой языковой среде. Соответственно, и образный отклик на такое выражение предстает включенным в целостную ситуацию; малейшее движение мысли оснащает такой образ все новыми деталями, включает во все новые ситуативные перспективы. Но необычное выражение, которое говорящий неспособен непосредственно увидеть в подсказываемом памятью языковом ландшафте, предстает его перцептивному ощущению “голым”, не окутанным полями ассоциаций и ситуативных включений. Воображение остается “один на один” с предъявленным ему языковым артефактом; этим можно объяснить тот гротескный буквализм, который часто свойствен перцептивной реакции в подобном случае.

Языковая укорененность образных реакций проявляется также в том факте, что, по-видимому, слова и выражения разных языков, даже относящиеся к тождественному денотату, различаются своим образным откликом в сознании субъекта, укорененного в этих языках. Не только образ 'утренней звезды' отличается от образа 'вечерней звезды' (используя знаменитый пример Фреге), несмотря на тождественность небесного тела, обозначаемого обоими этими выражениями, но образ 'вечерней звезды' отличается в моем перцептивном мире от образа 'Abendstern'. В последнем случае в моем представлении возникает, как бы поверх картины ночного неба, воображаемая театральная сцена — третий акт “Тангейзера”, в котором Вольфрам поет свой знаменитый романс (“O du, mein holder Abendstern”). Этой картины не вызывает у меня соответствующее русское выражение — во всяком случае, не вызывает в качестве непосредственного отклика, хотя мне так же памятен русский перевод романса Вольфрама (“О ты, вечерняя звезда”), как и немецкий оригинал. В результате весь образный строй и эмоциональная тональность 'Abendstern' оказываются окрашенными в более “темные” тона по сравнению с 'вечерней звездой'. При всей очевидной субъективности такой реакции, это различие представляется мне характерным. Мой опыт употребления различных выражений в русском языке несравненно богаче и разнообразнее, чем в немецком. Выражение 'вечерняя звезда' глубоко укоренено в этом опыте, растворено в бесчисленных ассоциациях, потенциальных продолжениях, ситуативных включениях, которые я могу мгновенно примыслить в связи с ним. Такого богатого и мгновенно мобилизуемого опыта у меня нет в немецком языке — поэтому единичное яркое воспоминание-цитата приобретает в этом случае большой вес, определяя собой перцептивную реакцию.

Но и в более обыденных случаях можно утверждать, что образные отклики на слова и выражения различных языков всегда различаются. Так, различными являются моему перцептивному миру образы, вызываемые словами 'машина', 'автомобиль', 'car' и 'automobile'; различается и сам облик соответствующего предмета, и, главное, характер его включенности в более широкую ситуацию, обставляющие его аксессуары, расположенность в мысленном пространстве. Происходит это потому, что образный отклик впитывает в себя представление о типичных сферах употребления и среде языковых выражений, в связи с которыми мыслится каждое из этих слов; различие языковых условий употребления, подсказываемое языковой памятью, и определяет собой различие перцептивных реакций.

Во-вторых, следует обсудить вопрос об отношении образной реакции на языковое выражение к значению этого выражения. Выше я сослался на ставший хрестоматийным пример, на котором Фреге продемонстрировал различие между онтологическим “смыслом” понятия и собственно языковым “значением” как функцией языкового знака, определяемой его соотношениями с другими знаками: выражения Morgenstern и Abendstem, хотя и относящиеся к онтологически тождественному предмету, имеют различное значение в качестве разных языковых знаков[152]. Со времени этой работы Фреге противопоставление онтологического и внутриязыкового значения сделалось, в разных терминологических вариациях (денотат vs. десигнат, экстенсионал vs. интенсионал, значение vs. значимость), одной из основополагающих категорий философии языка и лингвистической семантики[153].

Однако языковой образ, являющийся предметом наших рассуждений, принципиально отличается не только от доязыкового “смысла”, но и от внутрисистемного знакового “значения”. Читатель этой книги сознает, что я вообще скептически отношусь к идее значения как системного феномена, возникающего из стационарных отношений между стационарными знаками. По моему глубокому убеждению, языковое значение является функцией языковой памяти, с ее бесконечной растекаемостью и пластичностью, а не произведением духовной машины, работающей предустановленным способом. Смысл — или, если угодно, значение — любого языкового выражения, то есть та мысль, то понимание, которое мы с ним связываем, представляет собой открытый, никогда не получающий полной завершенности продукт духовной деятельности. Для того чтобы осмыслить некоторое выражение, говорящий субъект мобилизует свои знания по различным предметам, прямо или косвенно затронутым этим выражением, переживает бесчисленные ассоциации, окутывающие данное выражение и размывающие его границы и очертания. Делает он это не каким-либо предустановленным способом, но каждый раз по-иному, в зависимости от характера ситуации и партнера, эмоциональной настроенности, степени заинтересованности, наконец, просто в силу случайности того, что вспомнилось и не вспомнилось, оказалось замеченным и незамеченным в момент работы языковой мысли, созидающей понимание. Если он вернется к тому же сообщению и попытается повторно его осмыслить, в его сознании обязательно появятся какие-то новые ассоциации , всплывут иные частицы известных ему сведений о предмете, возникнут новые взаимодействия и новые интеграции различных частиц смысла, более или менее изменяющие облик целого. Процесс этот никогда не достигает какой-либо определенной конечной точки. Можно сказать, что говорящий субъект потенциально вкладывает в процесс осмысления весь свой опыт, все имеющиеся у него

знания, ассоциативные способности, эмоциональные реакции; осмыслить некоторое сообщение, свое собственное или чужое, — значит вложить в него (с той или иной степенью интенсивности) свой духовный мир.

Очевидно, что языковой образ не может нести в себе “смысл”, или “значение”, в таком его понимании; его нельзя признать содержанием, или даже только частью содержания, того языкового знака, отзывом на который он является. Дело не только в том, что многие образы имеют лишь поверхностное и косвенно-намекающее отношение к содержанию отображаемых феноменов. Свойства любого образного отклика— одномоментность, непосредственность и целостность образной реакции — принципиально лежат в иной плоскости по отношению к смысловому процессу, с его открытостью, разнонаправленностью и бесконечностью потенциального развертывания. Когда мы говорим об образном представлении, возникшем у говорящего в качестве непосредственной реакции на языковое выражение, речь идет отнюдь не о том, что наш говорящий таким способом “осознал” или “понял” это выражение, то есть воспринял его смысл. Образная реакция служит первичным откликом говорящего субъекта на языковое выражение — непосредственным, мгновенным, непроизвольно-спонтанным. Ниже мы увидим, что этот образный отклик, именно в силу своей спонтанности, может служить первоначальным толчком, приводящим в движение интерпретирующую мысль, работа которой, в зависимости от переменного множества условий, приводит говорящего к тому или иному “пониманию”. Но сам образный отклик таким “пониманием” не является. Он стоит у истоков процесса осмысливания, а не на его выходе; представляет собой импульс к интерпретирующей работе, а не результат этой работы.

Именно потому, что образный отклик не является собственно значением языкового выражения, говорящий субъект легко мирится с иероглифической условностью, намекающей беспредметностью, зрительной неясностью многих своих образных реакций. Говорящему в его повседневной языковой деятельности вообще нет нужды задумываться над характером имеющихся у него образных откликов: над тем, насколько “удовлетворительными” их можно признать в отношении их зрительной отчетливости, насколько “адекватны” они отображаемому феномену, наконец, насколько они “объективны”. Важно, что всякое языковое выражение, всякая частица языковой материи способны получить тот или иной образный отклик в перцепции говорящего субъекта; но совсем не важно, каков сущностный характер этого отклика. Образный отклик регистрирует факт “узнавания” (либо, напротив, “неузнавания”) соответствующего языкового выражения, а не его понимание в собственном смысле. Достаточно того, что мы опознали образ, даже если нам не удается как следует “разглядеть”, в чем его сущность[154].

Наконец, понятие образного отклика следует отличать от той трактовки, которую идея словесного “образа” получила в гумбольдтианской филологии, прежде всего у Потебни и его последователей, а также в своеобразно продолжившей эту идею теории остранения Шкловского. Для этого направления филологической мысли образное представление, связывающее форму слова с его смыслом (то, что Гумбольдт назвал “внутренней формой” слова), составляет самую суть смысловой наполненности слова. Если от многократных повторений образ утрачивает свою свежесть, становится “стертым”, так что значение слова начинает восприниматься “автоматически”, без посредствующего образного представления, — такое зна-

чение признается дефектным, не имеющим должного духовного наполнения. Мы говорим “Здравствуйте!” автоматически в надлежащей ситуации, не переживая непосредственно, как образ, идею 'пожелания здоровья', которая когда-то послужила творческим импульсом к созданию этого выражения; выражение сохраняет свое утилитарное значение, но утрачивает творческую энергию, которая придавала ему духовную наполненность[155]. В языке должны все время появляться все новые выражения, образная основа которых ощущается говорящими со всей яркостью и “свежестью”, иначе языку грозит смысловое омертвение. Модернизм придал еще больше драматизма этой романтической картине, утвердив принцип постоянного насилия по отношению к языку, постоянной ломки и перекраивания языкового материала как единственного средства придать ему “остраняющий” эффект, обеспечивающий свежесть и резкость образного восприятия, и тем самым противостоять автоматизации, которая непрерывно и неуклонно наступает на язык в процессе его обиходного употребления[156].

Характерной чертой такого понимания языковой образности мне представляется его статичность. Каждый языковой знак поставлен “один на один” со своим образом; каждый образ раз и навсегда прикреплен к своему знаку. Только возникновение нового выражения может привести к рождению нового образа, выступающего в этот момент во всей новорожденной свежести; дальнейшая его судьба — это постепенное “старение” и омертвение, неизбежно наступающие по мере “старения” самого выражения, с которым образ связан, как душа с телом. При таком понимании качество каждого отдельного образного представления — его “свежесть”, оригинальность, яркость, отчетливость, — вызываемого каждым отдельным языковым знаком, получает первостепенное значение, поскольку от него непосредственно зависит смысловое качество самого этого знака[157].

Отличие понятия образного отклика от романтического и модернистического понимания словесного образа состоит в его летучей неустойчивости. Каждый образный отклик, мгновенно возникнув в представлении, так же мгновенно улетучивается в качестве отдельного перцептивного целого; он сливается с другими откликами в составе целого выражения, целого высказывания, целого повествования, развертывается во все более широкие образные ландшафты, перетекающие друг в друга, изменяющие свои ракурсы и оснащенность деталями. За исключением особых случаев, когда именно данное выражение почему-либо специально привлекает к себе внимание говорящего, у него нет ни возможности, ни потребности вычленить отдельные образные снимки из этого мелькания все время меняющих свои очертания, мгновенных и мимолетных впечатлений. Даже если усилием перцептивной воли он остановит этот поток, чтобы лучше “разглядеть” какую-нибудь отдельную образную картину, он не мог бы сказать, в какой степени эта картина является образным снимком слова или выражения как такового, а в каком — ее свойства определяются контекстом, который он сознательно или бессознательно этому выражению примысливает, и ассоциациями, которые, помимо его воли, подсказывает ему в это мгновение языковая память.

Чем же тогда отличается образ-троп — то, что Потебня и его последователи только и признавали собственно образом, — от “обиходного” или “автоматизированного” образа, возникающего в качестве немедленного и нерасчлененного отклика? Мне кажется, что характерной — хотя, быть может, не обязательной — чертой образного отклика, вызываемого тропом, является эффект палимпсестного наложения одних образных пред-

ставлений на другие. Не только различные аспекты образного представления — картинный, иероглифический, кинетический, графический — могут соучаствовать в создании той или иной образной проекции, но и сами эти различные проекции способны выступать в представлении говорящего во взаимном наложении — как бы в виде нескольких фотографических снимков, снятых на один кадр. Если такой эффект возникает — он переживается говорящим субъектом как эффект “переноса” значения.

Прочитав строки: “Седой погонщик гнал устало Невы двугорбого верблюда” (Маяковский), — мы можем представить себе и собственно “верблюда”, и извив реки (на реально виденной или воображаемой карте города), образующий “два горба”. Мы представляем себе эти образы не раздельно, но вместе, в слиянии и наложении; именно эта совмещенность представлений, которые мы привыкли мыслить раздельно, и служит сигналом, что перед нами “метафорическое” выражение, и тем самым дает первичный толчок к процессу осознавания его значения как “переносного”.

Чем неожиданнее столкновение накладывающихся образных отпечатков, чем ярче эффект, пробуждаемый таким наложением, — тем более “ярким” и “свежим” ощущается нами его метафоричность. С другой стороны, у множества выражений, значение которых в принципе могло бы дать эффект наложения разнородных образных картин, мы такого эффекта не ощущаем, в силу полной их привычности. Мы принимаем их как нечто само собой разумеющееся, и эта спонтанность принятия соответствует спонтанной нерасчлененности пробуждаемого ими образного отклика. Так, выражение 'красный уголок' не вызывает в наших представлениях драматического совмещения образов уютного “уголка” и “красной” парадности; мы “просто” представляем себе соответствующий феномен таким, каким он непосредственно рисуется нашему внутреннему зрению. В этом случае метафорическая палимпсестность образа “стерлась”, перестала ощущаться — но от этого отнюдь не исчезла “образность” выражения в более широком смысле, то есть способность его вызывать определенный отклик в нашем представлении.

Палимпсестная образность, вызывающая эффект смыслового переноса, представляет собой частный и специфический случай образного отклика, получающий свое особое значение именно в силу той универсальности, с которой наше представление откликается на любой языковой материал, даже самый привычно-непритязательный и мимолетно мелькающий в сознании. В этом случае, как и во многих других, обсуждавшихся ранее, традиционная иерархия ценностей должна быть подвергнута инверсии. Не обиходные языковые употребления следует считать редукцией образно “ярких” выражений-тропов, но, напротив, сам эффект тропа возникает в качестве игры с первичными образными откликами, предлагаемыми языком.

Выражения-тропы, рассчитанные на ярко и свежо ощущаемое наложение разных образов, играют, разумеется, огромную роль в поэтической речи. Немаловажно их присутствие и в обиходном языке, в качестве катализаторов всевозможных игровых, каламбурных, эмфатических эффектов. Однако в масштабах языковой деятельности в целом этот специфический вид языкового образа имеет ограниченное и специальное значение. Если посмотреть на языковую деятельность как на длящийся процесс, то в течении этого процесса характер и качество каждого отдельного образного отклика самого по себе в большинстве случаев отодвигается на второй план, растворяясь в перетеканиях и летучих перестройках образной ткани,

возникающих при малейшем движении языковой памяти говорящего субъекта. Смысл получающегося языкового целого оказывается лишь косвенным образом связанным с характером каждого отдельного образного отклика — его новизной или привычностью, свежестью или стертостью, яркостью или тусклостью. Сами эти качества образного отклика не являются постоянными величинами; их соотношение может измениться в любой момент, в любом направлении — притоком ассоциаций и их взаимодействием с вызвавшим их выражением, перестройкой всего образного ландшафта, разворачивающегося в представлении в процессе развертывания речи, сменой тематической топографии, жанрового и эмоционального “климата”, в котором протекает этот процесс.

Насколько мимолетным, почти случайным является характер каждого отдельного образного отклика в его отношении к возникающему в сознании говорящего субъекта смысловому результату, настолько постоянным и универсальным является сам феномен образной реакции, вызываемой языковым материалом. Можно утверждать, что способность к образному отклику является универсальной чертой нашего обращения с языковым материалом. Нет такого языкового действия, которое не получило бы проекции в мире образных представлений — прямой или косвенной, полной или частичной, отчетливой или смутно-намекающей; и обратно: в представлении не может возникнуть ничего такого, на что языковая память неспособна была бы дать некоторый, хотя бы частичный и приблизительный, языковой ответ[158].

При всех особенностях их воплощения в индивидуальном образном мире каждого субъекта, языковым образным представлениям присущ целый ряд общих свойств и категорий. Обсуждение этих свойств позволит нам подойти к вопросу о той функции, которую выполняет этот феномен в языковой деятельности.

1) В формировании языкового образа зрительному представлению принадлежит решающая роль. Свойства предмета, которому в русском языке соответствует слово 'трава', отнюдь не исчерпываются его визуальной характеристикой; наш опыт обращения с травой как предметом включает в себя, наряду со зрительными впечатлениями, и запахи, и звуки, и тактильные ощущения; все эти компоненты неотъемлемы от нашего знания данного предмета и узнавания его в той или иной ситуации. Однако представление, пробуждаемое соответствующим языковым выражением, имеет преимущественно, если не исключительно, зрительный характер. Какой бы образ 'травы' ни являлся нашему сознанию в той или иной ситуации, этот образ мы в своем представлении в первую очередь “видим”. Даже если ситуация, с которой мы имеем дело, по своему смыслу выдвигает на первый план звуковые или тактильные аспекты предмета, мы воспринимаем их через посредство зрительного образа. Так, встретившись с выражением 'прикосновение мягкой, шелковистой травы', я могу представить воочию свежие листья, покрытые пушком, прикосновение к которым должно вызвать ощущение “шелковистости”, могу представить себе эти листья в чьей-то руке. Выражение 'запах свежескошенной травы' высвечивает в моем сознании такие черты визуального образа, которые неотъемлемы от соответствующего обонятельного ощущения: поляна со свежескошенной темно-зеленой травой, выступающие на листьях капельки влаги; можно сказать, что в своем представлении я скорее “вижу” запах, чем обоняю его. Аналогично, выражения 'шум / грохот / рев водопада' вызывают в моем представлении картину низвергающейся массы воды, камней, покрытых

пеной, — словом, характерные зрительные образы, через посредство которых получает воплощение соответствующий звуковой эффект. Но сам звук почти неощутим, в лучшем случае он выступает на заднем плане сознания, как отдаленное “эхо” этой картины. Усилием воображения я могу вызвать звуковое представление гула водопада; но оно возникает лишь как дополнительное “озвучивание” зрительного образа. Зрительный образ сам по себе, без звука, служит адекватным отображением выражения 'гул водопада'; но звуковое представление “гула” само по себе, без представления зрительной картины, едва ли могло бы служить таким отображением[159].

Преобладание визуальных представлений составляет характерную черту нашего обращения с языковым материалом. В своем жизненном опыте мы имеем дело с отвлеченными понятиями и конкретными предметами; первые вообще не имеют чувственного воплощения, вторые воспринимаются в симультанном воплощении различных признаков, апеллирующих к разным органам чувств. Но когда некий феномен становится фактом нашей языковой памяти, отложившись в ней в качестве языкового выражения, наше обращение с этим его вторичным языковым бытием проходит под знаком господства визуального начала. Свойства предмета или понятия тем или иным путем транслируются в зрительный образ.

Любопытно и характерно в этом отношении различие перцептивных механизмов, действующих в языке и музыке. Для последней звуковое представление служит первичной и исходной данностью, из которой вторично могут возникать иные — неслуховые — перцептивные отображения. Какие бы “картины” мое воображение ни рисовало в связи с тем или иным музыкальным выражением — если оно вообще это делает, — эти картины заведомо воспринимаются мною как нечто производное по отношению к звуковому образу. Сами по себе эти картины не могли бы служить средством идентификации той музыки, которой они соответствуют в нашем восприятии; для того чтобы вызвать представление о музыке, необходимо представить себе, хотя бы приблизительно, хотя бы намеком, ее звуковой облик. Однако как только в восприятие музыки входит интеллектуальный элемент, подлежащий языковому выражению, — в восприятие вмешиваются визуальные представления, служащие образными отпечатками соответствующих языковых выражений. Так, если я опознаю звучащую музыку как 'экспромт Шуберта' или 'сонату Моцарта', факт такого опознания непосредственно всплывает в моем сознании в виде зрительного образа, соответствующего этому выражению. Если говорить о моем личном опыте, таким образным откликом может оказаться, в разных случаях, портрет композитора, или нотная страница, или памятная ситуация, в которой я когда-то слышал это произведение. Иначе говоря, та часть музыкального опыта, которая становится фактом языка, оказывается также непосредственно связанной со зрительными проекциями, как всякие другие факты языка[160].

2) Зрительному образу присуща воспроизводимость. Каждая из описанных ранее картин, связанных с образным представлением слова 'трава', является таким же фактом моей индивидуальной языковой памяти, как и само это слово и многие связанные с ним выражения. Я могу воссоздавать эти картины в воображении снова и снова, в разное время и по разным поводам. Конечно, мне не дано знать, действительно ли в моем представлении каждый раз является “в точности” тот же образ; можно даже предположить с большой вероятностью, что это не так и что каждый раз мое представление каким-то неуловимым для меня самого образом модифи-

цируется, приспосабливаясь к текущей ситуации и текущему состоянию мысли. Но важно при этом, что я всякий раз узнаю являющуюся моему сознанию картину как “тот же”, знакомый мне образ данного предмета. Подобно этому, извлекая некоторое выражение из языковой памяти, я никогда не имею дело в точности с “тем же” выражением, каким я его знал и употреблял прежде; и ритмико-интонационное наполнение, в котором это выражение выступает в речи, и коммуникативное окружение, в которое оно погружено, и подсказываемые памятью ассоциации и ходы его потенциального разрастания каждый раз оказываются несколько иными. И тем не менее, я каждый раз узнаю это выражение как известное и знакомое и соответствующим образом обращаюсь с ним. То же происходит с образными представлениями, пробуждаемыми этим языковым выражением.

В мою задачу не входит выяснение вопроса о том, какими психологическими путями в сознании складывается то или иное устойчивое образное представление. Как видно из обсуждавшихся выше примеров, оно может возникнуть на основе реального воспоминания (вполне очевидно, что большую роль в этой части образного опыта играют детские впечатления), либо художественного переживания, либо контаминации многих реально виденных или воображаемых картин в совокупный образ, в котором не узнается какой-либо определенный прототип. Подобно этому, и языковые выражения поступают в запас памяти различными путями: вследствие единичного яркого жизненного или художественного впечатления, либо преднамеренного акта запоминания, либо в результате конденсации многократного, исподволь накапливавшегося опыта. Но и языковое выражение, и соответствующий ему зрительный образ, однажды отложившись в памяти, занимают свое место в сознании как факт нашего языкового существования. Мы можем вызывать их из памяти, произвольно или под влиянием какого-то стимула; главное — мы можем в своей деятельности полагаться на эти феномены как на нечто заведомо нам известное и знакомое.

3) Столь же неотъемлемым свойством образа, как воспроизводимость, является его множественность. Слово 'трава' способно вызывать в моем представлении не один, однозначно этому слову соответствующий образ, но целую галерею образных картин. Каждая такая картина имеет характер немедленно узнаваемого отображения слова 'трава'; но сколько таких воспроизводимых отображений хранится в моей памяти и может актуализироваться по разным поводам в качестве реакции на это слово, определить в точности невозможно.

Из этого следует, что между языковым материалом и образным откликом на него нет однозначного соответствия. Каждому известному нам языковому выражению соответствует в представлении целый ряд образных альтернатив. Какая из образных проекций данной частицы языковой материи всплывет в моем сознании в том или ином конкретном случае — зависит от различных обстоятельств, и прежде всего от контекста, в котором она призвана будет занять свое место. Упоминание степи способно вызвать образ степных трав, контекст городского пейзажа — образ травы, пробивающейся из асфальта, рассуждение о видах и свойствах трав — иллюстрацию в книге или образ растения под стеклом гербария. В сущности, когда я стараюсь произвольно вызвать из памяти как можно больше разных картин, устойчиво ассоциирующихся в моем представлении со словом 'трава', я делаю это, намечая в воображении возможные контексты, темы, сюжеты, которым может соответствовать та или иная образная проекция этого слова.

Альтернативность и множественность образных проекций языкового материала становится вполне очевидной лишь тогда, когда мы стремимся произвольно вызвать в представлении различные картины, связанные в нашем сознании с определенным словом; иначе говоря, тогда, когда мы погружаемся в метаязыковую рефлексию по поводу свойств этого слова, отвлекаясь от непосредственного его переживания в условиях конкретного употребления. В повседневной языковой деятельности мы в большинстве случаев имеем дело каждый раз с одной образной проекцией — именно той, появление которой стимулируется текущими обстоятельствами употребления. В этот момент мы “не помним” о других образных альтернативах; явившееся нам представление переживается как устойчивый и узнаваемый образ, непосредственно соответствующий данному употреблению. Требуется усилие мысли, чтобы выйти из этого контекстуального симбиоза и осознать, что в действительности этому же языковому знаку в нашем представлении может соответствовать неопределенное множество узнаваемых образов, в силу чего сам акт образного “узнавания” каждый раз совершается по-иному[161].

Воспроизводимость и множественность представляют собой взаимно дополнительные и взаимно необходимые свойства образных представлений. Только в условиях множественного соотношения между языковым выражением и его образными проекциями это выражение получает способность немедленно и непосредственно восприниматься, конденсируясь в знакомый образ, в бесконечном множестве конкретных ситуаций, в которых оно может появиться в речи.

4) Важнейшей чертой языковой перцепции является пластичность образов, то есть способность их к всевозможным перевоплощениям. Языковой образ все время включается в состав более обширных композиций, развертывающихся в речи: включается не в виде отдельного “кубика”, занимающего свое место в общем построении, но растворяясь в более широком — и притом все время изменяющемся, непрерывно развертывающемся — образном ландшафте, сливаясь с другими аксессуарами этого ландшафта. В этих слияниях и перетеканиях одних образов в другие, в постоянных сменах ракурсов и перспектив исходное представление подвергается бесчисленным модификациям, адаптируясь к меняющимся условиям своего воплощения. Знакомый образ все время трансформируется, реагируя на движение языковой среды с поистине протеистической гибкостью. При этом во всех своих метаморфозах образ продолжает восприниматься как “знакомый”; он сохраняет свою “узнаваемость” в бесчисленном множестве различных, частично модифицированных обличий.

При всей конкретности картин, пробуждаемых в моем сознании словом 'трава', я могу быть уверен, что, если языковая ситуация того потребует, любая из этих картин трансформируется в нужном направлении, и притом так, что я по-прежнему буду “узнавать” ее в качестве лично мне знакомой, наличествующей в моем сознании. Например, имея дело с высказыванием (в качестве его автора или адресата-интерпретатора) *Справа по всей длине двора тянулась кирпичная стена, под которой тут и там виднелись островки притоптанной, пожелтевшей травы, — я* способен спонтанно перевоплотить свой исходный образ 'травы во дворе' в соответствующую этому высказыванию образную картину. Белая оштукатуренная стена, фигурировавшая в исходном образе, превращается в красную кирпичную (ее образ, конечно, возникает не произвольно, но путем контаминаций с какими-то другими образными представлениями, которыми располагает моя

перцептивная память) и перемещается с левой стороны двора, где она находилась в моем воспоминании, на правую, — но я все равно “узнаю” эту картину, она находит немедленный отклик в моем субъективном мире языковых образов. Получившийся образный отклик был мною заново создан путем контаминации разных частиц образных воспоминаний; он не фигурировал в моем сознании в качестве одной из исходных картин, в которых моему представлению непосредственно является 'трава'. И после того, как минет данная языковая ситуация, вновь сложившаяся картина, скорее всего, улетучится из сознания (если только по какой-либо причине эта ситуация не окажется для меня особенно памятной и в силу этого не получит устойчивого отображения в моем образном арсенале), вновь уступив там место исходной картине 'травы во дворе' — с оштукатуренной стеной, расположенной по левую сторону двора. Но в момент формирования нового образа он узнается как трансмутация исходного.

В силу протеистической способности каждого образа адаптироваться к все новым условиям его употребления, выражение, соответствующее этому образу, является говорящему, в процессе его языковой деятельности, в виде бесконечного и непрерывного континуума образных перевоплощений.

5) Языковой образ отличает переменная сфокусированность. Образ может возникать в представлении говорящего с различной степенью отчетливости — от очень яркого, позволяющего дать подробное словесное описание или изображение на бумаге, до расплывчато-неопределенного, видимого как бы через замутненное стекло; от устойчивой картины, которую можно “рассмотреть” в воображении в различных ракурсах и деталях, до мимолетного, едва намеченного и тут же исчезающего образного следа.

Разная степень сфокусированности может быть постоянным свойством самих образных отпечатков, хранимых нашей памятью; некоторые мы представляем себе более отчетливо и конкретно, другие более смутно и приблизительно. Так, я уже упоминал, что образ слова 'трава' в виде рисунка в учебнике ботаники существует в моей памяти в виде хотя и устойчивого, недовольно смутного представления; я “вижу” только самые общие черты рисунка, позволяющие судить, что это 'трава', и был бы неспособен назвать какие-либо конкретные детали или тем более передать его на бумаге. Это, однако, ничуть не мешает мне пользоваться этим образом в подходящих ситуациях и “узнавать” его как нечто мне знакомое и понятное.

Но и выражения, способные вызвать в нашем представлении отчетливый и детализированный зрительный образ, обладают вместе с тем способностью менять степень своей сфокусированности в разных случаях употребления. Так, образ травы, растущей во дворе, обладает в моем представлении большой яркостью и конкретностью, поскольку он восходит к непосредственному детскому воспоминанию; я способен рассмотреть его во многих подробностях, обнаруживая в нем все новые детали. Это, однако, происходит лишь тогда, когда этот образ занимает достаточно “видное” положение в той языковой среде, в которой я его мыслю в данном случае. Но в языковой деятельности образ 'травы' может появиться в такой ситуации, в которой ему отводится периферийная и мимолетная роль. Например, в стихе из пушкинских “Цыган”: “Он молча, медленно склонился И с камня на траву свалился”, — 'трава', в перспективе того целого образного представления, которое возникает в связи с этим высказыванием, оказы-

вается лишь мимолетно намеченной деталью. В этом случае у меня не будет ни возможности, ни необходимости вызвать в представлении этот образ с такой яркостью, какую он приобретает, когда оказывается в фокусе языковой мысли. Я не могу позволить себе чрезмерно сосредоточиться на периферийной детали, поскольку это исказило бы восприятие сообщения в целом, нарушило бы перспективу более широкого смыслового ландшафта (если, конечно, я не иду на такое изменение перспективы сознательно). В этом случае знакомый образ проецируется в представление мимолетно, едва отмеченным абрисом, достаточным лишь для того, чтобы быть принятым и "узнанным".

Языковая перцептивная способность говорящих обнаруживает исключительную гибкость и толерантность в обращении с образами различной сфокусированности. В зависимости от своего положения в составе более широкого смыслового целого, в зависимости от силы направленного на него внимания, любой языковой образ способен воплощаться в представлении говорящего с различной степенью фокусировки — от максимально возможной для этого образа степени визуальной проясненности до минимального следа, достаточного лишь для того, чтобы зарегистрировать проекцию языкового выражения в перцептивное поле говорящего.

Описанный феномен играет важную роль в той удивительной спонтанности и пластичности, с которой говорящие, хорошо владеющие языком, оказываются способными реагировать на самые разнообразные высказывания и которая особенно бросается в глаза в сравнении с той медленностью и негибкостью, с которой неопытный ученик пытается "сложить" свое знание отдельных языковых компонентов в какое-либо приемлемое целое. В ситуации, когда разворачивающаяся языковая ткань вызывает мгновенные образные отклики, способные так же мгновенно менять очертания и сливаться друг с другом в более обширные ландшафты образных представлений, неясность и смутность представлений, вызываемых некоторыми ее компонентами, перекрываются слитностью и пластичной подвижностью целого. Говорящему, укорененному таким образом в языке, скорее грозит противоположная опасность — опасность иллюзии понимания, или "псевдопонимания". Ему кажется, что он "уловил" образ выражения, даже если конкретные черты этого образа совершенно растворились в потоке мелькающих метаморфоз; кажется, что тот или иной, в сущности оставшийся ему неясным компонент высказывания занял свое место в общем образном ландшафте — даже если это "место" оказывается не более чем непроясненным пятном. Говорящему приходится быть начеку, поверяя анализом и ретроспективными ревизиями качество создаваемых и принимаемых выражений — особенно в тех ситуациях, которые предполагают повышенную требовательность к качеству смыслового рисунка, — чтобы не поддаться ощущению всеузнаваемости и всепонятности, с которым мы реагируем на образные представления хорошо знакомого языка.

Языковые образы неотступно сопровождают языковую деятельность говорящих — создание и восприятие высказываний, экстернализированную либо внутреннюю речь. Однако в этой неотступности нет навязчивости. Образные представления не занимают в процессе языковой деятельности какого-либо устойчивого положения; степень их осознанности и воплощенности в представлениях говорящего субъекта все время варьируется. В основном образные проекции лишь мелькают на заднем плане речевого потока. Один образ сменяется другим — или, вернее, перетекает в него и сливается с ним, не успев проясниться и выделиться в осознанную пер-

цепцию. Лишь изредка, подобно вспышке, тот или иной образ выступает на поверхность, определяя, в качестве яркой “вехи”, перспективу всего окружающего смыслового ландшафта. Мне вспоминается в этой связи платоновский образ теней-отблесков на стене пещеры — метафора того, как сознанию, прикованному к эмпирическому опыту, является внеэмпирический смысл вещей. Подобно платоновским теням, языковые образы проскальзывают в сознании в виде неуловимых и никогда до конца не проясненных теней; но для говорящих, так же как для платоновских узников пещеры, эти тени играют первостепенную роль в том, как они в конце концов приходят к осознанию чего-то, что они ощущают как полученный или сообщенный “смысл”.

10.2. РОЛЬ ОБРАЗНЫХ ОТКЛИКОВ В ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Wort und Bild sind Konelate, die sich immerfort suchen.... So vonjeher, was dem Ohr nach innen gesagt oder gesungen war, sollte dem Auge gleichfalls entgegenkommen.
Goethe, “Maximen und Reflexionen”, No. 907.

При всей своей идиосинкретичной субъективности, непроясненной мимолетности, а порой и причудливо-условной схематичности, образные отклики на языковые выражения, по моему убеждению, играют чрезвычайно важную, быть может, решающую роль в процессе осмысливания говорящими как поступающих к ним извне, так и своих собственных высказываний. Только представив себе некое языковое выражение — ту частицу языкового материала, с которой мы в данный момент имеем дело, — в виде образа, мы оказываемся в состоянии охватить и осознать это выражение как целое, без чего было бы невозможно “понять” его смысл (что бы это ни значило). Если же какая-то частица языкового материала не вызвала в сознании говорящего образного отклика — потому ли, что он не был в состоянии распознать в ней какое-либо представимое для него целое, способное занять место среди знакомых ему образов, либо просто потому, что его внимание было в этот момент отвлечено и он не сделал перцептивного усилия, необходимого для того, чтобы в сознании возник образный отклик, — эта языковая частица оказывается для него потерянной как факт коммуникации. Она остается “непонятной”, либо просто “не понятой”, то есть как бы не имеющей смысла — по крайней мере не имеющей смысла для данного говорящего субъекта в данный момент его языковой деятельности.

Роль образного отклика в процессе осмысливания языкового сообщения можно наглядно показать путем демонстрации от противного, то есть представив себе случай, когда такой отклик отсутствует. Всякому хорошо знакома ситуация, когда часть прочитанного или услышанного в разговоре ускользает от внимания. Глаза читающего “скользят по книге”, но через некоторое время, спохватившись, он обнаруживает, что смысл только что прочитанного не сохранился в его сознании. Особенно интересен в этом неосмысленном скольжении по языковому материалу тот факт, что чисто техническая сторона процесса чтения остается, по-видимому, такой же, как при осмысленном следовании за текстом. Все время, пока внимание читателя не было сосредоточено на смысле прочитанного, он продолжал исправно прочитывать слова и фразы, то есть узнавать данные сочетания

букв в качестве слов и выражений, составляющих привычные фразовые обороты и складывающихся в целые высказывания. Он переходил глазами от строчки к строчке, так что в момент возвращения внимания ему точно известно, до какой точки текста дошел процесс автоматического чтения.

Аналогичная ситуация может возникнуть и при устном восприятии. И в этом случае мы можем судить по некоторым признакам, что процесс опознания языковой ткани не прекращается, даже если смысл сказанного собеседником полностью ускользнул от слушателя. Наш слушатель и в состоянии рассеянного внимания продолжает подавать сигналы коммуникативного контакта, в которых нуждается собеседник, — и притом делать это уместным образом, в нужный момент; это значит, что слушатель следует за контурным ритмом высказываний, несмотря на невключенность понимания. Если говорящий внезапно обращается с вопросом или просьбой, требующими более конкретной реакции, слушатель, будучи "разбужен" таким образом, как правило, обнаруживает, что в его сознании еще не угас отпечаток последних сказанных собеседником слов; по этому сохранившемуся обрывку языкового материала он будет силиться восстановить то целое, на которое ему следует должным образом отреагировать. Это значит, что все время, пока он был выключен из процесса понимания, его языковой слух регистрировал слова и выражения в обращенной к нему речи. Но поскольку это не вело к формированию смысла, каждая зарегистрированная таким образом частица языкового материала тут же исчезала, вытесняясь следующей частицей, и так все время, пока внимание слушателя не будет вновь включено.

Может показаться, что подобного рода ситуации, когда оперативное обращение с языковым материалом отделено от осмысливания этого материала, встречаются только при пассивной языковой деятельности. Однако в действительности каждому из нас приходилось сталкиваться с этим феноменом и тогда, когда мы сами создаем устное или письменное высказывание, призванное выразить некую мысль. Если наше внимание слишком поглощено процессом складывания языковой ткани в некое "правильное" целое, нам грозит потеря контакта со смысловым заданием, которое это речевое целое призвано воплотить в себе. Мы успешно наращиваем выражение за выражением на основе их ассоциативных валентностей, следим затем, чтобы этот процесс протекал в рамках опознаваемого коммуникативного контура. Но перечитав затем созданное высказывание, мы убеждаемся, что оно получилось недостаточно осмысленным. Некоторые его части "ничего не значат" или значат нечто другое, чем то, что мы хотели выразить; иначе говоря, некоторые части нами же созданного высказывания не вызывают у нас какого-либо осмысленного образа либо вызывают совсем не тот образ, на который мы рассчитывали. В процессе манипуляций с языковым материалом наша мысль оказалась оттесненной на задний план и перестала определять создание высказывания. В момент возвращения смыслового контроля над речевым процессом мы испытываем потребность снова вернуться к отрезку "правильно" скомпонованного, но недостаточно осмысленного текста и пройти его сначала, поверяя каждое звено его развертывания смысловым заданием[162].

Во всех рассмотренных здесь случаях имеется одна общая черта, которая будет иметь важное значение для последующего обсуждения вопроса о том, как протекают процессы понимания. А именно: можно заметить, что процесс регистрации языкового материала, отделенный от понимания, имеет, по-видимому, чисто линейный характер. Языковое сознание вос-

принимающего скользит от слова к слову, от фрагмента к фрагменту, от контура к контуру, так что каждый следующий шаг, как правило, оттесняет собой предыдущий. В результате все, что остается у слушателя или читателя в момент “пробуждения”,— это последний зарегистрированный в “оперативной памяти” обрывок языковой ткани. В отличие от этого, включенность установки на понимание снимает линейные ограничения в восприятии и запоминании устного или письменного текста. Создатель или отправитель сообщения, читатель/ слушатель или пишущий/говорящий оказываются способными оперировать разными отрезками воспринимаемого текста, нередко разделенными значительным расстоянием, так или иначе соотнося и складывая их друг с другом в процессе создания либо воссоздания удовлетворяющего их смысла.

Итак, в нашей языковой деятельности может иметь место ситуация, когда мы, по всей видимости, производим адекватные операции складывания языкового материала, без того, однако, чтобы вызвать в сознании удовлетворяющее нас представление о смысле, воплощаемом в этом материале. Естественно задаться вопросом: чего в этих случаях “не хватает” в нашей языковой деятельности? какой ее компонент оказывается выпавшим, в результате чего весь процесс коммуникации остается безрезультатным?

В последующих главах будет сделана попытка проследить некоторые общие направления движения мысли говорящего в процессе осмысливания им языкового сообщения. Однако сейчас нас интересуют не ход и результаты самого этого процесса, но его исходная точка: как этот процесс вообще возникает? каким образом языковое высказывание, создаваемое или воссоздаваемое в сознании говорящего субъекта, приводит в движение его духовный мир, притягивает к себе разнообразные духовные ресурсы, пока из этого процесса не возникает некий более или менее удовлетворяющий его смысл? Мы видим теперь, что успешное обращение с языковым материалом само по себе не гарантирует такого рода духовной включенности. Языковой материал — коммуникативные фрагменты и их сращения, следующие по канве фразовых контуров, — может развертываться в сознании говорящего “вхолостую”, не вызывая духовного отзыва и тут же улетучиваясь. Каким же образом, при каких условиях языковой материал оказывается способным прийти во взаимодействие с работой мысли говорящего субъекта? Вот здесь-то мы и подходим к той роли, которую в языковой деятельности играет языковой образный отклик.

Я полагаю, что в соединении языкового материала с мыслью, претворяющей этот материал в смысл сообщения, языковым образным представлениям принадлежит посредствующая роль. Языковые образы служат тем проводником, посредством которого принятое высказывание попадает в сферу деятельности интерпретирующей мысли говорящего, либо, напротив, посредством которого мысль говорящего оказывается направленной на то, чтобы воплотиться в высказывании. Если в представлении говорящего возник образ выражения — возник хотя бы в самом мимолетном, едва намеченном виде, — это означает, что данное выражение им “узнано”, то есть принято его сознанием в качестве распознаваемого феномена. Воспринятый образ языкового выражения как бы вводит это выражение в мир языковой памяти говорящего; мгновенно вспыхнувшее образным откликом выражение “падает” в конгломерат языковой памяти, как камень в воду, пробуждая бесчисленные, расходящиеся все далее по разным направлениям резонансы. Только после такого первичного принятия-

узнавания может начаться интерпретирующий процесс, результатом которого явится то или иное — никогда не окончательное — осмысливание. С этого момента данное выражение втягивается в работу мысли говорящего: оно соотносится с другими выражениями, близкими и далекими, образы которых всплывают из резервуаров памяти, ассоциативно притягиваясь к только что полученному образному впечатлению; со множеством сведении, воспоминаний, эмоциональных реакций, логических умозаключений, подразумеваний, догадок, проступающих в его сознании в связи с этим впечатлением-откликом и складывающихся во все новые конфигурации в процессе работы мысли; наконец, с тем, как говорящий ощущает жанровую природу коммуникации, ее явный и подразумеваемый контекст, характер и позицию ее участников. Но если языковое выражение не вызвало образной реакции — это означает, что оно осталось не принятым сознанием. В этом случае оно тут же исчезает из восприятия, вытесняясь следующим куском языковой ткани, без всякого следа в языковой памяти, а значит, и в интерпретирующей мысли, — и так до тех пор, пока субъект не сфокусирует свое внимание на языковом материале в достаточной степени для того, чтобы этот материал начал отдаваться в его сознании образными откликами.

Можно выделить несколько аспектов, в которых проявляется посредствующая роль языковых образов.

1) Образное представление языкового материала выполняет по отношению к этому материалу интегрирующую и синхронизирующую функцию. Развертывание речи осуществляется в основном линейно. Конечно, в этом процессе играют определенную роль дистантные соотнесения и антиципации, нарушающие строго линейную последовательность в разрастании языкового материала. Но в конечном счете и процесс создания, и процесс восприятия высказываний оказывается протяженным во времени: отдельные его компоненты следуют друг за другом. Мы видели, что, когда этот процесс не сопровождается включением интерпретирующей мысли, линейный характер речевой деятельности приводит к тому, что каждый новый шаг вытесняет собой предыдущие.

В отличие от этого, процесс осмысливания не знает ограничений, связанных с линейным и вообще каким бы то ни было порядком. Мысль движется одновременно по многим направлениям, переходя от одних компонентов высказывания к другим, от того, что непосредственно сказано, к тому, что подразумевается или может быть домыслено, от реально употребленных выражений к множеству вызываемых ими ассоциаций. Все это множество разнонаправленных соотнесений интегрируется в некое неокончательное целое, которое говорящий ощущает как смысл данного сообщения[163].

Языковой образ позволяет осуществить переход от подчиненного течению времени развертывания языкового материала к не знающей временных ограничений работе мысли, интегрирующей этот материал в смысл. Протяженный во времени отрезок языковой ткани, будучи воспринят в виде целостного образа, как бы изымается из временной длительности. Образ языкового выражения возникает в сознании в виде мгновенной вспышки, свободной от той временной длительности, которая требуется для порождения или восприятия этого выражения как куска языковой материи. И сколько бы таких вспышек-узнаваний ни возникало в нашем сознании в процессе создания или восприятия сообщения — они не выстраиваются в виде последовательной цепочки образных картин, но немедленно, в са-

мый момент своего возникновения, растворяются друг в друге[164]. Образы отдельных выражений, соприкоснувшись в процессе развертывания высказывания, тут же сливаются, вызывая некую более общую картину, в составе которой каждый из них фигурирует не по отдельности, но в качестве аксессуаров этой синтезирующей картины; в процессе своего слияния в новое целое образные отклики мгновенно адаптируются друг к другу, летуче изменяют свои очертания, перестраиваясь в качестве компонентов вновь возникающей картины, — так что в конечном счете все высказывание, и даже вся коммуникация в целом, предстает в виде синхронизированного образного ландшафта.

Когда мы вспоминаем какой-либо разговор, либо прочитанную книгу, либо ранее пришедшую в голову мысль, это воспоминание предстает в виде образного ландшафта, имеющего идеально-пространственную, но не временную протяженность. Конечно, мы можем движением мысли переходить от одних деталей этого ландшафта к другим. Размышляя о “Войне и мире”, я могу непроизвольно или намеренно перебирать в памяти отдельные лица, эпизоды, композиционные разделы романа, даже отдельные выражения; вспоминая какой-либо разговор, я могу сосредоточиться на отдельных его моментах и их последовательности. Но эти мысленные переходы от одного компонента вспоминаемого текста к другому не знают никаких временных и линейных ограничений: по собственной воле или даже помимо нашей воли мы мгновенно переносимся из одной точки в любую другую, независимо от их линейной последовательности и существующего между ними расстояния, — подобно тому как взгляд способен скользить в любом направлении и на любые расстояния по открывающемуся ландшафту. Мы можем совмещать и контаминировать различные компоненты образной картины друг с другом и с другими образами, приходящими нам на ум в силу каких-либо ассоциаций, опять-таки независимо от какого бы то ни было линейного порядка. Ситуация не меняется, даже если я помню соответствующий текст наизусть, то есть могу в точности воспроизвести его линейное развертывание. Например, тот факт, что я знаю наизусть какое-либо стихотворение и, значит, могу мысленно или вслух воспроизвести его слово за словом, совершенно не отменяет того, что вместе с тем в моем сознании присутствует образное воспоминание-ландшафт этого стихотворения, обладающее такими же свойствами вневременной, ландшафтной симультанности и непрерывности, как и образ текста, который я не помню буквально и от которого у меня в памяти хранится лишь “общий смысл”[165].

Теперь становится понятным, почему в нашей перцепции языкового материала такую важную роль играют именно зрительные представления; почему наше языковое сознание претворяет в зрительные образы даже такие выражения, смысл которых может получить лишь опосредованное зрительное воплощение. Претворение языковой ткани в образный ландшафт является тем критическим шагом, который превращает языковое высказывание в объект интерпретирующей мысли. Из протяженной композиции, в создании которой принимало участие множество частиц языкового материала, реально употребленных и ассоциативно подразумеваемых, высказывание претворяется в непосредственно воспринятую образную картину. Что именно нам удастся “разглядеть” в этой картине, какие ассоциативные, интеллектуальные, эмоциональные реакции она у нас вызовет и впитает в себя, — зависит от свойств нашей интерпретирующей мысли, условий и режима ее работы. Но сама эта работа оказывается возможной

в силу того, что объектом ее становится изъятое из течения времени образное представление, а не подчиненный течению времени ход языкового материала.

Способность образных откликов к мгновенной интеграции определяет ту важную роль, которую они играют в процессах ассоциативного разрастания языковой ткани. Ранее, когда мы анализировали возможности слияния и разрастания коммуникативных фрагментов, мы рассматривали эти процессы со стороны свойств самой языковой ткани: тех ассоциативных притяжении, которые возникают между различными выражениями, в силу чего они оказываются способными сливаться во все более обширные коммуникативные композиции. Теперь можно добавить, что образные проекции соответствующих выражений играют в этом процессе самую активную роль. Возникновению ассоциативных притяжений между разными выражениями способствует не только сродство их языковой формы или сферы употребления, но также тот факт, что образные отклики, вызываемые каждым из них, обнаруживают общие черты, определяющие их способность к слиянию в единый образный ландшафт.

Любое образное представление, вызываемое каким-либо языковым выражением, вмещает в себя неопределенное множество аксессуаров, неотделимых от той среды, в которой это выражение нами мыслится. Например, образная репрезентация 'травы' в виде поляны на опушке леса включает в себя и рельеф местности, и окаймляющие поляну деревья, и определенное освещение, и бесчисленное множество других компонентов и аспектов — бесчисленное в том смысле, что невозможно “каталогизировать” все детали в составе целостной, непосредственно воспринимаемой картины. Каждый из этих компонентов картины может выступить на передний план, привлечь к себе внимание, немедленно вызывая из языковой памяти выражения, соответствующие этой образной черте. Это ведет к расширению исходного языкового фрагмента, разрастанию его во все более пространные композиции: 'в тени на траве' — 'мы расположились в тени на траве' — 'мы расположились на траве у опушки' — 'мы расположились на траве у опушки в тени большого дерева' — 'мы расположились на траве у опушки в тени огромного старого дуба, широко раскинувшего свои ветви над поляной', — и так далее, потенциально до бесконечности.

Трудно даже сказать, что в этом процессе служит изначальным импульсом и что — ответом на него: образная ли картина вызывает из памяти соответствующий ей языковой материал, или этот материал, актуализируясь в памяти, проецируется в образное представление. Скорее всего, процесс развертывается одновременно в обоих направлениях. Привлекшая наше внимание деталь первоначального образа вызывает из языковой памяти некоторое соответствующее ему выражение, тем самым приводя в движение языковой ассоциативный механизм, в силу которого это выражение начинает сопоставляться с другими, расширяться, обрастать все новыми аксессуарами, превращаться в целое высказывание и даже целое повествование. Эта языковая работа, в свою очередь, проецируется в образное представление, модифицируя и развивая его, дополняя его все новыми деталями, включая его в более широкие образные ландшафты, сообщая ему динамику развития в соответствии с наметившимся сюжетом. Исходным толчком, приводящим в движение весь этот процесс, мог послужить как языковой, так и образный стимул: услышанное, прочитанное или просто пришедшее на память выражение, вызвавшее образную реакцию, либо, напротив, увиденная или возникшая в воображении картина, давшая

толчок языковой памяти. Но раз начавшись, процесс разворачивается в виде цепной реакции взаимодействий и челночных переходов — от языкового материала к образам и от образов к языковому материалу.

2) Претворение высказываний в языковые образы неотделимо от эффекта, который можно назвать модализацией сообщения.

Каждое языковое высказывание создается из первичного языкового материала, непосредственно известного говорящему, путем всякого рода сращений, контаминаций и модификаций имеющихся в его распоряжении кусков языковой ткани. Говорящему все время приходится иметь дело с силами валентных тяготений, направленных в различные стороны, с требованиями и запретами, противоречащими друг другу, с непредсказуемым множеством побочных эффектов, возникающих всякий раз, когда различные “монады” языкового опыта, каждая несущая в себе целый потенциальный коммуникативный мир, соприкасаются и сливаются друг с другом. Получающееся в результате целое всегда относительно, в качестве компромисса между неопределенным множеством вовлеченных в его образование факторов. Для того чтобы успешно воплощать свои мысли в высказывания и принимать высказывания других людей, говорящему необходимо уметь хотя бы приблизительно оценивать характер достигнутого в том или ином случае компромисса, с тем чтобы, если результат его не удовлетворяет, предпринять по возможности какие-то дополнительные усилия, чтобы более удовлетворительно разрешить возникшую проблему. Никакой аналитический аппарат, никакие правила сами по себе не способны обеспечить выполнение этой задачи (хотя они могут оказаться полезными в отдельных случаях, в качестве одного из инструментов осмысливания, имеющихся в распоряжении говорящего), поскольку речь идет о неопределенном разнообразии факторов и ситуаций, и притом факторов переменных, характер и относительный вес каждого из которых изменяется при каждом новом включении в процесс.

Образная проекция языкового материала позволяет говорящему субъекту оценивать качество и характер речевых артефактов, возникающих в процессе языковой деятельности. Слияние разных частиц языкового материала в речи отражается в мире образных представлений говорящего в мгновенном слиянии образов этих частиц в новое образное целое. Каждый вновь возникающий интегрированный образ имеет такую же непосредственно воспринимаемую модальную окрашенность, как те исходные образные отклики, из слияния которых сложился этот более широкий образный ландшафт. Облик этого ландшафта, каким он предстает образному зрению говорящего субъекта, всегда как-то модально окрашен: он выглядит как более или менее “привычный” либо “неожиданный”, “нормальный” либо “сдвинутый”, “ловко скроенный” либо “тяжеловесный” и “неуклюжий”, “четкий” либо “смутный”, “компактный” либо “рыхлый”, как “красивый”, “уродливый”, “смешной”, “нелепый”, “претенциозный”, “примитивный”, “грубый”, “манерный” “изысканный”; как имеющий “простонародную”, “литературную”, “поэтическую”, “официальную”, “архаическую”, “непринужденную”, “интимную” окрашенность; как сигнализирующий определенным образом о характере автора сообщения, его намерениях и его отношении к адресату. Все эти и бесчисленные иные модальные обертоны отпечатываются в образе высказывания с такой же непосредственностью прямого “видения”, с какой мы реагируем на эмоциональные, эстетические и стилевые черты ландшафта или картины; они вызывают у говорящего субъекта немедленное и непосредственное ощущение как того жанрового, интеллектуально-

го, эмоционального пространства, в котором протекает данное сообщение, так и того, насколько “успешным” получился данный языковой артефакт применительно к свойствам этого пространства. Возникающая таким образом оценка коммуникативного действия всегда имеет приблизительный и гипотетический характер, она может измениться в любой момент, при любом новом повороте коммуникативного калейдоскопа — это скорее ощущение, чем оценка в собственном смысле; но именно такое некристаллизованное, летуче-подвижное ощущение коммуникативного “климата”, в котором он находится в каждый момент обращения с языком, необходимо говорящему, чтобы сохранять контакт между процессами языковой деятельности и их духовными результатами.

Если соединение различных компонентов в речевую композицию дало результат, не заключающий в себе, в представлении говорящего субъекта, явных диссонансов, резких побочных эффектов, которые вызывали бы у него ощущение неловкости или недоумения, — полученное речевое целое предстает его восприятию в виде образа, который он “узнает” как нечто понятное и знакомое. Но если в его языковой деятельности не все идет достаточно гладко, если он столкнулся с какими-то неожиданностями или проблемами, — это обстоятельство получает непосредственное перцептивное отображение в виде некоего диссонантно-го “толчка” в той образной картине, которой его представление откликается на языковой материал. Еще прежде чем он осознает, что именно в данном высказывании получилось “не так”, возникшая проблема немедленно и непосредственно сигнализирует о себе в виде эффектов “странности”, неуклюжести, искаженности, неясности возникающего образного ландшафта. Получившийся образ не воспринимается как узнаваемое перевоплощение знакомого образного материала: он выглядит либо как искажение, когда узнаваемый в принципе образ видится как бы в кривом зеркале, либо как странное наложение разных образных компонентов, не совмещающихся в понятное целое. Этот перцептивный толчок приводит в движение языковую мысль: говорящий мобилизует различные ресурсы своей памяти, ассоциативные механизмы, наконец, средства логического анализа, с тем чтобы разобраться, в чем причина такого эффекта, и найти последнему удовлетворяющее осмысление. В ходе такой работы он может обнаружить, что эффект был преднамеренным, то есть рассчитанным как раз на то, чтобы вызвать в его непосредственном восприятии ощущение конфронтации или сдвига; или что отклонение было результатом случайной ошибки, которую следует просто исключить из процесса осмысливания: за вычетом этой ошибки, все в образе высказывания немедленно “становится на место”; или что эффект нарушенного ожидания является симптомом неадекватной оценки собеседника или ситуации: оказывается, они не таковы, какими наш субъект их себе представлял, и требуется соответствующая корректировка как настройки на речь собеседника, так и своего собственного языкового поведения; или, наконец, испытанный говорящим перцептивный толчок не находит никакого удовлетворяющего осмысления: говорящий отвергает высказывание, признав его неадекватным и полностью или частично “бессмысленным” и отказавшись вкладывать в него свой духовный мир, чтобы его осмыслить. Но для того чтобы включиться в подобного рода работу с языковым материалом, результатом которой может явиться то или иное осмысливание возникшей проблемы, необходимо получить исходный импульс, который дал бы возможность непосредственно “почувствовать” эту проблему в качестве диссонантного толчка, нарушающего про-

цесс образной перцепции: языковая проблема получает осязаемое воплощение в качестве “неузнаваемого” или искаженного языкового образа.

Представим себе, например, что нам встретилась фраза: *На дворе рос зеленый трава.* Для того чтобы осознать “странность” этой фразы, нам не нужно справляться о том, какого рода существительное 'трава' и каковы правила его согласования с предикатом и атрибутом. Эффект искажения немедленно и непосредственно отражается в образном представлении: я “ощущаю”, что фраза имеет комически-неадекватный характер. Эффект получается аналогичный тому, как если бы я увидел рисунок, на котором изображена корова с крыльями, или лес, в котором часть деревьев растет корнями вверх. Я даже способен воспринять знакомый образ 'травы, растущей во дворе ' в качестве отклика на это высказывание — но образ этот предстает в ауре комической искаженности.

Важно заметить, что сам этот эффект искаженности отнюдь не сводится к чисто отрицательной оценке данного выражения как “неправильного”; он имеет определенное положительное содержание, вызывает определенные ассоциации, которые могут помочь мне воспринять — а значит, определенным образом “принять” — данный языковой феномен. В частности, данная фраза вызывает у меня ассоциации с тем, как в литературе прошлого, да и нынешнего века передается русская речь так называемых “инородцев” — татар, китайцев, чукчей; вспоминается знаменитая фраза-лейтмотив, которую повторяет персонаж-татарин в “Деле Артамоновых” Горького: “Кибитка потерял колесо”. В этой перспективе фраза *На дворе рос зеленый трава* оказывается не просто “неправильной”, но определенным образом модально окрашенной: она связывается с определенной языковой ситуацией, характером говорящего, стилевой зоной. Интерпретация высказывания оказывается неотделимой от той стилевой, жанровой, ситуативной модальной окрашенности, в которой для меня предстает его образ.

Другой стороной модализации является то, что она так же не знает всегда и всецело адекватных языковых феноменов, как и всегда и всецело неадекватных. Даже при встрече с языковым артефактом, вызывающим наше полное одобрение, эта реакция воплощается для нас в параметрах содержательно наполненной модальной оценки: как нечто “изящное”, “выразительное”, “остроумное”, “блестящее”, “ясное”. Следует также подчеркнуть, что в нашем повседневном существовании языковые произведения, которые мы готовы признать “образцовыми”, являются таким же если не исключительным, то по крайней мере отмеченным случаем, как всевозможные языковые монстры и нелепости. Что действительно встречается нам на каждом шагу — это выражения, в целом кажущиеся нам приемлемыми, но не свободные от тех или иных, более или менее заметных шероховатостей, неловкостей, неясностей и неточностей. Соответственно, модализирующая реакция говорящего субъекта движется в непрерывном спектре модальных оценок — столь же непрерывном и подвижном, как всевозможные изменения освещения и ракурсов какого-нибудь ландшафта. Ощущение данного выражения, со всей бесконечной разнородностью составляющих его ингредиентов и переменностью условий, каждый раз предстает говорящему, через посредство образа этого выражения, в виде непосредственного и целостного впечатления — пронизывающей этот образ модальной окрашенности.

В нашем осмысливании высказываний нет какой-либо твердой и раз навсегда установленной границы между старым и новым, знакомым и незна-

комым, пониманием и непониманием, принятием и непринятием. Более того, этот процесс никогда не бывает ни полным пониманием, или принятием, ни полным непониманием и непринятием. Мы всегда что-то опознаем в предлагаемых нам высказываниях — и всегда опознаем лишь до известной, большей или меньшей, степени. Образ высказывания, будучи первоначально каким-то образом (быть может, очень смутно) воспринят, может получить в дальнейшем развертывании речи подкрепление, которое позволит этому образу воплотиться в нашем восприятии с большей отчетливостью и конкретностью; или он может мимолетно промелькнуть в потоке нашего восприятия речи, оставшись недоосмысленным, так что мы не успеем даже зафиксировать, что, собственно, этот образ значил, какой вклад он внес в ту интерпретацию, которую мы вынесли из предложенного нам высказывания в целом. Знакомое и незнакомое, ясное и неясное, четкое и вяло-аморфное, изящное и уродливо-искаженное присутствуют в наших соприкосновениях с языком как силы модальных тяготений, расстановка которых все время изменяется.

3) Языковые образы служат важным инструментом, помогающим установить коммуникативный контакт между говорящими.

На первый взгляд такое утверждение может показаться парадоксальным; ведь мы видели, что мир образных представлений каждого говорящего сугубо индивидуален и идиосинкретичен. Как же в этом случае он может способствовать контакту с другими личностями и взаимному пониманию? Могут ли личностные образные миры разных говорящих приходить в соприкосновение друг с другом в процессе языкового обмена?

Несомненно, образ, вызываемый тем или иным выражением в представлении того или иного говорящего субъекта, отражает индивидуальный жизненный опыт и уникальные перцептивные способности именно этой личности и никогда не бывает тождественен тому образу, который это же выражение вызовет в сознании любого другого говорящего субъекта.

Однако именно та непосредственность представления, которая делает образ уникальным, сообщает ему также бесконечную подвижность: способность протеистически трансформироваться, приспосабливаться к другим образам и сливаться с ними. Эта способность образного представления сохранять узнаваемость во всех своих трансмутациях имеет первостепенное значение не только для внутренней языковой деятельности одной личности, но и для контакта и обмена между различными говорящими. У меня нет никакой возможности узнать, какой ряд картин, с какой степенью яркости, отчетливости и подробности, с какой эмоциональной окрашенностью, способна вызывать 'трава' в сознании моего партнера по языковому обмену. Я даже наверное знаю, что его мир представлений отличается от моего, и притом отличается непостижимым для меня образом. Но в своем контакте с ним я могу положиться на протеистическую способность образа сохранять свою идентифицируемость в бесчисленных перевоплощениях. Каковы бы ни были представления, возникающие в сознании моего партнера, — я уверен, что эти представления я был бы способен узнать в качестве образа 'травы'; я знаю также, что и мой образный мир, связанный с этим языковым знаком, для него потенциально узнаваем, хотя он и неспособен в него проникнуть. Если бы я мог показать ему картины, возникающие у меня в сознании в связи со словом 'трава', он нашел бы эти картины вполне соответствующими его собственной образной перцепции; он “узнал” бы эти картины, с легкостью перевоплотив в них какие-либо из хранящихся в его собственном сознании образов-картин 'травы',

подобно тому как мы все время это делаем, когда нам нужно модифицировать наше исходное представление, с тем чтобы приспособить его к конкретной языковой ситуации.

На чем основывается эта взаимная конвертируемость образных представлений языкового материала, существующая между говорящими на одном языке? В первую очередь именно на том обстоятельстве, что они “говорят на одном языке”. Это значит, что и запасы языкового материала, хранящиеся у них в памяти, и предшествующий опыт обращения с этим материалом хотя и не идентичны, но заключают в себе огромное количество сходных компонентов и ситуаций. Если два партнера сознают друг друга в качестве “говорящих на одном языке”, это значит, что они уверены, что память каждого из них хранит огромное количество и конкретных выражений, и ситуаций их употребления, которые партнер либо знает с такой же непосредственностью, либо с легкостью способен принять, слегка скорректировав собственный опыт.

Образ некоторого выражения, сформировавшийся в сознании говорящего, отражает историю употребления этого выражения. Если этот опыт употребления сходен у различных говорящих, сходной оказывается и их образная проекция этого опыта: сходной в достаточной степени, чтобы перцептивный мир каждой личности сохранял узнаваемые черты, будучи проецирован в перцептивный мир других личностей — партнеров по языковому обмену.

Если я и мой партнер уверены, что наши образные представления, возбуждаемые определенным языковым материалом, обладают единством — не единством идентичности, но единством взаимной узнаваемости, — и действуем в нашем общении на основании такой взаимной уверенности, — у нас возникает ощущение, что мы “понимаем” друг друга, что мы говорим “на одном языке”. Если же что-то в нашем общении поставит адекватность наших взаимных реакций под сомнение — мы должны будем отдать себе отчет в причинах возникшей трудности.

Взаимная узнаваемость и конвертируемость образных представлений различных говорящих существенно отличает последние от того, что можно назвать “мыслью” в более широком смысле слова,— то есть от всего конгломерата сведений, воспоминаний, ассоциаций, в которых для данной личности воплощается понимание данного языкового материала. Различия в объеме, очертаниях, окрашенности и потенциальных ассоциативных валентностях того интеллектуального поля, с которым для разных личностей связывается то или иное языковое выражение, несравненно более радикальны, в сущности несоизмеримы — по сравнению с различиями в характере образных откликов. Достаточно попытаться себе представить, как далеко могут расходиться поля смыслов, связанных со словом 'трава', у людей разных возрастов, профессий, интересов, живущих в разных климатических, экономических и социальных условиях, в городе и в сельской местности, имеющих разный опыт чтения, разные идеологические и этические убеждения. При попытке сопоставить и свести между собой эти интеллектуальные миры обнаружится, что то, о чем одни имеют лишь отдаленное, приблизительное и смутно-нерасчлененное понятие, для других является хорошо обжитой действительностью, неотъемлемой от их повседневной деятельности и обставленной многочисленными ярко-конкретными деталями и ассоциациями; что то, что является полезным, ценным, привлекательным для одних, вызывает пренебрежение, отсутствие интереса или неприязнь у других.

Но что бы и о чем бы ни думали разные говорящие в связи со словом 'трава', как бы далеко ни отстояли друг от друга интеллектуальные пространства, в которые оно для них помещается, можно полагать, что непосредственные образные представления, вызываемые у них этим словом, составляют континуум перевоплощений, которые каждый из них способен узнать в качестве образной проекции 'травы'. Это обстоятельство делает образ необходимым посредствующим звеном при переходе от языкового выражения к мысли и от мысли к языковому выражению — переходе, который постоянно совершается в процессе коммуникативного обмена между говорящими.

Представим себе некоего астронома, который прогуливается вечером со своим пятилетним внуком. Глядя на ночное небо, один из них говорит другому: “Смотри, вон звездочка упала!”. Без сомнения, между нашими говорящими произошел адекватный языковой обмен; то, что сказал один, не показалось другому ни странным, ни бессмысленным: они “поняли” друг друга. А между тем миры их мысли по поводу предмета разговора бесконечно далеки друг от друга; то, что может подумать о предмете один, немыслимо и невообразимо для другого (взаимно). Решающим в их контакте явилось то обстоятельство, что, во-первых, обоим знакомо выражение (коммуникативный фрагмент): 'звездочка упала [с неба]'; и во-вторых, у каждого из них это выражение способно вызвать образный отклик, который для них обоих является взаимно узнаваемым. Что бы наш астроном ни знал о метеоритах, о связи этого феномена с временем года и состоянием атмосферы, об истории его изучения, и что бы его внук ни знал и ни думал о всякого рода сказочных и телевизионных сюжетах, с которыми у него может связываться это высказывание, — выражение 'звездочка упала' вызывает у обоих непосредственный образ. Этот образ они способны передать друг другу, тем самым осуществив языковой контакт[166].

Полученный извне, от другого говорящего языковой стимул, попав в духовный мир данной личности, начинает жить в нем своей собственной жизнью, по законам этого личностного мира. Образный отклик на этот стимул как бы дает исходный толчок сознанию субъекта, приводя в движение бесчисленные ассоциативные, интеллектуальные, эмоциональные педали. Из этого движения возникает то бесконечно сложное и не поддающееся полному учету целое, которое субъект ощущает как “смысл” полученного сообщения. Смысл этот создан им самим, по законам своего духовного мира. Но наш субъект проделывает всю эту работу в убеждении, что она “воссоздает” смысл того, что хотел ему передать партнер, или, по крайней мере, удовлетворительно корреспондирует с последним. Убеждение это необходимо ему, чтобы извлечь из полученного сообщения определенные выводы, чтобы в свою очередь успешно вступить в процесс общения, адекватно отреагировав на полученное сообщение, наконец, чтобы ощутить приносящий удовлетворение эффект “понимания” и коммуникативной приобщенности. Каким же образом субъект может положиться на свою внутреннюю работу мысли в том, что созданное ею окажется — в удовлетворительной степени — воссозданием работы мысли другого субъекта? Залогом этой уверенности служит для него убежденность в том, что между ним и партнером по языковому общению существует непрерывный континуум образных проекций, сформированных на основе сходного языкового материала и сходных ситуаций его употребления. Этот континуум взаимно узнаваемых, как бы перетекающих друг в друга языковых образов составляет невидимый мост, протянувшийся между индивидуальными мирами

говорящих личностей и делающий возможным коммуникативный обмен между ними.

Соответственно, когда говорящий субъект стремится облечь свою собственную мысль в языковую форму, чтобы сделать ее объективированным фактом, доступным восприятию других личностей — его реальных или потенциальных адресатов, — он не был бы в состоянии справиться с этой задачей, если бы ему пришлось иметь дело с “мыслью” как таковой. Любая мысль не имеет никаких определенных границ и определенного направления развертывания; она непрерывно движется, развертываясь и растекаясь по многим направлениям разом. Говорящий силится придать своей мысли обозримые очертания, в которых она могла бы быть зафиксирована и передана другим; в его сознании проглядывает некоторое целостное представление, в котором он признает более или менее удовлетворительное образное воплощение своей мысли. Это представление служит своего рода промежуточной станцией между неартикулированным, бесконечно летучим движением мысли и ее объективированным воплощением в языковом выражении. Возникший в представлении образ высказывания — пусть далеко не во всем ясный и не окончательный — вызывает из памяти соответствующие частицы языковой материи, образная характеристика которых делает их участие в данном образном ландшафте необходимым, уместным или по крайней мере возможным. Говорящий манипулирует языковым материалом — соединяет блоки, встраивает их в контур высказывания, играет на категориальных педалях, — стремясь не упустить из виду то общее представление, к созданию которого он стремится. Если ему кажется, что построенное им высказывание возбуждает представление, удовлетворительным образом проецирующее в себя то содержание, которое он стремился передать, — он верит, что его высказывание вызовет аналогичное представление у партнера (если, конечно, он считает партнера адекватным соучастником коммуникации). Наш говорящий верит, что мысль партнера получит желаемое исходное направление, задаваемое образными откликами, сходными с его собственными образными реакциями. А это, пожалуй, самое большее, на что мы можем рассчитывать и что мы можем знать о том, как отзовется наше слово в сознании другой личности.

Конечно, коммуникативный контакт между говорящими опирается не только на единство мира их образных представлений. Важнейшую роль в этом контакте играют представление о личности партнера, предшествующий опыт контактов с ним, понимание жанровых, ситуативных, тематических условий, в которых происходит общение. Все эти факторы также играют роль направляющих силовых линий, которые устремляют мысль говорящего по определенным путям, тем самым обеспечивая создаваемым интерпретациям коммуникативную адекватность. Но можно сказать, что соприкасаемость образных миров, коренящаяся в соприкасаемости языковой памяти и опыта языковой деятельности, составляет наиболее широкую и универсальную базу общности между говорящими, обеспечивающую контакт между ними. Определенный возраст, пол, социальное положение, образование, профессия — все эти факторы, объединяя людей в более тесные коммуникативные группы, в то же время разделяют и отдаляют друг от друга тех, кто принадлежит к разным группам. В отличие от этого, единство образного мира объединяет всех говорящих на данном языке. Кто бы ни был мой партнер в социальном отношении, коль скоро я признаю его “говорящим по-русски”, я могу рассчитывать на то, что огромная

часть моего образного мира способна вызывать адекватный резонанс в образном мире этого говорящего. Мир языковых образов является индивидуальным достоянием каждого говорящего, возникающим из духовных ресурсов его личности; однако пути, по которым складывается этот мир, не произвольны: они направляются языковым опытом, очертания которого, именно в силу коллективности этого опыта, имеют огромные сферы соприкосновения в языковой памяти говорящих на одном языке.

10.3. СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ФОРМЫ И ЯЗЫКОВОГО МЫШЛЕНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ.

Итак, языковой образ занимает посредствующее положение между языковым сообщением, создаваемым из различных частиц языковой формы, с одной стороны, и мыслью, воплощаемой в этом сообщении, — с другой. Наличие такого посредствующего звена между языковой формой высказывания и высказываемой мыслью вносит новый оттенок в обсуждение извечной проблемы философии, филологии и риторики — проблемы соотношения мышления и языка.

Идея о том, что смысл того, что может быть сообщено через посредство языка, относительно независим от той конкретной языковой формы, в которую этот смысл может быть уложен в высказывании на том или ином конкретном языке, неоднократно выдвигалась в истории философской, лингвистической и эстетической мысли. Такой подход к проблеме соотношения мышления и языка характерен для направления мысли, которое можно с некоторой условностью назвать “классицистическим”, поскольку его истоки восходят к античной и неоклассической картезианской логике и грамматике. Для этих течений характерно выдвижение на первый план универсальности законов человеческого мышления, не зависящих от того языка, на котором говорит то или иное человеческое сообщество; выражаемый в языке смысл понимается как изначальный, независимый от языкового воплощения феномен, свойства которого определяются всеобщими законами логики, а не разнообразными формами выражения, встречаемыми в разных языках.

С другой стороны, не менее мощное развитие в истории мысли получило противоположное направление, исходящее из того, что всякая мысль нераздельно связана с языковой формой, в которую она воплощается, так что всякое изменение формы выражения означает изменение мысли. Такой подход был в особенности характерен для романтического и модернистического (неоромантического по своей сути) понимания мышления как духовного мира, имеющего национально специфичный характер, неотделимый от строя языка и отпечатавшегося в нем исторического опыта народа. Философский спор о том, что первично — “мысль” или “язык”, также вечен, как эстетический спор между сторонниками “классической” и “романтической” духовной ориентации. Применительно к лингвистическим теориям нового времени можно сказать, что структуральная лингвистика и поэтика исходит из представления о неразрывности плана содержания и плана выражения языкового знака[167], тогда как генеративная грамматика и семантика, напротив, утверждает примат универсального доязыкового “смысла” над его реализацией в конкретном “тексте”, построенном по правилам конкретного языка.

Интеллектуальная ценность этого спора — независимо оттого, какая из

спорящих сторон получает перевес в ту или иную эпоху, — слишком велика, чтобы я желал разрешить его одним или другим образом. Более того, развиваемый в этой книге подход, как мне кажется, делает невозможным присоединиться к любому из этих противоположных воззрений.

На первый взгляд кажется, что приводившиеся выше примеры образного посредствования между языковым выражением и смыслом говорят в пользу точки зрения об отдельности “мысли” от “языка”, смысла от его текстуального воплощения. Как мы видели, говорящим удается, по крайней мере на некоторое время, успешно регистрировать поступающий извне языковой материал либо даже самим порождать адекватное по своей композиции высказывание, частично или полностью выключив установку на понимание и смысловой контроль над этим высказыванием.

Если процесс регистрации языкового материала может происходить при отсутствии установки на понимание, то равным образом возможно себе представить и противоположное состояние, когда понимание существует отдельно от языкового материала, из которого оно было извлечено.

Эффектный пример того, до какой степени может доходить отделение смысла, полученного из речи, от самой этой речи, приводит Элиас Канетти в автобиографической книге “Die gerettete Zunge”. Автор провел первые четыре года своей жизни в Болгарии, в буржуазной еврейской семье. В доме говорили на двух языках: ладино (архаическая версия испанского, сохранившаяся в среде выходцев из Испании) и болгарском, на котором общались с прислугой, не знавшей никакого другого языка. Впоследствии семья переехала в Вену, так что в конце концов (начиная с семилетнего возраста) немецкий язык сделался родным языком писателя. Канетти вспоминает о своем детстве в Болгарии — как по вечерам, когда взрослые уходили в гости, он оставался в доме с девочками-служанками. Они усаживались в темной комнате и рассказывали друг другу страшные истории про привидения и вампиров — несомненно, рассказывали по-болгарски. Эти рассказы сохранились у него в памяти с исключительной свежестью и яркостью, так что и несколько десятилетий спустя он мог их пересказать в подробностях. Однако болгарский язык, который он понимал ребенком, был им впоследствии полностью забыт; истории, слышанные в детстве, он “помнил” по-немецки, то есть на языке, который в то время, когда он их слышал, был ему абсолютно незнаком. Примечательно в этом случае то, что воспоминание сохраняет языковое воплощение: это не просто неартикулированные образы-картины, которые каждый помнит из раннего детства, но именно “истории”, смысл которых неотделим от связного рассказа. Поэтому, когда языковой материал, в котором первоначально воплощались для субъекта эти рассказы, исчез из его сознания (во всяком случае, из того аспекта сознания, в котором он способен дать себе отчет), это не означало исчезновения рассказов как таковых: они перевоплотились в другой языковой материал, в то время ему неизвестный, но впоследствии ставший его родным языком. Ребенком он ничего бы не понял, если бы услышал эти истории по-немецки; взрослым человеком он ничего бы не понял, если бы услышал их по-болгарски. Но полная смена языкового воплощения не нарушила непрерываемое единство смысла.

Приведенный пример представляет собой лишь крайнее проявление феномена, с которым все мы встречаемся на каждом шагу в нашей языковой деятельности. Всякому, кто в своей повседневной практике постоянно пользуется двумя или более языками, знакома ситуация, когда отчетливо помнится содержание разговора или прочитанного текста, но невозможно

сказать с уверенностью, на каком языке происходил этот разговор или чтение. Невозможность дать отчет в языковом материале, из которого было извлечено некоторое сообщение, нисколько не вредит пониманию и запоминанию самого этого сообщения. Но и в пределах одного языка наше представление о сказанном или прочитанном очень редко сопровождается точным воспроизведением того языкового материала, из которого это представление было извлечено. Неспособность в точности воспроизвести сказанное отнюдь не препятствует ощущению, что мы “точно” помним, что было сказано; за исключением особых и редких случаев, когда буквальная точность языкового воспроизведения почему-либо оказывается необходимой, мы принимаем как должное тот факт, что полученное нами сообщение существует для нас в перевоплощенном виде, заведомо отличном от того, в котором оно первоначально было воспринято. Разница между этими обиходными ситуациями и историей Канетти лишь в масштабах, но не в сути: в обоих случаях перевоплощение в иной языковой материал ничуть не влияет на непрерывность смысла, извлекаемого из этого материала.

Казалось бы, все эти факты указывают на первичность смысла по отношению к языковому материалу. Однако присмотревшись к описанным здесь и подобным ситуациям внимательнее, можно увидеть в них и другую сторону. Важно не упустить из виду, что во всех своих перевоплощениях смысл всегда остается так или иначе воплощенным в языковом материале; мы всегда имеем дело с его воплощениями, а не со смыслом как таковым. Без языкового воплощения нам остаются, в лучшем случае, мимолетные и разрозненные картины, которые невозможно ни зафиксировать, ни сфокусировать должным образом; всякая попытка “остановить” такую летучую картину, сделать ее зафиксированным фактом сознания немедленно выносит на поверхность сознания слова, выражения, фразы или обрывки фраз, воплощенность в которые только и дает летучей идее возможность осуществиться в качестве некоего факта, занимающего свое место в нашем сознании.

Но не только мысль не существует без языкового материала. Столь же важно отдать себе отчет в том, что и языковой материал в свою очередь не существует без мысли, то есть без активной установки на его осмысление, — или существует лишь в обрывочном, заведомо дефектном виде. Правда, примеры неосмысленного чтения или слушания показывают, что процесс складывания языкового материала может происходить сам по себе, помимо установки на понимание. Однако из этих же примеров явствует, что языковой материал при таком обращении с ним лишь регистрируется, но не откладывается в сознании. Он разворачивается, подобно ленте, не оставляя возможности для задержек, ретроспекций, ассоциативных соотнесений. Такая одномерность бесконечно далека от действительных свойств этого материала, каким мы его знаем при осмысленном его использовании: от той множественности потенциальных связей и ходов развертывания, разнонаправленности аналогий и сопоставлений, никогда не останавливающихся трансформаций, которая окружает каждое создаваемое или воспринимаемое сообщение.

Способность складывать языковой материал в приемлемые высказывания, с одной стороны, и осознание того смысла, который воплощается в этих высказываниях, с другой, не тождественны[168]. Пути, которыми идет каждый из этих процессов, могут расходиться — по крайней мере временно и частично. Из этого, однако, не следует, что эти пути разворачиваются каждый сам по себе. Понимание, извлеченное из некоторого сообщения,

не тождественно тому языковому материалу, из которого оно было извлечено; способность к адекватным действиям с языковым материалом не полностью зависит от осмысления этого материала. Однако ни та, ни другая сторона языковой деятельности не получает настоящего осуществления без их взаимодействия. Во всех бесчисленных переплетениях, схождениях и расхождениях между процессом развертывания языковой ткани и процессом ее осмысливания, эти процессы никогда не теряют полностью связь друг с другом, никогда не "упускают из виду" друг друга — никогда, то есть до тех пор, пока языковая деятельность не соскальзывает в дефектное, не приносящее удовлетворительных результатов состояние, из которого ее рано или поздно должно вывести целенаправленное усилие мысли говорящего.

Я испытываю искушение сказать, что смысл и языковой материал существуют "нераздельно и неслиянно". Они не тождественны друг другу, и между ними существуют множественные соотношения: любое движение мысли может получить бесконечное число языковых перевоплощений, также как любой "кусок" языкового материала может получить бесконечное число переосмыслений. Но во всех этих взаимных перевоплощениях неизменным остается сам факт воплощенности их друг в друге. Без этой взаимной воплощенности как от мысли, так и от языкового материала остаются лишь спорадические и ускользающие обрывки.

Этот вывод имеет определяющее значение для того, как подходить к мыслительным процессам, возникающим в сознании говорящих в связи с их языковой деятельностью. Главная трудность, но и главная позитивная задача при анализе языкового смысла состоит в том, чтобы не упустить из виду обе противоположные силы, на пересечении которых он возникает и развивается: с одной стороны, открытость смысла, неограниченную его способность к ассоциативным растеканиям и скачкам, с другой — его воплощенность в языковом материале, в силу которой смысл оказывается заключенным в герметическую "упаковку", очертания которой определяются конфигурациями именно этого материала; с одной стороны, летучую подвижность смысла, делающую невозможным достижение им устойчивого и конечного состояния, с другой — его привязанность к объективированному языковому высказыванию, форма которого обладает эмпирической самоочевидностью и непреложностью наличного артефакта.

Глава 11. ДИНАМИЧЕСКОЕ ФОКУСИРОВАНИЕ СМЫСЛА СООБЩЕНИЯ

11.1. КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Чем нынче явится? Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет иной, Иль просто будет добрый малый, Как вы да я, как целый свет?

Пушкин, "Евгений Онегин", Гл. 8

Осознание того, до какой степени процесс осмысливания языкового сообщения интимно связан с индивидуальным опытом и строем мышления

каждой личности, легко может привести к представлению о ничем не ограниченной субъективности каждого акта языковой интерпретации и, как следствие этого, о возможности неограниченного числа возможных "прочтений" одного и того же текста и неограниченной степени несходства между отдельными такими прочтениями. Такая идея, действительно, получила широкое хождение в "постструктуральной" литературной теории[169], в качестве реакции на преувеличенное представление об объективности и единообразии принятых в обществе языковых и культурных "кодов" в их структуралистическом понимании. Правда, в любом языковом сообщении каждый говорящий субъект, в разумной степени приобщенный к той языковой среде, в которой и для которой это сообщение создается, опознает целый ряд выражений, фигурировавших в его собственном языковом опыте и способных вызвать у него немедленный образный отклик; но даже при такой общности составляющего материала, сам процесс складывания этого материала в целую интерпретацию потребует от каждого мобилизации личностных мнемонических ресурсов и ассоциативных ходов, неотделимых от всего склада именно данной языковой личности. Означает ли это, однако, что процесс интерпретации языкового сообщения каждой отдельной личностью не имеет каких-либо предсказуемых направлений и общих черт, которые узнавались бы и разделялись другими говорящими? Как же при таких условиях у них могло бы возникать ощущение — пусть лишь относительное, пусть частично обманчивое — взаимного "понимания"? Подобного рода вопросы заставляют теоретиков постструктурализма отступать, как только речь заходит о повседневной языковой деятельности, ограничиваясь на сей счет лишь самыми общими декларациями либо вообще уступая эту сферу в ведение "лингвистики", в традиционном ее понимании.

Представление о бесконечной множественности знакового поведения следует признать такой же крайностью, как представление о его кодифицированной униформности. Чтобы избежать этих крайностей, следует не упускать из виду тот простой факт, что любое языковое действие совершается не имманентно, не в "безвоздушном" духовном пространстве. Для того чтобы создать или интерпретировать сообщение, говорящему субъекту необходимо ощутить определенную среду, к которой, в его представлении, данное сообщение принадлежит, — своего рода более широкую духовную "картину местности", на которой располагается и в которую вписывается данный языковой артефакт. Любое сообщение занимает некоторое место в более широкой мысленной картине, и эта его укорененность в определенном мысленном пространстве в значительной степени определяет его смысловой облик. Для того чтобы радикальным образом изменить этот облик, то есть представить себе радикально иное "прочтение" данного сообщения, необходимо переориентировать его в какую-то иную мысленную среду, в которой оно займет иное место и, соответственно, будет "выглядеть" существенно иным образом. А это далеко не всегда удается сделать, даже если мы специально к этому стремимся. В условиях же повседневного общения, с его реактивной мимолетностью, с невозможностью — и ненужностью — всестороннего обдумывания каждого "хода", возможность таких радикальных переориентаций возникает скорее как исключение — и воспринимается самими говорящими как исключительный, из ряда вон выходящий случай. Я был однажды свидетелем того, как американский профессор спросил у своего немецкого коллеги, как обстоит дело с "gay life" в том университетском городе, из которого последний приехал, на

что тот отвечал, что жизнь у них тихая и довольно скучная — совсем не “gay”. Очевидно комическое несоответствие тех мысленных ландшафтов, в которые для каждого из собеседников вписывались их реплики: локусы, лица, ситуации, составляющие среду “gay life” для одного, картины монотонной жизни провинциального немецкого городка для другого; очевиден и шоковый эффект столкновения двух “прочтений”, испытанный собеседниками, когда они поняли и оценили всю степень этого несоответствия. Но сама памятность этого эпизода служит лучшим свидетельством того, что для нашего повседневного общения он представляет собой редкий и исключительный случай. Обычно та мысленная среда, в которую собеседующие взаимно помещают свои высказывания, является если не тождественной, то сходной и во всяком случае не несет в себе столь резких несоответствий. Это придает процессу осмысливания высказывания разными говорящими отнюдь не основывающуюся на “общественном договоре” униформность, но взаимно узнаваемые черты, связанные с укорененностью для них этого высказывания в сходном духовном ландшафте. Эту мысленно представляемую среду, в которой говорящий субъект ощущает себя всякий раз в процессе языковой деятельности и в которой для него укоренен продукт этой деятельности, я буду называть коммуникативным пространством.

Понятие коммуникативного пространства складывается из разнообразного круга явлений, многие из которых традиционно рассматриваются в рамках различных дисциплин — таких, как эстетика, стилистика, теория текста и дискурса, лингвистическая прагматика, психолингвистика, а некоторые вообще являются мало изученными. Его компонентами являются, во-первых, речевые и художественные жанры, роль которых в качестве самых общих “рамок”, определяющих свойства художественного текста либо повседневного общения, в последнее время привлекла к себе внимание многих исследователей[170]. Однако понятие коммуникативного пространства представляется мне более широким, чем жанр; оно включает в себя, наряду и вместе с собственно жанровой характеристикой, такие свойства языкового сообщения, как его “тон”, предметное содержание и та общая интеллектуальная сфера, к которой это содержание принадлежит; оно включает в себя также коммуникативную ситуацию, со всем множеством непосредственно наличных, подразумеваемых и домысливаемых компонентов, из которых складывается представление о ней каждого участника[171]. Важную сторону коммуникативного пространства составляет представление автора сообщения о реальном или потенциальном партнере, к которому он обращается, его интересах и намерениях, о характере своих личных и языковых взаимоотношений с ним[172]. Наконец, свой вклад в коммуникативное пространство вносит самосознание и самооценка говорящего, представление о том, какое впечатление он сам и его сообщение должны производить на окружающих[173].

Каждый из перечисленных здесь параметров можно было бы в свою очередь подвергнуть более детализированной инвентаризации и классификации; это не раз уже и делалось, начиная с классических трехчленных моделей знаковой или коммуникативной деятельности (Ч. Пирс, К. Бюлер), до известной шестичленной схемы Р. Якобсона и бесчисленных опытов ее применения и развития в работах последних 40 лет. Однако для наших целей представляется достаточным дать лишь общий абрис того круга явлений, которые служат предметом нашего обсуждения. Дело в том, что обособление этих явлений и тщательное определение каждого из них в

отдельности представляется мне задачей несколько искусственной и заведомо искажающей характер их функционирования в рамках коммуникативного пространства; такое разделение может иметь смысл, если мы хотим сосредоточиться на одном каком-либо явлении, показать его во всех подробностях, — но не тогда, когда нашей задачей является целостная характеристика той среды, в которой протекает языковое общение. В языковой деятельности, какого бы рода она ни была — от простейших повседневных ситуаций до эстетических и интеллектуальных феноменов высокой сложности, — намеченные выше атрибуты присутствуют не в качестве отдельных парадигм, но в виде нерасчленимых совокупностей; свойства каждого из них растворяются в свойствах других. Например, эмоциональный эффект, производимый сообщением, зависит от того, как осознается его жанр, а опознаваемые черты жанра, в свою очередь, видоизменяются в зависимости от эмоционального тонуса речи; то же можно сказать о тематическом поле высказывания, в его отношении к жанровому полю и эмоциональной заряженности этого высказывания, о личности и позиции говорящего, проецируемой его сообщением, и т. д. Поэтому мне представляется уместным говорить не столько о различных “параметрах”, сколько о разных “аспектах” коммуникативного пространства. Все вместе эти аспекты складываются в единый мысленный ландшафт, в перспективе которого для говорящего выступает переживаемый им в этот момент акт языковой деятельности; разделять и классифицировать по отдельности различные аспекты этой мысленной среды — все равно что пытаться описать впечатление от некоего природного ландшафта путем инвентаризации и классификации отдельных составляющих его компонентов, таких, как рельеф местности, почва, растительность, освещение, температура воздуха. Стилевая, жанровая, ситуативная, апеллятивная природа коммуникативного действия — это не частные атрибуты, накладывающиеся на основное содержание сообщения и вносящие в него те или иные модификации; напротив: создаваемая этими атрибутами коммуникативная среда сообщения лежит в самом основании всего его смысла. Подобно тому как для скульптора размер, форма и фактура куска камня во многом определяют образ будущей статуи — а значит, и те действия, которые потребуются для его воплощения, — так и для каждого говорящего субъекта ощущение коммуникативной фактуры во многом предопределяет видение того языкового произведения, которое может возникнуть не “вообще”, но именно применительно к этой фактуре.

Итак, коммуникативное пространство, в совокупности и взаимодействии всех своих аспектов, образует целостную коммуникативную среду, в которую говорящие как бы погружаются в процессе коммуникативной деятельности[174]. Коммуникативное пространство, в которое проецируется в представлении говорящего переживаемый им коммуникативный опыт, представляет собой как бы готовую “сцену”, с декорациями и освещением, на которой разыгрывается переживаемое в данный момент смысловое действо. Последнее не обязательно должно “соответствовать” приготовленной для него мысленной сцене, но обязательно “помещается” в ней тем или иным образом, с тем или иным эффектом.

Образ коммуникативного пространства возникает в представлении говорящего из множества взаимодействующих друг с другом и сливающихся друг с другом воспоминаний, пробуждаемых в его сознании данной ситуацией языковой деятельности. Всякий раз, когда говорящий имеет дело с некоторым сообщением — в качестве отправителя, стремящегося дать

адекватное языковое выражение своей мысли применительно к адресату, либо в качестве получателя, стремящегося удовлетворительным для себя образом истолковать предложенное сообщение и соответственно с этим строить свое собственное языковое поведение в этой ситуации, — эта его деятельность протекает в незримом окружении множества прецедентов, отложившихся в его языковом опыте. Например, мы видим в собеседнике “иностранца”, или “провинциала”, или “завсегдатая кафе”, “сомнительную личность”, “религиозного фанатика”, “симпатичного молодого человека”, “интеллектуала”, “интересного рассказчика”; ощущаем текущую ситуацию как “торжественную”, “формальную”, “интимную”, как важную или неважную, приятную или неприятную, серьезную или пронизанную шутливостью, призванную доставить нам развлечение, снабдить необходимыми сведениями, изменить наши отношения с собеседником, принести уникальное духовное или эстетическое переживание; воспринимаем данный языковой артефакт как “застольный разговор о политике” или как “редакционную статью в (такой-то) газете”, “комедию нравов восемнадцатого века”, “рекламу”, “авангардную поэзию”, — все эти и множество других возможных впечатлений, ощущений, оценок проистекают из того, что в нашем опыте отложилось соответствующее совокупное представление, которое говорит нам, “чего можно ожидать” от подобного разговора, или статьи, или стихов, от подобного партнера, от взятого им (и нами) тона, отданной темы, от ситуации, в которой, судя по имеющимся у нас сведениям, мы оказались. Представления такого рода оказывают формирующее влияние на весь строй нашего языкового поведения в отношении к данному тексту, данной ситуации, данному партнеру. Они определяют и то, каким образом мы будем интерпретировать сообщения, помещаемые в нашем представлении в данное коммуникативное пространство, и то, как сами мы будем строить свое языковое поведение, исходя из своих представлений о коммуникативном пространстве, в котором мы в данный момент находимся. Ассоциации, пробуждаемые данным сообщением в рамках определенной стереотипической аналогии, не пришли бы на ум, если бы то же самое сообщение виделось в нашем представлении в иной среде, складывающейся из иных стереотипических проекции нашего предыдущего опыта. То, что в перспективе одного коммуникативного пространства представится вполне уместным и приемлемым или по крайней мере как-то объяснимым, в перспективе другого пространства может выглядеть странным, неуместным, “неправильным” или просто непонятным.

Разумеется, для того чтобы ощутить коммуникативное пространство, нам необязательно как-либо формулировать наши впечатления: они спонтанно всплывают в нашем представлении в виде целой среды прототипических образов — предметов, лиц, положений, все это в жанровой и эмоциональной окраске, неависимо от того, приходит ли вместе с этим нам на ум некий словесный “ярлык”, соответствующий этому образу, или не приходит. Разумеется также, что возникающий таким путем образ коммуникативного пространства не складывается как простая сумма каких-либо постоянных и дискретных параметров — хотя бы тех, которые были намечены выше, или других подобных. Все эти параметры могут выступать в сколь угодно сложных смешениях и слияниях друг с другом, придающих любой прототипической проекции бесконечное разнообразие оттенков и модификаций[175].

Мы не вольны изъять текущую коммуникативную ситуацию из опыта нашей памяти, воспринять ее в качестве tabula rasa, чего-то абсолютно

нового и никогда прежде не бывшего. Подобно тому как мы не можем воспринять какой-либо зрительный образ без того, чтобы погрузить его в целое поле аналогий (по форме, цвету, размерам) с предметами, известными нам из прошлого зрительного опыта, мы не в состоянии пережить текущую коммуникативную ситуацию, не проецируя ее в среду языковых образных представлений и жанровых модальностей, черпаемых из прошлого языкового опыта. Стремимся мы к этому сознательно или не стремимся, хотим того или не хотим, мы "видим" каждое языковое действие помещенным в коммуникативное пространство и судим о нем по тому впечатлению, которое оно производит именно в этом пространстве.

Проекция сообщения в коммуникативное пространство может возникать в качестве прямой отсылки к определенному прецеденту. Например: мне хорошо известен этот говорящий, его характер, манера выражаться, его интересы и намерения, и это представление окрашивает для меня каждый акт языковой деятельности, происходящий во взаимодействии с этим говорящим; или: мне известен этот автор или эта газета, ее стиль и мнения, и это знание каждый раз всплывает в моем сознании в виде целой среды, направляющей процесс чтения и интерпретации прочитанного.

В других случаях такая проекция возникает как результат более или менее отчетливой аналогии. Рассмотрим с этой точки зрения диалог, происходящий в больнице между Мастером и Иваном Бездомным в романе М. Булгакова:

Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился:

— Профессия?

— Поэт, — почему-то неохотно признался Иван. Пришедший огорчился.

— Ох**,** как мне не везет! — воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: — А как ваша фамилия?

— Бездомный.

— Эх, эх... — сказал гость, морщась.

— А вам что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.

— А как же вы говорите?

— Ну что ж тут такого, — отвечал гость, — как будто я других не читал?[176]

Мы понимаем, что у Мастера были основания для столь радикального суждения, в особенности после того как он услышал псевдоним своего собеседника, вписывавшийся в такой ряд советских литературных псевдонимов 1920—1930-х годов, как "Демьян Бедный", "Безыменский", "Беспощадный". В контексте сложившегося к этому времени стереотипического образа "молодого советского поэта", в сочетании с внешностью Бездомного и манерой говорить ("Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил", — признается он Мастеру в самом начале их знакомства), его литературное имя пробуждает аналогическую проекцию, достаточно сильную для того, чтобы его стихи могли стать предметом "априорного суждения". Ситуация стереотипической аналогии представлена в этом случае в крайнем воплощении, доходящем до комизма. Но и в повседневной практике, всякий раз когда мы имеем дело с сообщением, в нашем представлении вырастает, вольно или невольно, образ "других", знакомых нам ситуаций, образуя тот аналогический фон, на который для нас проецируется данное

сообщение.

Окружение создаваемого или интерпретируемого текста определенным мысленным пространством, сотканным из различных стереотипических аналогий, придает мысли говорящего известную фокусировку — и притом такую, которая хотя бы до некоторой степени разделяется другими говорящими и понятна им. Движение мысли по полям памяти не знает в принципе никаких ограничений — ни в отношении того, в каких и скольких направлениях одновременно это движение может совершаться, ни в том, сколь отдаленными могут оказаться сопрягаемые участки памяти. Но примысливаемая среда, в пространстве которой говорящий воспринимает и совершает данное коммуникативное действие, придает работе мысли большую осязаемость, а вместе с тем и большую определенность. Конечно, ни один говорящий не способен полностью контролировать, какие именно ассоциации и сопряжения возникнут у него в каждый текущий момент, в связи с каждым языковым стимулом; ни он сам и никто другой не был бы способен повторить все пути, однажды пройденные мыслью. Но важно, что, какие бы смысловые ходы ни рождались в сознании, в условиях определенным образом сфокусированного коммуникативного пространства эти ходы приносят реакции, соответствующие свойствам именно данного пространства. Одному говорящему может прийти на ум в связи с данным сообщением ассоциация А, другому (или тому же самому говорящему в другой момент) — ассоциация **В**. Но и та и другая ассоциация не является в их представлении сама по себе, но вписывается в определенное коммуникативное пространство **L**. В этом пространстве А и В предстают мысли говорящего в качестве **A(L)** и **B(L);** они получают такое образное воплощение, показывают себя в таком ракурсе, высвечивают такие свои свойства, обнаруживают такие потенциалы дальнейших ассоциативных сопряжении, которые связаны с характером именно данной среды и вписываются в эту среду.

Широко распространено мнение о том, что в языке имеются “стилистически нейтральные” и “стилистически окрашенные” элементы: первые уместны лишь в рамках определенного стиля, тогда как вторые могут найти себе применение в любом стилевом пространстве. В основе такого разделения лежит представление о том, что “прагматическая” характеристика сообщения вносится в него специальными маркерами стиля, жанра, эмоции, контакта с адресатом, которые как бы надстраиваются поверх его объективной структурной и семантической основы. Однако стилевая, а также жанровая, эмоциональная, апеллятивная природа сообщения вовсе не ограничивается его специфически “окрашенными” или “маркированными” компонентами. В лучшем случае эти последние играют роль опознавательных знаков, помогающих сориентироваться в коммуникативном пространстве данного сообщения. Но коль скоро говорящий ощутил себя в некотором коммуникативном пространстве, все компоненты сообщения — каждый в отдельности и все в совокупности и взаимодействии — приобретают черты, проступающие именно в условиях этого пространства, воплощаются в смысловых конфигурациях, вписывающихся именно в эту коммуникативную среду. Ощущение некоторой фразы как “торжественной” может появиться на основании каких-то конкретных сигналов — отдельных слов в составе этой фразы, ее интонационного строя, наконец, просто предварительных сведений о природе данного текста. Но коль скоро такое ощущение возникло, оно пронизывает собой всю фразу: и в каждом ее элементе, и в том, как они взаимодействуют друг с другом, высвечиваются

такие аспекты, которые тем или иным образом вносят свой вклад в это ощущение. Весь смысл фразы ищется на путях, подсказываемых ее “торжественным” характером.

Тезис о тотальном воздействии коммуникативного пространства на смысл всего сообщения и каждого из его компонентов можно проиллюстрировать одним любопытным языковым явлением, которое я предлагаю назвать стилевыми шифтерами. Как известно, термин “шифтеры” был предложен Якобсоном для обозначения некоторых грамматических категорий, таких, как лицо и время, предметная наполненность которых полностью зависит от текущей коммуникативной ситуации; один и тот же субъект может оказаться в позиции 'я' или 'ты', одно и то же событие может оказаться 'прошедшим', 'настоящим' или 'будущим', в зависимости от того, кто в данной коммуникативной ситуации выступает в качестве автора и адресата сообщения и как содержание сообщения относится к моменту реального или воображаемого коммуникативного контакта между его участниками.[177] Подобно этому, стилевыми шифтерами можно назвать такие частицы языкового материала — будь то отдельные слова и выражения либо целые синтактико-интонационные фразовые контуры, — стилевая (а также жанровая) характеристика которых не является раз навсегда данной и внеположной высказыванию, но приобретает различную ценность в зависимости от стилевой и жанровой ситуации всего сообщения в целом, в составе которого они фигурируют. В поэтическом дискурсе такой шифтер может выступать как знак “поэтичности”, в разговорном — как знак “разговорности”, в официальном — как знак “официальности”. В этом случае способность жанровой и стилевой среды, в которую погружено сообщение, высвечивать определенным образом и все это сообщение в целом, и отдельные его компоненты, и характер их отношений друг с другом, выступает с особенной наглядностью.

Приведу один пример стилевого шифтера в русском языке: употребление или неупотребление местоимения первого лица в качестве субъекта, соотнесенного с предикатом в форме настоящего/будущего времени *(Я пишу vs. Пишу). С* точки зрения полезной информации, местоимение в этом случае является избыточным, поскольку форма лица у глагола сама недвусмысленно указывает на характер субъекта; во многих языках неупотребление местоимения в этом случае является нормой. В русском языке более типичным является как раз обратный случай, когда информативно избыточное местоимение тем не менее употребляется; напротив, неупотребление местоимения способно вызвать особый стилевой эффект. Однако какой именно эффект будет вызван данным приемом, зависит от ряда факторов, и в первую очередь от стилевого, жанрового, тематического характера сообщения в целом — иначе говоря, от того коммуникативного пространства, в котором это сообщение помещается в представлении говорящего.

С одной стороны, неупотребление местоимения 'я' может вписываться в образ неформальной, бегло-разговорной речи, уместной при тесном и непосредственном контакте между партнерами: *Вернусь поздно; Не знаю; Увижу — передам.* С другой — тот же прием может вписываться и вносить свой вклад в создание ораторски-торжественного, приподнятого, патетического тона: *Истинно говорю вам...* (формула обращения Христа к ученикам в русском тексте Евангелия); *Проклинаю вовеки веков* (слова Степана Трофимовича Верховенского в “Бесах”, обращенные к сыну); *Не могу молчать.* В ситуации официальных радио- и телефонных коммуникаций этот

же фразовый контур производит впечатление жесткой, прагматически ориентированной, “деловитой” экономности речи: *Слышу вас хорошо; Продолжаю наблюдения.* Наконец, в контексте личного письма этот прием вносит то сочетание непосредственности и вместе с тем формульной отточенности, которое характерно для эпистолярного стиля: *Обращаюсь к тебе вот по какому случаю; Хочу рассказать о том, что у нас недавно случилось; Буду ждать от тебя вестей с нетерпением.*

Каждая из названных ситуаций создает особое смысловое пространство, в котором тождественный с чисто формальной точки зрения языковой “прием” предстает в совершенно ином свете[178]. Один и тот же фразовый контур погружается каждый раз в иную среду, а значит, включается в иные перспективы, иную сеть ассоциативных ходов, иные ожидания, в силу чего в нем высвечиваются черты, укорененные именно в данной среде. Коммуникативное пространство неформального и непосредственного “разговорного” общения приводит в движение соответствующие ей апеллятивные и эмоциональные механизмы, жанровые представления, ассоциативные ресурсы — все это в симбиозе, различные аспекты которого сами говорящие едва ли были бы способны выделить и осознать, но который они непосредственно переживают в качестве своего коммуникативного самоощущения. Любая конкретная языковая черта высказывания воспринимается в этом пространстве с точки зрения того, какой вклад она вносит в создание и поддержание интимно-непринужденных языковых отношений, основанных на молчаливом предположении — не обязательно соответствующем действительности, — что многое в содержании коммуникации “само собой понятно” ее участникам. В этом коммуникативном пространстве подразумевание субъекта воспринимается как преднамеренное пренебрежение грамматическими и риторическими “формальностями”, подчеркивающее раскованность общения, непосредственность контакта между говорящими и ту степень их взаимного доверия и понимания, которая делает такую эллиптичность выражения возможной. Но в патетически-ораторском коммуникативном пространстве тот же контур высказывания, будучи погружен в представлении говорящих в совершенно иную мысленную среду, принимает иной облик, вызывающий иную реакцию и иные ассоциации. На ум приходят аналогии с “республиканским” ораторским стилем древнего Рима и библейской риторикой либо их бесчисленными подражаниями в поэзии, драме, публицистике нового времени. В этом пространстве отсутствие местоимения вызывает образ суровой краткости, лаконической энергии, ритмической остроты, “гранитной” отточенности стиля, отсекающего всяческие избыточные “округления”.

Герой “Крокодила” Достоевского, Иван Матвеич, попав в утробу крокодила, пускается в патетические рассуждения по поводу своего необычного положения, приводя в раздражение своего друга — повествователя:

— Старик прав, — решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. — Слушан внимательно. Ты сидишь?

— Нет, стою.

— Слушай, — начал он повелительно, — публики сегодня приходило целая бездна.... В результате — я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чу-

довище, — драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.
— Не наскучило бы? — заметил я ядовито. Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения — до того заважничал[179].

Несмотря на свое ядовитое замечание, сам повествователь в разговоре с Иваном Матвеичем, как видим, тоже пропускает “личное местоимение” (ср. его реплику: “Нет, стою”). Однако это формальное сходство и для него самого, и для читателя остается совершенно незаметным. Дело в том, что повествователь ощущает себя в совершенно ином коммуникативном пространстве, чем Иван Матвеич, и потому в его устах тот же прием приобретает иной характер, становясь знаком разговорной непосредственности контакта.

Фокусирующий эффект коммуникативного пространства ощущается со всей наглядностью в тех случаях, когда мы в таком фокусировании особенно нуждаемся, в частности когда мы имеем дело с иностранным языком, знакомым нам в достаточной степени, чтобы иметь возможность им пользоваться, но все же недостаточно хорошо, чтобы чувствовать себя в нем совсем “свободно”. Всякому знакома часто в таких случаях возникающая ситуация: вступив в разговор “с середины”, не будучи вооружены предварительным представлением о его теме и социально-стилевых параметрах, мы испытываем большие трудности в понимании — не только тех аспектов разговора, которые были нами пропущены, но вообще в понимании смысла каждой произнесенной фразы; в этих условиях мы попросту затрудняемся сложить слова, произносимые участниками, в какое-либо, хотя бы гипотетическое, смысловое целое. Но стоит нам осознать общее направление разговора и характеры его участников, как наша способность “понимания” иностранной речи внезапно и драматическим образом улучшается: знакомые выражения с легкостью узнаются в речевой ткани и складываются в целое, отсутствующие компоненты без труда дополняются догадками и подразумеваниями, даже произношение собеседников вдруг оказывается более “отчетливым”, чем оно нам показалось вначале. В родном или просто хорошо знакомом языке мы если и сталкиваемся с подобными ситуациями, то несравненно реже и в несравненно менее острой форме. Все дело в том, что в этом случае у нас имеется огромный опыт воссоздания подходящей коммуникативной среды из поступающих к нам речевых сигналов, даже самых отрывочных и мимолетных. Подобно пушкинскому Дон Гуану, которому достаточно заметить “узенькую пятку”, мелькнувшую под черным покрывалом, чтобы нарисовать себе весь портрет красавицы, и должным образом воспламениться, и представить в общих чертах весь ход будущего любовного действа, — говорящему, если он находится в хорошо ему известной языковой стихии, достаточно мимолетного осколка реплики, чтобы представить себе целый коммуникативный мир: характер разговора, портреты его участников, то, что этой реплике предшествовало и что может за ней последовать. И в родном, и в малознакомом языке понимание смысла определяется такого рода мысленной настройкой или фокусировкой языкового сознания — с той лишь разницей, что в родном языке эта настройка производится летуче-мгновенно и совершенно непроизвольно, тогда как если наш опыт в данной языковой сфере ограничен, требуются более отчетливые сигналы и более направленные усилия с нашей стороны, чтобы произвести такую настройку; лишь после того как нам удалось это сделать, мы оказываемся

в состоянии принять адекватное участие в данной коммуникативной ситуации.

В результате — при всей неповторимости ходов языковой мысли в каждый отдельный момент у каждого говорящего, результирующие интерпретации, возникающие из всей инфраструктуры таких ходов, оказываются сфокусированными таким образом, который делает их хотя и не полностью воспроизводимыми, но во всяком случае соотносимыми между собой. Спектр стереотипических аналогий, из которых вырастает коммуникативное пространство, у говорящих, живущих в общей языковой и культурной среде, в условиях постоянного обмена друг с другом, до известной степени сопряжен, хотя, конечно, никогда полностью не тождественен. Эта соотносимость фокусирующих реакций, в условиях которых работает мысль говорящих, определяет собой разумную степень соотносимости, которую результаты их мыслительной работы могут иметь друг для друга.

Конечно, степень такой соотносимости может очень сильно колебаться в зависимости и от того, насколько тесно связаны говорящие друг с другом, лично и социально, и от характера самой коммуникации — представляет ли она незначительный повседневный контакт или более сложный и эзотерический опыт. Чем менее тесно сопряжены между собой участники коммуникации и чем более сложным и необычным является коммуникативное действо, в которое они вовлечены, — тем слабее оказывается сопряженность их интерпретирующей деятельности, тем скорее могут они ожидать большого разброса в понимании, в пределе доходящего до такой степени, которую они сами будут оценивать как взаимное “непонимание”. Однако сама эта низкая соотносительность мыслительных полей и вытекающая из этого неуверенность в понимании и возможность непонимания в большинстве случаев не являются для говорящих неожиданностью, поскольку производимая ими оценка ситуации и партнера включает в себя представление о том, в какой сфере и в какой степени контакт в данном случае возможен[180]. В ситуации “экзокоммуникации”, когда мы имеем дело с партнером, социальный, культурный, языковой опыт которого резко отличается от нашего, сама низкая степень корреляции наших языковых миров определяет наше языковое поведение в отношении друг к другу, тем самым оказывая стабилизирующее воздействие. То, что в ином коммуникативном пространстве, при иной фокусировке, могло бы нас изумить и поразить как нечто странное, экстравагантное, чудовищно нелепое, в условиях “экзокоммуникации” (например, при общении с иностранцем) буквально пропускается мимо ушей, не оказывая существенного влияния на получающийся смысловой результат.

Однако стабилизация и координация коммуникативных контактов, происходящая благодаря фокусировке сообщений в определенном коммуникативном пространстве, составляет лишь одну сторону этого феномена. Другая его сторона определяется тем, что возникающие в представлении говорящих ландшафты коммуникативных пространств, в которые погружаются высказывания, имеют летуче-изменчивый, динамичный, дисконтинуальный характер. Это свойство коммуникативного пространства отличает его от кодифицирующей модели языкового и культурного общения, какое бы множество различных поведенческих кодов и жанров такая модель ни допускала[181]. В отличие от любого кода, представляющего собой хотя бы относительно устойчивое и дискретное состояние, коммуникативное пространство сообщения не знает никакой дискретности и стабильности; оно мгновенно изменяет свои очертания — а значит, и весь процесс фоку-

сировки языковых действий — под воздействием все новых впечатлений. В каждый отдельный момент языковой деятельности интерпретирующая мысль адаптируется к коммуникативному пространству, каким оно представляется говорящему в данный момент. Однако в следующий момент, под воздействием какого-то нового впечатления или даже под воздействием нового оборота, который приняла мысль самого говорящего, это представление может в большей или меньшей степени измениться; тем самым изменяются и все направляющие линии, по которым развертывается процесс языкового выражения и интерпретации[182].

Между коммуникативным пространством языковой деятельности и самой этой деятельностью существует двусторонняя связь: представление о коммуникативном пространстве направляет ход языковых действий и оказывает фокусирующее воздействие на их результаты; но само оно, в свою очередь, возникает в качестве реакции на сигналы, поступающие к говорящему из этих же языковых действий и различных сопутствующих им обстоятельств. Появление любых новых сигналов немедленно и непроизвольно отражается в перестроении образа коммуникативного пространства в сознании говорящего. А вместе с ним перестраиваются и все те ходы, по которым мысль развертывалась в предшествующем состоянии коммуникативного пространства, все те оценки и ассоциации, которые каждый ход способен был вызывать. Это изменение касается не только дальнейшей языковой работы — оно ретроспективно перестраивает уже сложившиеся у говорящего представления о смысле происходившего и происходящего языкового действия. Перестройка коммуникативного пространства — это не линейный процесс, при котором та или иная мысленная среда служит говорящему до определенной точки, чтобы затем замениться другой мысленной средой. Этот процесс напоминает не столько движение твердого тела, способного изменять скорость и направление, сколько перемены в состоянии летучей среды: каждый сдвиг в состоянии такой среды имеет тотальный характер, видоизменяя все представление о прошедшем, настоящем и будущем развертывании данного языкового опыта. Переоценка текущей ситуации сопровождается переоценкой и всего того, что вело к этой ситуации в прошлом, и всех потенций ее дальнейшего развертывания, указывающих говорящему направление его будущих действий. Говорящий мгновенно оказывается в ином коммуникативном мире, где все совершается по иным законам, в иных направлениях, приносит иные результаты и вызывает иные ожидания, требует иных оперативных действий и реакций.

Иногда такая перемена совершается в виде внезапного и драматического сдвига всей картины. У говорящего возник определенный стереотип ситуации, и до поры до времени он силится вместить все поступающие сигналы в этот стереотип. Инерция стереотипа оказывает влияние на отбор и восприятие смыслового материала; даже если говорящий сталкивается с некоторыми затруднениями, он силится найти им удовлетворительное объяснение в рамках имеющегося стереотипа. Однако в конце концов либо эти затруднения постепенно накапливаются до такой степени, что избранная стратегия осмысливания делается все более затруднительной и сомнительной, либо говорящий наталкивается на какой-то яркий сигнал, с неизбежностью переориентирующий его представление о коммуникативном пространстве. В этот момент “откровения” весь смысл данного языкового опыта подвергается внезапной и драматической перестройке. Такого рода ситуации нередко сознательно конструируются в художественном

повествовании, с целью создания комического либо драматического эффекта. В рассказе Чехова “В бане” цирульник Михаиле ложно идентифицирует одного из моющихся как студента-нигилиста “с идеями”; его длинные волосы, аскетическая наружность, разговор о просвещении и духовных ценностях — все эти сигналы укрепляют цирульника в сознании, что перед ним подозрительная личность. Лишь увидев одежду подозрительного моющегося, он обнаруживает, что тот принадлежит к духовному сословию. В этот момент и его внешность, и содержание и тон его слов приобретают для цирульника — и для читателя — совершенно иной смысл, встраиваясь в иное мысленное пространство; комический эффект создается внезапностью и парадоксальностью этого переключения в иной коммуникативный мир, в котором весь смысловой “ландшафт” выглядит подругому.

Подобные ситуации могут возникать и спонтанно, в повседневной речевой практике. Однако это, конечно, крайний и сравнительно редко встречающийся случай. Чаше всего наша языковая деятельность протекает не в виде внезапных, остро ощущаемых переключений коммуникативного пространства, но путем непрерывных и постепенных его трансформаций; нередко говорящий и сам не сознает, что режим его мыслительной работы изменился в связи с изменившимся ощущением коммуникативного пространства.

Таким образом, было бы недостаточным говорить о том, что смысл всякого языкового действия подвергается фокусированию в коммуникативном пространстве; необходимо подчеркнуть, что такое фокусирование смысла имеет динамический характер. В нем неразрывно сочетаются установка на стабилизацию и дисконтинуальность самой этой стабилизирующей установки, ощущение говорящим субъектом “ландшафтного” единства своего языкового мира в каждый отдельный момент языкового существования и непрерывные неконтролируемые изменения очертаний этого мира, из которых и состоит процесс языкового существования. В каждый момент своей языковой деятельности говорящий силится интегрировать открытые потоки впечатлений, воспоминаний и ассоциаций в некое смысловое целое, в котором смысл того, что он принимает как “сообщение”, явился бы ему в виде некоей представимой “картины”, обладающей достаточной степенью единства и последовательности; эту интегрирующую работу говорящий производит в соответствии со свойствами коммуникативного пространства, подсказывающего и сам отбор материала, и его сопряжения, и результирующие эффекты, которые возникают в ходе этого процесса. Но сама эта среда, в которой работает языковая мысль, все время движется, изменяя очертания, как облако, и тем самым изменяя все условия, в котором совершаются процессы смысловой фокусировки и смысловой интеграции[183]. В каждый следующий момент своего языкового существования говорящий субъект оказывается в несколько ином языковом мире, действует несколько иным образом, в ином режиме мобилизации и оценки языковых ресурсов, чем в предшествующий момент. Новые впечатления пробуждают новые стереотипические проекции, которые наслаиваются на старые, сливаются с ними во все новых модификациях, видоизменяя весь облик той мысленной среды, в которой совершается языковая деятельность. Возникают возможности бесконечных переориентаций языковой картины, ретроспективного мысленного “переписывания” прошлого опыта, игры различными смысловыми регистрами, основанной на соскальзываниях из одного мысленного пространства в другое.

Выше мы наблюдали различные эффекты, которые может иметь формально тождественный языковой прием — опущение личного местоимения — при различной фокусировке, определяемой условиями разных коммуникативных пространств. Теперь, однако, мы можем добавить к этому анализу, что сами эти различные пространства не являются стабильно и дискретно заданными. Многообразные условия языковой деятельности, с ее текучей непрерывностью и протеистической дисконтинуальностью, допускают любые контаминации и перекраивания этих различных коммуникативных сред, а значит, и ожидаемых от них смысловых эффектов. Приведу один пример того, как контаминация различных коммуникативных пространств, по-разному высвечивающих предложение безличного местоимения, становится предметом сознательной или полуосознанной коммуникативной игры.

В 1824 г. Кюхельбекер выступил в печати с программной критической статьей “О направлении нашей поэзии, преимущественно в последнее десятилетие”. Статья выносила суровый приговор господствовавшему в то время “элегическому” направлению, не щадя таких прославленных его представителей, как Жуковский, Пушкин, Баратынский, и противопоставляя им, в качестве положительного примера, поэмы их литературного противника, С. Ширинского-Шихматова. Кюхельбекер начинает статью в приподнято-ораторском тоне, имеющем целью приобщить читателя к серьезности и драматичности его намерений; важным компонентом, вносящим свой вклад в создание этого тона, является нанизывание предложений без местоимения первого лица:

Решаясь говорить о направлении нашей поэзии в последние десятилетия, предвижу, что угожу очень немногим и многих против себя вооружу.... Но льстец всегда презрителен. Как сын Отечества, поставляю себе обязанностию смело высказать истину[184].

Пушкина статья сильно задела и вместе с тем произвела на него значительное впечатление; отголоски этого впечатления можно заметить в целом ряде его писем, критических статей и поэтических произведений, относящихся к 1824—1825 гг[185]. В частности, в декабре 1825 г., в письме к Кюхельбекеру, Пушкин в свою очередь подверг стихи последнего критическому разбору. Делает он это в следующих выражениях:

Нужна ли тебе моя критика? Нет! не правда ли? все равно: критикую... Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Жуковского... О стихосложении скажу, что оно небрежно, не всегда натурально, выражения не всегда точно-русские... уверен, что этим тебя не рассержу, — но вот чем тебя рассержу: князь Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, надутый, скучный пустомеля... ай-ай, больше не буду! не бей меня[186].

Нетрудно увидеть, что некоторые выражения этого письма пародируют торжественный тон статьи Кюхельбекера; ситуация дружеского письма оттеняет их комическую неуместность. Однако стилевое пространство, создаваемое письмом Пушкина, сложнее, чем просто пародия торжественного стиля; одновременно с этим оно сохраняет непринужденность и непосредственность дружеского обращения. Пушкин балансирует на грани между двумя возможными истолкованиями одного и того же приема: как знаков ораторской позы (явно пародийной в этом контексте) либо как знаков тесного личного контакта с адресатом. Фраза “Уверен, что этим тебя не рассержу, — но вот чем тебя рассержу” — как бы постепенно соскальзывает от пародийного напоминания о торжественном стиле Кюхельбекера

(ср. в его статье: “Предвижу, что многих против себя вооружу”) к дружеской неформальности. Заключение всего пассажа — “ай-ай, больше не буду! не бей меня” — уже с несомненностью вводит весь текст в жанровый модус дружеской “болтовни”, показывая, что вся игра с торжественным тоном была дружеской шуткой.

Неустойчивое равновесие между силами дисконтинуальности и интеграции, возникающее в коммуникативном пространстве, устраняет “диалектику” бинарного противопоставления “творческого” и “нетворческого” употребления языка, выполнения правил и их нарушения. Для того чтобы в опыте передачи языковой мысли возникло что-то новое, нам нет необходимости порываться из привычного и знакомого, целенаправленно сдвигать и разрушать рамки, в которых протекает языковое существование (хотя, конечно, мы вольны это делать, если именно в таком обращении с языком заключаются наши цели и намерения). Процесс сдвигания и трансформации нашего языкового мира совершается сам собой в каждый момент наших языковых усилий как естественный результат перестройки мысленной среды, совершающейся благодаря этим же усилиям. В каждый отдельный момент мы стремимся к интеграции, стремимся действовать “по правилам”, а вернее — в определенном духовном режиме, подсказываемом средой, в которой мы себя в этот момент ощущаем; но в каждый же момент мы оказываемся — хотим мы того или не хотим, замечаем или не замечаем — в несколько иной среде, а значит, и в несколько иной топографии ценностных ощущений, представимых возможностей и ожиданий. Никакое подразделение языковой деятельности на дискретные сферы и жанры не передает бесконечную подвижность и перетекаемость мысленных конфигураций и ощущений, происходящие в протеистическом континууме мысленных ландшафтов, в которые погружен процесс употребления языка.

11.2. К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ “ПРАВИЛЬНОСТИ”

> *Nicht die Sprache an und für sich ist richtig, tüchtig, zierlich, sondern der Geist ist es, der sich darin verkörpert.*
>
> *Goethe, “Maximen und Reflexionen”, N 1021*

Определение характера высказывания, основывающееся на помещении его в определенное коммуникативное пространство, являет собой процесс более тонкий, разнообразный и гибкий, чем разделение высказываний на “правильные” и “неправильные”, как его представляет лингвистическая модель, опирающаяся на фиксированные правила построения. В последнем случае дело представляется таким образом, что говорящий, владеющий синтаксическими и семантическими правилами данного языка, способен отделить “правильные”, или “грамматичные”, выказывания на этом языке от “неправильных” (“неграмматичных”) на основании того, соблюдены или не соблюдены в них правила синтаксического и семантического построения[187]. Такой подход может служить полезным эвристическим приемом при каталогизации языкового материала, но никак не способен решить проблему принятия (или непринятия) высказывания говорящим применительно к естественным условиям языковой деятельности. Во-первых, такое разделение приходится признать слишком грубым инструментом: оно никак не учитывает тот бесконечный и непрерывный спектр оттенков

большей или меньшей приемлемости, большей или меньшей “ловкости” или “неловкости” выражения мысли, с которыми говорящим приходится иметь дело в каждом высказывании, в каждый момент их языковой деятельности. Утончение модели путем введения ряда промежуточных состояний — различных “степеней правильности”[188] — положения не спасает, так как никакой набор фиксированных состояний неспособен передать, даже в моделирующем приближении, гибкость и подвижность фокусирующей реакции говорящего, мгновенно адаптирующейся к изменениям фактуры языкового материала и условий обращения с ним. Всякая попытка сформулировать критерий “правильности” в виде постоянных, стабильно действующих правил и признаков наталкивается на проблему ускользающей переменности условий, в которых такой критерий приходится применять. В конечном счете оказывается, что нет такого, на первый взгляд заведомо “неправильного” выражения, которое не стало бы естественным и приемлемым, и нет такого “правильного” выражения, которое не оказалось бы странным и неприемлемым при определенных условиях[189].

Однако феномен фокусирования высказывания в коммуникативном пространстве отличается от понятия правильности не только степенью разнообразия и гибкости, но прежде всего в качественном отношении. Понятие “грамматичности” имеет эксклюзивный, антагонистический характер: сущность его состоит в том, что целый ряд эмпирически наличных языковых феноменов получает чисто негативное определение и исключается из рассмотрения в качестве неграмматичных. В отличие от этого, процесс коммуникативного фокусирования имеет позитивный и инклюзивный характер. Мысленное помещение данного высказывания в подходящую для него коммуникативную среду позволяет оценить в содержательных терминах то впечатление, которое способен вызвать данный языковой артефакт в данных коммуникативных обстоятельствах, а не служит инструментом селекции и браковки продуктов, производимых воображаемой языковой машиной. В рамках такого процесса никакое высказывание не может оказаться абсолютно “неправильным”, то есть не имеющим какого-либо места в языковой деятельности, — так же как никакое высказывание не может оказаться абсолютно “правильным”, то есть имеющим в этой деятельности безусловное и безотносительное место.

В отличие от модели языка как производственной деятельности, непременным условием которой является отторжение дефектных продуктов, языковое существование не может произвести ничего такого, что не вызвало бы той или иной реакции говорящего субъекта и не заняло бы того или иного места в среде его языкового опыта. Мы так же не вольны полностью и безусловно отвергнуть какой-либо языковой феномен, встретившийся в нашей языковой деятельности, как не вольны посмотреть на какое бы то ни было встретившееся нам в жизни явление как на “несуществующее”. Встретившись с языковым артефактом, мы можем оценить его как “нелепый”, “уродливый”, “беспомощный”, “идиотский”, “низкий”, “отвратительный” — любая такая оценка несет в себе позитивное содержание. Даже если какой-либо языковой артефакт выступает в нашем восприятии как “чепуха”, “бессмыслица”, “абракадабра”, в это определение неизбежно вкладывается какое-либо содержание, отражающее фокусирование его в определенном коммуникативном пространстве; мы можем усмотреть в данном языковом феномене “беспомощную бессмыслицу” (перед нами человек, слабо владеющий языком, который силится что-то выразить, но так беспомощно, что его невозможно понять), либо “глупую бессмыслицу” (че-

ловек неспособен ясно выразить свою мысль, либо сам толком не знает, что он хочет сказать), либо “смешную”, “скучную”, “отвратительную бессмыслицу”, либо “бессмыслицу, внушающую страх и благоговение” — но не “просто бессмыслицу”, то есть такую, которая для нас как бы вовсе не существует в качестве факта языкового опыта. Наконец, мы можем признать некоторое выражение “неправильным” в частном смысле, то есть отклоняющимся от ритуализованных правил языкового поведения, принятых в каких-либо специальных ситуациях и для специальных целей; но и в этом случае мы не можем ощутить какой-либо языковой феномен как “неправильный” в тотальном смысле, то есть полностью отказаться принять его в наш языковой опыт.

Конечно, понятие грамматичности имеет полный смысл при обучении языку. Когда ученик в своих языковых действиях получает результат, очевидным образом расходящийся с его намерениями, его действия могут быть квалифицированы как “неправильные” — но только для этого специфического “учебного” коммуникативного пространства. В этом случае правомерной реакцией и самого говорящего, и его партнеров (учителя или соучеников) является стремление зафиксировать и исправить допущенную ошибку. Но если тот же ученик создаст то же высказывание в рамках иного коммуникативного пространства (например, задавая вопрос на улице или в магазине) — оно приобретет иной смысл: не просто как отклонение от каких-то правил, но как проявление “речи иностранца”. В этом случае внимание участников коммуникации будет направлено не на выявление и исправление ошибки, а на то, чтобы настроить свое языковое поведение и языковые реакции применительно к данной ситуации, в меру понимания ее и отношения к ней того или иного говорящего субъекта.

Каким бы странным, нелепым, уродливым ни казался нам данный языковой феномен — он все равно “выглядит” для нас каким-то положительным образом: именно — как нечто странное, нелепое и уродливое, и выглядит так не сам по себе, но в той среде, в которую наше представление — действующее в меру нашего понимания того, что, собственно, происходит, — его для нас поместило. Мы всегда находим некоторую среду для любого языкового опыта, какую бы отрицательную оценку сам этот опыт у нас ни вызывал: сама такая отрицательная оценка оказывается возможной лишь тогда, когда мы “увидели” данный языковой феномен в определенной мысленной среде, увидели во всей его, как нам представляется, неуместности и нелепости.

Если для лингвистики XX столетия характерна установка на “правильные” языковые построения, в которых соблюдены общеобязательные требования языкового кода, то эстетические теории этой эпохи, напротив, склонны придавать исключительно большое значение “отрицательным” приемам, действие которых состоит в нарушении сложившегося в читательском сознании “кода” эстетического поведения. В сущности, эти две крайности сходятся; категорическое противопоставление положительного и отрицательного состояния, соблюдения “общественного договора” и его преднамеренного нарушения типично для авангардистского мышления, с его склонностью к поляризациям и бинарной диалектике[190]. Если, однако, исходить из того, что решающую роль и в художественно-языковом, и вообще во всяком языковом мышлении играют конкретные представления, прототипы, аналогии, а не логические операции отождествления и противопоставления абстрактных типов и правил, возможность чисто “отрицательного” смыслообразуюшего приема оказывается сомнительной.

Читатель начала 1910-х годов, открывший экстравагантно оформленную книжку под заглавием *Пощечина общественному вкусу* и прочитавший:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээи пелся облик,[191] —

воспринимал этот свой опыт, конечно, как драматический слом привычных представлений о возможностях языкового выражения. Но вместе с тем, наш читатель не мог не видеть встающее за этим текстом положительное коммуникативное содержание — образ авангардного поэта, с такими характерными его чертами, как сочетание эзотеричности и примитива, изысканности и преднамеренного "варваризма", вызывающего самоутверждения и инфантильности.

Самосознание авангарда, послужившее источником формальной и структуральной поэтики, понимало "новое" отрицательно, как результат сознательного нарушения сложившихся стереотипов и правил; негодование косной массы было этому самосознанию так же необходимо, как восторг адептов нового, поскольку оно служило живым свидетельством нарушения рутины, а значит, смысловой наполненности авангардного творчества. Однако само возмущение "косной публики" было, в сущности, запрограммировано и входило в эстетику авангардного действа не как его отрицание, но в качестве положительного компонента, имеющего свою функцию; "косная публика" возмущалась не потому, что ей преподнесли нечто совершенно ею не ожидавшееся, а напротив, как раз потому, что ожидалось, что ей преподнесут нечто, на что с ее стороны уместной окажется реакция недоумения и возмущения.[192] Точно так же и языковая мысль никогда не удовлетворяется чисто отрицательным заключением, что предложенный объект "непохож" на нечто ожидавшееся, что он "нарушает" ожидания и конвенции. Сам эффект непохожести всегда оказывается похож на что-то, нарушение ожидания неотделимо от ожидания нарушения.

Многих, по-видимому, интересовал в детстве вопрос: можно ли выключить сознание хотя бы на мгновение, так чтобы совсем "ни о чем не думать" (кажется, об этой игре упоминается у Толстого в "Детстве")? Закрываешь глаза, пытаешься отключиться от любых мыслей, воспоминаний, ощущений — и убеждаешься в невозможности этого: само усилие "ни о чем не думать" уже представляет собой акт мысли. Наши отношения с языком напоминают мне эту детскую игру. Нет такого языкового впечатления, которое не имело бы для нас "совсем никакого" значения, либо имело чисто отрицательное значение, в качестве отклонения от чего-то нами ожидавшегося и нам известного.

Знаменитый пример Н. Чомского — "Colorless green ideas sleep furiously" — призван был, по мысли автора, проиллюстрировать возможность полностью неприемлемого высказывания, в котором были бы соблюдены все синтаксические правила, но нарушены правила семантической сочетаемости; тем самым доказывалось, что семантическая структура высказывания строится таким же закономерным образом, на основании определенных правил, как и его синтаксическая структура. Однако спонтанные реакции говорящих на этот, ставший хрестоматийным пример показали, что он способен занять свое место в их языковом мире; некоторые находили вы-

сказывание про бесцветные зеленые идеи похожим на детскую считалку или загадку, другие — на “современную поэзию”[193]. Для меня лично эта фраза вписывается самым естественным и понятным образом в жанровое пространство лингвофилософского рассуждения о языковой семантике — от Карнапа, Куайна, Остинадо Катца, Лакова и, конечно, того же Чомского, — для которого создание преднамеренно парадоксальных языковых “монстров” является типичным эвристическим приемом. К этому мысленному ландшафту примешивается, естественно сливаясь с ним, отпечаток “шестидесятнического” дискурса, с типичным для него поведенческим и языковым маньеризмом, сочетающим в себе “антиэстетическую” бесцеремонность в обращении с любым предметом и комическую замысловатость: ср. не менее загадочное заглавие книги К. Киси (Ken Kesey) “One flew over the cuccoo's nest” (перифразирующее стих из детской считалки) или книги Т. Вулфа, главным героем которой является сам Киси, — “Electric cool-aid acid test”. Во всех подобных случаях говорящие, в меру своего разумения, находят (вольно или невольно) какую-то мысленную среду для предложенного языкового феномена, которая и позволяет ему стать объектом интерпретирующей мысли.

Динамический характер коммуникативного пространства, вырастающего вокруг языкового артефакта, способность его мгновенно изменять свои очертания и окрашенность в процессе развертывания языкового действия определяет собой подвижность и относительность всякой оценки высказывания, связанной с фокусированием его в этом пространстве. Разделение высказываний на правильные и неправильные на основании их отношения к определенным кодифицирующим правилам постоянно: “неграмматичное” предложение всегда останется таковым, то есть всегда будет являть собой нарушение определенного кодифицированного запрета. Но фокусирование высказывания никогда не стоит на месте, поскольку оно вбирает в себя любое изменение условий — от изменения самого контекста, предметного содержания, тона коммуникации до изменений в состоянии говорящего субъекта. Повторная реакция на то же высказывание попросту не может в точности равняться предыдущей — уже хотя бы в силу того, что в ней отпечатывается память о предыдущем восприятии данного языкового феномена и о многих сопутствовавших этому, прямо или косвенно с этим связанных обстоятельствах.

Знаменитая фраза из Берлинской речи президента Кеннеди — Ich bin ein Berliner! — может служить примером и того, как возникает фокусирование высказывания в качестве продукта конкретных условий, определяющих для говорящих облик данного языкового феномена, и того, как этот процесс развивается в дальнейшем в силу включенности его в конгломерат языковой памяти. Высказывание Кеннеди можно было бы квалифицировать как грамматически (или семантически? или стилистически?) неправильное, или по крайней мере не совсем правильное. Стационарный коммуникативный фрагмент для этого случая должен был бы быть: Ich bin Berliner! Добавление артикля не вовсе невозможно, но придает высказыванию немножко неуклюжую эмфатичность и вместе с тем разговорность: как будто можно ожидать продолжения типа 'Я ведь вот и берлинец, но ...',[194] В то же время вшивание в высказывание фрагмента 'ein Berliner' вызывает опасность “побочного эффекта”, на который говорящий явно не рассчитывал. Дело в том, что выражение 'ein Berliner' широко употребляется по отношению к особому типу бублика (“берлинеру”), часто продающемуся на берлинских улицах; языковая память с легкостью подсказывает

выражения типа Ich möchte gern ein Berliner; Ein Berliner, bitte! Эта неожиданная контаминация двух столь резко различных языковых “монад” могла бы в иных условиях создать гротескный образ: американский президент в патетически приподнятом тоне провозглашает, что он — бублик. Однако историческая значимость ситуации перекрывает для аудитории неуклюжесть высказывания и его потенциально комический смысл. Фраза президента приобретает афористический вес, и после бесчисленных цитатных повторений прочно входит в фонд коллективной языковой памяти. В этом качестве и в этой перспективе она становится фактом языка; сама “неловкость” ее эмфатичности, выдающая ее иностранное происхождение, становится значимой, представая как воплощение международной солидарности.

Когда в 1992 году в Германии поднялась волна насильственных акций против иностранцев, общество ответило демонстрациями солидарности с жертвами. Один из митингов солидарности был организован деятелями культуры в Берлине; он проходил под лозунгом: Ich bin ein Ausländer! Участники (немецкие писатели, артисты, ученые) выразили свои чувства в формуле, звучащей “по-иностранному”. Это, однако, была не просто “неправильность”, хотя бы и преднамеренная; ее смысл определялся реминисцентной связью с Берлинской речью Кеннеди. В этом коммуникативном пространстве лозунг Ich bin ein Ausländer! (вместо конвенционального Ich bin Ausländer) звучал отнюдь не как языковая ошибка, пародирующая полуправильную речь иностранца. Весь ее смысловой и стилевой строй, вся ее неуклюже эмфатичная фактура как будто переносила слушателей в хорошо им знакомую духовную среду — целый смысловой и эмоциональный мир, выросший в коллективной памяти из речи Кеннеди за 30 лет со времени ее произнесения.

Представление о феномене владения языком как об инструменте, позволяющем говорящему создавать и принимать “правильные” высказывания и отвергать “неправильные”, воплощает в себе утопическое стремление к идеальному порядку и иерархии, игравшее огромную роль в духовной жизни первой половины XX столетия. Цена, которую приходится платить за достижение — хотя бы воображаемое — такого порядка, состоит в том, что в нем не находится места всему тому, что не помещается на единой упорядочивающей шкале правил и оценок. Сохранение принципа системности, хотя бы в самой толерантной и гибкой форме, допускающей — в качестве запрограммированных степеней свободы — отклонения и нарушения, требует ликвидации всего того, что в построенный порядок никак не вписывается (не вписывается даже в качестве “отклонения”), — то есть всего того, что размывает и делает излишней самую идею системы. Я имею в виду, конечно, духовную “ликвидацию”, при которой некоторый феномен как бы перестает для нас существовать, становится невидимым для нашего духовного зрения. Бесконечная пестрота окружающих нас и самими нами создаваемых языковых артефактов и текучая подвижность впечатлений, которые они оставляют в нашем духовном мире, является одним из таких феноменов, осознание которого подрывает иерархию правильного-неправильного, разумного-неразумного, ценного-неценного, предсказуемого-неожиданного языкового поведения.

Глава 12. НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ ПАМЯТИ И ТЕКСТУАЛЬНЫЙ

ГЕРМЕТИЗМ: ДВА ПОЛЮСА ЯЗЫКОВОГО ТВОРЧЕСТВА195

Wir bauen Bilder vor dir auf die Wande; so daß schon tausend Mauern um dich stehn. Denn dich verhüllen unsre frommen Hände, so oft dich unsre Herzen offen sehn.

*Rilke, *Das Stunden-Buch. Von monchischen Leben"*

12.1. ПРЕЗУМПЦИЯ ТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ПРОЦЕСС СМЫСЛОВОЙ ИНДУКЦИИ.

Смысл всякого высказывания складывается на пересечении двух противоположных смыслообразующих сил. Осознанию высказывания как обозримого целого противостоит неисчерпаемость и летучая неустойчивость той мнемонической среды, в которой и благодаря которой такое осознание происходит; силам текстуальной интеграции, вызывающим взаимные притяжения между всеми элементами высказывания, противостоит открытость ассоциативных связей, расходящихся от каждого из этих элементов.

С одной стороны, любое языковое высказывание — краткое или пространное, художественное или нехудожественное, мимолетная реплика или грандиозное по масштабам и задачам повествование — представляет собой т е к с т, то есть некий языковой артефакт, созданный из известного языкового материала при помощи известных приемов[196]. Предполагается, что все, кому такой текст потенциально предназначается и на адекватную (более или менее) реакцию которых он рассчитан, разделяют, в приемлемой степени, понимание этого языкового материала и тех действий, которые позволили скомпоновать его в данное текстуальное целое.

С другой стороны, для того чтобы осмыслить сообщение, которое несет в себе текст, говорящий субъект должен включить этот языковой артефакт в движение своей мысли. Всевозможные воспоминания, ассоциации, аналогии; соположения, контаминации, догадки, антиципации, эмоциональные реакции, оценки, аналитические обобщения ежесекундно проносятся в сознании каждой личности. Процессы эти не привязаны жестко к наличному языковому выражению: они разрастаются одновременно по многим разным, нередко противоречивым направлениям, обволакивая линейно развертывающееся языковое высказывание в виде летучей среды, не имеющей никаких определенных очертаний. Их характер зависит и от характера самого говорящего субъекта, и от смены его настроения в непрерывно меняющихся условиях общения, и даже от множества случайных и непредсказуемых факторов, так что одно и то же по форме высказывание может оказаться погруженным в бесчисленное количество разных смысловых сред, ведущих к разному его осмысливанию.

Непрерывно меняющееся взаимодействие языкового сообщения со средой делает каждое сообщение в каждый момент его бытования в мире говорящего субъекта уникальным и неповторимым. И если осознание сообщения невозможно без адекватного восприятия самого языкового материала, из которого оно создано, то оно так же невозможно без погружения в открытую, ничем в принципе не ограниченную среду мыслительной деятельности говорящих. Погруженный в эту среду, текст высказывания растворяется в ней, становится одним из бесчисленных факторов, воздейст-

вующих на эту среду и испытывающих на себе ее воздействие, приобретает черты изменчивости, открытости и недетерминированной субъективности.

Наше восприятие “текстов Пушкина” неотделимо и от того, как они отложились в творческой памяти последующих русских писателей и поэтов и отпечатались в созданных ими текстах, и от того, как эти последние в свою очередь отложились в нашей собственной культурной памяти и определили нашу интерпретирующую позицию. Например, понимание (осознанное или возникающее интуитивно, в качестве ассоциативного наложения) того, что путешествие Мандельштама на Кавказ в 1930 г. совершалось “по следам” пушкинского путешествия на Кавказ 1829 г., влияет на наше восприятие не только произведений Мандельштама (таких, как “Путешествие в Армению”), но и соответствующих произведений Пушкина (“Путешествие в Арзрум”, ряд стихотворений 1829—1930 гг.). Отложившаяся в памяти ассоциация между двумя “путешествиями в Армению” создает ретроспективную проекцию, высвечивающую в пушкинских текстах такие аспекты, которые без этой ассоциации остались бы нереализованными; возникает как бы эффект смыслового резонанса, вызывающего к жизни прежде не звучавшие смысловые обертоны. В изображении Мандельштама его путешествие несет в себе символический смысл паломничества — “по святым местам” (с ясно выраженной аналогией между Арменией и Иудеей) и “по пушкинским местам”. В ретроспективной проекции этот смысловой ореол, окружающий 'путешествие в Армению', высвечивает соответствующий аспект и в пушкинском “Путешествии в Арзрум”; мы начинаем яснее видеть и активно осмысливать такие его детали, как многочисленные отсылки к Священному Писанию (казалось бы, случайно рассыпанные по всему повествованию и часто поданные в типично пушкинской небрежно-иронической манере) или дантовские реминисценции. Из таких ретроспективных проекций и их взаимодействий с различными элементами текста и друг с другом и складывается та смысловая среда, в которой для нас существует феномен “пушкинского текста”.

Однако смысловой процесс не возникает и не развивается из ничего, сам по себе: он индуцируется языковым материалом, актуализирующимся в сознании говорящего в ходе его усилий создать или принять высказывание. По каким бы разным каналам ни расходились токи ассоциативных притяжении, какие бы далекие скачки ни совершала мысль говорящего, в конечном счете весь этот процесс вращается вокруг наличного языкового произведения, от него исходит и к нему возвращается. Получив исходный толчок от какой-либо частицы языковой материи, мысль уносится по различным направлениям и на различные расстояния лишь затем, чтобы вернуться к исходной языковой ткани, проецировав на нее добытое поле ассоциаций. Получившееся в результате переосмысление исходного смыслового образа в свою очередь служит импульсом к новым ассоциативным ходам и скачкам мысли, результатом которых может стать новое переосмысление, и так далее.

В наше время нет ничего легче, чем критиковать структурный подход к интерпретации текстов за его односторонность и нестерпимый детерминизм (от которого не избавляют никакие оговорки и усложнения структурной модели), игнорирующий летучую изменчивость мыслительного процесса и принципиальную множественность ходов, по которым устремляется интерпретирующая мысль. Явления, указывающие на множественность, открытость и подвижность смысла, слишком очевидны; интеллекту-

альному зрению, адаптировавшемуся к современной духовной и эстетической атмосфере, они открываются с большей легкостью, кажутся более интересными и значительными, чем все единообразное, закономерное, структурно предсказуемое в мыслительном опыте.

Однако и противоположное направление теоретической мысли, кладущее во главу угла децентрализацию языкового и культурного процесса, его разнородность и разноречие, действующие в нем центробежные силы и иконокластические тенденции, тотчас обнаруживает свою односторонность, как только из критики структурального “тоталитаризма” превращается в положительный — и притом претендующий на доминантную роль — метод исследования. Утверждение сил дезинтеграции в качестве основоположного принципа апофатично по своей сущности: невозможно описывать предмет, исходя только из его неустойчивости и открытости его границ; предмет буквально ускользает из рук исследователя при всякой попытке перейти от критики и декларации общих принципов к положительным наблюдениям. Хуже того: поскольку исследователь все же стремится дать какое-то описание, и притом его мысль не связана какими-либо позитивистскими ограничениями, его видение предмета с опасной легкостью соскальзывает к сиюминутным модам и интересам; ниспровергнутый методологический “тоталитаризм” заменяется диктатом модной фразеологии и ходячих мнений. Примеры подобного рода “пост-структуралистических” рассуждений, столь же униформных и предсказуемых в отношении идей и риторических приемов, как и смененные ими структуралистические модели, обступают вас со всех сторон, стоит лишь войти в академический книжный магазин.

По моему убеждению, сущность процесса осмысливания искажается при односторонне дезинтегрирующем взгляде на предмет в не меньшей степени, чем при попытке придать этому процессу позитивистскую объективность и логически детерминированный характер. Ведь каким бы множественным и переменчивым ни было отношение говорящих к данному высказыванию, как бы ни подвергалось оно бесчисленным воздействиям со стороны меняющейся внешней среды и их собственного внутреннего состояния, в каждый данный момент данный говорящий переживает свое понимание высказывания как целостное и конечное. Пусть в следующее мгновение это понимание изменится, заметным или незаметным для него образом; но и это новое состояние он будет ощущать как целостное и конечное — для данного момента и данной ситуации — понимание. Более того, какие бы внешние ассоциации ни возникали у говорящего по поводу данного высказывания и как бы они ни влияли на его понимание, он переживает течение своей мысли как понимание именно данного высказывания, а не каких-то внеположных ему, лишь косвенно с ним связанных идей и сведений. Когда я слышу реплику собеседника, приглашающего меня войти, или читаю стихотворение Мандельштама, моя мысль в своем движении способна охватить тысячи ассоциаций, реминисценций, сопряжении, относящихся к характеристике этого сообщения и его автора; но на что бы моя мысль ни наткнулась в своих странствованиях по бесконечным полям ассоциативной памяти, все обнаруженное ею интересует меня не само по себе, а в своем отношении к данному тексту-высказыванию. Я переживаю все найденное моей мыслью через посредство того, как оно вплавляется в феномен, который я осознаю как адресованное мне сообщение, то есть в языковое произведение, над которым моя мысль работает в данный момент и которое дало толчок всему этому процессу.

Бытие высказывания в духовном мире говорящих в качестве языкового сообщения, которое должно быть осмыслено, имеет парадоксальную природу. С одной стороны, всякое высказывание представляет собой единство, замкнутое целое, границы которого ясно очерчены, — иначе оно попросту не воспринимается как факт сообщения, то есть как некий "текст", заключающий в себе некий смысл; но с другой стороны, это такое единство, которое возникает из открытого, не поддающегося полному учету взаимодействия множества разнородных и разноплановых факторов, и такое замкнутое целое, которое способно индуцировать и впитывать в себя открытую, уходящую в бесконечность работу мысли, а значит, и бесконечные смысловые потенции[197].

В своей двуплановой сущности языковое высказывание выступает и как целостный и законченный продукт языковой деятельности — и как аккумулятор движущегося во времени континуума культурного опыта и культурной памяти, открытый и текучий, как сам этот мнемонический континуум; как объективно существующий "текст", предоставляющий воспринимающему субъекту бесконечно сложный, но стабильный предмет познания, — и как "опыт", который непрерывно реагирует на все окружающее и непрерывно изменяет это окружающее самим фактом своего существования и своего движения во времени; как композиция, составленная определенным образом из определенных кусков языкового материала, — и как нерасчленимый смысловой конгломерат, своего рода смысловая "плазма", различные компоненты которой, общие и частные, явные и подразумеваемые, растворяются друг в друге и проявляют себя только в сплавлениях и фузии со всеми другими компонентами[198].

Можно сказать, что мыслительный процесс, возникающий по поводу и вокруг данного сообщения-текста, не имеет конца, но он имеет начало; у него нет никаких внешних границ, никаких предписанных путей, но есть определенная рамка, в которой и для которой он совершается: рамка данного языкового высказывания. Какими бы причудливыми и отдаленными путями ни двигалась мысль говорящего, результат этого движения воспринимается им как смысл данного высказывания.

Осознание этого парадокса означает, с одной стороны, что смысл любого высказывания способен вместить в себя сколь угодно обширную и сколь угодно разнородную информацию, внеположную границам этого высказывания, то есть не привязанную непосредственно к каким-либо физически наличным в его составе элементам. Нет никакой возможности как-либо ограничить и регламентировать этот процесс, определить заранее принципы отбора и степень значимости тех смысловых полей, которые могут каким-либо образом внести свой вклад в наше понимание данного высказывания[199]. Основной дефект структурного подхода как раз и заключался в стремлении определить и ограничить предмет исследования, раз и навсегда найти "истинного героя" (по выражению Якобсона) лингвистического, литературного, семиотического анализа[200]. Принципиальная открытость мнемонической среды, пропитывающей собою высказывание-текст, делает всякую регламентацию такого рода искусственной и приводит в конечном счете к однообразию и банальности получаемых результатов. Каким бы незначительным, случайным и "внешним" ни казался какой-либо смысловой элемент сам по себе — его взаимодействие с другими элементами именно в данном тексте может иметь существенные последствия, заставляющие признать в этом элементе одного из (бесчисленных) "истинных героев" разыгрывающегося в нашем сознании смыслового действия. Све-

дения о том, “курил ли Пушкин”[201] или “что вчера ел за ужином” автор стихотворения или его знакомый, могут иметь такое же отношение к делу, как и жанровые параметры стихотворения, написанного на следующее утро. Более того, осознание самих этих параметров и того значения, которое они приобретают именно в данном стихотворении, может зависеть от сведений об ужине, а эти сведения, в свою очередь, будучи встроены в жанровую рамку стихотворения, вызовут определенным образом направленные ассоциативные связи. Из сиюминутного события “ужин” превратится в образ определенного круга общения, притянет в смысловую фактуру стихотворения целые поля исторических, биографических, литературных, образных ассоциаций. (Укажу, без дальнейшего обсуждения, возможный пример именно такой ситуации: эпиграмму Пушкина “За ужином объелся я”, написанную по следу комического рассказа Жуковского о том, как он провел вечер в обществе Кюхельбекера, и заключившую в себе — в уникальном сочетании — целый узел биографических и литературных мотивов лицейского и арзамасского круга).

С другой стороны, открытость смыслов, вливающихся в высказывание, не только не разрушает его целостность, но напротив, способствует выявлению этого свойства. Важным аспектом нашего отношения к высказыванию является тот простой факт, что мы сознаем его как “текст”, то есть единый феномен, данный нам в своей целости. “Текст” всегда имеет для нас внешние границы, оказывается заключенным в “рамку” — все равно, присутствует ли такая рамка в самом высказывании с физической очевидностью (таковы, например, знаки начала и окончания письменного текста или предустановленные рамки публичного выступления), либо примысливается говорящим субъектом по отношению к определенному отрезку языкового опыта, так что этот отрезок оказывается для него выделенным в качестве целостного текста-сообщения (например, некоторый обмен репликами осознается как “разговор”, что выделяет его в качестве коммуникативного целого из континуального потока языковых впечатлений)[202]. Эту нашу готовность, даже потребность представить себе нечто, осознаваемое нами как высказывание, в качестве непосредственно и целиком обозримого феномена, я буду называть презумпцией текстуальности языкового сообщения.

Действие презумпции текстуальности состоит в том, что осознав некий текст как целое, мы тем самым ищем его понимание как целого. Это “целое” может быть сколь угодно сложным и многосоставным; поиск “целостности” отнюдь не следует понимать в том смысле, что мы ищем абсолютной интеграции всех компонентов текста в какое-то единое и последовательное смысловое построение. Идея целостности, вырастающая на основе презумпции текстуальности, проявляется лишь в том, что какими бы разнообразными и разнородными ни были смыслы, возникающие в нашей мысли, они осознаются нами как смыслы, совместно относящиеся к данному тексту, а значит — при всей разноречивости — имеющие какое-то отношение друг к другу в рамках этого текста[203].

Презумпция текстуальности всякого языкового сообщения не означает, что у говорящего субъекта имеется четкое и устойчивое понимание того, какие именно отрезки его континуального языкового опыта являются “текстами”. Скорее напротив: у говорящего никогда не бывает однозначного представления о “тексте” и его границах. Рамки того, что осознается в качестве текстуального целого, оказываются такими же размытыми и подвижными, как границы хранимых в памяти кусков языкового материала —

коммуникативных фрагментов и их сращений. В сущности, каждое высказывание, сложенное по канве коммуникативного контура и в силу этого обозримое в качестве коммуникативного целого, представляет собой "текст"; в этом качестве оно образует целый языковой микромир, в рамках которого развертываются процессы, вызванные презумпцией текстуальности. Однако этот текст вписывается в рамки более протяженного языкового феномена, который осознается говорящим, на основании тех или иных признаков, в качестве текстуального целого, а тот в свою очередь может оказаться частью некоторого еще более крупномасштабного целого. Глава романа и сама может составить феномен, обозримый в качестве коммуникативного целого, и в то же время включаться в состав целого всего романа, а сам этот роман — в состав совокупного образа писателя и его творчества, имеющийся в представлении данного субъекта, или совокупного образа жанра, направления, традиции, культурно-исторической эпохи, к которым этот текст и этот автор принадлежат; одна реплика оказывается включенной в рамку целого "разговора" (каким бы образом данный субъект ни выделял для себя этот разговор как подлежащее осознанию целое), тот — в более широкую языковую ситуацию, в которой этот разговор имел место, или в целую совокупность разговоров на данную тему, или в историю взаимоотношений с данным партнером, и так далее. Между разными такими текстуальными рамками нет четкой иерархии: нельзя сказать, что более мелкие включены в состав более крупных или что более крупные образуются путем сложения более мелких; скорее, различные рамки накладываются одна на другую, или просвечивают одна в другой, самым беспорядочным образом, образуя многосоставную и многомерную совокупность. Говорящий не был бы способен исчерпывающим образом определить, из скольких различных рамок составляется для него такая совокупность, возникающая по поводу того или иного отрезка его языкового существования, и в каком отношении они находятся друг с другом. В зависимости от разных обстоятельств, те или иные из этих рамок выступают на передний план, становясь решающей силой интеграции смысла в данный момент, в то время как другие отодвигаются, проглядывая лишь в более или менее отдаленной перспективе. Однако в каждый момент презумпция текстуальной рамки присутствует в качестве интегрирующей силы, позволяющей посмотреть на какой-то отрезок непрерывного потока языковых впечатлений как на коммуникативный артефакт, подлежащий осмысливанию[204].

Осознание сообщения как "текста" как бы накладывает герметическую рамку на весь входящий в это сообщение и пропитывающий его смысловой материал. Сколь бы разнообразным и бесконечно обширным ни был этот материал — он оказывается "запертым" в рамке того, что нами осознается как "текст"[205]. Вне данной рамки различные частицы этого материала растекаются по различным каналам и полям памяти, не имеющим друг к другу прямого отношения; в этом состоянии мы можем только случайно заметить заключенный в них потенциал смыслового взаимодействия — и даже заметив, можем не найти для него применения. Но в тексте сам факт схождения различных компонентов под одной рамкой делает их взаимодействие неизбежным и необходимым. В этой своего рода семантической "камере" каждый попадающий в нее элемент вступает в непосредственную связь с множеством таких элементов, с которыми он никогда бы не вступил в контакт вне данного, неповторимого и уникального целого. Происходит тотальная фузия смыслов, в результате которой каждый отдельный компонент вступает в такие связи, поворачивается такими сторонами, об-

наруживает такие потенциалы значения и смысловых ассоциаций, которых он не имел вне и до этого процесса.

Описанный здесь процесс смыслообразования можно назвать смысловой индукцией. Сущность смысловой индукции состоит в способности как любого компонента высказывания, так и всего высказывания в целом к непрерывному изменению и развертыванию смысла на основе тотального взаимодействия между различными компонентами, попадающими в герметическую рамку текста. В ходе этого процесса каждый его компонент обнаруживает в себе такие перспективы и смысловые слои, такие потенциалы ассоциативных и реминисцентных связей, которые возникают лишь в условиях соположения и сплавления с другими компонентами, втянутыми в орбиту смысловой индукции данного текста. Внесение любого нового компонента в процесс индукции (например, появление в фокусе мысли какой-либо новой реминисцентной ассоциации) изменяет весь его ход, влияя в конечном счете на смысл каждого участвующего компонента и характер их соотношений. Это изменение в свою очередь вызывает к жизни новые потенциалы реминисценций и соположений, что в свою очередь приводит к новым сдвигам в индуцируемой смысловой “плазме”. Процесс этот никогда не останавливается и развертывается в бесконечность; но в то же время он имеет герметически замкнутый характер, поскольку весь смысловой материал, актуализированный смысловой индукцией, втягивается в герметические рамки текста и получает все новые индуцирующие импульсы в результате взаимодействий, возникающих благодаря “спрессовывающему” воздействию этой рамки.

Презумпция текстуальности и возникающая на ее основе смысловая индукция тесно связаны с нашей способностью к образному представлению высказывания. Мы видели, что для того чтобы быть вовлеченным в процессы мысли, высказывание должно получить проекцию в виде некоего образа — пусть даже зрительно едва намеченного, но обладающего целостностью. Именно в этот момент, когда мы как бы “охватываем взглядом” высказывание, изымая его из временной длительности и структурной расчлененности, оно предстает нашему образному зрению в качестве целого. Способность образа оставаться целым при сколь угодно разнообразном его заполнении, и вместе с тем способность его к мгновенным перестроениям — перестроениям именно как целого — при любых изменениях в составе и расстановке составляющих его компонентов являются важнейшими исходными условиями, делающими процесс смысловой индукции возможным и необходимым.

Образное представление дает мысли материал, способный к мгновенным летучим изменениям и тотальным перестроениям — то есть отвечающий принципиальным свойствам мыслительного процесса. Никакая поступенная аналитическая работа, следующая шаг за шагом за структурой высказывания, сама по себе не была бы способна стать адекватным инструментом смысловой интерпретации, то есть таким, который отвечал бы характеру работы интерпретирующей мысли. Оставаясь в рамках протяженного во времени, структурно расчлененного языкового высказывания, было бы невозможно развернуть его смысл с такой скоростью, по стольким разным направлениям одновременно и с такими мгновенными сменами конфигураций и ракурсов, как это происходит на каждом шагу в нашей языковой деятельности — в большом и малом, в повседневных языковых реакциях и в долговременных усилиях мысли, стремящейся ассимилировать текст высокой сложности и значимости.

Это, однако, не означает, что аналитической работе вообще нет места в процессах смыслообразования. Аналитические приемы работы с текстом включаются всякий раз, когда субъект сталкивается с такими задачами или такой ситуацией, для которой применение этих приемов оказывается уместным и необходимым. Однако понимание, добытое путем аналитического выделения и сортировки элементов текста, тут же вливается в процесс смысловой индукции, сплавляется с другими ее аспектами. Например, анализ распределения фонем в стихотворении может выявить повторяющиеся фонемные фигуры и их варианты. Добытое таким образом знание вызовет спонтанные ассоциации с другими стихотворениями, в которых сходное распределение звукового материала имеет место, в силу чего эти стихотворения окажутся втянутыми в смыслообразующий процесс в качестве “интертекстов”, с бесчисленными последствиями такого интертекстуального включения; или выявленные фонические группы вызовут ассоциации с определенными словами, которые тем самым включатся в смысловой процесс стихотворения в качестве “анаграмматических” подразумеваний (включатся, разумеется, не только сами по себе, но в окружении бесчисленных дальнейших ассоциаций, которыми окружено в памяти каждое такое слово). Эти ассоциации в свою очередь способны изменить понимание фонической организации стихотворения, возникшее в результате анализа, выявив опосредованное (через общие ассоциации) родство между отдельными звуковыми группами, и т. д. В конечном счете результаты аналитической работы так неразрывно сплавляются с другими смыслообразующими процессами, что оказывается невозможным определить с уверенностью, что, собственно, было получено “чисто” аналитическим путем. Лишь закрыв глаза, сознательно или бессознательно, на ход смысловой индукции в целом, анализирующий субъект оказывается в состоянии поверить, что добытое им понимание является результатом “чистого” применения аналитических процедур.

Чем больше компонентов вовлекается в процессы смысловой индукции данного текста — тем богаче и многостороннее оказывается сетка их взаимодействий, тем более радикально проявляется фузия отдельных элементов смысла, вызывая к жизни уникальные по своим очертаниям продукты семантических сплавлений. Внесение все новых элементов не размывает границы текста, а, напротив, увеличивает число и интенсивность ассоциативных связей внутри текста и тем самым утверждает его целостность. Чем более повышается “давление” смыслов, спрессованных в герметической рамке текста, — тем более мощно текст заявляет о себе как о единстве, в котором весь этот материал конденсируется и переплавляется.

Знаменитая сцена в салоне Анны Павловны Шерер, открывающая “ Войну и мир”, может служить наглядной иллюстрацией того, как работает смысловая индукция. Всем памятен один из лейтмотивов этой сцены, упоминаемый несколько раз на всем ее протяжении, — сравнение разговоров посетителей салона с жужжанием прядильных веретен. На первый взгляд, это сравнение имеет вполне определенный, легко локализуемый смысл: образ прядильных машин символизирует бессмысленность и механическую машинальность разговоров. Предположим, однако, что в памяти читателя этой сцены возникает “внешняя” (то есть непосредственно, открыто в данном тексте не заявленная) ассоциация: безостановочное движение веретен является характерным атрибутом античных богинь судьбы, прядущих нить человеческих судеб. Эта ассоциация способна перенести

смысл данного образа у Толстого, а вместе с ним и смысл всей сцены, в совершенно новый план: скрытое присутствие Парок в салоне Анны Павловны символизирует собой завязку романа. И действительно, именно в этой начальной сцене завязываются многие узлы событий, определяющих будущую судьбу его героев: уход князя Андрея на войну, беременность его жены, первое столкновение князя Андрея с семейством Курагиных (в лице Ипполита, ухаживающего за его женой), встреча Пьера и Элен, начало карьеры Бориса Друбецкого. Эта скрытая "судьбоносность" ситуации, пустоту и бессмысленность которой Толстой всячески подчеркивает на поверхности повествования (в частности, сравнением с прядильными машинами), становится сразу для нас очевидной, как только наше представление о ней "впитывает" в себя образ прядущих богинь судьбы.

Возникает вопрос: какова "ценность" такой ассоциации? не является ли она произвольным приложением к тексту некоей частицы смысла, которой почему-то случилось всплыть в памяти одного читателя в момент чтения? Конечно, процесс воссоздания смысла в сознании по необходимости субъективен, то есть неотделим от личности каждого субъекта; конечно, этот процесс не ограничен никакими предопределенными рамками и признаками. Однако отрицание детерминированности и безличной кодифицированности смыслового процесса не означает, что этот процесс полностью произволен и случаен в своем течении и результатах. Субъект не просто погружает свое или чужое сообщение в поток своего сознания: он постоянно поверяет то впечатление, которое у него самого и у партнеров оставляют результаты этого процесса. Насколько результат этих субъективных мыслительных усилий оказался имеющим смысл для данного субъекта, то есть создал удовлетворительный баланс между тем, что им "ожидалось" от этого сообщения, и тем, что в нем оказалось "новым"? насколько может он рассчитывать на то, что этот результат окажется осмысленным также и для тех, кого он представляет себе как своих партнеров, соучастников, "попутчиков" в отношении к данному сообщению, и вызовет с их стороны приносящую удовлетворение реакцию? Эти соображения и заботы постоянно напоминают о себе, заставляя вылавливать в броуновском движении языковой мысли по возможности "удачные" ходы и блокировать, сознательно или бессознательно, такие, которые почему-либо показались неудовлетворительными. Игнорировать эти постоянные усилия говорящих направить процесс смысловой индукции куда-то в желаемую сторону (каким бы неясным и все время изменяющимся ни было само понимание ими того, какое направление является для них "желаемым") было бы так же неразумно, как и считать, что этот процесс предопределен объективно заданными правилами[206].

Итак, какова же "ценность" описанной выше ассоциации, если посмотреть на нее с точки зрения постоянной борьбы между растекающейся мыслью и ее поверкой коммуникативным опытом? Ответом на этот вопрос служит выяснение тех последствий, которые внесение данной ассоциации имеет для понимания всего "текста" начальной сцены романа — а в более отдаленной перспективе и всего романа — как коммуникативного целого, то есть того, какой вклад она вносит в ощущение нами смысловой слитности различных составляющих этот "текст" элементов.

С этой точки зрения, обращает на себя внимание тот факт, что княгиня Волконская несколько раз напоминает о принесенной ею с собой "работе" — шитье (еще один постоянный мотив, пронизывающий собою течение сцены). Мотив прядильных машин вводится в сцену как звуковой образ;

мотив шитья княгини Болконской лишен этого звукового компонента. Поэтому в непосредственном своем воплощении, каким он предстает на поверхности повествования, образ шитья помещается в иной плоскости, чем жужжание веретен светского разговора; он служит эмблемой характера героини: ее наивной претенциозности и стремления быть в центре внимания. Однако на фоне ассоциации с Парками эти два образа "прядения" вступают в связь между собой; княгиня Волконская как бы оказывается живым воплощением одной из богинь судьбы. Этот факт, в свою очередь, высвечивает для нас то обстоятельство, что в данной сцене участвуют на главных ролях три женские фигуры: Анна Павловна, княгиня Лиза и Элен Курагина; в повествовании они отмечены как три центра, вокруг которых группируются три "партии" салона. Теперь, в возникшем в нашем представлении смысловом пространстве, образ трех героинь выступает в античном ореоле, как проекция образа трех Парок. Этот образ, в свою очередь, способен индуцировать и притянуть к себе многочисленные литературные, визуальные, исторические ассоциации и аллюзии.

В частности, компонентами сцены, естественным образом встраивающимися в это смысловое поле, оказываются "античная красота" Элен — еще один постоянный мотив, несколько раз упомянутый в этой сцене, — и сравнение ее с античной статуей. К этому же ряду подключается, разумеется, и само имя этой героини, которое, в сочетании с ее необыкновенной красотой (и на фоне всех других античных ассоциаций), вызывает в памяти образ Елены Троянской. А этот последний компонент, в свою очередь, придает дополнительный смысловой обертон главной теме салонного разговора: Россия находится накануне войны с Наполеоном, и князь Андрей готовится к отъезду в армию, покидая жену.

Можно было бы продолжать вглядываться в эту ткань переплетающихся и перетекающих друг в друга смысловых линий, вовлекая в ее фактуру все большее число присутствующих в тексте компонентов и все более широкие поля ассоциаций, реминисценций, соположений, контаминаций. Например, хорошо известно увлечение в 1800-е годы античными — вернее, неоклассическими, стилизованными под античность — мотивами в интерьере гостиных и женском туалете; эта черта широко отразилась в портретной иконографии эпохи и в мемуарных свидетельствах[207]. Читатель как бы молчаливо приглашается представить себе облик гостиной Анны Павловны и оценить античный колорит всей обстановки, в которой происходит эта сцена. В эту перспективу естественным образом втягивается описание наряда Элен: "белая бальная роба, убранная плющом и мохом", — характерная деталь "ампирной" стилизации античности; Элен появляется в своем наряде, "блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов", то есть как бы в облике античной статуи. Можно также вспомнить распространенное в обществе именование императора Александра "наш Агамемнон", в связи с его ролью предводителя европейских монархов. Это имя Александр получил, конечно, в связи с кампанией 1813—1815 гг.; однако это не препятствует тому, что в нашей перцепции романа неоклассический образ Александра, сложившийся в 1810-е годы, контаминируется с формирующейся в начальной сцене античной проекцией кампании 1806 г. как "Троянской войны". И наконец, сама метафора "прядильных машин", в качестве одной из типичных примет описываемой в романе эпохи, получает особый смысл, позволяя перенести мифологический образ судьбы из античности в современность: в век промышленной революции работа Парок напоминает о ткацких станках. Это в свою очередь подкрепляет и укрепляет сопос-

тавление античности и современности, проглядывающее во многих мотивах этой сцены.

Можно не сомневаться, что последующие главы, в частности посвященные самой кампании, содержат дальнейшие аллюзии, высвечивающие различные аспекты этого сопоставления в проекции на события романа и характеры его героев. Мы, однако, ограничимся проделанным небольшим фрагментом аналитической работы, с тем чтобы соотнести его со сформулированным выше общим принципом смысловой индукции. Как видим, внесение в смысловую ткань сцены в салоне Шерер ассоциации с античными богинями судьбы резко повышает семантическую слитность текста. Многие его компоненты, которые до этого выступали изолированно и, казалось, сополагались в тексте друг с другом лишь чисто случайным и немотивированным образом, обрели в результате внесения этой “внеположной” информации осмысленную связь. До того как мы осознали этот смысловой компонент, развертывание всей сцены в целом определялось для нас лишь чисто внешним развитием ее повествовательного сюжета; отдельные образы, сравнения, вскользь оброненные повествователем замечания возникали в ее течении, казалось, совершенно независимо друг от друга, окказионально. Теперь эта сцена обрела большую слитность; многие отдельные ее детали, выражения, сюжетные повороты превратились в сетку мотивов, пересекающихся друг с другом по многим направлениям и взаимно высвечивающих друг в друге различные слои и аспекты смысла.

Для того чтобы процесс смысловой индукции мог начаться, текст должен обладать некоторым изначальным потенциалом связей, смысл которых заведомо ясен для воспринимающего и интерпретирующего этот текст субъекта. Если таких связей в тексте слишком мало — или если наше видение неспособно эти связи обнаружить, — никакая герметическая рамка сама по себе не произведет индуцирующего эффекта. В этом случае текст предстанет в нашем восприятии как “бессмысленный” или малоосмысленный, “банальный”, “бессвязный”, “неинтересный”, “непонятный” — все равно, вызывается ли такой приговор свойствами самого текста либо свойствами нашего смыслового зрения, в его отношении к данному тексту. В нашем видении текст должен обладать какой-то “критической массой” слитности, достаточной для того, чтобы его образ привел в движение поля памяти, то есть дал толчок процессу индукции смысла.

В какой степени эти смысловые процессы программируются, хотя бы интуитивно, самим автором текста? или, иными словами, — в какой степени они “объективно” составляют свойство этого текста? В рассмотренном выше примере из Толстого можно сказать с большой степенью уверенности, что мотив Парок и проекция образа Троянской войны присутствовали в творческом сознании автора, — хотя бы в силу того, что отсылки к античным образам вообще играют важную роль в произведениях Толстого. Однако с не меньшей уверенностью можно также утверждать, что ни сам автор и никто другой не способен был бы продумать и учесть до конца все те последствия, которые смысловое с плавление мотивов в тексте имеет и для понимания каждого из этих мотивов, и для смысла всего текста. Роль авторской воли состоит в том, что автору удается — отчасти преднамеренно, отчасти в силу бессознательно возникающих ассоциаций — расположить в тексте известное число компонентов таким образом, что их взаимодействие вызывает процесс индукции смыслов. Но раз начавшись, этот процесс развивается по принципу цепной реации, вне какого-либо определенного порядка и четко очерченных границ. Каждое новое соположение в

тексте, увиденное читателем, видоизменяет смысловые ракурсы сополагаемых компонентов и тем самым открывает возможности для новых соположений, которые в свою очередь создают новые смысловые повороты, новые конфигурации смысловых сплавов.

Проза Толстого являет собою пример текста, в организации которого творческая воля автора играет если не исчерпывающую (это было бы невозможно), то во всяком случае исключительно большую роль; Толстой имел основания сказать о втором своем романе (в письме к Н. Н. Страхову 23—26 апреля 1876 г.), что ни одно слово в нем не может быть заменено: "Если бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман тот самый, который я написал, сначала"[208]. Однако не менее разительно внутритекстовая смысловая индукция может проявляться и в тех случаях, когда у нас нет оснований рассчитывать на глубину и продуманность авторских намерений.

Приведу один крайний пример такой ситуации. Несколько лет назад я смотрел по американскому телевидению репортаж о выводе советских войск из Чехословакии. Этому событию предшествовал заключительный смотр, на котором войска проходили церемониальным строем, под звуки военного оркестра; именно этот момент был запечатлен в репортаже.

Оркестр играл самый популярный русский военный марш, вот уже более ста лет традиционно сопровождающий парады, проводы и встречу войск и тому подобные торжественные и драматические ситуации. Марш этот — "Прощание славянки" — ведет свое происхождение от русско-турецкой войны 1878 года. Со временем "панславистский" подтекст этой музыки и ситуации, для которой она служила эмблемой, — войны, идеальная цель которой сознавалась как освобождение "братьев-славян" на Балканах, — если и не стерся полностью, то во всяком случае отошел на задний план в исторической памяти. (Можно, однако, привести случаи, когда эта память актуализируется при построении текста: например, в фильме "Летят журавли" М. Калатозова, в сцене, когда героиня не успевает на вокзал к проводам жениха, уходящего на фронт под звуки "Прощания славянки"). Во всяком случае, едва ли можно сомневаться, что для "авторов" того "текста" 1990 года, который я наблюдал на телевизионном экране, этот первоначальный смысл военного марша не существовал. Однако соположение марша, с его потенциальными смысловыми обертонами, с ситуацией уходящих из Чехословакии войск создало для наблюдателя весьма интересный "текст". Конфигурация культурной памяти наблюдающего субъекта заключала в себе такие свойства, которые в проекции на наблюдаемую сцену высветили в ней смысловые связи, давшие толчок процессу смысловой индукции. Память о панславистском идеале слияния всех "славянских ручьев" в "русском море" вступила во взаимодействие со смыслом текущей ситуации, высветив последнюю как своего рода травестийную эмблему панславистской идеи прошлого века. В этом своем новом эмблематическом качестве ситуация на экране притягивала к себе множество исторических воспоминаний и ассоциаций, сплавляя их все в совокупный образ, обладающий значительной индуцирующей силой. В процесс индукции оказались вовлечены — по крайней мере потенциально — и бесчисленные реминисценции, отсылающие к соответствующим идеям, событиям и образам прошлого века (в их числе финал "Анны Карениной" — сцена проводов Вронского, уезжающего добровольцем на фронт в Сербию), и столь же бесчисленные и пестрые впечатления, окружающие в моем сознании память о 1968 годе. Мне, в частности, вспомнилась обложка одного номера

журнала “Социалистическая Чехословакия” осени 1968 г.: яркая цветная фотография изображала исключительно симпатичных молодых советских солдат в полной военной форме и с ними столь же привлекательных чешских девушек в нарядной одежде, в которой явственно проглядывали фольклорные “славянские” мотивы; всю эту сцену увенчивала подпись: "ПРИШЛИ ВОВРЕМЯ". Едва ли нужно разъяснять, какой вклад эта реминисцентная картинка, вынесенная на поверхность сознания силами смысловой индукции, внесла в осмысливание формировавшегося буквально на глазах текстуального целого.

Приведенный пример показывает, как смысловая индукция, родившись в результате возникшей в представлении говорящего текстуальной рамки, может радикально преобразовать смысл того, что находится под этой рамкой. То, что было “просто” очередным репортажем, “просто” трафаретной, много раз виденной сценой военного парада, “просто” военным маршем, всегда исполняемым в подобных случаях, то есть одним из бесчисленных поверхностных впечатлений, которые, мелькнув, тут же без следа исчезают, не выделившись из непрерывного потока, — обрело текстуальность, то есть стало восприниматься в качестве смыслового единства, в котором отдельные компоненты не просто находятся рядом, но активно сополагаются, вызывая новый смысл и втягивая все новые реминисцентные и ассоциативные сопряжения. В рассмотренном примере феномен “текстуальности” выступает с особенной наглядностью, в силу того что возникающая на его основе смысловая индукция заведомо не была результатом “авторского” творческого намерения.

Процесс текстуальной смысловой индукции в равной мере важен как для восприятия текстов, так и для их создания. В обоих случаях каждый высветившийся в тексте — в силу каких-либо индуцирующих совмещений — смысловой ракурс открывает новые ассоциативные каналы, воздействующие на процесс создания текста автором или его смыслового воссоздания воспринимающим адресатом. Текст оказывается бездонной “воронкой”, втягивающей в себя не ограниченные ни в объеме, ни в их изначальных свойствах слои из фонда культурной памяти; при этом каждая новая конфигурация, принимаемая материалом в процессе втягивания его в эту камеру-воронку, вызывает новые индуцирующие импульсы.

12.2. РОЛЬ “МОТИВА” В СОЗДАНИИ СМЫСЛА. МОТИВНЫЙ АНАЛИЗ СМЫСЛОВОЙ ПЛАЗМЫ.

По сути дела, куст похож на всё.
Бродский, “Исаак и Авраам”

Принцип смысловой индукции характеризует смысл всякого языкового сообщения как феномен, каждый раз создаваемый говорящим субъектом в процессе взаимодействия его духовного мира с языковой фактурой этого сообщения, — а не объективно “заложенный” или запрограммированный в сообщении как таковом. Анализ интерпретирующей работы мысли, создающей смысл, не может претендовать на то, чтобы служить “моделью” этого процесса, в традиционном смысле этого слова: не только потому, что процесс мысли никогда не останавливается, и любая его аналитическая фиксация оказывается по необходимости условной и частичной, открытой всевозможным дальнейшим переменам, но в особенности потому, что сама такая фиксация является интерпретирующим действием, которое

в себе самом несет импульсы и материал для дальнейшей смысловой индукции анализируемого языкового артефакта. Это, однако, не означает, что такой анализ является ни к чему не обязывающим актом самовыражения анализирующего субъекта. Невозможность выработать устойчивую модель процесса смыслообразования или заданную процедуру его анализа не отменяет того, что у этого процесса имеются некоторые общие черты и типичные ходы мысли, хотя и реализующиеся всякий раз по-иному и никогда не дающие надежно предсказуемых результатов.

Важнейшая из этих черт видится мне в том, что каждый компонент, так или иначе, прямо либо в силу ассоциативных сопряжении попавший в орбиту смыслообразуюшей работы мысли, не остается равным самому себе — тем своим свойствам, которые могут у него проявиться вне именно этого, в данную минуту и в данных условиях происходящего процесса. Соответственно, предметом анализа должен быть не сам этот компонент как таковой, но его преображение в качестве мотива, неотъемлемо принадлежащего данному сообщению, имеющего смысл лишь в тех неповторимых сплавлениях с другими мотивами, которые возникают в данном сообщении в процессе его осмысливания. Интерпретация сообщения — будь то спонтанное его понимание, которое интуитивно вырабатывает говорящий субъект, или аналитическое отображение этого процесса, — не “складывается” из устойчивых составных частей, но развертывается и перестраивается в виде подвижного поля, таким образом, что каждый компонент-мотив, из которых складывается ткань этого поля, в любой момент готов раствориться во все новых слияниях, образующих все новые конфигурации[209].

Анализируя смысл текста-сообщения, следует быть готовым к тому, что любые составляющие этот смысл феномены, которые удается выделить, существуют не в качестве составных частей, но именно в качестве мотивов, то есть в бесконечных растеканиях и переплавлениях. Момент “нахождения” какой-то значимой черты, открывающей путь к пониманию смыслового целого, оказывается моментом ее “потери”, поскольку само ощущение ее смысловой значимости означает, что она включилась в нашем сознании в водоворот смысловой индукции.

Я называю такой способ анализа смысла мотивным анализом. Сущность мотивного анализа состоит в том, что он не стремится к устойчивой фиксации элементов и их соотношений, но представляет их в качестве непрерывно растекающейся “мотивной работы”: движущейся инфраструктуры мотивов, каждое новое соположение которых изменяет облик всего целого и в свою очередь отражается на вычленении и осмыслении мотивных ингредиентов в составе этого целого.

Мотивный анализ способен вместить любой объем и любое разнообразие информации, поступающей в оборот мысли в процессе смысловой работы с данным сообщением, и в то же время остаться на почве этого сообщения как некоего языкового артефакта, который смыслообразующая мысль в каждый момент своего движения стремится охватить и ощутить как целое. Более того, как уже говорилось выше, чем более открытым и пестрым предстает тот материал, из которого создается смысл такого артефакта, тем более мощно заявляет о себе его герметическое единство, поскольку тем разительнее оказывается эффект переплавления в новые целые любых частиц, вовлеченных в этот процесс[210].

Я хочу проиллюстрировать это направление анализа на примере одного фрагмента из “Путешествия в Армению” Мандельштама. Попробуем про-

следить, как смысл этого фрагмента вырастает в процессе индукции, в ходе которой самые различные феномены притягивают друг друга и преображаются друг в друге, образуя в совокупности своего рода мотивную плазму.

Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их молниями и опоило ливнями — что гром, что бром — им было безразлично. Однажды собрание совершеннолетних мужчин, населяющих дом, постановило свалить старейшую липу и нарубить из нее дров. Дерево окопали глубокой траншеей. Топор застучал по равнодушным корням. Работа лесорубов требует сноровки. Добровольцев было слишком много. Они суетились, как неумелые исполнители гнусного приговора. Я подозвал жену:

— Смотри, сейчас оно упадет.

Между тем, дерево сопротивлялось с мыслящей силой, — казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы.

Наконец ему накинули на сухую развилину, на то самое место, откуда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, петлю из тонкой прачешной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, как зуб в десне, все еще продолжая княжить в своей ложнице. Еще мгновение — и к поверженному истукану подбежали дети[211]

Для начала нашего анализа можно было бы с равным успехом избрать много разных отправных точек; ведь процесс смысловой индукции развертывается одновременно по многим разным, то и дело пересекающимся направлениям, и любая найденная нить вытягивает за собой целый клубок мотивов и их связей. Я начну с мотивов, создающих образ казни, Исходным толчком для этой линии ассоциаций служит выражение в тексте: “исполнители гнусного приговора”. Однако этот образ, после того как он привлек к себе наше внимание, бросает отсвет на всё новые точки текста, высвечивая и фокусируя их смысл в специфическом ракурсе. Мы замечаем, что к образу казни имеет отношение упоминание веревки, “накинутой” на дерево. В этом ракурсе, “развилина” дерева ассоциируется с горлом казнимого; после того как эта ассоциация вошла в наше понимание текста, мы замечаем, что между основанием “развилины” и основанием “горла” имеется визуальное, образное подобие. Два образа накладываются один на другой, сливаясь в образный симбиоз-метафору; отныне смысловые связи, которые каждый из них порознь получит в данном тексте, неизбежно будут проецироваться и на второй компонент этого образного сплава. Немедленным следствием этого наложения служит понимание того, что в подразумеваемом плане ситуации речь идет не вообще о казни, но о казни старого дерева/человека, с морщинистой шероховатой кожей на стволе/горле, на которое накидывают петлю.

Чтобы понять, куда ведет эта ассоциативная цепочка, необходимо подключить к анализу некоторые дополнительные факторы, присутствующие в данном тексте или в пропитывающем его реминисцентном поле. В частности, образ срубленного дерева как “смерти” дерева явственно напоминает о рассказе Толстого “Три смерти”; к этому рассказу отсылает и философский смысл анализируемого фрагмента: противопоставление природы и человека. Вовлечение темы 'Толстого' в смысловую фактуру текста вызывает немедленные последствия в понимании нами соотношений между многими его компонентами. Например: описание “черствой” липы, каза-

лось, утратившей все признаки жизни, высвечивается в проекции на знаменитое описание старого дуба в “Войне и мире”; сопряжение этих двух картин в нашем сознании скрепляется присутствием сходной детали: дуб у Толстого “растопырил свои обломанные, ободранные пальцы” — липы у Мандельштама “подымали на дворе коричневые вилы”. Это наложение, в свою очередь, помогает осознать, что в повествовании Мандельштама речь идет о преображении или обновлении старой липы; к ней возвращается “полное сознание” — подобно “весеннему обновлению” старого дуба у Толстого. Парадокс, однако, состоит в том, что это обновление совершается в момент казни.

Проступание в фактуре текста всех этих мотивных связей с Толстым в свою очередь развивает и проясняет смысл мотива казни. В статье “Не могу молчать” (1908), протестующей против массовых казней в исходе первой русской революции, Толстой, с целью придать своему протесту наибольший драматизм, рисует воображаемую сцену собственной смерти на виселице:

Затем я и пишу все это... чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак, и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю[212].

Теперь образ “сухой развилины”, в его ассоциации с горлом старого человека, принимает для нас новый смысл. Понимаем мы и смысл, казалось бы, совершенно случайного и побочного определения веревки как “прачешной веревки”; веревка, употребляемая для развешивания белья после стирки, оказывается — в этом уникальном симбиозе смыслов — мотивным откликом “намыленной петли” в толстовской реминисценции.

Присутствие Толстого (и притом Толстого в момент им самим описанной казни) в смысловом поле текста Мандельштама придает новый смысл слову “эпоха” (ср. такие выражения из общеупотребительного идиоматического фонда, как “толстовская эпоха”, “Толстой как эпоха” и т. п.) и даже загадочному, на первый взгляд, выражению “зеленая божба” . Последнее отсылает к конфликту Толстого с официальной церковью — как увидим далее, важный мотив в данном тексте, к значению которого нам еще предстоит возвращаться. Конфликт писателя с церковью — его “божба” — в проекции на образ дерева, высвечивающей пантеистические черты религиозности Толстого, становится “зеленой божбой”.

Оба упомянутых здесь выражения: “его эпоха” и “зеленая божба” — выглядели, в применении к дереву, произвольными и непроясненными знаками; в лучшем случае, они вызывали смутный эмоциональный отклик. Однако помещение их в смысловое поле, вырастающее из взаимодействия различных мотивов, втягивающихся в ткань текста, фокусирует их смысл, делает его артикулированным. В этом своем новом качестве мотивов данные компоненты приобретают способность в свою очередь оказывать фокусирующее воздействие на другие элементы текста, тем самым превращая их в свою очередь в мотивы.

В описании казни у Толстого присутствует еще один яркий образный компонент: образ савана, “надетого” на повешенного. Очевидна важность этой детали для создания визуального образа казни; однако в тексте Мандельштама этот компонент непосредственно не представлен. С другой стороны, в этом тексте несколько раз проходит, в различных вариантах,

деталь, казалось бы, не имеющая к картине казни никакого отношения, — образ сна или дремоты; на него указывает слово “летаргия”, а также, несколько выше, упоминание “брома”. Это непонятное отсутствие одного, явно важного для образа казни, смыслового элемента и столь же непонятное присутствие другого, на первый взгляд для этого образа постороннего, проясняется вовлечением в смысловую ткань еще одного компонента, само появление которого в поле смысловой индукции вызывается соположением “савана” и “дремоты”. Образ “спящего” дерева в этой проекции вызывает ассоциацию со знаменитым стихотворением Гейне, вошедшим в хрестоматийный фонд русской литературной традиции в переводе Лермонтова:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

Снежная риза, в которую “одета” сосна, связывает ее образ с мотивом “савана” у Толстого (ср. общераспространенную метафору снежного покрова как савана, покрывающего землю). С другой стороны, мотив “дремоты” связывает ее с “летаргией” дерева у Мандельштама. Все эти три взаимно проецируемые картины сливаются в еще более тесный симбиоз благодаря наличию у них одного общего подразумеваемого компонента. Таковым является образ “качания”: качающаяся на ветру сосна;

липа, которую в момент казни “начали тихонько раскачивать” и которая “шаталась, как зуб в десне”; и наконец, повешенный, качающийся в петле. Вовлечение в ткань текста лермонтовской “сосны” не только не разрушило единство понимания, но придало ему большую аккумулирующую силу. Ассоциативное преображение “казни Толстого” в “казнь липы” стало более слитным, одна картина перетекает в другую одновременно через множество образных каналов.

Но для чего вообще понадобилась в тексте Мандельштама эта драматическая ассоциация, какой она имеет смысл? Ответ на этот вопрос, как и на возникавшие прежде, лежит в вовлечении все новых компонентов в анализ, позволяющем заполнить смысловые разрывы и белые пятна. Обращает на себя внимание броское выражение “собрание совершеннолетних мужчин ... постановило”. Некоторые смысловые обертоны этого выражения можно понять, исходя из уже введенного в оборот материала. Противопоставление мира человеческой деятельности миру “органической” жизни (к которому относится не только природа, но и дети) является одной из центральных категорий художественного мира Толстого. Помимо рассказа “Три смерти”, можно вспомнить в этой связи начало “Воскресения”:

Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучать себя и друг друга.

Однако смысл мотива “совершеннолетних мужчин” не ограничивается этим общим метафизическим противопоставлением. Понять скрытую пружину этого выражения позволяет ассоциация с другим прозаическим произведением Мандельштама — “Четвертой прозой”. В этом произведении, в частности, находим следующие строки:

На каком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому никогда не

хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещение, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

И далее:

Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немытых романее и сколько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно силясь обучить своему единственному ремеслу, единственному искусству — краже[213].

Связи этого пассажа с анализируемым здесь текстом проходят по многим каналам. В их числе, конечно, и мотив “мужчин”, и “гнусный ритуал”, корреспондирующий с мотивом “приговора”, и “коллективность” (ср. упоминание “собрания” и многочисленность исполнителей приговора в сцене казни дерева). То, что автор-повествователь ненавидит исполнителей ритуала “всеми душевными силами”, соответствует поведению дерева, сопротивляющегося “с мыслящей силой”. Решение собрания срубить дерево на дрова, очевидно, связано с нуждами отопительного сезона; это обстоятельство соответствует “календарным потребностям” писательского племени. Наконец, сама идея “литературного обрезания” сополагается с рубкой дерева; в дальнейшем повествовании “Четвертой прозы” Мандельштам упоминает “кремневый нож”, который “занесли надо мной ... с целью меня оскопить” — мотивная трансформация топора, застучавшего по корням дерева.

В этой взаимной проекции мотивов картина борьбы казнимого дерева и “совершеннолетних мужчин” вступает в симбиоз с образом конфликта Мандельштама с советской официальной писательской средой, как он изображен в “Четвертой прозе”. Эта связь дополнительно скрепляется знанием того обстоятельства из жизни Мандельштама, что он жил в писательском доме; жильцы, “населяющие” этот дом и постановившие срубить дерево, — это именно члены литературного “племени”, нарисованного в “Четвертой прозе”. Картина казни дерева становится проекцией “гнусного ритуала”, совершаемого официозно-бюрократическим миром “совершеннолетних мужчин” над писателем. В этом символическом слиянии двух картин образ воображаемой казни Толстого (а также, по-видимому, напоминание о реально совершенном над ним “гнусном ритуале” — отлучении от церкви) оказывается мощным посредствующим звеном, катализирующим мотивную фузию всех рассмотренных здесь компонентов смысла.

Связь героя “Четвертой прозы” с казнимым деревом проводится через посредство еще одного смыслового компонента: указания на его “царское” происхождение; соответственно, о дереве в нашем тексте сказано, что оно “княжило в своей ложнице”. Тем самым образ срубленного — “поверженного” — дерева проецируется на идею свергнутого монарха. Эта ассоциация придает дополнительный смысловой обертон образу “веревки”, и в частности, высвечивает ее эпитет “тонкая”. Образ тонкой веревки, “накинутой” на горло-развилину, вызывает ассоциацию не только с повешением, но также с удушением. Как кажется, в ассоциативную ткань этого места текста вплетаются слова Пушкина (со ссылкой на мадам де Сталь) о том, что “правление в России есть самовластье, ограниченное удавкою”. Эта реминисценция позволяет еще теснее сплавить и образ казни у Толстого, и образ русского “самовластья” (проекция казней 1908 года), и его после-

дующего падения. Я не буду останавливаться на продолжении этой линии мотивных связей, ведущем к Французской революции, которое в полной мере проявится в других главах “Путешествия в Армению”, в частности в портрете Ламарка. Можно было бы также проследить связь образа убийства Павла I, подразумеваемого в словах Пушкина, с тем важным местом, которое тема 'Павловска' занимала в образном мире Мандельштама (“Шум времени”, “Концерт на вокзале”).

Все эти компоненты выступают в столь тесном сплаве, что каждый из них теряет свою отдельность, перетекая и растворяясь в других; невозможно определить, где, в ходе этого непрерывного ассоциативного скольжения, заканчивается “царственный” образ писателя и его казни и начинается образ “царского самовластья” и его гибели от “удавки”. Взаимно исключающие противоречия сливаются в семантический сплав, отнюдь не утрачивая при этом своей противоположности, полярные по своему изначальному значению элементы оказываются не чем иным, как различными поворотами этой непрерывно движущейся смысловой плазмы.

Заслуживает также внимания наименование писательского племени цыганами, или “романес” (последнее имя каламбурно намекает на занятия этого племени: в дальнейшем в “Четвертой прозе” упомянуто, что от “старейшин” этого племени “пахло луком, романами и козлятиной”). Такие выражения, как “вороватая цыганщина” и “кража”, создают ассоциативное поле, притягивающее к себе образ кражи лошадей как типичного ремесла “вороватой цыганщины”. Этот мотив, в свою очередь, получает немедленный отзвук в картине казни дерева — в образе тонкой веревки, накидываемой на горло/развилину дерева; в этом образе начинает звучать еще один смысловой обертон: ассоциация с уздечкой или петлей, “накинутой” на похищаемую лошадь.

Мы уже несколько раз сталкивались в фактуре анализируемого текста с деталями, указывающими на мотив антагонизма с официальной церковью. Мотив этот тем более существенен, что он проходит и через целый ряд выражений “Четвертой прозы”. Так, старейшины племени, совершающие над героем “гнусный ритуал”, названы “священниками”; несколько ранее в “Четвертой прозе” читаем:

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова[214].

“Официальная литература” сополагается с “официальной церковью”; эти “коллективные” феномены равным образом враждебны миру, представленному творческой личностью и “одиноким” (вспомним лермонтовскую реминисценцию) деревом. Присутствие этого мотива привносит новые обертоны в смысл выражения “поверженный истукан”, описывающего гибель (свержение) “княжившего” дерева. В данной проекции это выражение напоминает об эмблематическом образе крещения Руси: свержение деревянного идола Перуна с горы в Днепр. Теперь проясняется, что мотив Перуна был скрыто подготовлен уже в начале текста—в разговорно-фамильярном речении “что гром, что бром”. В реминисцентное поле “гнусного приговора”, исполняемого над деревом (и над писателем), вовлекается образ торжества официального христианства над языческим божеством; в этой проекции находит подкрепление уже всплывавший на другом повороте мотивной инфраструктуры смысловой оттенок выражения “зеленая божба” в качестве знака языческого пантеизма. Данная линия мотивных сцеплений придает еще одну проекцию образу веревки: это веревка, накинутая на свергаемый “истукан” (а вместе с тем, по-видимому, напоми-

нание о повергнутых с пьедесталов царских статуях как символе свергнутого самодержавия).

Проанализированная — или, вернее, сформировавшаяся в ходе анализа — смысловая картина представляется достаточной для того, чтобы составить представление о процессах мотивной работы, из которых вырастает смысловая индукция текста. Я опускаю многие детали, которые могли бы более или менее существенно повлиять на смысловую конфигурацию этой картины; не буду также останавливаться на более широких натурфилософских и историко-культурных идеях, прорастающих в данном фрагменте при его проекции в более широкий контекст всего “Путешествия в Армению” и тесно связанных с ним стихотворений Мандельштама начала 1930-х годов. Для наших целей достаточно ограничиться тем смыслом, который эта главка “ Путешествия” заключает в себе в качестве относительно замкнутого текстуального целого. Толстовский по своему происхождению образ “смерти дерева” проецируется Мандельштамом на его собственную литературную судьбу, и в этом качестве сливается с судьбой самого Толстого, в его конфликте с официальной моралью. Заметим, что в начале сцены дерево предстает омертвевшим, оно “ничего не слышит и не понимает”; более того, упоминается его “казенная толщина”, связывающая его с миром “собраний” и “постановлений”. Пробуждение и обновление дерева происходит лишь в момент исполнения “гнусного приговора”. Именно атакой перспективе видел Мандельштам перелом в своей судьбе, произошедший в связи с известным “делом Горнфельда”. Из благополучного литератора, принимающего активное участие в издательской, переводческой и литературно-полемической жизни второй половины 1920-х годов, он превращается в парию, “обесчещенного” членами литературного “племени”; но вместе с тем — именно эта катастрофа вернула Мандельштаму способность к поэтическому творчеству: он вновь начинает писать стихи, после более чем пятилетнего перерыва, пришедшегося на наиболее успешную с внешней стороны полосу его жизни. Эта противоположность житейского благополучия и достигаемой на его путях “казенной толщины” творческому “сознанию” добавляет в нарисованную картину еще один толстовский мотив, еще один канал, связывающий судьбу автора “Четвертой прозы” и “Путешествия в Армению” с судьбой Толстого.

Сцена рубки старого дерева во дворе писательского дома заключала в себе — в проекции на нее творческого мира наблюдавшего эту сцену поэта — достаточную массу заряженных ассоциациями образов и их потенциальных связей, чтобы дать толчок цепной реакции смысловой индукции — цепной реакции создания текста. Можно только предполагать, с большей или меньшей степенью уверенности, какие из частиц этого индуцирующего процесса были осознаны Мандельштамом, а какие оказались втянуты в этот процесс интуитивно, в результате ассоциативных скольжении творческой памяти автора и/или его читателя. Так или иначе, текст, с заключенным в нем потенциалом смысловой индукции, был создан. Текст этот, проецируясь на сознание воспринимающего субъекта, способен стать катализатором смыслообразующего процесса, результатом которого оказывается предложенное здесь “понимание” текста, то есть его смысловое воссоздание. Конечно, стоявшая передо мной аналитическая задача вызывала необходимость сделать этот процесс как можно более осознанным и артикулированным; в случае непосредственного, не аналитического восприятия текста процесс образования его смысла совершается гораздо менее расчлененным и последовательным путем; мысль скользит от од-

них сопряжений и реминисценций к другим одновременно по разным направлениям, иногда задерживаясь на каком-либо особенно ярком или неожиданном эффекте, получившемся в результате индукции, часто же совершенно непроизвольно. Вырастающее из этого движения мысли понимание текста выступает скорее в виде неартикулированного синкретического “образа”, отпечатывающегося в душе субъекта сложными и множественными путями, о которых он сам не способен полностью отдать себе отчет, чем объективированного феномена, который может быть последовательно описан. Но каковы бы ни были психологические особенности, намерения и достижения создающего и воссоздающего текст субъекта, его деятельность в отношении к тексту имеет то общее, что смысл текста формируется каждый раз не как объективный феномен, но как процесс, непрерывно движущийся и в своем развертывании уходящий в бесконечность.

Мы можем сказать в заключение, что “истинным героем” нашего анализа служит акт создания и/или воссоздания-принятия говорящим субъектом языковых артефактов, осознаваемых этим субъектом в качестве некоего сообщения, или “текста”. Этот процесс и направляющие его силы не существуют объективно и имманентно, “в себе и для себя”, подобно идеалу семиотического кода; но не является он и чисто произвольным продуктом движения мысли субъекта. Создание смысла языкового сообщения являет в себе момент уникального слияния объективированной языковой материи, сотканной в единый артефакт, и мысли говорящего субъекта, коренящейся в его языковой памяти, с ее бесконечной подвижностью и идиосинкретичностью — момент неповторимый, все время текущий и ускользающий. Чтобы подойти к смыслу языкового сообщения таким образом, необходимо научиться иметь дело с открытым, неограниченным притоком в него потенциальных смысловых компонентов, в то же время не теряя из виду текстуальной целостности и герметической компактности этого сообщения как совершившегося факта языковой деятельности. Практическая реализация этого принципа состоит в том, что в нашем интуитивном восприятии или анализе мы мобилизуем все доступные нам ресурсы извлечения смысла, никак не регламентируя их число, характер и происхождение; мы делаем это, однако, постольку и таким образом, поскольку все эти разнородные компоненты не уменьшают, а напротив, увеличивают ощушение смысла данного текста как целого. Если втянутая в процесс понимания текста ассоциация, будучи внесена в текстовую ткань, высвечивает связи между элементами этой ткани, которые до того никак не проявлялись, или делает эти связи более богатыми по содержанию и более точными по мотивировке, — такая ассоциация начинает активно “работать” в нашем осмыслении, независимо от того, насколько далекой выглядела бы она, если бы мы посмотрели на нее как на отдельный феномен, в сопоставлении с другими элементами текста, также взятыми внеположно тем условиям, в которых они оказались в вырастающей из этого текста мотивной инфраструктуре.

Другая сторона этого принципа состоит в том, что внесение каждого нового элемента в анализ имеет последствия для значения не только самого этого элемента, но и других элементов текста, с ним сопрягаемых и сплавляемых. Смысловой материал, пропитывающий текст, не остается в нем автономным и равным самому себе — он подвергается переплавке, растворяясь во множестве других частиц, с которыми он вступает в многосторонние и многообразные взаимодействия в смысловой “плазме”, гер-

метизированной в тексте. Процесс смысловой индукции текста разворачивается нелинейно, по многим направлениям сразу, многократно возвращаясь к уже пройденным этапам, вызывая все новые ретроспективные переосмысливания. Наша мысль вновь и вновь обращается к тому или иному компоненту — обращается каждый раз после того, как в ткани текста обнаруживается какой-либо новый фактор, ретроспективно позволяющий доосмыслить этот компонент, в его все время изменяющейся роли мотива, — а вслед за тем и целый ряд других компонентов, связанных с ним. В этом нелинейном, движущемся как бы по спирали (или, скорее, по нитям спутанного клубка) наращивании смысловой ткани смысл текста возникает в движении, в виде летучего смыслового конгломерата, очертания которого калейдоскопически изменяются при каждом шаге смыслообразования.

Вливающиеся в сообщение открытые смысловые поля не разрывают его изнутри и не размывают его текстуальную оформленность. Более того, принцип текстуальной оформленности и целостности только поддерживается и усиливается по мере центробежного разрастания материала, из которого вырастает его смысл. Чем более разнороден этот материал, чем меньше мы ожидали его увидеть в соположении, — тем сильнее ощущается герметическое давление текстуальности, преобразующее этот материал и сплавляющее его в уникальное единство.

Наконец, еще одно методологическое следствие, которое изложенные здесь принципы имеют для анализа языкового смысла, состоит в том, что этот анализ невозможно построить в виде регламентированного механизма, который включал бы в себя стабильные компоненты в определенных соотношениях. Связи, из которых вырастает смысловая ткань текста, завязываются одновременно между многими разными его компонентами, возникают на основании самых различных признаков, расходятся по множеству направлений. Эти компоненты могут быть сколь угодно различными по своему объему, характеру, происхождению, наконец, по положению, занимаемому ими как в самом тексте, так и в пропитывающем его поле подразумеваний и аллюзий. Например, в проанализированном выше тексте оказываются связаны в нерасторжимый узел такие его прямые и косвенные компоненты, как фамильярная разговорная идиома “что гром, что бром”, поэтическая идиома “поверженный истукан”, реминисценция образа свергаемого кумира Перуна в эпоху Киевской Руси (а значит, и такие компоненты текста, как “веревка” и “князь”, через посредство которых формируется эта реминисценция), многоаспектные ассоциации с образом Толстого и, в частности, его конфликта с церковью, переклички с “Четвертой прозой”, проецирующие этот конфликт в ситуацию остракизма, которому был предан Мандельштам в советской литературной среде, и наконец, поливалентная образная картина “гнусного ритуала”, в которой проступают черты образа казни (повешения), оскопления, конокрадства, убийства-удушения, свержения монарха и низвержения кумира — проступают в симбиозе, вырастающем из образа “накидываемой” петли. Бессмысленно было бы пытаться как-либо классифицировать все эти компоненты, выстроить их в упорядоченные соотношения друг с другом и регламентировать порядок их появления в процессе смысловой индукции. Даже если бы нам удалось каким-то образом это сделать в одном случае — эта упорядочивающая работа оказалась бы совершенно недействительной для другого случая, и все пришлось бы начинать с начала. Предлагаемый способ анализа принципиально отказывается от понятия фиксированных блоков структуры, имеющих объективно заданную функцию в построении текста.

Вместо этого основной “единицей” смысловой индукции и ее анализа (если можно ее так назвать) оказывается мотив: подвижный компонент, вплетающийся в ткань текста и существующий только в процессе слияния с другими компонентами. Ни характер мотива — его объем, “синтагматические” соотношения с другими элементами, “парадигматический” набор вариантов, в которых он реализуется в тексте, — ни его функции в данном тексте невозможно определить заранее; его свойства вырастают каждый раз заново, в процессе самого осмысления, и меняются с каждым новым шагом, с каждым изменением создаваемой смысловой ткани.

Уникальность феномена языкового значения состоит в том, что герметическая компактность языкового сообщения, определяющая его статус как текста, создает потенциал для генерации открытого смысла. Любое изменение в нашем видении фактуры текста вызывает его смысловую “регенерацию”, вносящую изменения в смысл многих его компонентов, а в конечном счете, всей картины в целом. Поскольку число компонентов, вовлекающихся в текст, и их взаимных наложений бесконечно, то бесконечным оказывается и процесс смысловой регенерации текста. Сознательные намерения автора или интерпретатора в их отношении к тексту составляют лишь часть — или, вернее, аспект — той смысловой ткани, которая аккумулируется в тексте и преобразуется в нем. Ни сам автор, ни его адресат не в состоянии учесть все резонансы смысловых обертонов, возникающие при бесконечных столкновениях бесчисленных частиц смысловой ткани, так или иначе фигурирующих в тексте. Но и автор, и читатель, и исследователь способны — с разной степенью отчетливости и осознанности — ощутить текст в качестве потенциала смысловой бесконечности: как динамическую “плазменную” среду, которая, будучи однажды создана, начинает как бы жить своей собственной жизнью, включается в процессы самогенерации и регенерации[215]. Таков парадокс языкового сообщения-текста, составляющий важнейшее его свойство в качестве орудия формирования и передачи смысла в коммуникативной среде: открытость, нефиксированность смысла, бесконечный потенциал его регенераций не только не противоречит закрытому и конечному характеру текста, но возникает именно в силу этой его конечности, создающей герметическую камеру, в которой совершаются “плазменные” смысловые процессы.

Все сказанное здесь относится отнюдь не только к “художественным текстам” высокой ценности и сложности. Индуцирующее притяжение смысловых полей, мотивные сплавления различных компонентов смысла, непрерывное движение и регенерация мотивной ткани — все эти процессы имеют место и в повседневном языковом общении. Правда, масштабы такой работы могут быть гораздо более скромными: в большинстве случаев, бытовое высказывание, выполнив свою сиюминутную функцию, перестает быть фокусом интерпретирующего внимания и растворяется на периферии языковой памяти. Процесс герметического фокусирования, вызывающий смысловую индукцию, и в этом случае имеет место — без него никакая языковая реплика просто не могла бы быть осмыслена говорящими. Но процесс такого фокусирования в большинстве случаев оказывается кратковременным: одна реплика сменяет собой другую, изменяя условия и цели коммуникации. В этих условиях смысловая индукция обычно не заходит так далеко, как это может произойти в случае языкового сообщения, рассчитанного на длительное и многократное приложение мыслительных усилий говорящего; ее бесконечный потенциал оказывается едва намеченным. Но стоит данному высказыванию по какой-либо причине сделать-

ся объектом более пристального, длительного и многократно фокусированного внимания, как потенциал смысловой индукции с полной силой заявляет о себе. В этом случае приоткрывается вся бесконечная мощь индуцирующего заряда, таящегося в любом, самом ординарном акте повседневного языкового общения.

Мне хочется закончить словами Толстого из уже цитировавшегося ранее письма к Страхову, в которых он стремился передать процесс работы над “Анной Карениной”:

Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения[216].

Мне представляется, что подобный процесс творческой мыслительной работы — с разной степенью напряжения и разными масштабами получаемых результатов — совершает каждый говорящий, в каждый момент, когда он пытается что-то высказать, либо понять (то есть воссоздать) смысл чего-то сказанного другими. Как бы ни разнились между собой результаты этих усилий, их всех объединяет феномен смысловой трансцендентности, свойственный тексту, — феномен, в силу которого “сцепление” (я бы сказал скорее — слияние) отдельных элементов создает качественно новый результат, неизмеримо больший — бесконечно больший, — чем простое сложение этих элементов. И хотя ни сам говорящий, ни его аудитория не в состоянии установить полный контроль над этим растекающимся в бесконечность полем, они способны оценить его как нечто более или менее соответствующее их коммуникативным намерениям и ожиданиям: тому образу движущегося смысла, который присутствует в сознании в каждый момент соприкосновения с языком, но который “выразить непосредственно словами никак нельзя” — по крайней мере, нельзя сделать это окончательно, раз и навсегда.

---

[1] Такой подход к языку вытекает из длительной лингво-философской традиции, о которой речь пойдет ниже. Назову сейчас лишь одну работу, в которой этот подход получил афористически отчетливое выражение; я имею в виду *Философские исследования* Л. Витгенштейна, и в частности, один из центральных тезисов этой работы, согласно которому употребление языка должно рассматриваться как «разновидность деятельности Tätigkeit) или способ существования (Lebensform)». (Ludwig Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen — Philosophical Investigations,* Oxford, 1953, 1:23).

[2] Проницательная критика укорененности лингвистики XX века в рационализме минувших столетий содержится в работах Ю. Кристевой. Согласно Кристевой, авангардная поза структурального лингвиста маскирует «мужчину семнадцатого века», чья мысль полностью подчинена глубоко устарелой иерархической и рационалистической идеологии:«Лингвистика все еще купается в лучах систематизирующего мышления, которое преобладало во времена ее зарождения... Ее этические основания принадлежат прошлому — современные лингвисты звучат в своих работах как мужчины семнадцатого столетия... поборники угнетения и защитники разумности социального договора». («L'etique de la linguistique». — Julia Kristeva, *Polylogue,* Paris: Seuil, 1977, стр. 357).

[3] Впрочем, говорить о «неизвестности» того, каким образом знание языка укладывается в сознании говорящих, — значит недооценивать тот материалистический буквализм, с которым наука, от классической работы Якобсона об афазии *(Kindersprache, Aphasie und allgemeine Laulgesetze* [1941]. — Roman Jakobson, *Selected Writings,* 1, *Phonological*

Studies, 's-Gravenhage: Mouton, 1962) до трудов Чомского (Noam Chomsky, *Language and Mind,* New York: Harcourt, Brace & World, 1968), стремится отыскать объективные психологические и нейрофизиологические параметры, которые бы в точности соответствовали категориям предлагаемой лингвистической теории. Крайним проявлением этой тенденции является стремление локализовать феномен языка в определенном участке мозга — например (говоря только о новейших проявлениях этой традиции), определить, как распределяются различные аспекты владения языком между правым и левым полушарием: См. Roman Jakobson, *Brain and Language: Cerebral Hemispheres and Linguistic Structure in Mutual Light,* Columbus, OH: Slavica Publ., 1980; В. В. Иванов, *Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем,* М., 1978, а также выпуск 16 *Трудов по знаковым системам* (Тарту, 1983), посвященный этой проблеме. Я вовсе не хочу судить о нейрофизиологических аспектах теории разнофункциональности двух полушарий, хотя бы уже потому, что этот предмет лежит вне моей компетенции. Но с чисто филологической точки зрения позитивистский подход к языку как к работающей машине, у которой, как у всякой машины, должно быть свое определенное «рабочее место», не кажется мне продуктивным.

[3] «О природе слова». — Осип Мандельштам, *Собрание сочинений,* под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, Нью-Йорк, 1966, стр. 243.

[4] Соссюр, по-видимому, не знал Маркса — во всяком случае, марксистская модель релятивных ценностей, определяющих собой все конкретные акты социального и экономического «обмена», не оставила в *Курсе общей лингвистики* каких-либо заметных следов. Однако впоследствии, в 1960-е гг., соположение понятий структурной и рыночной «ценности» становится общим местом западноевропейской семиотики. См. в особенности Umberto Eco, *ATeory of Semiotics*, Bloomington&London: Indiana University Press, 1979 (ч. 3: «A Theory of Sign Production»), а также ранние труды французских семиологов и публицистов (в их числе Кристевой и Барта), группировавшихся вокруг журнала *Tel quel.* Соответственно, постмодернистическая критика универсализируюших концепций первой половины века часто объединяет марксизм, фрейдизм и семиотику в одну парадигму, в качестве проявлений «теоретического терроризма» (Лиотар) или «тоталитаризма» (Gary Saul Morson, *Narrative and Freedom: The Shadows of Time,* New Haven & London: Yale University Press, 1994).

[5] Пожалуй, никто не выразил идею принципиального отличия душевной жизни от объектного мира с такой силой и последовательностью, как А. Бергсон, а в русской философской традиции — С. Л. Франк: «Душевная жизнь, не будучи определенным множеством, не есть и определенное единство..., она есть некоторая экстенсивная сплошность, которой так же недостает интегрированности, как и дифференцированности, замкнутости и подчиненности подлинно единому центру, как и отчетливого расслоения на отдельные части». (С.Л. Франк, *Душа человека. Опыт введения в философскую психологию,* 2 изд., Paris: YMCA Press, 1964, стр. 135).

[6] Кристевой принадлежит заслуга перенесения идеи «чужого слова» Бахтина в сферу повседневного употребления языка — по крайней мере в теории, если не в практике интертекстуального анализа. Согласно Кристевой, всякий языковой текст «создается в виде цитатной мозаики». («Word, Dialogue, and Novel». — Julia Kristeva, *Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art,* New York: Columbia University Press, 1980, стр. 66)

[7] Едвали возможно сформулировать эту проблему лучше, чем это сделал Бахтин: «... индивидуальный речевой опыт всякого человека формируется и развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями. Этот опыт в известной мере может быть охарактеризован как процесс освоения — более или менее творческого — чужих слов (а не слов языка). Наша речь, то есть все наши высказывания..., полна чужих слов, разной степени чужести или разной степени освоенности, разной степени осознанности и выделенности». («Проблема речевых жанров». — М. М. Бахтин, *Литературно-критические статьи,* М., 1986, стр. 460).

[8] Представление о контакте с «другим» как единственно возможном способе существования и самовыражения личности получило особенно сильное развитие во французской психологии (Ж. Лакан) и семиотике (где влияние Лакана часто скрещивается с концепцией «диалогизма» Бахтина). Приведу в качестве примера картину межличностного обмена, нарисованную Лиотаром: «Личность не есть остров; каждый существует в ткани взаимоотношений... Личность располагается в точке, через которую проходят всевозможные виды сообщений». (Jean-Francois Lyotard, *La condition postmoderne. Rapport sur le savoir,* Paris: Minuit, 1979, стр. 31).

[9] Лиотар называет такой подход, признающий только частные закономерности, которые не складываются ни в какое гомогенное целое, «локальным детерминизмом». *(Op. cit.,* стр. 8).

[10] Последовательное противопоставление множественного языкового «обмена» традиционно-лингвистической идее «кода» проводится в кн.: Manfred Frank, *das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur deutsch-franzusischen Hermeneutik und Texttheorie* (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989), представляющей собой свод идей немецкого и французского постструктурализма. Франк вводит понятие «разговора» (Gesprach) в качестве противовеса соссюровскому понятию «языка» или «кода» (стр. 38).

[11] Представление об индивидуальном характере всякого владения языком, о неповторимости языкового мира каждой личности получило значительное развитие в конце XIX — начале XX века; особенно настойчиво подчеркивали эту идею Бодуэн де Куртенэ и К. Фосслер. В течение этого столетия, однако, решительно возобладал подход к языку как объективному и надличностному феномену. Парадоксальным образом, структуральная лингвистика увидела именно в Бодуэне своего ближайшего предшественника, с легкостью игнорируя или отметая как нечто «устарелое» личностную психологическую основу его концепции языка. Столь же парадоксальным кажется мне представление о Ч. Пирсе как предтече структуральной семиотики, поскольку для Пирса было как раз характерно стремление во что бы то ни стало сохранить неразрывную связь между субъектом, сообщением как объективированным социокультурньм продуктом и средой. См. противопоставление «семиотики» Пирса структуральной «семиологии» в кн.: Floyd Merrell, *Sign, Textualily, World,* Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1992.

[12] *Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772).*— Johann Gottfried Harder, *Samtliche Werke,* Bd. 5, Hildesheim: Georg Olms, 1967, см. в особенности стр. 37—38.

[13] «Не со дня на день передается опыт, но с минуты на минуту: от каждой мысли к каждой последующей...; никогда не бывает "целого" человека: он всегда в развитии, продвижении, совершенствовании. Каждое новое достижение возникает из предыдущего — строится на предыдущем — вырастает из предыдущего». (*Ibid* стр. 98).

[14] Позволю себе привести одно высказывание Гердера вполне «в духе Бахтина» (или Барта): «Мне не могла бы прийти в голову "первая" мысль, или "первое" суждение, если бы моя душа не стремилась ее диалогизировать; так что "первая" мысль человека по самой своей сути уже подготовлена к тому, чтобы быть способной вступить в диалог с другими людьми». (*Ibid* стр. 47).

[15] «Язык, если взглянуть на него с точки зрения его собственной природы, есть нечто постоянно и в каждый момент преходящее.... Он есть не изделие (ergon), но деятельность (energeia),... Следует посмотреть на язык не как на мертвый продукт, но как на созидание». (Wilhelm von Humboldt, *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts* [1836], Darmstadt: Claassen & Roether, 1949, стр. 418 & 416). С еще большей остротой эту центральную мысль Гумбольдта сформулировал впоследствии Штейнталь: «Нет такого феномена, как «язык», так же как нет такого феномена, как «дух»; но человек говорит, и человек осуществляет духовную деятельность». (Hermann Steinthal, *Der Ursprung der Sprache in Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens,* Berlin, 1877, стр. 61).

[16] Наиболее интересным продолжением гумбольдтианского подхода к языку во второй половине прошлого века явились рассуждения Потебни о соотношении слова и образа: *Мысль и язык* (1-е изд. 1862) и *Из лекции по теории словесности* (*1-е* изд. 1905).

[17] Пожалуй, самым поразительным примером избирательной рецепции идей Гумбольдта можно признать книгу Noam Chomsky, *Carthesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought,* New York: Harper & Row, 1968. С удивительной историко-культурной произвольностью Чомский объединяет в ней неоклассический и романтический век, рассматривая универсальную грамматику Пор-Руайяль и Гумбольдта как единомышленников и своих собственных предшественников.

[18] «Все звуковые изменения, постольку, поскольку они совершаются механически, подлежат действию законов, не знающих исключений». (Hermann Osthof& Karl Brugmann, *Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen,* Leipzig, 1878, ч. I, стр. XIII).

[19] Волошинов видит причину склонности лингвистики вообще, и современной теории (Соссюра) в особенности, к «абстрактному объективизму» в том, что лингвистика как дисциплина выросла из практики составления грамматик «мертвых языков». (В. Н. Волошинов, *Марксизм и философия языка. Основы социального метода в науке о языке, Л.,* 1927; ч. II, гл. 1: «Два направления философско-лингвистической мысли»). В современной критике структурализма эту идею развивает Кристева, объявляющая господствующий подход к языку, в свойственной ей стилистической манере, не чем иным, как собранием идей «архивистов, археологов и некрофилов». (Julia Kristeva, *La revolution du langage poeti-que,* Paris: Seuil, 1974, введение: «Пролегомены»).

[20] Friedrichvon Schlegel, *Über die Sprache und die Weisheit der Indier. Ein Betrag zur Begründung der Altertumskunde* [1808], Amsterdam: Benjamin, 1977.

[21] В мою задачу, разумеется, не входит дать сколько-нибудь последовательный обзор философской революции 1890—1920-х гг. Для меня лично особенно важное значение имела критика позитивизма (с разных позиций) в следующих работах: Henri Bergson, L'evolution creatrice, Paris, 1907; Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus,* London, 1922; Ernst Cassirer, *Philosophie der symbolischen Formen,* 1, *Die Sprache,* Berlin, 1923.

[22] Одним из ярких воплощений такого умонастроения являются рассуждения Флоренского о природе словесного и художественного символа, в которых звучит страстное стремление связать воедино мир «видимого» и «невидимого», Окном, позволяющим выйти в трансцендентный мир, для Флоренского является иконостас, в качестве зримого воплощения трансцендентного и бесконечного, и вообще всякий воплощенный символ, в его отношении к воплощаемому в нем значению. («Иконостас». — П. А. Флоренский, *Собрание сочинений,* под ред. И. А. Струве, т. 1, Paris: YMCA-Press, 1985; см. в особ. стр. 205 и 218—222). Столь же радикальным стремлением превратить «невидимое» в «видимое» пронизана теория подсознательного. Эта черта Фрейда попала в фокус критики Волошинова, отметившего, что фрейдизм стремится описать «подсознательное» на тех же основаниях, на которых описывается «сознательное», то есть превратить его в объективированный феномен: (В. Н. Волошинов, *Фрейдизм. Критический очерк,* М., 1927).

[23] Здесь снова можно вспомнить Флоренского, с его стремлением «подсмотреть» — во сне, через посредство иконы, средневековой или модернистической живописи — трансцендентный мир. Категории и законы этого мира оказываются прямой противоположностью эмпирических категорий и законов: время движется в обратном направлении, пространство развертывается по законам неэвклидовой геометрии — но это все то же время и все то же пространство, только с отрицательным знаком, или, по словам Флоренского, «вывернутое через себя». («Иконостас» .... стр. 201).

[24] Термины Соссюра: linguistique exteme vs. linguistique inteme. (Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique generale,* Paris: Payot, 1985, стр. 40—43: гл. V «Введения»).

[25] «Логический эмпиризм», или («позитивизм») 1920—30-х гг. (Карнап) объявил настоящую войну «естественному языку», с его смысловой непоследовательностью и множественностью, делающими невозможным недвусмысленно отличить «истинное» высказывание от «ложного», «осмысленное» от «бессмысленного». Философия языка Венского кружка ставила целью выработать такой искусственно построенный понятийный язык, семантические правила которого были бы свободны от этих недостатков — по словам Каркала, такой язык, на котором оказалось бы невозможным какое бы то ни было «метафизическое» высказывание. (Rudolph Carnap, «The Elimination of Metaphysics through the Logical Analysis of Language». — *Logical Positivism,* ed. Alfred J. Ayer, New York: Free Press, 1966).

[26] *«...* l'idee fondamentale de ce course: la linguistique a pour unique et veritable objet la langue envisagee en elle-meme et pour elle-meme». (F. de Saussure, *Cours de linguistique generate...,* стр. 317). Ср. также определение Виттгенштейна в работе, опубликованной позднее, но написанной в 1932—33 гг.: «Die Sprache muS fur sich selber sprechen.»(LudwigWittgenstein, *Philosophische Grammatik,* Oxford, 1969, стр. 63).

[27] Последовательная критика абстрактности кантианского субъекта, чья познающая деятельность полностью отделена от его жизненного опыта, составляет одну из центральных тем русской философии: В. С. Соловьев, «Кризис западной философии. Против позитивистов». — *Собрание сочинений В. С. Соловьева,* т. 1, СПб., 1911; С. Н. Булгаков, *Философия хозяйства,* М., 1912.

[28] Это умонастроение с большой силой выражено в ранних работах Шкловского: «Воскрешение слова» и «Искусство как прием» Соответственно, это положение Формального метода заняло одно из центральных мест в критике его у Медведева, который, вслед за Бахтиным, мыслит литературу как континуальный процесс, в котором не существует разделения и противопоставления «нового» и «старого» Медведев иронизирует по поводу идеи о периодическом «освежении» литературных приемов, при котором отработанные до «автоматизма» приемы, по его выражению, «уходят вниз гулять под паром». (П. Н. Медведев, *Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику,* М., 1928, стр. 221).

[29] Как я уже упоминал, Бергсон поставил в основание своей философии принципиальное различие между материальным и духовным миром. Первый существует по законам «геометрии»: он состоит из дискретных и устойчивых компонентов; второй существует как «длительность» — непрерывное развертывание, не знающее устойчивых состояний и элементов, каждое мгновение которого потенциально заключает в себе весь процесс.

(Henri Bergson, L'evolution creatrice, Paris, 1907, гл. 1). Критика Бергсона предвосхитила настойчивое стремление представить язык в терминах геометрии (если не Эвклида, то Лобачевского), ставшее доминантным мотивом философии языка в первой половине XX в. — от Флоренского, Хлебникова, Карнапа и раннего Виттгенштейнадо Сталина.

[30] Мне хочется сказать здесь несколько слов о Фосслере, поскольку о нем ныне редко вспоминают, а между тем его по праву следует назвать первым в ряду филологов этого столетия, стремившихся к созданию теории языка, способной выявить его динамический и личностно-творческий характер. Свой подход к языку, который он называл «идеалистическим», Фосслер противопоставлял «позитивизму» не только младограмматиков, но и Соссюра. (Kari Vossler, *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft,* Heidelberg, 1904). Аргументы Фосслера широко используются в критике «абстрактного объективизма» структурной модели языка у Волошинова. Согласно Фосслеру, то, что «позитивистская»-лингвистика оценивает в качестве объективно данных форм языка и их исторического развития, представляет собой результаты непрерывных индивидуальных творческих усилий, направляемых разными идеологическими, интеллектуальными и эмоциональными стремлениями. *(Sprache als Schöpfung und Entwicklung,* Heidelberg, 1905).

[31] Неразрывная связь языка с идеологией, и шире, с духовной деятельностью, и в связи с этим множественность процессов языкового творчества, не помещающаяся в рамки фиксированных правил, — таковы были посылки, из которых исходил Н. Я. Марр в своей критике «буржуазного» позитивизма в языкознании. В подходе Марра можно обнаружить немало общего с идеями Фосслера, с одной стороны, Бахтина и его школы (в их критике соссюровской лингвистики и Формального метода в литературной теории), с другой. Разумеется, следует отличать значение, которое идеи Марра имели в контексте 1910—1920-х годов, от того осмысления, которое «марризм» получил в позднейшую эпоху как среди его адептов, так и разоблачителей.

[32] В. С. Соловьев, *Кризис западной философии....*

[33] Я уже упоминал в этой связи о судьбе Бодуэна де Куртэне, в котором последующая традиция увидела прямого предшественника Соссюра, игнорируя принципиальное отличие его философской позиции. (См., например, статью Якобсона «The Kazan School of Polish Linguistics and Its Place in the International Development of Phonology». — Roman Jakobson. *Selected Writings,* 2, *Wordand Language,* The Hague & Paris: Mouton, 1971).

[34] Лиотар называет «метанарративными» теории, которые «легитимизируют себя путем апелляции к тому или иному грандиозному метадискурсу, такому как диалектика Духа, герменевтика, освобождение мыслящего или трудящегося субъекта, накопление богатства». Соответственно, постмодернистическая мысль характеризуется «неверием в метанарративное»; анализ дискурса потерял «свою функцию, своего грандиозного героя, свои громадные опасности, захватывающие приключения, великую цель». (Lyotard, *op. cit.,* стр. 7-8).

[35] В качестве важнейших достижении на этом пути можно указать на идею «бриколажа» у Леви-Стросса (Claude Levi-Strauss, *La pensee sauvage,* Paris: Librairie Plon, 1962, Гл. 1) и концепцию «динамической модели» культуры и художественного текста в работах Ю. М.Лотмана 1970—1980-х гг. (назову лишь последнюю в этом ряду— *Культура и взрыв,* М.: Гнозис,1992).

[36] Roland Barthes, *S/Z,* Paris: Seuil, 1970. стр. 21-22.

[37] «Текст множественен. Это не значит просто, что он обладает несколькими смыслами, но что он сам есть воплощенная множественность смысла: неотвратимая (а не просто допустимая) множественность. Текст — это не сосуществование значений, но переход, пересечение; поэтому он нуждается не в интерпретации, сколь бы то ни было свободной, но в взрываний, в рассеивании». («De 1'oeuvre au texte» — Roland Barthes, *Le bruissement de la langue,* Paris: Seuil, 1984, стр. 72).

[38] Говоря о постструктуральной «революции» в области философии языка и литературной теории, нельзя не упомянуть о той исключительной роли, которую сыграли в этом процессе идеи Бахтина. Такие понятия, как «чужое слово», «диалогизм», «карнавализация», «гетероглоссия», ныне принадлежат к ядерному словарю западного постструктурализма. Надо сказать, что именно на Западе, в большей мере чем в России, Бахтин был воспринят преимущественно в контексте постструктуральных идей: как мыслитель, показавший несостоятельность лингвистического структурализма и формального литературоведения и открывший дорогу «деконструкции» художественных и культурных текстов. См. в особенности сборник статей, подводящий итог рецепции идей Бахтина в контексте новой эпохи в истории мысли: Gary Saul Morson & Caryl Emerson, eds.. *Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges,* Evanston, IL: Northwestern University Press, 1989, а также книгу

этих авторов: *Mikhail Bakhtin: Creation of a* /'ro.sa/c.t, Stanford: Stanford University Press, 1990.

[39] Julia Kristeva, *Semiotik. Recherches pour une semanalyse,* Paris: Seuil, 1969. (О влиянии идей Бахтина подробно говорится в главе «Слово, диалог и роман»).

[40] По словам Кристевой, ее интертекстуальный «семанализ» был призван «описывать значащий феномен, или значащие феномены, в то же время анализируя, критикуя и подрывая сами понятия "феномен", "значение" и "значащий"». (Julia Kristeva, *Desire in Language* .... стр. vii). Один из новейших адептов теории афористически выразил этот принцип следующим образом: «Il n'est de texte qui d'intertexte». (Charles Grivel, «Theses preparatoires surles intertextes». — *Dialogiytat,* hrsg. Renate Lachmann, Munchen: Wilhelm Fink, 1982, стр.240).

[41] Jacques Derrida, *De la grammatologie,* Paris: Minuit, 1967, ч. 1 («L'ecriture avant la lettre»), стр.16.]

[42] Аналогично, Барт объявляет глагол «писать» непереходным, в том смысле, что суть письма не в создании дискретных сообщении, но в непрерывности процесса «переписывания». («Ecriture, verbe intransitif?» — Roland Barthes, *Le bruissement...,* стр. 21—31).

[43] «... литература (лучше бы назвать ее письмом), отказываясь видеть в тексте (или слове) какой-либо «секрет», то есть окончательный смысл, тем самым освобождает поле для деятельности, которую можно назвать анти-телеологической или в собственном смысле революционной: ведь отказ удерживать смысл на месте означает отказ от Бога и его ипостасей — разума, науки и закона». («La mort d'auteur». — Roland Barthes, *Le bruissement...,* стр. 67).

[44] «De la science a la litterature». — *Le bruissement...,* стр. 20.

[45] См. более подробно: Б. М. Гаспаров, «В поисках "другого" (французская и восточноевропейская семиотика нарубеже 1970-хгодов)», *Новое литературное обозрение,№* 15,1995.

[46] «Говорить — значит сражаться, в игровом смысле; речевой акт подлежит ведению всеобщей антагонистики». (Lyotard, *op. cit.,* стр. 23).

[47] «Действие деконструкции состоит в том, чтобы дерегулировать процесс упорядоченного распределения знания и праздновать всякое ложное прочтение». (Vincent B. Leitch, *Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction,* New York: Columbia University Press, 1983, стр.122).

[48] Ж. Лакан, в статье с вызывающим названием «Excommunication», заявил, что не считает себя «исследователем», поскольку он не вырабатывает концепцию, а просто реагирует на поступающие извне многообразные стимулы. *(Le seminaire de Jacques Lacan,* 11, Paris: Seuil, 1973, стр. 12). В том же ключе выдержан призыв Барта — «от науки к литературе»: прямое отрицание идеи о том, что «литературоведение должно стать наукой» (ср. статью Ю. М. Лотмана под этим заглавием: *Вопросы литературы,* 1967, № 1).

[49] «Roland Barthes and the Limits of Structuralism». — Paul de Man, *Romanticism and Contemporary Criticism,* Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1993,стр. 166—167.

[50] Roland Barthes, *Critique et verite,* Paris: Seuil, 1966, стр. 54; Julia Kristeva, *La revolution du langage poetique* ..., ч. I («Semiotique et symbolique»).

[51] См. в особенности центральные работы 1930-х гг.: «Слово в романе» и «Эпос и роман». В более позднем исследовании «Проблема речевых жанров» в сферу «гетероглоссии» включаются и речевые жанры повседневного языка.

[52] *Мышление и речь.* —Л. С. Выготский, *Избранные психологические исследования,* М., 1956, стр.169.

[53] Противопоставление «разговорной речи» и «кодифицированного языка» занимает центральное место в работах Е. А. Земской и ее соавторов. См. основополагающую книгу этого направления: *Русская разговорная речь,* М., 1973, а также более поздние работы: *Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест,* М., 1983; Е. А. Земская, *Словообразование как деятельность,* М., 1992. По такому же принципу строилось мое собственное исследование семантики «устной речи»: «Устная речь как семиотический объект» *(Лингвистическая семиотика и семантика,* 1, Тарту, 1978). Любопытную параллель к такому подходу заключают в себе рассуждения Барта о возможности построения в будущем Двух различных по своему предмету и методу лингвистик — «лингвистики синтагм», имеющей дело с устной речью, и конвенциональной «лингвистики предложений». («Langage et style». — Roland Barthes, *Le bruissement...).*

[54] Frances A. Yates, *The Art of Memory,* Chicago: The University of Chicago Press, 1966; Mary J. Carruthers, *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture,* Cambridge:

Cambridge University Press. 1994; *Memoria — vergessen undermnern,* hrsg. Anselm Haverkamp & Renate Lachmann, Munchen: Wilhelm Fink, 1993.

[55] Понятие «tacit knowledge», введенное Виттгенштенном в «Философских исследованиях», призвано было обозначить то совершенное, но неспособное осознать себя умение употреблять язык, которым обладает каждый говорящий, — неспособное именно в силу того, что это умение основывается на конкретных действиях и образцах, а не логических обобщениях и категориях. Это понятие послужило затем философским краеугольным камнем генеративной грамматики. Однако в отличие от Виттгенштейна, для которого «молчаливое знание» языка и его экспликация, к которой стремится лингвист или логик, лежат принципиально в различных плоскостях, в интерпретации Чомского «молчаливое» умение, с которым говорящие «порождают» высказывания известного им языка, мыслятся в качестве идеальной, абсолютно совершенной языковой модели, максимально возможное приближение к которой и составляет задачу лингвистики. (Noam Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax,* Cambridge, Mass.: The M I.T. Press, 1965,1:1).

[56] Представление о полной независимости «синхронного» характера шахматной позиции от ее «истории», релятивной «ценности» шахматных фигур — от конкретных условий, в которых протекает игра, легло, как известно, в основу знаменитого соссюровского сравнения языка с шахматами, отпечатавшегося в наших понятиях о сущности языка и семиотического кода с чисто эмблематической неотвратимостью Не приходится сомневаться, что среди лингвистов и семиологов, с такой готовностью пользовавшихся этой метафорой на протяжении десятилетий, попадались и более слабые, и более сильные шахматисты; но почему-то все мы (в том числе и автор этих строк), независимо от своего действительного понимания игры и реального опыта в этом деле, готовы были принимать, в качестве концептуальной позиции, точку зрения игрока, которому только что объяснили, как и с какой целью следует передвигать фигуры по доске, и усадили играть его первую шахматную партию.

[57] Б. Мандельброт (один из создателей математической теории «хаоса») указывает на парадоксальность соотношения между реально встречаемыми в природе формами, с которыми человек постоянно имеет дело в своем повседневном опыте, и их отображениями в геометрических фигурах: самое естественное и обычное с точки зрения непосредственного опыта оказывается самым сложным и бесконечно эзотерическим с точки зрения представлений, господствующих в традиционной геометрии; и напротив, искусственные формы, представляющие собой редкостное исключение в повседневно наблюдаемой действительности, оказываются основанием, на котором покоится и из которого выводится всякое математическое отображение пространства. (Benoit Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature,* New York: Freeman, 1983; см. также о теории хаоса: И. Пригожин, И.Стенгерс. *Порядок из хаоса,* М., 1986; *Chaos: The New Science,* ed. John Holte, St. Peter, Minnesota: Gustavus Adolphus College, 1993).

[58] *Мышление и речь.* — Л. С. Выготский, *Избранные психологические исследования,* М., 1956 стр. 177-179.

[59] А. А. Леонтьев, *Язык, речь, речевая деятельность,* М., 1969, стр. 10.

[60] Ю. Н. Караулов, *Ассоциативная грамматика русского языка,* М.: «Русский язык», 1993. См. также обобщающий сборник работ этого направления с симптоматичным заглавием; *Знание языка и языкознание (М.:* Наука, 1991).

[61] А. А. Залевская, *Слово в лексиконе человека. Психолингвистическое исследование,* Воронеж: изд. Воронежского университета, 1990. В предисловии к этому изданию М. М. Копыленко отмечает «переориентацию с формальных моделей описания языка на изучение и моделирование реальных процессов производства и понимания речи» в качестве характерной приметы науки о языке в последнее десятилетие (стр. 3).

[62] Один из представителей этого направления, Дж. Лемке, четко формулирует различие между тем, что он называет «перспективой производства» и «перспективой анализа» текстов, отмечая при этом, что картина языковой «системы», предстающая в словарях и грамматиках, обычно исходит из аналитической перспективы. (Jay L. Lemke, «Text Production and Dynamic Text Semantics». — *Functional and Systemic Linguistics: Approaches and Uses,* ed. EijaVentola, Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1991, стр. 26)

[63] Можно вспомнить в этой связи вывод, к которому пришел Ю. М. Лотман в своих семиотических исследованиях, о том, что «правильно» построенная и по этим правилам работающая система оказалась бы лишенной творческого аспекта — способности производить нечто действительно «новое», то есть не выводимое из исходных правил. (Статьи «Динамическая модель культуры» и «Феномен культуры». — *Труды по знаковым системам,* вып. 10, Тарту, 1978).

[64] В кн.: А. А. Зализняк, *Русское именное словоизменение,* М , 1967, были введены общие принципы и параметры единой классификации именных парадигм; эти принципы получили полную и систематическую реализацию в работе: А А. Зализняк, *Грамматический словарь русского языка (3-е* изд., М., 1987).

[65] См. статистические данные, показывающие динамику употребления этих вариантов в современной речи, в кн.: *Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка,* под ред М В. Панова, М., 1968, стр. 177—199

[66] Условия сосуществования и взаимодействия многих такого рода «микрограмматических» вариантов исследуются в диссертации Ellen Rosenbaum (University of California, Berkeley).

[67] Ю. Н. Караулов хорошо сформулировал это различие применительно к способности говорящих держать в памяти словарный запас в виде подвижной ассоциативной сети. По мнению Караулова, недостатком общераспространенной модели языковых ассоциаций является ее «одномоментность и вневременность ... — сама собой разумеющаяся, однако никогда не формулируемая, имплицитная презумпция ее изучения во всех семантических штудиях, во всех классификациях словесных реакций, во всех анализах взаимодействия лексических и грамматических структур в ассоциативных полях». *(Ассоциативная грамматика*.... стр. 178).

[68] Noam Chomsky, *Language and Mind,* New York: Harcourt, Brace & World, 1968 (см. в особенности полемику по этому вопросу с Путнамом в гл. 3: «The Future»).

[69] Выготскому принадлежит острая критика представлений о развитии ребенка, господствовавших в психологии от Руссо до Пиаже, согласно которым ребенок постоянно сталкивается с несоответствием выработанных им понятий с миром взрослых. Выготский настаивает на том, что с точки зрения ребенка (а не наблюдающего его взрослого) этот процесс имеет позитивный, творческий, а не нормативно-корректирующий характер, хотя ход его может не соответствовать тому, как процесс формирования понятий представляется сознанию взрослого человека: «Действительно ли только из неудач и поражений возникает высшая ступень в развитии понятий, связанная с их осознанием? Действительно ли непрерывное стуканье лбом о стенку и шишки являются единственными учителями ребенка на этом пути? Действительно ли источником высших форм обобщения, именуемых понятиями, является неприспособленность и несостоятельность автоматически выполняемых актов спонтанной мысли? Стоит только сформулировать эти вопросы, для того чтобы увидеть, что другого ответа, кроме отрицательного, они не могут иметь». *(Мышление и речь. — Л.* С. Выготский, *Избранные психологические исследования,* М., 1956,стр.238).

[70] Roman Jakobson, Gunnar M. Pant, Morris Halle, *Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features and Their Correlates,* Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press, 1953.

[71] Понятие коммутации применительно к формальному анализу языка было введено Л. Ельмслевым. Согласно Ельмслеву, «коммутация» представляет собой такое изменение одного плана языкового знака, которому соответствует изменение другого его плана: иначе говоря, такое изменение формы, которое ведет к изменению значения, либо, напротив, такое изменение значения, которое вызывает изменение формы. Коммутация противополагается «субституции» — такой перемене в одном из планов знака, которое не отражается на другом его плане. Коммутация позволяет выявить признаки, релевантные с точки зрения языковой «формы», то есть чисто структурных отношений, тогда как субституция представляет собой внесистемную вариацию, относящуюся к языковой «субстанции». (Louis Hjelmslev, *Prolegomena to a Theory a Language,* Baltimore: Waverly, 1953).

[72] Jakobson, Fant, Halle, *op. cit.,* стр. 2.

[73] *Ibid.,стр.* 1.

[74] Якобсон проявляет удивительную изобретательность в изыскании и конструировании примеров, призванных показать тотальное присутствие фонематических корреляции в речи. Так, в работе более позднего времени приведены две длинные, сложно построенные английские фразы, все существительные в составе которых образуют между собой соотносительные пары, различающиеся начальным согласным: *It shows the strange zeal of the mad sailor with neither mobility nor passion. — It showed the strange deal of the bad tailor with neither nobility nor fashion.* (Roman Jakobson, Linda R. Waugh, *The Sound Shape of Language,* Brighton: Harvester Press, 1979, стр. 4 [глава «Sense discrimination»]).

[75] Гл. «Долгие дни».

[76] «Безразлично, идет ли речь о французском или скандинавском ребенке, английском или славянском, индейском или немецком, об эстонце, голландце или японце, любое заслуживающее внимания описание их речи приводит нас вновь и вновь к тому примеча-

тельному факту, что относительная последовательность во времени для определенного ряда приобретаемых звуковых навыков всегда и повсеместно остается одной и той же». *(Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetu.* — Roman Jakobson, *Selected Writings,* 1, *Phonological Studies,* 's-Gravenhage: Mouton, 1962, стр. 356).

[77] *Собрание произведений Велчмчра Хлебникова,* под ред. Н. Степанова, т. III, Л., 1930, стр.27.

[78] Roman Jakobson, E. Colin Cherry, Morris Halle, «Toward the Logical Description of Languages in Their Phonemic Aspect».— Roman Jakobson, *Selected Writings,* 1..., стр. 451.

[79] Бенгт Янгфельдт, *Якобсон-будетлянин. Сборник материалов,* Stockholm: Almquist & Wiksell International, 1992.

[80] Сошлюсь на классические работы, в которых значения личных местоимении представлены в виде стройной системы: Roman Jakobson «Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb». — *Selected Writings,* 2, *Word and Language,* The Hague & Paris: Mouton, 1971, стр. 130—147; Emile Benveniste, «La nature despronoms». — Ё. Benveniste, *Problemes de linguistique generale,* 1, Paris: Gallimard, 1966, стр. 251—257. Впрочем, сами эти работы можно считать производными от того подхода, получившего полное развитие в 1930-е годы, в силу которого любую грамматическую категорию оказывалось возможным представить в виде системы бинарных (или, реже, тернарных) противопоставлений. Основополагающими для этого направления явились описания категории падежа и структуры глагольной парадигмы в работах Якобсона («Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen des russischen Kasus»[1936];«Zur Struktur des russischen Verbums»[1932].— *Selecterd Writings*,2 ..., стр. 23—71 и 3—15), а также универсальная система предложно-падежных значений, построенная Ельмслевом (Louis Hjelroslev, *La categoric des cos. Etude de grammaire generate,* 1—2,Aarhus: Universitets-forlaget, 1935—1937).

[81] Надо сказать, что, хотя я читал, слышал, да и сам приводил этот пример бессчетное число раз, мне не удалось найти его в какой-либо опубликованной работе Щербы. Зато ему посвящена целая глава в популярной книге Л. Успенского *Слово о словах* (М., 1957, стр. 314—318: гл. «Глокая куздра»), где рассказывается про то, как Щерба разбирал этот пример на лекции по введению в языковедение в Ленинградском университете. Подозреваю, что именно книга Успенского послужила основным источником этой лингвистической легенды — источником, быть может, апокрифическим. Но как бы там ни было, «глокая куздра» сделалась излюбленной иллюстрацией тезиса о независимости грамматического строя от конкретного предметного содержания сообщения.

[82] В целом ряде культурно-исторических исследований нового времени была показана огромная роль, которая отводилась памяти в средневековом интеллектуальном и языковом самосознании. Характерен общий вывод, к которому приходит в связи с этим М. Каррузерс: «Я утверждаю, что средневековая культура была фундаментально мнемонической, в такой же высокой степени, в какой современная западная культура является документальной». (Mary J. Carruthers, *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture,* Cambridge: Cambridge University Press, 1994, стр. 8). И Каррузерс, и другие авторы относят это различие к характеру самой средневековой культуры; как кажется, речь скорее может идти о различии культурного самосознания — того, какие аспекты духовной деятельности, в принципе всегда присутствующие в духовном мире человека, сознаются с большей отчетливостью той или иной культурной эпохой. Я думаю, что мнемонический аспект нашей языковой и интеллектуальной деятельности по-прежнему с нами, только мы хуже его замечаем и не придаем ему такого значения, как средневековая культура.

[83]Выготский нарисовал увлекательную картину того, как формируется значение слова на основе «неоформленного и неупорядоченного множества» получаемых из опыта впечатлений: «Эта выделяемая ребенком куча предметов, объединяемая без достаточного внутреннего основания, без достаточного внутреннего родства и отношения между образующими ее частями, предполагает диффузное, ненаправленное распространение значения слова». (*Мышление и речь. —Л.* С. Выготский, *Избранные психологические исследования,* М., 1956, стр. 165—166). Свои наблюдения, однако, Выготский стремится ограничить сферой «детского сознания», считая, что в духовном мире взрослого человека подобные явления вытесняются более упорядоченным абстрактным мышлением, оставляя в сознании в лучшем случае лишь рудиментарный след.

[84] Лемке называет «проспективной интертекстуальностью» способность языковой памяти актуализировать в сознании «цитатный» материал известных говорящему выражений, в который воплощается последующее развертывание высказывания. В этом случае извлекаемые из конгломерата памяти языковые «интертексты» предшествуют «тексту» коммуникации и определяют его воплощение. По мысли автора, «проспективная интертексту-

альность» отражает динамический подход к тексту, в противоположность конвенциональному понятию «ретроспективной интертекстуальности», в основе которого лежит отношение к тексту как законченному объекту. (Jay L. Lemke, «Text Production and Dynamic Text Semantics» — *Functional and Systemic Linguistics,* ed. Eija Ventola, Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1991, стр. 35).

[85] Можно вновь привести в этой связи слова Выготского, сформулировавшего с афористической отчетливостью проблему соотношения «мысли» и «слова» (правда, опять-таки лишь в применении к языку ребенка): «Речь не служит выражением готовой мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове». *(Избранные психологические исследования* ,..,стр. 332). В целом, однако, справедливо будет сказать, что в трактовке этой проблемы на протяжении большей части XX столетия преобладало воззрение на язык как на форму, в которой находит свое «выражение» мысль говорящего, — мысль, предположительно с самого начала ему известная как объективная данность. Лишь с появлением работ Фуко, Барта и Деррида положение изменилось — правда, скорее в философии и литературной теории, чем в лингвистике. В частности, Деррида предложил развернутую критику теории «речевых актов» (см. John R. Searle, *The Philosophy of Language,* London: Oxford University Press, 1971), в основание которой лег именно такой подход. (См. об этом подробно: Manned Frank, *dos Sagbare und das Unsagbare. Sludien zur deutsch-französischen Hermeneutik und Texttheorie,* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989). Но в языкознании продолжает господствовать представление о языке как форме, в которую закономерно облекается смысл и из которой он может быть так же закономерно (с применением тех же правил в обратном порядке) извлечен, или «дешифрован». В ряду многочисленных вариантов «генеративной грамматики» и «генеративной семантики», строящихся на этой презумпции, особенной последовательностью и отчетливостью в проведении данного принципа отличается модель «смысл—текст» Мельчука (И. А. Мельчук, *Опыт теории порождающих моделей «смысл—текст». Семантика. Синтаксис,* М., 1974).

[86] М. Каррузерс выразительно противопоставляет средневековое представление о творчестве тому, как этот феномен рисуется современному сознанию, сформированному в русле романтической и модернистическои культуры: «Различие состоит в том, что если сейчас о гении говорится, что он обладает творческим воображением, проявляющимся в утонченных рассуждениях и оригинальных идеях, то в более ранние эпохи говорилось, что гений обладает богатой памятью, которая проявляется в утонченных рассуждениях и оригинальных идеях». (Carruthers, *op. cit.,* стр. 4).

[87] «Разговор о Данте».—Осип Мандельштам, *Собрание сочинений,* под ред. Г. П.Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, Нью-Йорк, 1966, стр. 407.

[88] Следует вспомнить в этой связи теорию актуализации Балли (Ш. Балли, *Общая лингвистика и вопросы французского языка,* М., 1957), призванную, по мысли автора, объяснить бесконечную пластичность условий употребления, в которые способна включаться «одна и та же» языковая единица. Согласно Балли, языковая деятельность осуществляется в виде постоянных перенесений языковых единиц из «виртуального» плана, в котором они существуют в виде системы, в «актуальный» план, в котором они действуют в индивидуализированных условиях употребления. Развиваемое здесь понимание языковой деятельности отличается большей радикальностью, поскольку признается, что и в своем «виртуальном» состоянии, то есть в конгломерате языковой памяти говорящих, языковые единицы не существуют в устойчиво системном виде — более того, они вовсе не являются дискретными «единицами». Каждый акт актуализации какой-либо частицы языкового материала вызывает движение в конгломерате памяти, которое делает невозможным возвращение этой частицы в прежнее «виртуальное» состояние.

[89] Коль скоро речь зашла о метафоре языка как природного ландшафта, уместно вспомнить слова Барта, иронически сравнивавшего позицию теоретика языка, стремящегося к постижению единой и окончательной сущности этого предмета, с буддийской техникой созерцания, позволяющей субъекту, путем аскезы и концентрации мысли, прийти к такому состоянию, при котором он оказывается способным увидеть «целый ландшафт в одной горошине». (Roland Barthes, *S/Z,* Paris: Seuil, 1970, стр. 9).

[90] Барт со свойственной ему парадоксальностью подчеркивает позитивную роль «забывания» как механизма, обеспечивающего непрерывное движение и открытость языкового процесса: «Забывание смыслов не есть всего лишь извинительный, но вызывающий сожаление дефект языковой реализации. Он имеет положительную ценность, в качестве способа обеспечить безответственность текста, системный плюрализм:... именно потому, что я забываю, я оказываюсь способным читать». *(Op. cil.,* стр. 18).

[91] Возможен, конечно, и обратный порядок такой иерархической организации, при котором семантико-синтаксическая структура расчленяется на слова и/или морфемы, а те, в свою очередь, на фонемы и/или фонематические дифференциальные признаки. Восходящая стратегия преобладала в целом в структуральной лингвистике 1930—1950-х гг.; ср. последовательное приложение к грамматике категорий, выработанных в фонологии, у лингвистов Пражской школы (Roman Jakobson, «Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre». — *Selected Writings,* 2, The Hague & Paris: Mouton, 1971, стр. 23-71; Vladimir Skalicka, 2мг *ungarischen Grammatik,* v Praze, 1935), а также системы языковых уровней, представленные у Ельмслева (см. в особенности Louis Hjelmslev, Hans Jorgen Uldall, *Outline of Glossematics,* Copenhagen, 1957), Хэрриса (Zeilig S. Hams, «From Phoneme to Morpheme» — *Language,* vol. 31, [1955], No. 2). Бенвениста («Les niveauxde 1'analyse linguistique» — Emile Benveniste, *Problemes de linguistique generate,* 1, Paris: Gallimard, 1960, стр. 119—131). С другой стороны, нисходящая стратегия оказалась характерной для генеративной грамматики и генеративной семантики 1960—1980-х гг., во всех ее многочисленных вариантах, а также для ряда негенеративных моделей языка этого времени: "кенемики" Пайка(Kenneth Lee Pike, *Language in Relation to an Unified Theory of the Structure of Human Behavior,* vol. 1, Glendale, CA: Summer Institute of Linguistics, 1954), стратификационной грамматики (Sydney M. Lamb, *Outline of Stratificational Grammar,* Washington, DC: Georgetown University Press, 1966), теории функциональной перспективы высказывания в работах новой Пражской школы (Jan Firbas, *Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication,* Cambridge: Cambridge University Press, 1992), а также лингвистики текста. Имелись также попытки примирить и объединить эти две противоположные стратегии, в качестве двух взаимно-дополнительных перспектив — «анализа» и «синтеза», отражающих точку зрения «адресата» и «говорящего». (R. Jakobson, «Two Aspects of Language». — Roman Jakobson, Moms Halle, *Fundamentals of Laguage,* The Hague: Mouton, 1956). Однако инверсия перспективы лишь подчеркивает единство самого принципа иерархии и структурного единства всех субмеханизмов, из которых складывается работа языковой «системы систем».

[92] Одним из фундаментальных приемов средневековой мнемотехники было расчленение подлежащего запоминанию материала на отрезки ограниченной длины, которые могли быть схвачены памятью непосредственно и целиком (Mary J. Carruthers, *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture,* Cambridge: Cambridge University Press, 1994, стр. 7). Тот факт, что, по моим наблюдениям, коммуникативные фрагменты в большинстве случаев имеют ограниченную и соизмеримую протяженность, можно предположительно отнести к тем же свойствам памяти, которые легли в основание этой традиции.

[93] Сама классификация идиом часто строится в соответствии со степенью застывания их формы в качестве устойчивых сочетаний и/или смысловой нерасчлененности. См. классическую работу В. В. Виноградова «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» [1947].—В. В.Виноградов, *Избранные труды. Лексикология и лексикография,* М., 1977, стр. 140—161), последовательно построенную на этом принципе. Более четкое различение формального и смыслового аспекта идиомы в качестве ее «устойчивости» и «идиоматичности» (И. А. Мельчук, «О терминах "устойчивость" и "идиоматичность"». — *Вопросы языкознания,* 1960, № 4) еще в большей степени подчеркнуло идею ее вторичного (и по форме и по смыслу) характера по отношению к словам и синтактико-семантическим правилам их соединения.

[94] Представления о масштабах распространенности в языке «связанных» словесных сочетаний существенно расширились в последние 25 лет, в связи с исследованием валентных связей слов (см. в особенности Ю. Д. Апресян, *Лексическая семантика. Синонимические средства языка,* М., 1974; его же, «Синтаксические признаки лексем», *Russian Linguistics,* 9, 1985) и развитием теории «лексических функции» (И. А. Мельчук, *Опыт теории лингвистических моделей "смысл—текст". Семантика, синтаксис,* М., 1974), Кульминации этот подход достиг в первом опыте «толково-комбинаторного словаря», стремившегося к исчерпывающему описанию всех связанных сочетании каждой лексемы русского языка (И. А. Мельчук, А. К.Жолковский, *Толково-комбинаторный словарьрусского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики,* Wien: Wiener slavistischer Alma-nach, Sonderband 14, 1984) — задача, по моему убеждению, заведомо невыполнимая, так как суть такого рода сочетаний как раз и состоит в их открытом и неустойчивом, не поддающемся учету характере. Во всех этих работах, однако, связанные сочетания осмысливаются и описываются на базе лексемы, в качестве ее комбинаторных потенций, а не в качестве первичной, непосредственно заданной языковой единицы. Важный шаг к тому, чтобы рассматривать сочетания слов в качестве первичной языковой реальности, сделала «системная лингвистика». В рамках этого направления утверждает-

ся, что соединения слов всегда дают смысловой результат, не равный сумме составляющих частей: John McH. Sinclair, «Trust the Text: The Implications are Daunting». — *Advances in Systemic Linguistics: Recent Theory and Practice, ed.* Martin Davies & Louise Ravelli, London & New York: Pinter Publ., 1992, стр. 5—19. Автор выражает готовность к кардинальному пересмотру вопроса о том, какие единицы составляют основу построения текста; к этому, по его мнению, имеются прежде всего чисто эмпирические основания: возможность лучше «вглядеться в текст», благодаря наличию массовых магнитофонных записей, которая была недоступна предшествующей лингвистической традиции.

[95] Анализу хранимых в памяти частиц языкового материала отводится значительное место в книге: Edward S. Casey, *Remembering: A Phenomenological Study,* Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1987, написанной, правда, с философских, а не филологических позиции. Автор отмечает «отсутствие усилий и спонтанность», с которой говорящие способны извлекать такие частицы из памяти (стр. 32).

[96] М. И. Цветаева, *Мои Пушкин,* М., 1981, стр. 36.

[97] Кэзи отмечает, что «эмоциональная тональность» является неотъемлемой чертой всякого языкового воспоминания; он предлагает в этой связи термин-неологизм ruminescence (контаминация слов rumination и reminescence), в котором наглядно отражается эмоциональная окрашенность реминисценций: Casey, *op. cit.,* стр. 24, 46.

[98] Кажется, у Э. Сепира есть рассказ об индейце, не имевшем представления о письменном тексте, с его эксплицитным членением языковой ткани, но тем не менее не испытывавшем никаких затруднений, если его просили повторить только что сказанное «слово за словом». [9] См. недавно вышедшую работу: Наталья Перцова, *Словарь неологизмов Вели/лира Хлебникова,* Wien & Moskau: Wiener slavistischer Almanach, Sonderband 40, 1995, — в которой показана в полном масштабе едва ли не самая грандиозная в истории попытка такого индивидуального словотворчества.

[99] М. Каррузерс описывает эту «соборную» нерасчлененность мнемонического образа предшествующего опыта как отличительную черту средневекового сознания: «Однако отношение средневекового ученого к текстам радикально отличается от современной "объективности". Читаемое должно быть переварено, пережевано, подобно тому как корова жует сено или пчела производит мед из цветочного нектара». *(Op. cit.,* стр 164).

[100] Предложенное Блумфилдом формальное определение слова как «минимальной свободной формы» (Leonard Bloomfield, «A Set of Postulates for the Science of Language» — *Language,* 2 [1926]) означает, что внешнее окружение слова может неограниченно варьироваться (т. е. является свободным), тогда как комбинация морфем, образующая внутреннее устройство слова, имеет лишь ограниченный набор возможных вариаций (является связанной). Согласно другому варианту такого определения, между двумя соседними словами в составе фразы всегда можно вставить в принципе неограниченное число слов, не разрушив синтаксическую целостность фразы, тогда как между двумя соседними морфемами в составе слова нельзя вставить неограниченное число других морфем так, чтобы не разрушилась целостность слова (Louis Hjelmslev, *Prolegomena to a Theory of Language,* Baltimore: Waverly, 1953). Из этих определений вытекает, что число даже теоретически возможных слов в языке всегда ограниченно, в силу ограниченности допустимых морфемных комбинаций, из которых они могут быть построены, — тогда как число допустимых словесных комбинаций является принципиально неограниченным и открытым.

[101] Философия памяти признает способность к «экспансии» столь же неотъемлемым свойством всякого запоминания, как способность зафиксировать (как бы заключить в рамку) запоминаемый объект в качестве отдельного феномена. См. Edward S. Casey, Remembering: A Phenomenological Study, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1987, стр. 39. «.сходным выводам приходят психолингвисты, отмечающие процессы перегруппировки и стихийной классификации исходного вербального материала при его воспроизведении испытуемыми (А. А. Залевская, *Вопросы организации лексикона человека в лингвистических и психологических исследованиях,* Калинин: изд. Калининского университета, 1978, стр.39).

[102] См. исследование различных признаков, на основании которых возникают ассоциативные связи между словами: James Deese, *The Structure of Associations in Language and Thought,*Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1965; А. А. Залевская, *Слово в лексиконе человека,* Воронеж: изд. Воронежского университета, 1990, стр, 16 и след.; см. также *Словарь ассоциативных норм русского языка,* М.: изд. МГУ, 1977. Залевская, в частности, показала, что сетка межсловесных ассоциаций и признаки, по которым ассоциации образуются, могут различаться для родного и иностранного (то есть занимающего значительно меньшее место в языковой памяти) языка (стр. 82—89). К сожалению, все эти ин-

тересные исследования ведутся исключительно в применении к единичным словам, а не целым выражениям.

[103] Представление о принципиальной хаотичности процесса ассоциативных связей, возникающих в сознании того или иного субъекта между языковыми единицами и соответствующими им смыслами, лучше разработано в философии и психологии языка, чем в лингвистике. Виттгенштейн показывает невозможность дать твердое определение понятия 'игры': при переходе от 'игр на доске' к 'карточным играм', 'играм в мяч', 'военным играм', и даже от каждой конкретной игры к другой в пределах одного из этих подклассов, каждый раз появляются какие-то новые общие признаки, на основании которых опознается общность между этими феноменами, и утрачиваются некоторые, действовавшие для другой пары. Результатом этого континуума аналогий является не имеющее единого центра поле смыслов, связанных отношениями «семейного сходства», а не понятие, к которому, как к вершине пирамиды, восходили бы все его конкретные манифестации. (LudwigWittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, 1953,1:65—71).

Сходным образом определяет Выготский смысловой «комплекс», который, в отличие от понятия, он считает отличительной категорией детского мышления: «Самым существенным для построения комплекса является то. что в его основе лежит не абстрактная и логическая, но конкретная и фактическая связь между отдельными элементами, входящими в его состав .... самый признак, объединяющий отдельные конкретные элементы, ... становится неопределенным, разлитым, смутным, в результате чего образуется комплекс, объединяющий с помощью диффузных, неопределенных связей наглядно-конкретные группы образов и предметов. Ребенок, например, к заданному образцу — желтому треугольнику — подбирает не только треугольники, но и трапеции, так как они напоминают ему треугольники с отрезанной вершиной. Далее к трапециям примыкают квадраты, к квадратам — шестиугольники, к шестиугольникам — полуокружности и затем круги», *(Мышление и речь.* — Л. С. Выготский, *Избранные психологические исследования,* М.,1956, стр. 169,175)

[104] «Две вещи, не имеющие основания для сравнения, или, иными словами, не обладающие общими признаками (например, чернильница и свобода воли), никак не могут быть противопоставлены друг другу». (Н. С. Трубецкой, *Основы фонологии,* М., 1960, стр. 75).

[105] О том, что знаменитый образ «магического кристалла» заключал в себе именно такую вещественную мотивировку, может свидетельствовать стихотворение «К моей чернильнице» (1821), в котором об этом атрибуте поэтического вдохновения говорится: «...Заветный твой кристал».

[106] Впрочем, это различие между образованием слов и «образованием» коммуникативных фрагментов размывается в сфере устной разговорной речи. В этой сфере можно наблюдать скорее континуум лексем, производимых по аналогии с существующими образцами, чем словообразовательную систему и словообразовательные отношения в собственном смысле. В этих условиях теряется определенность словарного списка, равно как и отдельность и устойчивость каждой произведенной в речи словарной единицы. См. Е. А. Земская, *Словообразование как деятельность,* М., 1992.

[107] Постструктурализм ищет выход из замкнутых бинарных оппозиций в радикальных конфронтациях с имеющимся опытом. Так, согласно Кристевой, развертывание знаков происходит в виде «метонимической конкатенации отклонений от нормы, приводящей к созданию все новых метафор. Оппозиции включаются в сетку всевозможных, множественных по своей природе отклонений (сюрпризов в повествовательной структуре), создающих иллюзию открытой структуры». (Julia Kristeva, *Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art,* New York: Columbia University Press, 1980, стр. 40).

[108] В романтической интерпретации (в работах Гете по биологии, трудах романтических филологов первой трети XIX века) термин «морфология» выражал идею органического единства форм, обусловливающего их способность к бесконечным трансформациям-метаморфозам; такое понимание было впоследствии вытеснено позитивистской, чисто классифицирующей трактовкой: под «морфологией» стали понимать систематизацию биологических или языковых форм, собранных путем непосредственного наблюдения. Следы романтической идеи можно, однако, заметить в *Морфологии сказки В.* Я. Проппа, предпославшего каждой главе обширные эпиграфы из биологических сочинений Гете. Разумеется, этот субстрат пропповской «морфологии» исчез в позднейшей интерпретации этого труда в 1960—70-е годы, когда пропповские «функции» были истолкованы в качестве отвлеченной и более или менее всеобщей нарратологической схемы. (Claude Bremond, *Logique du recil,* Paris: Seuil, 1973). Об этом имеется обстоятельное исследование К. Гордис (Беркли), к сожалению, оставшееся неопубликованным.

[109] Ср. широко известную схему коммуникативного акта Якобсона (Roman Jakobson, «Linguistics and Poetics». — *Style in Language,* Cambridge, MA: M.I.T. Press, I960, стр. 350—377), в основание которой легла параллель между лингвистикой и теорией коммуникации (см. также Roman Jakobson, «Linguistics and Communication Theory». — *Structure of Language and !ts Mathematical Aspects. Proceedings of Symposia in Applied Mathematics,* 12, Providence, RI: American Mathematical Society, 1961, стр 245—252).

[110] Теория «прозаики» Морсона демонстрирует сходные явления на уровне построения сюжета в романах Достоевского и Толстого. Морсон показывает, как цепочка событии в романе обволакивается всевозможными ложными знаками, боковыми, никуда не ведущими ответвлениями, противоречивыми версиями, размывающими каузальную последовательность событии и дающими автору возможность избежать детерминистски «структурированного» повествования. (Gary Saul Morson, *Narrative and Freedom: The Shadows of Time,* New Haven & London: Yale University Press, 1994).

[111] В. Г. Белинский, *Полное собрание сочинений,* т 12. М.—Л., 1956, стр. 69 (письмо к В. П. Боткину 8 сентября 1841).

[112] Игорь Клямкин, «Почему трудно говорить правду?» — Новый мир, 1989, № 2.

[113] Мне вспоминаются многочисленные примеры из классических работ по структуральной и генеративной грамматике, в свою очередь сделавшиеся классическими, — примеры, по которым поколения лингвистов постигали основы формального синтаксического анализа: все эти 'The fanner killed the duckling', 'Bob hit John' (и разумеется, также 'John hit Bob'), 'Old men and women' и т. п. Ср. замечание Фляйшман и Во по поводу алгоритмически построенных синтаксических моделей, материалом для которых служили «изолированные, часто неправдоподобные предложения, контекстуализировать которые можно было бы лишь с большим трудом». («Introduction». — Susanne Fleischman & Linda R. Waugh, eds., *Discourse-Pragmatics and the Verb. The Evidence/Torn Romance,* London & New York: Routledge, 1991).

[114] Бахтин формулирует сходную задачу в виде противопоставления «предложения» как абстрактной строительной единицы, существующей до и вне речевой деятельности, и «высказывания» как такого феномена, в котором неразрывно связаны «тематическое содержание, стиль и композиционное построение»: «Проблема речевых жанров» — М. М. Бахтин, *Литературно-критические статьи,* М., 1986, стр. 428; см. также последующий раздел: «Высказывание как единица речевого общения. Отличие этой единицы от единиц языка (слова и предложения)», стр. 436 и след.

[115] Мелодика речи, во всем многообразии своих параметров, остается почти не изученной. См. исследования, посвященные различным функциям «интонации», в которых авторы фактически апеллируют не только к интонации в собственном смысле, но вместе с ней и к ритму, динамике и тембру речи: Paul Tench, *The Roles of Intonation in English Discourse,* Frankfurt am Main—Bern—New York—Paris: Peter Lang, 1990; *Vokale Kommunikation. Non-verbaleAspekte des Sprachverhaltens,* hrsg. Klaus R. Scherer, Weinheim & Basel: Beltz, 1982. Сошлюсь также на свою давнюю статью, в которой ставился вопрос о мелодике речи и основных параметрах, из которых она складывается: «О некоторых тенденциях в развитии мелодики устной речи». — *Лингвистическая семиотика и семантика, 1. Семиотика устной речи,* Тарту, 1979.

[116] В оригинале эта фраза звучит так: «What warlike noise is this?»

[117] *Известия,* 26 марта 1996 г.

[118] В. В. Маяковский, *Полное собрание сочинений,* т. 12, М., 1959, стр. 102—103.

[119] Развиваемое в этой главе понимание грамматической категории имеет немало точек пересечения с теорией «ассоциативно-вербальной сети» Караулова: «...грамматика не отделена от лексики, а наоборот, синкретична с ней, разлита, "размазана", так сказать, по ассоциативно-вербальной сети, которая репрезентирует индивидуальный лексикон носителя языка». (Ю. Н. Караулов, «Индивидуальный лексикон и эксперимент по моделированию языковой способности». — *Знание языка и языкознание,* М.: Наука, 1991, стр.9).

[120] R, Jakobson, «Zur Struktur des russischen Verbums» (1932); «Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der russischen Kasus» (1936); «Морфологические наблюдения над славянским склонением» (1962). — Roman Jakobson, *Selected Writings,* 2, *Word and Language.* The Hague & Paris: Mouton, 1971, стр. 3-15,23— 71 и 154—183; Louis Hjelmslev, *Lacategorie des cas. Etude degrammaire generate,* 1—2, Aarhus: Universitetsforlaget, 1935—1937.

[121] J. P, Sussmilch, *Versuch eines Beweises dass die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen sondern allein vom Schöpfererhalten habe,* Berlin, 1766. С развернутой критикой этой идеи, в основе которой лежало рационалистическое представление о языке, выступил Гердер В своем *Abhrndlung über den Ursprung der Sprache (*1772).

[122] В частности, неоднократно высказывалось убеждение, что построение модели языковой структуры по принципу бинарных оппозиций и их комбинаций должно иметь под собой онтологические основания, поскольку такой принцип объективно является наиболее экономным и рациональным. См., например: Louis Hjelmslev & Hans Jorgen Uldall, *Outline o/Glossematics,* Copenhague, 1957.

[123] Noam Chomsky, *Language and Mind,* New York: Harcourt, Brace&World, 1968.

[124] Ср. утверждение С. Фляйшман и Л Во: «...каков бы ни был имманентный смысл грамматических категории, важнейшую роль в интерпретации их значения играют прагматические факторы и дискурсивный контекст». (Susanne Fleischman & Linda R. Waugh, «Introduction».— *Discourse-Pragmatics and the Verb: The Evidence from Romance,* London & New York: Routledge, 1991, стр. 1)

[125] Интересную параллель с этим рассуждением являет мысль Риффатерра о том, что в художественном тексте значение знака никогда не становится референтным, то есть непосредственно отнесенным к объекту. Вопрос о референтной наполненности знака все время «откладывается» в связи с тем, что каждый знак отсылает к каким-либо другим знакам в структуре художественного дискурса. Это непрерывное синтагматическое скольжение межзнаковых отсылок не имеет никакой финальной точки и конечного смыслового разрешения. (Michael Riflaterre, *Text Production,* New York: Columbia University Press, 1983 стр. 41,44).

[126] Ср. рассуждение Витттенштеина о логическом порядке как «идеальной возможности», которая не является непосредственным коррелятом реально наличествующего опыта (LudwigWittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, 1953, 1:97).

[127] В. В. Виноградов. *Русский язык. Грамматическое учение о слове,* М., 1947, стр. 263.

[128] Убедительные примеры, противоречащие «стандартной» теории, приводятся в работах: А. В. Исаченко, «Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных». — *Исследования по структурной типологии,* М., 1963, стр. 73; Leonard Harvey Babby, *A Transformational Grammar of Russian Adjectives,*The Hague & Paris: Mouton, 1975, стр. 190—192' Johanna Nichols, *Predicate Nominals: A Partial Surface Syntax of Russian,* Berkeley—Los Angeles—London: University of California Press, 1981, стр. 302; Н. А. Казавчинская, «О состоянии изучения функций кратких и полных форм прилагательных в позиции предиката». — *Acta et commenlationes Universitatis Tartuensis,* 760, Tartu, 1987, стр. 123.

[129] Впервые на этот признак указала *Грамматика русского языка,* под ред. В. В. Виноградова, М.: АН СССР, 1954, т. II, *Синтаксис, ч.* I, стр. 451. Из работ последнего времени см. Н. А. Казавчинская, «Оценочные функции качественных прилагательных в краткой форме». — *Ada et commentationes Universitatis Tartuensis,* 896, Tartu, 1990, стр. 90—97.

[130] Н. Ю. Шведова, «Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке» —*Ученые записки МГУ,* вып 150, *Русский язык. М.,* 1952, стр. 86; ср. также Nichols, *op. cit.,* стр. 302—303.

[131] Н. А. Казавчинская, «Об артиклевых функциях кратких и полных форм прилагательных в современном русском языке». — *Acta et commentationes Universitatis Tartuensis,* 825, Tartu, 1988, стр. 93—100. Следует заметить, что «артиклевое» значение членной формы в древнейших церковнославянских текстах проявляется с полной ясностью лишь в избирательных примерах. Представление о том, что древнейшее состояние языка заключало в себе «первоначальное» значение формы в более «чистом» виде, является, конечно, иллюзией, питающейся лишь ограниченностью нашего знания о контекстах, в которых отражены языковые употребления древней эпохи.

[132] А. М. Пешковский, *Русский синтаксисв научном освещении,* 7-е изд., М., 1956, стр. 225—226.

[133] Виноградов, *op. cit.,* стр. 265.

[134] Большое место уделено стилистическому фактору в работе: Sven Gustavsson. *Predicative Adjectives with the Copula* byt' *in Modem Russian,* Stockholm, 1976, стр. 114 и след. Николе, отчасти опираясь на выводы этой работы, идет еще дальше, указывая на возможность не только обшестилевых, но индивидуальных авторских вариации в выборе предикативной формы (Nichols, *op. cit.,* стр 312)

[135] Впервые выдвинутая Исаченко, эта идея получила подробную разработку, в терминах генеративной грамматики, в книге Л. Бэбби (Babby, *op. cit.).*

[136] Пример взят из кн.: В. В. Виноградов, *op. cil.,* стр. 715.

[137] Пешковский**,** *op. cit*, стр. 225.

[138] См. подробнее: Boris Gasparov, «Notes on the " Metaphysics" of Russian Aspect». — *Verbal Aspect in Discourse,* ed. Nils B. Thelin, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamin, 1990, стр. 191-212.

[139] Сходный круг проблем разрабатывается в работах Н. Д. Арутюновой; см. в особенности ее книгу *Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт,* М., 1988, где подчеркнуты взаимодействия и взаимные перетекания смыслов, относящихся к «фактическому» и «событийному» аспектам картины мира (гл. «"Факты" и "события" в контексте нейтрализации и контраста», стр. 181 и сл.).

[140] Обобщенные «метафизические» значения, стоящие за конкретными употреблениями грамматических форм, исследуются в работах группы «функциональной грамматики», возглавляемой А. В. Бондарко. См. серию коллективных монографий этой группы *Теория функциональной грамматики,* под ред. А. В. Бондарко: *Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис,* Л., 1987; *Темпоральность. Модальность, Л.,* 1990; *Персональность. За/юговость,* Л., 1991; *Субьектность. Обьектностъ. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность,* Л., 1992

[141] Взаимодействие различных грамматических категорий (таких, как время, наклонение, отрицание) с категорией вида, дающее в каждом новом сочетании иной результирующий смысл, было убедительно показано в кн.: О. П. Рассудова, *Употребление видов глагола в русском языке,* М.: изд. МГУ, 1968.

[142] Разносторонний анализ гетерогенных и противоречивых факторов, действующих в рамках текста и отдельного высказывания, представлен в работе: *Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста,* под ред. Н. Д. Арутюновой, М., 1990.

[144] Представление слов и выражений в виде образов (imaginatio) играло огромную роль в античной и средневековой концепции памяти и мнемотехники. См. Mary J. Carrutheis, *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture,* Cambridge: Cambridge University Press, 1994, стр. 16—17. Эта традиция, однако, была оттеснена на далекий задний план в новое время, вплоть до XX века, когда к ней вновь начинает апеллировать сначала философия, а затем и филология и психология. На античную концепцию мнемонического образа опирался Гуссерль в своем исследовании образного мышления (*Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phdnomenologie der anschaulichen Vergegenwartigungen.* — Edmund Husserl, *Gesammelte Werke,* Bd. 23, The Hague—Boston—London: Martinus Nijhoff, 1980, стр. 16).

[145] Принципиальным недостатком психологических и психолингвистических исследовании языкового образа, на которые я сослался выше, следует признать то, что все они ориентированы на распознавание образов единичных слов, предъявляемых испытуемым в качестве изолированных словарных единиц. Отсюда возникает ожидание, что только у слов, значение которых обладает физической наглядностью, может быть ясный образный отклик; это ожидание, однако, решительно опровергается результатами опросов. См. в особенности Петренко, Нистратов, стр. 7—8, а также работу: Allan Paivio, John C. Yuille, Stephen A. Madigan, “Concretedness, Imagery and Meaningfiilness Values for 925 Nouns”. — *Journalfor Experimental Psychology. Monograph Supplement,* vol. 76, No. 1, Pt. 2 (January 1968), авторы которой столкнулись с тем, что в ответах испытуемых далеко не всегда обнаруживается корреляция между предметной “конкретностью” значения слова и легкостью его “образной представимости”. В своей книге Пайвио признает, что это расхождение между теоретическим ожиданием и эмпирическим результатом выдвигает проблему, которой он пока не находит удовлетворительного объяснения *(Images in Mind...,* стр. ISO-152). Между тем эта проблема исчезает, если рассматривать слово растворенным в языковых выражениях и тех более широких ситуациях, которым эти выражения соответствуют в опыте говоряших.

[146] Петренко, Нистратов отмечают, что испытуемые часто представляли себе различные аффекты и психические состояния в виде “образа-маски выражения лица”, “какого-то мимического выражения” и т. п. *(op. cit.,* стр. 7—8).

[147] Гуссерль формулирует различие между “ясным” и “смутным” образным представлением (klarer und dunkler Erscheinung): последнее “можно себе представить, но это будет пустое представление, оно на что-то мне намекает, но у меня не остается от него никакой отчетливой картины; и однако, этот намек мною осознан,... я могу даже сказать, в каком аспекте он осознан, несмотря на свою пустоту, в какой форме и т. д. — все это, конечно, не с такой отчетливостью и определенностью, как в случае ясного представления” (Husserl, *op. cit.,* стр. 302). Аналогичный смысл имеет различение “картинного” и “визуального” (pictorial vs. visual) представления в современной психологии (Richardson, *op.cit.*). М. Карруэерс указывает, что это различение восходит к традиции античных риторик (*The Book of Memory ...,* стр.18).

[148] Сошлюсь опять на одного из испытуемых в опросе Петренко, Нистратова, заметившего, что “некоторые “абстрактные” динамические термины (скорость, движение) вызывали четко ощущаемый эффект, который мало походил на обычное понимание образа, но выражался достаточно ярко”, *(op. cit.,* стр. 8).

[149] См. остроумный анализ этого жестового “монстра”, вскрывающий, что в основе его в конечном счете также лежит иконическая передача идеи согласия/несогласия, хотя сам способ передачи оказывается в этом случае необычным, по сравнению с большинством других языков: Р. О. Якобсон, “"Да" и "нет" в мимике”. — Roman Jakobson, *Selected Writings,* 2, *Word and Language,* The Hague & Paris: Mouton, 1971, стр. 360—367.

[150] Поэзия знает примеры воплощения букв в многомерный образ, наделенный цветом, динамикой, эмоциональной окрашенностью, способный вызывать различные предметные и тематические ассоциации. Таков сонет Артюра Рембо “Voyelles” или стихотворение Хлебникова “Царапина по небу — Прорыв в языки — Соединение звездного языка и обыденного” (“Где рой зеленых *ха* для двух”). Однако образная перцепция графической стороны языка не чужда — хотя, конечно, в несравненно более скромных масштабах — и повседневному языковому сознанию. В моем индивидуальном восприятии буквенное воплощение слов всегда имеет вид печатного (не рукописного) текста, с отчетливым, но не ярко индивидуализированным, шрифтом — что-то вроде газетной или дешевой книжной печати; буквам свойственна легкая окрашенность — я “вижу” переходы от более темных к более светлым, от сероватых к желтовато-коричневым тонам.

[151] Различение “памяти о вещах” и “памяти о словах” имело широкое хождение в античной риторике. См. Frances A. Yates, *The Art of Memory,* Chicago: The University of Chicago Press, 1966, стр. 8 и след.

[152] Gottlob Frege, “Uber Sinn und Bedeutung”. — *Zeitschrift fur Philosophie undphilosophische Kritik,* Bd. 100 (1892), стр. 25-50.

[153] Укажу на работы, отмечающие вехи в развитии этой концепции: Charies К. Ogden & Ivor A. Richards, *The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism,* London, 1921; F. de Saussure, *Cours de linguistique generate* [1916], испр. изд. Paris: Payot, 1985; Rudolph Camap, *Meaning and Necessity,* Chicago: Chicago University Press, 1956 (см. в особенности обсуждение соотношения между экстенсиональным и интенсиональным значением); Л. Ельмслев, “Можно ли считать, что значения слов образуют структуру?” — *Новое в лингвистике,* вып. 1, М., 1962 (одна из первых попыток применить принцип оппозиции и дифференциальных признаков в области лексической семантики); Jerrold J. Katz & Jerry A. Fodor, “The Structure of a Semantic Theory”. — *Language,* 39 (1963), стр. 170—210 (первая последовательная реализация данного принципа).

[154] В ряде современных исследований подчеркивается, что языковой образ имеет скорее “функциональное”, чем “миметическое” значение (Richardson, *Mental Imagery*.... стр. 25—42). Его живописное “качество” и “подобие” отображаемому объекту несущественны — важно, что субъект принимает данный образ в качестве репрезентации чего-то ему известного; см. Jerry A. Fodor, *The Language of Thought,* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980,стр.191.

[155] Так, в высказываниях Потебни, особенно раннего периода, звучит романтическая ностальгия по “золотому веку” языкотворчества, когда ничто не отделяло только что созданное слово от вызвавшего его представления: “...в то время, когда слово было не пустым знаком, а еще свежим результатом апперцепции,... наполнявших человека... радостным чувством творчества — в то время гораздо живее чувствовалась законность слова и его связь с самим предметом”. *(Мысль и язык.* —А. А. Потебня, *Эстетика и поэтика,* М., 1976, стр.173). Эту идею Гумбольдта и Потебни выразительно развивает Шкловский в своей ранней работе “Воскрешение слова” (1914): “Древнейшим поэтическим творчеством человека было творчество слов. Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу, но только что рожденное слово было живо образно, ... и часто, когда добираешься до теперь уже потерянного, стертого образа, положенного некогда в основу слова, то поражаешься его красотой, которая была и которой уже нет”. В. Б. Шкловский, *Гамбургский счет. Статьи-воспоминания—эссе (1914—1933).* М., 1990,стр.36.

[156] “Когда в припадке нежности или злобы мы хотим приласкать или оскорбить человека, то нам мало для этого изношенных, обглоданных слов, и мы тогда комкаем и ломаем слова, чтобы они задели ухо, чтобы их увидели, а не узнали. .И вот теперь, сегодня, когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не с мертвым словом, он, желая дать ему лицо, разломал и исковеркал его”. (Шкловский, *op.cit.*, стр. 40). *“...* стремясь найти подлинное слово, которое бы нам показало предмет, мы пользуемся словом притянутым, непривычным для нас, по крайней мере в данном приложении, словом изна-

силованным". (Р. Якобсон, "О художественном реализме" [1921]. — Роман Якобсон, *Работы по поэтике,* М., 1987, стр. 389).

[157] Можно вспомнить в этой связи критику Гуссерлем "наивного представления", согласно которому "... духовный образ мыслится как имманентно присущий духу объект. Предполагается, что образ таким же образом наличествует в духовном мире, как вещь — в мире действительности. Однако в духовном мире или, лучше сказать, в сознании, феноменологически, нет никаких образных предметов (Bilddinge)". (Husserl, *op. cit.,*стр. 21). Такому статично-предметному пониманию Гуссерль противопоставляет "протеистическую" изменчивость и неустойчивость как основное свойство образа *(ibid.,* стр. 22—59).

[158] "В представлении слова всегда заключена связь с неким квазиобразным мысленным явлением (Sinnenschein), в представлении образа — связь со смыслом, доступным только через слово. Слову неотъемлемо принадлежит некий затемненный образ, образу — некое приглушенное слово". (Gottfried Willems, "Kunst und Literatur als Gegenstand einer Theorie der Wort-Bild-Bezeichnungen. Skizze der methodischen Grundlagen und Perspektiven". — *Text und Bild* ...,СТр.423).

[159] Утверждения о преимущественно или даже исключительно визуальном характере памяти (в частности, о возможности визуального отображения явлений, связанных со звуком) были типичны для античной традиции. См. Carruthers, *op. cit.,* стр. 18; Yates, *The Art of Memory ...,* стр. 373. К аналогичному выводу приходит Кэзи в своем феноменологическом исследовании памяти. В частности, мне было интересно увидеть, что он апеллирует к визуальному образу "оглушительного рева водопада", то есть к такому же примеру, какой пришел и мне на ум в ходе моего собственного рассуждения. (Edward S. Casey, *Remembering: A Phenomenological Study,* Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1987, стр. 23-24).

[160] Иное решение этой дилеммы предлагает Якобсон. Отмечая, что "в жизни" преобладающую роль играют визуальные представления, тогда как язык строится на звуковой основе, Якобсон разрешает это противоречие путем апелляции к классификации разных типов знаков (по Ч. Пирсу); он видит различие между "иконом" и "индексом", с одной стороны, и "символом", с другой, в том, что первые строятся на визуальной, а последний — на звуковой основе. Поскольку в языке (равно как в музыке, по мнению Якобсона) преобладают символические знаки, этим и объясняется ориентация данных "знаковых систем" на звуковое восприятие. ("Visual and Auditory Signs". — Roman Jakobson, *Selected Writings,* 2, *Word and Language,* The Hague & Paris: Mouton, 1971, стр. 334—337).

[161] Опора на отдельные слова в экспериментальных психолингвистических исследованиях образов приводит к тому, что отображение каждого слова мыслится как единичный и устойчивый феномен. Поставленная так задача направляет мысль испытуемых по ложному пути: они описывают первый почему-либо им явившийся образ — результат первой пришедшей им на ум контекстуальной проекции данного знака, — не задумываясь о возможных альтернативах, которые могли бы возникнуть при других мыслимых его проекциях. От этого повышается разбросанность описаний у разных говорящих (поскольку они исходят из различных контекстуальных презумпций), что создает преувеличенное представление об их "субъективности". Следовало бы скорее поставить вопрос не об "образе", но об "образах" как бесконечной галерее-континууме перевоплощений, в которых для каждого говорящего является, в зависимости от условий, каждое языковое выражение.

[162] Лакан различает "пустую" и "наполненную" речь (parole vide vs. parole pleine). Первая представляет собой простое нанизывание языковых выражений, вторая связана со стремлением говорящего что-то действительно высказать; психоаналитик должен уметь опознавать в ответах пациента пустую речь, на которую он не должен реагировать и которую не следует принимать в расчет. Интересно, что, по мнению Лакана, "наполненная речь" всегда предполагает "более широкий текст", к которому она нас отсылает, даже если говорящий сам этого не сознает; иначе говоря, ее смысл не ограничивается собственно высказыванием, но всегда растворен в более широкихдуховных процессах — это и делает "наполненную речь" важнейшим инструментом психоанализа. ("Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse". — Jacques Lacan, *Ecrits,* Paris: Seuil, 1966, стр. 237—322).

[163] "Читать — значит находить значения, а находить значения — значит именовать их; но эти поименованные значения сметаются устремлением к другим именованиям; именования вызывают друг друга, перестраиваются в новые ансамбли, и эти перестройки вызывают потребность в новых именованиях: я именую, я снимаю имя, я именую вновь — так движется текст: наименование в процессе становления, неустанное приближение, метонимизирующий труд". (Roland Barthes, *S/Z,* Paris: Seuil, 1970, стр. 17—18).

[164] Выготский замечает, что смыслы слов “как бы вливаются друг в друга и как бы влияют Друг на друга”; правда, этот феномен относится им только к сфере “внутренней речи”. *(Мышление и речь. — Л.* С. Выготский, *Избранные психологические исследования.* М., 1956, стр.372).

[165] Способность образов к симультанному пространственному воплощению, в отличие от линейного временного воплощения слов, легла в основу идеи “двойного кодирования” языка Пайвио: “Специфика образов состоит в синхронной организации или параллельном процессировании информации, по принципу пространственных отношений; они не процессируют информацию в последовательности, шаг за шагом. Напротив, о словесной системе можно предполагать, что ее спецификой является последовательное, а не параллельное процессирование”. (Allan Paivio, *Images in Mind*.... стр. 50).

[166] Потебня различает “ближайшее” значение слова, которое разделяют все говорящие, и “дальнейшее” значение, включающее в себя все сведения и ассоциации, которые могут иметься у каждого индивидуума по поводу данного слова. (А. А. Потебня, *Из записок по русской грамматике,* т. I—II, М., 1957, “Введение”). В этом же ключе можно интерпретировать высказывание Выготского о том, что “значение одного и того же слова у ребенка и взрослого часто пересекается на одном и том же конкретном предмете, и это является достаточным для взаимного понимания взрослых и детей”. *(Избранные психологические исследования ...,* стр. 166). В основном, однако, начиная с Соссюра, эта проблема была переведена из плана конкретных предметных или образных представлений в план различия между внутрисистемным значением слова как языкового знака и внесистемным денотатом, которому этот знак соответствует

[167] Наиболее радикальным проявлением идеи о неразрывной зависимости языковой формы и выражаемого ею значения можно считать полемику с тезисом Соссюра о “произвольности” языкового знака. В классических работах Бенвениста и Якобсона на эту тему приводятся различные аргументы в пользу того, что между планом содержания и планом выражения языкового знака существует необходимая внутренняя, а не только внешняя (санкционированная общественным договором) связь: “Nature de signe linguistique”. — Emile Benveniste, *Problemesde linguistique generate,* 1, Paris: Gallimard, 1966, стр. 47—55; Roman Jakobson & Linda Waugh, *The Sound Shape of Language,* Brighton: The Harvester Press, 1979, см. в особенности гл. 4, “The Spell of Speech Sounds”.

[168] Выготский формулирует эту проблему как различие “движения смысловой и звучащей речи” (под последней, по-видимому, можно понимать всякий процесс складывания языковой ткани в объективированное высказывание, не обязательно связанный с его “озвучиванием”). Выготский описывает соотношение этих двух планов следующим образом: “Движения в том и другом плане не совпадают, сливаясь в одну линию.... Это отнюдь не обозначает разрыва между обоими планами речи или автономности и независимости каждой из двух ее сторон. Напротив, различение обоих планов есть первый и необходимый шаг для установления внутреннего единства двух речевых планов”. *(Избранные психологические исследования ...,* стр. 331).

[169] Этот вопрос уже обсуждался во Введении. Здесь я лишь сошлюсь еще раз на некоторые примеры наиболее радикальных проявлений такого подхода: статьи Барта (“La mort d'auteur”; “Ecriture, veibe intransitif?” — Roland Barthes, *Le bruissement de la langue,* Paris: Seuil, 1984), а также кн.: Stanley Fish, *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities,* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980. Эксцессы этого направления вызывают возражение даже у теоретиков постструкгурной ориентации. Как заметил в этой связи Эко, “возможно, у нас нет способа решить, какая из интерпретаций является "хорошей", но все же мы можем решить, на основании контекста, какая из них представляет собой не попытку понимания "данного" текста, но скорее продукт галлюцинаций адресанта”. (Umberto Eco, *The Limits of Interpretation,* Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1990, стр. 21).

[170] Работа Бахтина “Проблема речевых жанров” впервые представила проблему жанровой раздробленности языковой деятельности в ее истинных масштабах. Аналогичное значение имело описание множественных “игр” с языком, каждая из которых развертывается по своим собственным правилам, у Виттгенштеина *(Philosophische Untersuchungen,* Oxford, 1953,1:23). Начиная с 1970-х гг. жанровой множественности дискурса уделяется большое внимание как в литературной и семиотической теории (см., например, Tzvetan Todorov, *Genres du discours,* Paris: Seuil, 1978), так и при описании “прагматических” аспектов языковой коммуникации. Укажу на некоторые значительные работы этого последнего направления: *Multiples Goals in Discourse,* ed. Karen Tracy & Nicholas Coupland, Clevendon & Philadelphia: Multilingual Matters, 1990; *linguistics in Context: Connecting Observation and Understanding, ed.* Deborah Tannen, Norwood, NJ:Ablex, 1988; *Meaning,*

Form and Use in Context: Linguistic Applications, ed. Deborah Tannen, Washington, DC: Georgetown University Press, 1984.

[171] Особенно интересные примеры анализа того, как и непосредственное окружение, и более широкая культурная среда влияют на интерпретацию высказывания, дала британская школа "контекста ситуации". См., в частности, разделы, написанные Холлидеем (M. A. K. Halliday, "How Do You Mean?"), Маттиссеном (Christian Matthiessen, "Interpreting the "Textual Metafunction"") и Лемке (J L. Lemke, "Interpersonal Meaning in Discourse: Value Orientations") в коллективной монографии: *Advances in Systemic Linguistics: Recent Theory and Practice,* London & New York: Pinter, 1992.

[172] В последние 30 лет этот аспект настройки коммуникативных действии получил особенно мощное развитие в литературной теории, в рамках концепции "подразумеваемого читателя": Wolfgang Iser, *Der impliyte Leser. Kommunikalionsformen des Romans von Bunyan bis Beckett,* Munchen: Wilhelm Fink, 1972; *Rewptionsasthetik,* hrsg. RainerWaming, Munchen: Wilhelm Fink, 1975; Umberto Eco, *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts,* Bloomington & London: Indiana University Press, 1979.

[173] Очень робкая попытка ввести этот аспект в число значимых параметров коммуникативного акта была предпринята в моей статье "Нарративный текст как акт коммуникации". — *Studia metrica etpoetka,* 1, Тарту, 1976.

[174] С этим можно сопоставить определение культуры как своего рода духовной жизненной среды, окружающей человека, предложенное Лотманом и Успенским (Ю, М Лотман, Б. А. Успенский, "О семиотическом механизме культуры". — *Труды по знаковым системам,* 5, Тарту, 1971).

[175] Множественность коммуникативных намерений говорящих, не позволяющая однозначно сформулировать прагматическую ориентацию того или иного коммуникативного акта, убедительно продемонстрирована в книге *Multiple Goals in Discourse...* (см. в особенности Karen Tracy & Nicholas Coupland, "Multiple Goals in Discourse: An Overview of Issues", стр.2).

[176] М. А. Булгаков, *Мастер и Маргарита,* гл. 13. Цитируется по изд.: М А. Булгаков, *Романы,* М., 1988, стр. 504-505.

[177] "Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb". — Roman Jakobson, *Selected Writings, 2, Word and Language,* The Hague & Paris: Mouton, 1971, стр. 130—147.

[178] Можно вспомнить в этой связи, как Медведев в своей критике концепции "искусства как приема" указывал на то, что формально один и тот же прием может иметь совсем разные значения в разных идеологических контекстах (П. Н. Медведев, *Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику,* Москва, 1928, стр. 155-156).

[179] Ф. М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30 томах,* т. 5, Л., 1973, стр. 194. Ср. анализ этого примера в книге: В. В. Виноградов, *Русский язык. Грамматическое учение о слове,* М., 1947, стр. 454.

[180] Ср. целую серию исследований, в которых показывается, как говорящие определяют социокультурный "портрет" и коммуникативные намерения партнера по тембру его голоса: G. S. Allport, H. Cantril, "Judging Personality from the Voice". — *Journal of Social Psychology,* vol. 5 (1934), стр. 155—259; E. Kramer, "Personality Stereotypes in Voice: A Reconsideration of the Data". — *Journal of Social Psychology,* vol. 62 (1964), стр. 247—251; K. Scherer, "Judging Personality from Voice: A Cross-Cultural Approach to an Old Issue in Interpretational Perception". — *Journal of Personality,* vol. 40, No. 2 (1972), стр. 191—210

[181] Как уже говорилось выше, выделение различных жанров и коммуникативных рамок в качестве специфических условии, дробящих применение языкового "кода", является одной из наиболее активных сфер в современной теории языкового и литературного дискурса. В большинстве работ этого направления, однако, можно заметить стремление представить различные жанры в качестве раздельно существующих субкодов. Так, Тодоров прямо говорит о том, что "вместо литературы как целого мы имеем теперь дело с многочисленными типами дискурса, равным образом заслуживающими нашего внимания". *(Genres du discours....* стр. 11). Аналогичные высказывания можно встретить у Эко, а также в социолингвистических работах, посвященных "рамочному" анализу *(Framing in Discourse, ed.* Deborah Tannen, New York & Oxford: Oxford University Press, 1993). Даже Бахтин, подчеркивавший текучесть жанровой характеристики как важнейшее свойство дискурса, склонялся к тому, чтобы приписать такую текучесть только одному виду дискурса — роману, в противоположность всем другим (см. в особенности "Слово в романе").

[182] Ср. тезис Бахтина о "принципиально ответном", то есть принципиально реактивном, характере всякой языковойдеятельности ("Проблема речевых жанров". — М. М. Бахтин, *Литературно-критические статьи,* М., 1986, стр. 438). Среди современных исследователей языка такой подход с большой убедительностью проводится в работах Лемке (Jay

L. Lemke, “Text Production and Dynamic Text Semantics”. — *Functional and Systemic Linguistics: Approaches and Uses, ed.* EijaVentola, Berlin & New York, 1991, стр.23—38).

[183] Ср. предельно резкую постановку этой проблемы у Лиотара: “Атомы [информации] помешаются на перекрестках прагматических взаимоотношений, но их все время смешают поступающие сообщения, рассекающие их в своем непрестанном движении. Каждый языковой “партнер”, в результате каждого направленного на него “хода”, испытывает смещение, некую перемену, которая влияет на него не только в качестве адресата и референта, но и в качестве отправителя сообщений”. (Jean-Francois Lyotard, *La condition postmodeme. Rapport sur le savoir,* Paris: Minuit, 1979, стр. 33).

[184] В. К. Кюхельбекер, *Путешествие. Дневник. Статьи,* Л., 1979, стр. 453.

[185] Ю. Н. Тынянов, “Пушкин и Кюхельбекер”, в кн.: Ю. *И.* Тынянов, *Пушкин и его современники,* М., 1979, гл. 9—12 (стр. 266—288). См. также Б. М. Гаспаров, *Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка,* Wien: Wiener slavistischer Almanach, Sonderband 27,1992, стр. 67-73.

[186] А.С. Пушкин, *Полное собрание сочинений в 10 томах,* т X, М.—Л., 1949, стр. 194.

[187] Noam Chomsky, *Syntactic Structures,* 's-Gravenhage: Mouton, 1957, § 2. Соответственно, задачей порождающей модели языка, по Чомскому, является построение системы правил, порождающих любое правильное предложение данного языка и не порождающее неправильных предложений; критерием оценки всякой модели языка может служить то, насколько ей удается приблизиться к этому идеалу.

[188] *И.* И. Ревзин, *Метод моделирования и типология славянских языков,* М., 1967, стр. 66—70.

[189] Б. М. Гаспаров, “Несколько замечании о понятии языковой правильности”. — *Труды по знаковым системам,* 5, Тарту, 1971.

[190] Связь авангардного слома канона с пониманием самого этого канона как непреложно заданной реальности наглядно проявляется у Шкловского: “Нарушение канона возможно только при существовании канона, и богохульство предполагает еще не умершую религию”. *(Ход коня.* — В. Б. Шкловский, *Гамбургский счет. Статьи—воспоминания— эссе, 1914—1933,* М., 1990, стр. 89). Эта идея по прямой линии наследования перешла от формального метода к структуральной поэтике, с ее пониманием инновации как значимого отклонения от системы (Ю. М.Лотман, *Лекции по структуральной поэтике. Введение. Теория стиха,* Тарту., 1964,1:5 [гл. “Искусство как семиотическая система”]). И наконец, в постструктуральный период она находит продолжение в концепции “боязни влияния” Блума (Harold Bloom, *The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry,* New York: Oxford University Press, 1973).

[191] В. Хлебников, *Собрание произведений,* под ред. Н. Степанова, т. 2, Л., 1929, стр. 36.

[192] Бенедикт Лившиц выразительно описал своеобразный симбиоз футуристов и их неустанного и язвительного критика — Корнея Чуковского: “О чем нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими лекциями и статьями создает нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, чтб в замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и что следствием, — представлялось совершенно невозможным”. (Б. Лившиц, *Полутораглазый стрелец. Воспоминания,* М., 1991, стр. 137).

[193] А. Хилл, “О грамматической правильности”. — *Вопросы языкознания,* 1962, № 4.

[194] Характерным примером смысловой и стилистической фактуры такого высказывания может служитьреплика одного из персонажей в комедии Цукмайера “Капитан из Кёпеника”, выражающая (на резком берлинском диалекте) крайнее изумление и восхищение: “... also ick bin 'n Berliner, aber det is noch nie dajewesen”. (Carl Zuckmayer, *Der Hauptmann von Kopenick,* 111:20).

[195] В этой главе используется, в частично измененном виде, заключительный раздел моей книги: *Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XXвека,* М.: “Наука”, 1994 (“Послесловие: структура текста и культурный контекст”).

[196] Текстуальная природа всякого языкового сообщения была выдвинута на передний план теорией текста 1970-х годов: “Всякое общение, если только общение действительно имеет место, есть текстуатьное/текстовое общение”. (Siegfried J. Schmidt, *Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation,* München: Wilhelm Fink, 1973, стр. 144).

[197] Кристева указывает, в связи с динамическим характером текста, что он имеет дело с “эфемерными структурами... скорее "квантами", чем "указателями"”. Это делает текст, по мнению Кристевой, феноменом внеположным лингвистике — “в том смысле, как она понимается структурной или генеративной лингвистикой”. (Julia Kristeva, *La revolution du*

langage poetique, Paris: Seuil, 1974,1:12). В другой работе Кристева определяет отношение текста к традиционно-лингвистическому понятию языкового кода как “отношение редистрибуции (деструктивно-конструктивное)”. *(Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art,* New York: Columbia University Press, 1980, стр. 36).

[198] П, де Ман определяет литературную форму как “диалектическое равновесие” между стремлением интерпретации к тотальной самодостаточности и направляющим интерпретирующий процесс предварительным знанием: “Эту диалектику трудно уловить. Идея тотальности предполагает закрытость формы, силящейся стать упорядоченной и последовательной системой и почти неудержимо устремляющейся к тому, чтобы превратиться в объективированную структуру. Однако фактор течения времени, столь настойчиво забываемый, должен напоминать нам, что в действительности форма никогда не бывает чем-либо иным, кроме как процессом на пути к своему завершению”. (Paul de Man, *Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism,* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983, стр. 31).

[199] Разумеется, в исследовательской литературе можно найти множество попыток дать исчерпывающее описание и классификацию различных типов интертекстов и их возможных отношений к наличному тексту. Укажу лишь один из наиболее развернутых опытов этого рода: книгу Gerard Genette, *Palimpsestes. La lilteratureau second degre,* Paris: Seuil, 1982, целиком посвященную этой проблеме.

[200] У Эко можно встретить рассказ о любопытном эпизоде, связанном с рецепцией одной из его ранних книг (Umberto Eco, *Opera operta. Forma e indetenninawne nelle poetiche contemporanee,* Milan: Bompiani, 1962), вышедшей в эпоху господства структуральной поэтики. Французский перевод первой главы этой книги вызвал строгое замечание Леви-Стросса; Леви-Стросс настаивал, что произведение словесного искусства “наделено определенными свойствами, которые должны быть выделены путем анализа и которые всецело определяют характер этого произведения. Когда Якобсон и я стремились дать структурный анализ сонета Бодлера, мы не подходили к нему как к "открытому произведению", в котором можно найти все то, чем его наполнили позднейшие эпохи; мы подошли к нему как к объекту, который, будучи однажды создан, обладает, так сказать, твердостью кристалла; свою задачу мы ограничивали тем, чтобы выявить эти его свойства”. (См. Umberto Eco, *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts,* Bloomington & London: Indiana University Press, 1979, стр. 4).

[201] “Если поэтическое произведение может быть понято как "человеческий документ", как запись из дневника — оно интересно автору, его жене, родным, знакомым и маньякам, страстно ищуших [sic — Б. Г.] ответа на "курил ли Пушкин?" — никому больше”. (О. М. Брик, “Т. н. "формальный метод"”. — *ЛЕФ. Журнал левого фронта искусств,* 1923, № 1, стр. 213).

[202] Бахтин считает, что “границы каждого конкретного высказывания как единицы речевого общения определяются сменой речевых субъектов, то есть сменой говорящих”. (“Проблема речевых жанров”. — М. М. Бахтин, *Литературно-критические статьи,* М., 1986, стр. 441). Мне, однако, кажется, что и в ходе взаимодействия между разными субъектами складываются более обширные образования, которые они могут охватить в целом в качестве более широкого “высказывания”.

[203] Стремление говорящего субъекта к “последовательности” (coherence) получающегося смысла является важнейшим смыслообразующим фактором; понятие coherence, в качестве субъективного фактора, отражающего позицию интерпретатора, противопоставляется “связности” (connexity) как объективному свойству структуры высказывания. Эта идея широко разрабатывается в сборнике статей: *Connexity and Coherence: Analysis of Text and Discourse, ed.* Wolfgang Heydrich, Fritz Neubauer, Janos S. Petofi & Emel Sozer, Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1989. См., в частности, Michel Charolles, “Coherence as a Principle in the Regulation of Discoursive Production” (стр. 3—15). Другой автор утверждает даже, что “последовательность смысла, если понимать ее самым широким образом, является неотъемлемым условием биопсихологического функционирования человека”. (Roger D. van de Velde, “Man, Verbal Text, Inferencing, and Coherence”, стр. 175).

[204] “В каждом высказывании — от однословной бытовой реплики до больших, сложных произведений науки или литературы — мы охватываем, понимаем, ощущаем речевой замысел или речевую волю говорящего, определяющую целое высказывания, его объем и его границы. Мы представляем себе, что хочет сказать говорящий, и этим речевым замыслом, этой речевой волей (как мы ее понимаем) мы и измеряем завершенность высказывания”. (Бахтин, *op. cit.,* стр. 447).

[205] Согласно формулировке Кристевой, “вся идеологическая работа предстает в форме высказывания композиционно завершенной (compositionally completed). Эту завершен-

ность следует отличать от структурной законченности (structural finitude).... Структурная законченность составляет фундаментальную характеристику предмета как законченного продукта, каким наша культура его потребляет, отказываясь читать процесс его производства". Достижение такого состояния, по ироническому замечанию Кристевой, составляет цель лишь немногих философских систем, таких, как гегелевская, а также религии. *(Desire in Language ...,* стр. 55).

[206] Стремление найти "диалектическое" равновесие "между открытостью и формой, инициативой интерпретатора идавлением контекста" характеризует подход ктексту Эко; Эко стремится представить процесс осмысливания текста таким образом, который допускал бы "неограниченную, но никоим образом не безграничную" (indefinite but by no means infinite) интерпретацию. (Umberto Eco, *The Limits a/Interpretation,* Blomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1990, стр. 21). С этой картиной можно согласиться, с той лишь оговоркой, что мне хотелось бы видеть в ней не "диалектическую" борьбу, а взаимодействие и взаимную индукцию противоположных сил.

[207] Как иронически замечает в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель: "Что касается до женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая оделась Корнелией, которая Аспазией". (Ф. Ф. Вигель, *Записки,* М., 1928, т. I, стр. 177).

[208] Л. Н. Толстой, *Полное собрание сочинений,* т. 62, М., 1953, стр 269.

[209] В этом смысле можно понять слова де Мана о том, что никакую интерпретацию литературного произведения нельзя назвать его "описанием", в строгом эпистемологическом смысле этого термина: *"...* произведение представляет собой в лучшем случае загадочный призыв к пониманию. Возможно, интерпретацию можно было бы назвать описанием понимания". (Paul de Man, *Blindness and Insight*.... стр. 108).

[210] Риффатерр выразительно описывает мотивную инфраструктуру, покрывающую собой текст: "...семантика стихотворения строится по горизонтальной оси сигиификации. В поэзии референтная функция все время переносится с одного сигнификатора на другой: референтность заключается в способности читателя осознать известные сигнификаторы в качестве вариантов единой структуры". (Michael Rifiaterre, *Text Production,* New York; Columbia University Press, 1983, стр. 35-36). В другой своей работе Риффатерр говорит о "принципе взаимозаменимости", согласно которому "каждое данное вербальное выражение будет выглядеть истинным, если оно порождает тавтологические деривации, в которых оно повторяется в виде исследования синонимических форм" *{Fictional Truth,* Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1990, стр. xiv).

[211] Глава "Москва". — Осип Мандельштам. *Собрание сочинений ,* под ред Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, Нью-Йорк, 1966, стр. 184—185.

[212] Л.Н. Толстой, *Полное собрание сочинений,* т. J7, М., 1956, стр. 95. Здесь и в последующих примерах в этой главе разрядка моя.

[213] "Четвертая проза", 12. — Мандельштам, *op. cit.,* стр. 225.

[214] *Ibid.,* стр. 226.

[215] Ср. у Барта противопоставление "текста" как открытого, бесконечно саморазворачиваюшегося процесса — традиционному, объектному по своей сути понятию "произведения": "... произведение есть частица субстанции, занимающая свою порцию пространства, отведенного для книг (например, в библиотеке). Текст есть методологическое поле". ("De 1'oeuvre au texte". — Roland Barthes, *Le bruissement de la langue,* Paris: Seuil, 1984, стр. 70).

[216] Толстой, *op. cit.,* т. 62, стр. 269.